

ISSN 0132-0637

1992  
2  
Октябрь

# Октябрь

2 1992



**Знакомьтесь!**

**ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ**



**ВЕСТЭКС-М**

**ЦЕНТР БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КОМПАНИИ «ВЕСТЭКС-М»** выгодно реализует и приобретет для вас на центральных и региональных биржах страны металл, лес, бумажную продукцию, типографское оборудование, стройматериалы и механизмы, товары народного потребления.

Представит образцы вашей продукции на торговой экспозиции Международного биржевого торгового дома «Россия» в Москве.

**ВЕСТЭКС-М** окажет содействие в реализации и подборе технологии для переработки вторичных ресурсов — отходов металлургических, органико-химических, лесобумажных и других производств. Найдет иностранного партнера для совместной деятельности по этим направлениям.

**ВЕСТЭКС-М** поможет эффективно разместить ваши средства в ценных бумагах, возьмет на себя ведение портфеля ваших ценных бумаг, выгодно продаст или купит для вас акции и облигации отечественных и зарубежных компаний, депозитные сертификаты, опционы, брокерские места.

Окажет посреднические услуги и проконсультирует по вопросам купли-продажи и аренды квартир, дач, офисных помещений, зданий, объектов незавершенного строительства. Проведет юридическое оформление этих сделок.

**ВЕСТЭКС-М** — это постоянное представительство ваших интересов на биржах:

Калининградская товарно-фондовая биржа, Универсальная биржа вторичных ресурсов, Универсальная украинско-сибирская биржа (Харьков), Международный биржевой торговый дом «Россия», Московский фондовый дом, Московская центральная фондовая биржа, Всероссийская биржа недвижимости.

**Рады новым контактам!**

Телефоны в Москве: 194-91-50, 194-92-91, 194-93-51.

ФАКС: 194-97-88.



# ОКтябрь

НЕЗАВИСИМЫЙ  
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ  
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИИ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

## 2

### 1992

ФЕВРАЛЬ

МОСКВА. ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРЕССА»

Общественный совет: А. АДАМОВИЧ, Л. БАТКИН, Ю. БУРТИН,  
В. БЫКОВ, Б. ВАСИЛЬЕВ, А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ, И. ВОЛГИН,  
А. ГЕЯМАН, Д. ГРАНИН, Ю. КАРЯКИН, Р. КИРЕЕВ, Вяч. КОНД-  
РАТЬЕВ, Д. КУГУЛЬТИНОВ, А. КУРЧАТКИН, Ю. МОРИЦ,  
Р. САГДЕЕВ, А. САЛЫНСКИЙ, Л. САРАСКИНА, Вад. СОКОЛОВ,  
В. ТИХОНОВ, Л. ФИЛАТОВ, И. ФИЛОНЕНКО, Ю. ЧЕРНИЧЕНКО,  
Р. ЩЕДРИН.

## В Н О М Е Р Е:

### ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Иван ОГАНОВ. Песни об умерших детях. Трагифарс . . . . .	3
Анатолий НАЙМАН. Убывание звука. Стихи . . . . .	63
Фридрих ГОРЕНШТЕЙН. Псалом. Роман-размышление о четырех казнях Господ- них. Окончание. Послесловие Бориса ХАЗАНОВА	66
Наталья СУХАНОВА. Вода возьмет. Рассказ . . . . .	120
Дмитрий ВОЛКОГОНОВ. Лев Троцкий. Политический портрет. Окончание	140
Николай КОНОНОВ. В тени. Стихи . . . . .	194

## ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Мария ШКАПСКАЯ.  
**Черная пчела.** Стихи. Публикация С. Г. ШКАПСКОЙ. 168  
Вступительная статья и составление М. Л. ГАСПАРОВА

## ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

Ю. ПИВОВАРОВ.  
**Бывшее, но не сбывшееся.** О «русском марксизме» и 177  
его удивительной судьбе . . . . .

## ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Михаил ЗОЛОТОНОСОВ.  
**Картезианский колодец.** Заметки из цикла «Засада ге- 188  
ниев» . . . . .

## ПАНОРАМА

### Обзор книг:

П. А. СТОЛЫПИН. **Нам нужна великая Россия** (В. АР-  
СЛАНОВ);  
Владимир МАКАНИН. **Лаз.** (Л. ВАРТАШЕВИЧ);  
Венеамин БЛАЖЕННЫХ. **Возвращение к душе** (П. КРАС-  
НОПЕРОВ);  
Зинаида ШАХОВСКАЯ. **В поисках Набокова** (Б. ФИЛЕВ-  
СКИЙ);  
А. АРХАНГЕЛЬСКИЙ. **У парадного подъезда** (Н. МАЗУР);  
В. Ф. ПАНОВА, Ю. Б. ВАХТИН. **Жизнь Мухаммеда**  
(Ю. МАЙШЕВ); 197  
Эжен ИОНЕСКО. **Носорог** (М. КРАСНОВА) . . . . .

## К СВЕДЕНИЮ УВАЖАЕМЫХ АВТОРОВ

Редакция не рецензирует рукописи, а только сообщает о своем реше-  
нии.  
Рукописи, присылаемые на дом работникам редакции, не рассматрива-  
ются.  
Рукописи редакция не возвращает.  
Рукопись может быть возвращена только при условии предваритель-  
ной оплаты автором почтовых расходов редакции на пересылку.

---

Главный редактор **А. А. АНАНЬЕВ.**

Редакционная коллегия: **И. Н. БАРМЕТОВА** (заместитель главного редактора),  
**И. А. БРЯНСКАЯ** (зав. отд. публицистики), **Н. Д. КРЮЧКОВА** (зав. отд. прозы),  
**Н. К. ЛОШКАРЕВА** (первый заместитель главного редактора), **В. Н. МАЛУХИН**  
(заместитель главного редактора), **И. К. НАЗАРОВА** (отв. секретарь).

Коммерческий директор **Л. Б. ЖУРАВЛЕВ.**

---

Технический редактор **С. И. Суровцева.**

---

Сдано в набор 09.01.92. Подписано к печати 27.01.92. Формат 70×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>.  
Офсетная печать. Усл. печ. л. 18,90. Усл. кр.-отт. 18,55. Учетно-изд. л. 22,24.  
Тираж 155 500 экз. Заказ № 1364. Цена 14 р. 31 к.

---

Адрес редакции: 125872, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 11.  
Телефон главного редактора — 214-62-05; заместителей гл. редактора — 214-63-64,  
214-79-49, ответственного секретаря — 214-34-44, отдел прозы — 214-71-34, поэзии —  
214-74-67, критики — 214-69-37, публицистики — 214-60-24.  
Телефакс: 214-50-29.

---

Типография издательства «Пресса». 125865 ГСП. Москва, А-137, ул. «Правды», 24.



Иван ОГАНОВ

---

## П е с н и о б у м е р ш и х д е т я х

ТРАГИФАРС

*Друг Ваш Мертвый рассуждает и говорит так: ежели небо отняло красоту у всех других людей в мире, дабы меня одного создать таким прекрасным, каким создало, и ежели по божественным законам я должен ко дню Страшного суда явиться таким же, каким был когда-то, то отсюда следует, что красоту, данную мне, я не могу вернуть тем, у кого отнял ее, но что я должен быть прекраснее их в вечности, а они — уродливее меня.*

*Это противоположность той мысли, какую я выразил вчера, но то — притча, а это истина.*

*Ваш Микельанжело БУОНАРОТТИ.*

**О**детта стояла на краю сцены в белой пачке и дрожала всем телом и вытянутыми над головой руками.

Она была превращена в птицу. Гобой и скрипки снова стали плакать и кричать о какой-то беде. Я сидел в кресле и ничем не мог ей помочь. Она погасла. А потом зажегся свет, и радостно и очень шумно загрохотал барабан, и закричали трубы. Зрители взволнованно глядели на пляски гостей, принца и зеленого горохового шута. А я долго сижу недоуменный, ладони мои вспотели, и лицо горит. Рука почему-то дрожит.

Вот вам и радость чистой, неомраченной влюбленности!

Это Одетта-ребенок. Какую огромную и целебную тягу несет взгляд ее строгих, нахмуренных, сосредоточенных глаз.

Я вижу себя разгуливающим по фойе. Я вижу себя в огромных, овальных, хрустальных зеркалах Казенного театра.

Это он! Это я!

Я вижу бледного, невзрачного Пьеро с больным, невыспавшимся лицом. Он одет в черный костюм, и под черным сюртуком краснеет модный жилет. В Казенном театре оперы и балета полным-полно подозрительных балетоманов.

Это опасная публика, сторонитесь их!..

Я заметил двух молодых, развращенных балетоманов. Один был Игорь Кошкин, мы вместе учились в гимназии счастья. Кошкин с детства был заядлым балетоманом. Он нежно держал за руку хлюпкого молодого человека с лысой головой. Игорь Кошкин — младший диктор на радио с гнусавым, порочным голосом. Игорь Кошкин в сверхмодном пиджаке с золотыми пуговицами. Раньше он был толстым, а последние годы голодал, чтоб создать фигуру. Лицо этого человека приобрело бабий и сатанинский оттенок. Обычно летом он всегда выезжал на курорт Сочи, на биржу всех самых отъявленных и изуверистых балетоманов страны. Они, как тленные мухи, слетались из всех поселков и городов нашей родины, чтоб знакомиться друг с другом на битком набитых пляжах, завязывать романы, совращать юнцов, выяснять отношения с любовниками, а по ночам стаей бродить по бульварам и заниматься коллективной любовью в кустах магнолии, среди рододендронов, агав и кактусов, распевая танго

30-х годов «Утомленное солнце!».

Бог им в помощь!

Кошкин прогуливался паркетом освещенного люстрами пустого зала. Казенный театр бедствовал, терпел убытки, огромные царские люстры с крупными хрустальными подвесками пылали напрасно, отчаянно. Несмотря на все усилия главного балетмейстера, Венецианского Мавра, тифлисскую публику не так просто заманить на какое-то там «Лебединое озеро» или даже на гениального «Щелкунчика». Торговцы краденым, мелкие перекупщики и спекулянты всех мастей предпочитали отшумевшим классическим балетам закусовые и винные подвалы. Кошкин прогуливался с лицом легкомысленного и самоуверенного хозяина города. Он поглядывал по сторонам с легким презрением, наглость не сходила с его высокомерно, в липкой усмешке кривящихся губ. Это был наглый, убежденный в своей безнаказанности растлитель юношей. А ведь сам еще десять лет назад, гимназистом, был таким чистеньким и девственным мальчиком, мама просвещала его, заражала культурой, водила за ручку на все спектакли и концерты, даже купила ему в букинистическом на Дворцовой потрепанную, изодранную книжку «Моя жизнь в искусстве». Но Игорь все понял посвоему. Кто погубил его? Может, он сделался нечаянной слепой жертвой какого-нибудь пожилого, многоопытнейшего балетомана с морщинами и лысиной, которыми, как мусорка крысами, наводнен умирающий город Тифлис и нелепый Казенный театр, пустующий и вымерший без публики, несмотря на громкие, звонкие премьеры ложноклассических балетов?.. Кто мог подумать, что Кошкин, закончив гимназию с похвальной грамотой и бронзовой медалью, вдруг начнет вскорости красить губы, кривляться, кокетничать с посторонними, прохожими уличными мужчинами!.. Директор нашей гимназии, Георгий Георгиевич Корели, маститый педагог и воспитатель гениальных неудачников, сам изгнанный из гимназии за продажу золотых медалей с черного хода сынку любого толстосума, опустившийся, в грязных манжетах и с диабетом, задушенный санитарями сумасшедшего дома, где он скрывался от судебной расправы, прикидываясь безумным, не выдержал бы такого позора. Подумать только: его гимназист, выпускник с бронзовой медалью, сделался балетоманом-растлителем! Георгий Георгиевич Корели стал бы, гремя костями, переворачиваться в гробу, в своей несчастной могиле на заброшенном кладбище, носящем имя святых, на грузинский манер величаемых Петрэ и Павлэ. Кошкин гулял в вымершем Казенном театре. Он жадно выискивал жертву. Он скучал, ему надоел тогдашний партнер, который умолил Игоря взять его с собой на сегодняшний спектакль вечером. Обычно балетоманы, рассаживаясь в ложах бенуара, сами покупали лишь входные голубенькие, тоненькие билетки за тридцать копеек и, как маленькие дети-несмышлениши, протягивали, ликуя, билетик к горячей фарфоровой лампе вестибюля, радуясь тому, как просвечивает радугой шелковистая тоненькая бумажка, звонкими голосами звали друг дружку полюбоваться цветными брызгами и огоньками, а потом толпой неугомонных шалунов вприпрыжку резво неслись, мчались в буфет, хватая с подносов лакированные приторные пирожные и мятые дешевые конфеты в сиреневых или фиолетовых серебристо шуршащих бумажках. С замирающим сердцем вслушивались играющие в детей страшные балетоманы в чистый, серебристый хруст фольговой бумажки, несущей сладость, лизали и разворачивали ее шершавым и дрожащим языком, дерясь и шутивно отпихиваясь, рвали в клочки эту призрачную, измазанную влажным умирающим шоколадом бумажку счастья, снова и снова вылизывали ее сладострастно, порочно закатывая крысиные, опасливые глазки, словно бы предвкушая цветистый букет всех будущих наслаждений, который загорится для них сразу после окончания спектакля в бездонном мрачном подвале одного из самых распутных приятелей, где будет стоять дым коромыслом, литься тоненькой струйкой в пыльные стаканчики дамский, тошнотворный, изгаженный срамным желанием ликер «Ванильный» и раздаваться всеобщий кошачий визг и истошные крики в тридцатый раз теряющего девственность какого-нибудь случайно приблудившегося к компании, почти мертвого, с приклепанными ресницами, напомаженного старика с напудренными морщинами.



Полноте, очнитесь, господа балетоманы! Разбейте хрустальный фужер детства, наполненный доверху шипящей пеной искрящегося лимонада, к которому вы дружной стайкой шалунов прильнули серыми от вымученной жажды наслаждений, синеющими, как у мертвецов, зараженными губами. Они недовольно оглянулись. Они ненавидели меня за то, что я единственный ходил сюда, в пустой Казенный театр, на поклонение стареющей балерине Одетте, брошенной двумя мужьями и множеством скучных любовников, заказывал ей громадные, переполненные тлеющими белоснежными хризантемами корзины с голубыми шелковыми лентами, писал бесконечные длинные письма с детскими рисунками о своей неразделенной любви, сторонился этой развратной публики, захватившей несчастный театрик в свои зловещие руки, держался высокомерно, носил черную пару, их не замечал, занимал свою отдельную, абонированную до самой смерти ложу, раздавал богатые чаевые капельдинершам и, закрываясь руками от падали и шипения гадов, смотрел только на синюю, плохо освещенную сцену с растолстевшими, громоздкими балеринами пенсионного возраста в измятых балетных пачках, облетающих линиями перьями из всех закрытых теперь барахолок мертвого Тифлиса.

Балетоманы мстили мне, обзывали мою Одетту, кричали мне в спину гадости о ней, обзывали уродкой и ведьмой с кривыми ногами, распутной премьершей и совратительницей юных солистов, выпускников хореографического училища, на которых сами имели виды. Балетоманы толкали меня, задевали мой бронзовый старинный стул с вензелями, когда я отдельно от них, отгородившись от этой банды, пил в углу шампанское — в буфете, за мраморным круглым столиком с венозными синими прожилками. Мне кажется, что они даже пытались подкупить буфетчицу, чтоб она подсыпала цианистый калий в ожидающий меня в последнем антракте холодный фужер с традиционным шампанским, за которое я исправно платил вперед самозабвенные чаевые.

Но я был постоянным и верным клиентом, я был влюблен.

Буфетчица, всю жизнь воровавшая в этом тускнеющем ~~позолотой~~ буфете, ценила постоянного мужчину, а эти радужные, искрящиеся испорченным сахаром детства балетные мухи тратились только на копейки, выливая с буфетной стойки крошки давно умерших пирожных. Игорь Кошкин в конце концов учился со мной в одной гимназии. Презируя меня за любовь к женщине, он, может, пока запрещал своей дурно покрашенной банде преследовать меня слишком жестоко, а при встречах, как бы कि-чась тем, что он все же был когда-то примерным и вежливым мальчиком, объявлял своим дружкам:

— Мы с ним, с этим поклонником Одетты, в одной школе учились!.. Балетоманы хихикали. Я злился. Отворачиваясь, спешил на последний звонок в свою пустую ложу, а Кошкин кричал в разбитые в драке за очередного любовника искрошенные зубы:

— Эй! Вот этот — Пьеро, мрачный, как демон! Он влюблен в уродливую Одетту — старуху, имевшую сто тысяч кавказских любовников!

Я закрывался руками.

Кошкин с розовеющей жужжащей пеной на губах взволнованно, с завистью кричал:

— Он еще на что-то надеется! Одетта отдастся скорее усатому дворнику с вонючими усами, чем Пьеро. Прожженные балерины не любят Пьеро!.. Балетоманы улюлюкали мне в спину. Но долговязый скучающий дирижер, дожевывающий лакомый кусочек красной рыбы из буфета, брался уже равнодушно за сверкающую белизной слоновой кости палочку, поднимал ее над опустевшими много лет назад рядами чернеющих кресел, и снова лилась на меня чарующая, чернопьяная вода балета Чайковского, и снова, журча водой, скрипели мельничные колеса меланхолии.

А Кошкин, считая высшим шиком опоздать на последний акт, двигать креслом, кашлять, хихикать, шептаться со своими робкими любовниками, все еще замирал в фойе. Кошкин с детства был заядлым балетоманом. Он держал за вспотевшую руку молодого, низкорослого балетомана с лысой головой и сверкающими счастьем влажными круглыми глазами. Игорь Кош-

кин в сверхмодном пиджаке с золотыми пуговицами. Пуговицы сверкали, ослепляя вздрагивающих, седых капельдинерш. Кошкин жадно сжал руку хлюпкого молодого человека с лысой головой. Игорь Кошкин голодал, чтоб создать фигуру: толстяк в роли совратителя был смешон. Лицо его приобрело бабий и сатанинский оттенок. Кошкин прогуливался паркетом освещенного и пустого фойе. Его партнер, обнимаемый и сдавленный, улыбался слабовольно и жалко. Однажды я видел его в католическом соборе, он сидел на черной, гладкой от многочисленных задов нескольких поколений скамье и невнимательно слушал мессу. Вертлявый, он беспокойно оглядывался по сторонам, кокетничая с патером и служками в кружевных накидках, выискивая взглядом ангельских, поющих святыми голосами, не испорченных им пока мальчиков.

Кошкин ревновал его к другим балетоманам, считая его своим выучеником, воспитанником. Он сжимал и сжимал его сверкающую от зеленого вазелина и пота развратную ладошку, пальцы грешника были вплетены в грешные пальцы этого моложавого богохульника.

...Давно погасли фонари фойе, лилась тихая, серебристая, сверкающая капельками музыка печального Чайковского, а Кошкин все так же гордо и вызывающе шляется с ним. Они не торопились в зрительный затемненный зал.

Балет Чайковского «Лебединое озеро» они смотрели сотни раз и каждый раз тихонечко посмеивались, насмехаясь над Петром Ильичом Чайковским за чрезмерную сентиментальность.

Это были тифлиссские балетоманы. Балетоманы шли сюда, в Казенный театр оперы и балета, как на биржу труда, они слетались сюда, как отъявленные коршуны падали, они покупали самые дешевые входные билеты и шли сюда темной, пугливой, наглой толпой — люди всех возрастов и разных гражданских профессий. А когда они умирали, другие любители балета и обнаженного тела падали им на смену с позолоченного, осыпающегося потолка — юные напудренные ученики издыхающих от старости, как дряхлые пудели, балетоманов. Наконец Кошкин и низкорослый, женоподобный католик с голой, как стеклянный шар, головой — эти странные и шикарно одетые люди — исчезли, обнимаясь. А я, молчаливый, нелюбимый зритель в черном пиджаке и в черных обтрепавшихся брюках, занимал отдельную ложу. Дверь я захлопывал, и подкупленная мною пожилая, трясущаяся от возраста капельдинерша запирала меня на ключ с другой, нездешней стороны. Вот и озеро. Это было голубое и затемненное озеро, самое бутафорное озеро в нашем городе — вода, источающая ледяную тишину с едва заметными всплесками и шорохом розовых балетных туфель. Я слышал тихий призыв лебедей.

Постаревшие в глухом кордебалете лебеди со ставкой в сто десять рудлей не глядели в мою сторону, они вдруг сделались скрытными и нахмуренными, но, несмотря на маленькие оклады, все оказались разъевшимися и раздобревшими, мясистые оголенные женщины, такие неряшливые и неповоротливые на глади волшебного озера.

Я пришел в дом Одетты. Я услышал трагическую песню. Это флейта, маленькая холодная чужая флейта, — на ней играл первый муж солистки, которой я поклонялся с детства, — звала меня переиграть всю жизнь сначала, шаг за шагом — по мостовым забытого города. Тягостное пение скрипки вызывало меня купить билет за тридцать копеек на какую-то трагедию моей жизни. Потом и скрипка запела о золотых днях, я не ждал их, в этом чужом городе было мрачно, и я прятался в этой огромной театральной тьме, вдыхая запахи кулис, подружившись со сводами, колоннами и позолоченными ярусами... Черствый голос шептал за моей спиной, птицы, дряхлые балерины, замерли, как мертвые, облитые голубым светом, но принца с игрушечным луком я почти не замечал, он мешал мне своими прыжками и глупыми вращениями, всякими там заносками и кабриолями, жетэ и батманами!.. Вот и адажио. Это был дуэт струны и женщины, вырвавшейся из моего забытого старожилками детства. Это был дуэт тонкой, рвущейся струны и какой-то молодой женщины, неизвестной мне.



Песня солистки согнала рой воспоминаний со дна моего растрепанного, боемного существования. Этот голос вызывал радуго в моей душе. Дуэт скрипки и Одетты жаждал прожорливого одиночества, в скрупулезной исповеди Одетты со строгими и холодными глазами я слышал кошащую музыку ее детства. Я оцепенел, я внимал ей настороженно, она молча истововодовалась тьме пустого, ненавидимого публикой зала, я тоже был поглощен ночью, лицо мое, представьте, побледнело, а губы слегка посинели, как свет электрической луны, что лился на продавленный грузными ступнями балерин давно немый пол, и я притянул глазами к невидимой сонате, плывущей от Одетты навстречу светлому гению Чайковского, — соната поразила мой слух. Она из худой, тоненькой девочки, что замирала вечерами в окне невысокого, двухэтажного дома, молча глядя в далекие, омытые розовым заревом пространства и дали, через каменную бывшую Эриванскую площадь, крыши домов и темно-синюю во мгле и страшную гору Святости с белеющим миниатюрным храмом пророка Давида и вечным рестораном с колоннами на самой вершине над уровнем неизвестного моря, — превратилась в чужую и взмыленную от кружений на одной крепкой, мускулистой ноге женщину, с положением в театре, любовниками, поклонниками и гастрольями по крошечным городам-государствам Средиземноморья. На сцене, облитая дождем голубой луны, холодно отдавала свое мастерство прима-балерина. Душа молодой женщины опасно заражена балетом. Я чувствовал, как далека она от меня, нервного человека, мятущегося от экрана к светлым струям жизни фильморезжиссера, который хочет бросить это не расцветшее пока ремесло и уйти от кинематографа к весенним цветам.

Одетта! Одетта! Она ушла навсегда в пустыню уроков, в тяжелую страну классического танца, в большие и малые репетиционные залы, в коридор женских солистов, в блестящие костюмы, в сотни розовых балетных туфель, в премьеры, выезды и утренники. Я, кажется, почти люблю, когда лицо ее тонкое холодно вдруг под гримом, я увлечен грациозными и замирающими движениями рук на фоне пурпуром горящего занавеса. Я жажду. Меня восхищает высокий прыжок. Она летит в театральную бездну. Прыжок ее — розовый и черный жемчуг. Я дарил ей желтые розы. Я бродил по вечернему городу в тумане и искал, чтоб поднести ей эти несчастные, измученные туманами и ожиданием розы.

Глядите! Желтые розы намokли, как волосы сумасшедших девушек под дождем. Было тихо. Я плакал. Весна! Белая свадебная весна! Какой-то молодой человек, юный мужчина, держащий в одной руке маленький черный футляр с блестящей флейтой, а другой касаясь юной девочки в сиреневом платье из шелковой и легкой воздушной ткани. Голова кружится от ревности. Голова закружилась, все цветет у моих глаз. Эй, фильморезжиссер по прозвищу Пьеро, снимайте! Вот кадр. Чудесное небо, пронзительное и голубое, как вода в далеком и пропавшем навсегда море детства, а под старым пыльным платаном танцует девочка. Ах, я обнаружил в одном музее, где-то в самом углу, тайное сборище мертвых бабочек, целое племя экзотичных умерщвленных фанатиком бабочек, и вот — шедевр этой коллекции: жемчужина с пепельными, осыпающимися крыльями, странно красивая бабочка, умирающая дымчатым днем... Балерину прикололи острой, окровавленной иглой к потертому бархату театрального занавеса... Мы можем под холодным стеклом, наклонившись к экспонату, разглядеть, как игла легко проколола маленькое, холодное сердце Одетты!.. Подожди меня, подожди, странно красивая бабочка! Не оставляй меня одного с кинокамерой, видишь, какой я маленький человечек в ярко-красной жилетке и в черном истрепавшемся строгом английском костюме; я бегу вон из душистого, темного музея, наглотавшись пыли и жалости: ты улетила из этого детского, всеми забытого музея моего прошлого в синий пожар балета. Ты пылаешь, стора, Одетта, не обжигай себя, бабочка, летящая на огонь балета, как на зажженную свечу. Я, безумный, задую пламя. Фильморезжиссер поник на мостовой. Я должен идти, я должен медленно отойти от окна, где горели каплями воды прохладные ландыши за взволнованным тюлем. Но ведь это почти рядом с моим бывшим домом на Католической улице, куда ж мне было деваться? Что это? Что это? Я стоял и думал. Она танцевала. Кровинка запылала в груди. Девочка в окне стала Одеттой.

В тысячах умирающих огней, облитая лунным светом с головы до ног, в розовом трико, хрупкое и гибкое создание в пачке с кружевами; я закрыл глаза, и она летит в каскаде легких хореографических зарисовок, рождающихся одна из другой. Отточенная красота счастья. Я был не защищен от нее. Легкий взмах тонких рук, осторожный взгляд, почти невидимый поворот головы. Принц Зигфрид объяснялся Одетте в любви. Я прекрасно понимал театрального принца. Я завидовал ему. Я хочу ободрить его. Я отдал душу артисту, и это он меня играет на сцене. Бросить ей белую розу? Долетит ли роза, я ведь сижу далеко от сцены. Меня это беспокоит очень. Но где я возьму цветок? Я должен, я должен в темноте покинуть игрушечный театр, неприметно закрыв за собой дверь, наградив щедрыми чаевыми седенькую, дряхлую капельдинершу, и броситься сломя голову на ночной, закрытый на тяжелый засов и многопудовый замок Солдатский базар, разбудить сторожей из цветочного ряда, растолкать продавца в мятой шляпе, чтоб он нарвал мне ворох белых роз, что росли прямо на грязном мокром асфальте посреди окурков и плевков... Белые розы звали меня под ночным небом, над ними летала несчастная птица, которую продавец отгонял палкой. Кацо, можно я сам сорву выросшую среди кучи мусора розу?.. И вот я у края сцены. Лови!..

Цвет ее костюма плывет. Вот он, малиновый, нежно-зеленый, ярко-голубой, лиловый, фиолетовый, гранатовый, желтофиоль, цвета морской волны, аквамарин, топаз, александрит, лазурит. Балетоманы! Я, фильморезиссер Пьеро, снимаю на листе белой бумаги цветной фильм. Это кино на бумаге. Домашнее кино загнанного в подполье художника. Мне помогает брат Одетты, режиссер театра юного зрителя на Плехановском проспекте Ника Вивальди, незаконный сын грузинского князя, всю жизнь проработавшего бухгалтером в «ГРУЗМАСЛО», в печальном и независимом тресте. Я неудачник. Я отставной корнет. Я воспитанник тифлисского кадетского корпуса. Антракт — и я в буфете. Меня с бокалом, наполненным до краев лимонадом, подкрашенным под шампанское, ждет буфетчица-воровка с малиновыми, дурно покрашенными жадными губами. Мерси, Сатеник!..

Я держал в подрагивающих руках художника хрустальный фужер с пенящимся кислым, как уксус, шампанским и с наслаждением медленно пил эту теплую, шипучую пустыню. Я облокотился о синюю стену, измазанную звездами, и глядел на тифлисцев, на обывателей, театралов. Навстречу мне катилось облако голосов, смешков, сплетен, визгов.

Толстые женщины в очень дорогих нарядах, в бордовых платьях, бриллиантах, на каблуках и сверхмодных тогда платформах, в купленных в подворотнях жалкого Солдатского базара брюссельских кружевах и французских черных чулках... На бесформенных плечах медведиц — газовые, дымящиеся малиновыми отсветами накидки и шарфы... Уродливые, безобразные, с мясистыми угреватými и длинными кавказскими загнутыми носами — самовлюбленные, чванливые и пышущие спесью дамы страшно и гордо обдавали меня запахом валютных духов и желтого, бараньего по-та, что рекой тек от пряных и могучих шей. В партере я нагнулся над оркестровой ямой, поздоровался с маленьким барабанщиком с горбатым носом — мы с ним когда-то вместе ходили на акробатику, а также учились в одной гимназии: это был благородный тифлисский гражданин и трагик, которого судьба загнала в яму. Теперь он пытался ухаживать за стареющими лебедями из глухого, обреченного на вымирание кордебалета, но даже эти дешевые потаскухи не отозвались на молящий блеск его водянистых, тусклых глазенок, и тогда он начал поносить их, шипел у них за спиной, рассказывал в антрактах гадости, подглядывая за ними снизу из ямы, и, когда я подло поинтересовался: «Не женился ли ты на юной солистке, не испорченной пока выпускнице тифлисского хореографического училища?!» — он злобно блеснул бельмом и выругался: «Они все для меня не женщины, а мебель!» — и даже пристукнул деревянными палочками о край своего боевитого, пузатого барабана. Глухой стук мрачно подтвердил его загнанное в щель высокомерие. «Как ты живешь здесь, в яме? Не темно?» Он обиделся. Включил маленькую лампочку над барабаном. Над



пюпитром загорелся абрикосовый цвет. «Я счастлив!» — начал было оправдываться он кисло, но тут яму стали наполнять скрипачи и виолончелисты Нейманы: Моня, Шлема и Марик, оркестранты-братья, породистые виртуозы Казенного театра с выхоженными щеками и ловко причесанными, сверкающими бриолином шевелюрами. «Жизнь — подлая партитура!» — пробормотал он. Он взял в руку палочку и постучал по гудящей коже барабана. «Струнные братья» захватили первые кресла под электрическим освещением. «А ты уезжаешь на съемки или только вернулся с подпольного кинофестиваля в грязном подвале, под забором?» Щеки мои и брови сжались в доброй, немстящей усмешке. Весь Тифлис слышал про мою страсть к кино на бумаге и про мою сумасшедшую, безумную любовь к Одетте. «Она тоже мебель», — кивнул он. Дирижер, поспешивший с набитым ртом на свое место из буфета, вскинул над нотами палочкой. Бывший муж Одетты сидел в яме лицом к публике и спиной к своей бывшей жене-премьерше. Он молча презирал стада новых ее поклонников, слюняво вздрагивал рот, легкое презрение цепенело в уголках черных, хулиганских глаз. «Я вероломно изнасиловал ее в кровати в гостинице на гастролях в Сочи, а потом меня через милицию заставили на ней жениться! Я был ее первым мужчиной, а вам теперь пользоваться поношенными, старыми нарядами, мять их в своих дрожащих от позднего желания руках». Охалками носили Одетте розы, а он сидел спиной к сцене, в яме, какой-то весь официальный, вежливый, остранный, и насмешливо, зрело молчал. Я поклонился ему. Флейтист с узкими холодными глазами уличного хулигана не ответил. Мы услышали звуки флейты. Я вспоминаю пуанты. Ее ступню, лодыжку, перехваченную розовой атласной лентой, снять старой камерой на цветную пленку, снять с потрясающей лирической силой! Что еще? Осторожные, нежные, ловкие взмахи застывающих, худых, над головой скрещенных рук. Она с партнером. Па-де-де!.. Вдохновенное, восторженное, скуластое узкое лицо с лошадиными глазами. Неужели она и впрямь уродлива, как кричат на премьерях балетоманы, клака, а я ослеп?.. Она ангел, чистая слеза. Посмотрите, взгляните на нее, когда она идет по улице после репетиции, какой легкий, воздушный, давящий на мое бумажное, цветистое сердце шаг. Я кружил, бродил около дома ее детства, мне чудилось, что Одетта скрылась сюда со своим новым любовником, пожилым влиятельным сотрудником Министерства культуры, избранным позднее в местные академики по разряду похотливых меценатов дряхлого, вымирающего в Тифлисе балета. Она в этом мрачном доме, за ставнями, за высокими голубыми светящимися стеклами. Ухажер купил ей в комиссионном магазине у Сержа Параджанова овалный холст в бронзовой потрескавшейся раме, с холста смотрит девушка с зелеными кошачьими глазами и с оголенной, теплой грудью. Кровавыми отсветами играют вспухшие от желания соски, искусанные лысым ухажером, в левой прозрачной руке обнимаемая снизу девушка сжала гроздь темно-красного, с высыпавшими слезами винограда, кислые ягодки ждут поцелуя трепетных губ. «Браво, маэстро! — кричат мне кинопоклонники. — Отличная лента!.. Можно везти в Сан-Себастьян, на модный фестиваль». Вечером ко мне постучался Ника Вивальди, отрекшийся от сестры из-за ее распутной славы, сам чистый, как ягненок, бросивший ТЮЗ и, как и я, отдавший себя весь съемкам кинокартин на белой бумаге. Он снял уже не меньше десятка выдающихся фильмов. Была отличная недавно короткометражка о тифлисских огнепоклонниках. Я, знаете, прекрасно помню кадры, много голубого и желтого воздуха, окраины старого Тифлиса, персидский полуразрушенный храм из красного, обугленного тегеранского кирпича, плавный и застывающий ритм, печальное блуждание дешевенькой кинокамеры среди обломков, руин, заросших исфаганскими пастельными розами, странно прячущаяся под восточным пустынным небом тоска зороастрийца, сделавшегося огнепоклонником из-за безбожного отношения к жизни всех остальных сограждан, великих обывателей маленького Тифлиса. Тоска, как шакал, бегущая по пустыне. Как затравленный, ободранный, с ошетилившейся шерстью бегущий от толпы, прячущийся от нее в пивной обыватель. Горожане окружают его. Огненно-красные стада злых, сумасшедших лисиц. Ника Вивальди — воспитанный, вежливый и очень чувствительный мальчик, недаром он был наследником отрекшегося от своего фамильного герба обедневшего князя. Ника снимал на цветную широко-

форматную бумагу. Покупал в магазинчиках школьных принадлежностей. Картины его на бумаге, фильмы на альбомных листках никто не брал, ни одна западная кинофирма. Но жить надо. Он продавал медленно, но с загнившим упорством доставшиеся от отца-князя, мелкого клерка «ГРУЗ-МАСЛО», всякие милые вещички: китайские чашечки с отбитыми краями, чайный сервиз мандарина династии Цин, старинную кровать без спинки, помутневший инкрустированный столик, шелковистые карты гадальные, бронзовую послеобеденную полоскательницу зубов и на все вырученные гроши накопал горы бумаги, бумаги, белой бумаги, чтоб снимать на ней, зажмурившись, свои гениальные фильмы. Он любил снимать их, сжавшись мышью в бархатном кресле с торчащими во все стороны острыми пружинами, гладил бусы, которыми обматывал шею, гадал на миниатюрных, тлеющих лимонным ароматом игральных картах с голыми танцовщицами, что-то тихо бормотал себе под задумчивый обиженный на людей нос, мурлыкал, тыкал ногой в мохнатый собачий комок, свернувшийся у тонких Никиных ног в сафьяновых туфлях без задников. Он сам перекрасил собачку ваксой, из беленькой. Собачка скулила, а на желтой истертой скатерти с тусклой позолотой бахромы танцевал фарфоровый, забавный, раскрашенный тонкой кистью антикварный японец. «Вот мой фильм!» — шепчет Ника Вивальди. Персы, безраздельно господствовавшие в Тифлисе, хозяева восточного древнего города, занесли сюда, в изнеженную медленными песнями столицу, свою пряную мистерию. Эта затасканная и рано скончавшаяся религия пропахла, провоняла ароматами шафрана, корицы, гвоздики, дышала имбирными вздохами. Где-то на подступах бывшего Сада Эмиров, возле стертого с лица земли бульдозерами мусульманского кладбища, неподалеку от обвалившейся армянской церкви, превращенной в сапожную мастерскую, застыли под кучевыми облаками голубого неба развалины древнего храма огнелоклонников Атеши. Атешкеде. Дух Азара, дьявола огня. Я видел на одной старинной гравюре французского путешественника персиянок в белых, длинных, ниспадающих на камни одеждах, плывущих по звенящим голубым изразцовым плитам на молитву. Женщины в белом мягко и затаенно, в глубоком страхе и тайне, опускаются на колени, протягивая руки к оранжевому пламени, что тлеет тысячелетиями на камне, оно горит свернувшимся цветком с пылающими лепестками.

— Пьеро! — вдруг воскликнул он, встрепенувшись. — Вот фильморегиссер Пьеро пришел в гости к моему одиночеству, и в комнату влетел запах мокрого снега, ночной тьмы и потерянных голосов. Он был влюблен в мою сестру! — задыхался Ника. — Острая тоска по Одетте душила его бурное сердце!..

Я поклонился, расшаркался. Боль моя была как открытая рана, как будто я лежал на столе мрачного кавказского хирурга-коновала и грязный этот стол был залит кровью людей и зарезанных лошадей. Я кричал.

Ника очень редко демонстрировал свой фильм. Цветной, многосерийный, широкоформатный. Двое-трое приятелей были знакомы с некоторыми удачными кадрами, ведь Ника очень скромный. Хотя в нашем подвале он приобрел мировую славу, кавказские шлюхи посылали ему длинные надушенные письма и оранжевые свеженарезанные апельсины в корзинах, Ника оставался застенчивым, сомневающимся в своем птичьем таланте и только после тяжких, бредовых раздумий, угрызений совести, покаяний открывал нам чуточку свой цветистый мир на бумаге, но мы сами никогда не просили его об этом одолжении, мы знали, как болезненно относится он к своему творчеству, только с отчаяния он давал нам подсмотреть редкие плоды его творческой судьбы, в нем давно крепла болезненная отрешенность, навязчивая мания фильма для себя, кино для одного зрителя, он догадывался, что это каждый раз не отмываемое кровью преступление: отдать нам на суд свои краски, цвета и образы — дикое, исступленное преступление против своего таланта и обреченности. Ника Вивальди боялся, что ребенок умрет. Но, видимо, не менее опасной была тяга к живым людям. Он с этой тоской боролся мужественно и чисто, но приступ надвигался, как любовь, неумолимо. Как весна. В теплом воздухе шевелились глаза фильморегиссера. И он всегда вызывал меня телеграммой — синей.

холодной, как обои дома вдовца, — и я приходил неожиданно, ночью, звонил, дергал за перламутровую круглую ручку, колотил башмаками, повернувшись спиной к старой содрогаящейся от ударов двери с бронзовыми амурами, и Ника Вивальди осторожно приоткрывал, а потом распахивал эту разбитую отчаянием ночных гостей дверь и стоял молчаливый и бледный, напуганный, с темными впадинами глаз. «Чего так стучишь, разбудишь черную собачку», — и смотрел куда-то вдаль, в черную паутину своей жизни, и вдруг уходил вниз по лестнице, я за ним, мы шли, он шел ночной улицей, как слепой, скорбь его подавляла меня, мы кружили на Майдане, кружили возле желтого рассыпающегося Сионского собора, загаженного бездомными собаками, где венчался Грибоедов — бледный, странный, задумчивый драматург-жертва в маленьких очках в тоненькой оправе, поблескивая удивленными своей неожиданной безрассудной свадьбой жалкими стеклышками, с лукавым прищуром умноватых глаз, пианист, сочинитель, дуэлянт и щелкопер, дамский угодник и ухажер, любимец провинциальных кавказских дамочек, — бродили мы с другом возле уставшей от жизни холодной молчаливой церкви, где дипломат стоял на острых коленках на черной звенящей смертью каменной плите, а позже здесь же отпелалось гадалками и псаломщицами зарубленное, сгнившее мясо в изодранном фраке, засыпанное от чумы известью, и нищенки Тифлиса кликали «Вечную память» цинковому ящику с навсегда замурованной пустотой, останкам способного сочинителя известного вальса. Мы шли в заброшенную квартиру одного армянского художника Карапетяна, который взял себе кличку Джотто. Семидесятилетний живописец-армянин был одиноким и бездетным вдовцом. Квартира эта размещалась в подвальном сыром, загаженном этаже. Но друзья сюда ходить любили. Богема собиралась у Джотто, тифлисская богема позднего апокалипсического периода. Мы все равнодушно ждали конца света. Мы веселились и развлекались как могли. С бокалом тошнотворного розового коньяка к нам приближался другой зритель подпольных фильмов, киноман и англоман, потрепанный тифлисская аристократ, малоизвестный композитор Леонард Абрамович Стравинский. «БОН ДЖОРНО!» — прокричал он радостно, сияя аккуратно зализанными залысынами. Это фильм. ФИЛЬМ. В древнем Тифлисе, среди замусоренных вонючими окурками цветочных клумб, идет в модном апельсиновом костюме молодой жалкий человек в пенсне. Чеховский герой. Он вылез из ямы, выкарабкивается, отпихиваясь от мусора ловкими ногами в тужельках и нервными руками в кружевных манжетах. Тужельки звонко бьются об асфальт. Вот он спускается в холодный, сырой подвал. Во тьме подвала на мягком пестром туркменском ковре оранжевое блюдо, там старик медленно, с красным, вздувшимся от наслаждения лицом пьет горячий чай — старик в роли чистильщика обуви на Шайтан-базаре под бешеным небом. Молодой человек молчит, озираясь. Долго тянется ржавый, обрывающийся волос тишины. Плач дряхлого перса. Зарезанное горло чавкает кровью. Интеллигент слушает музыку гор-тани.

Огненно-алые лягушки жадно хотят проколоть ядовитым зубом пурпурного бога в крови.

Старик мусульманин спал, как мумия, хоть и чувствовал: очкарик сидит на полу, на рваном, пыльном ковре, и подглядывает за маслянистыми, текучими, как вода, язычками пламени. — Солнце! — закричал старик и ударил в бубен. Пиала с зеленым пахучим, душистым чаем перевернулась, молодой человек испуганно вздрагивает, он ждет проявления закона тьмы в чужом голосе. — Мое умирающее, задыхающееся от опухоли горло! Странные, пугающие эмоции, разноцветные и нагнетенные, замурованы в горле. Интеллигент почувствовал, как кровь в его теле закипает и он трясется от малодушного страха. На этом ФИЛЬМ НА БУМАГЕ пока обрывался. Мы долго сидели во тьме. Мы молчали. Я глядел на подпольных художников. Их всех душил царский, монархистский режим. Внутренняя тюрьма. Никто еще не знал, что великая пролетарская революция скоро сметет рабство. Я глядел на Леонарда Стравинского в плюшевом кресле. Леонард Абрамович болезненно, подслеповато щурился после просмотра. Я смотрел на гениального живописца Джотто, он обхватил голову своими некогда сильными, крестьянскими руками, обвитыми набухшей сетью вен.

Ника Вивальди, мой умирающий поздний друг, отрекшийся от своей сестры Одетты, уходил в коридорчик и стоял там, затихнув, как мышшь.

Старик Джотто отнимал руки от лица, чтоб поглядеть на фильморегистрера. Черная собачка тихо лаяла. Ника Вивальди приносил с кухни красный чайник и разливал жасминовый аромат в китайские чашечки. Демонстрация фильма продолжалась.

Кирпичная стена. Невидимый бледно-голубой воздух. В пыльном тупике замерли в одиночестве потерянные молодые люди. Вот длинное, худое прыщавое лицо. Острый подбородок кавказского морфиниста. Смотрим в глаза — там бездна.

Страшно мне, господа.

А вот другой житель мертвеющего города — полный, задыхающийся от жары священник в белом летнем фланелевом костюме и в соломенной смешной шляпе. Он замер под старой, пыльной акацией и держит в руках черный кожаный потертый портфель с завещанием. ЭТО ЗАВЕЩАНИЕ ВСЕХ ПОДПОЛЬНЫХ ХУДОЖНИКОВ ТИФЛИСА, ГОЛОСА УМИРАЮЩИХ ДЕТЕЙ. ПЕСНИ МЕРТВЫХ.

Раздобревший на лимоновых сдобных бисквитах, загорелый священник невозмутим, важная и почерневшая мысль в глазах. Он бы рад после кофейку отпустить грехи всем этим готовящимся к загробной жизни богемщикам.

Камера тягостно плывет по грязному, залепанному тупику.

Еще один морфинист Кавказа. Любитель гашиша. Неудавшийся рисовальщик. Голова выбрита наголо, словно он каторжник. Голая голова отливает синевой и блестит. В углу рта гнилыми зубами зажат янтарный, просвечивающий красный мундштук. Слегка дрожат сухие, тонкие губы.

Огненные, окровавленные лошади маэстро Сержа Параджанова летят по знойному небу Тифлиса.

Дома вздымались, как бани, я думал, музыка Баха, но это другого мира истоста пожирает меня стеклами вечернего рая. Вся компания кинолюдей, лихие ребята, жалкие огнепоклонники: полный человек, расстриженный священник в летнем светлом костюме, мальчишка с кинофабрики, бритоголовый морфинист, бывший девятиклассник, какой-то еще один господин и другой морфинист с острым, костлявым подбородком и жестким взглядом — эти люди влезают в мертвый храм огнепоклонников Атешиги, возле Сада Эмиров, ныне Ботанического сада, — лезут через дыру в потолке. Ноет иранская свирель. Смрадная, вонючая пещера с окаменелым дерьмом. Молчание. Молчание. Около часу тягостное молчание, и никто не произнес ни слова. Листья акаций кровоточат. Хрипло, гортанным криком выпевает плачи старик мусульманин. Обрыв ленты. Царапины на домашнем экране, на грязной, мятой простыне, перевешенной через ширму. Фильм еще сырой, удивительно сырой. Нужен хороший, мастерский монтаж, попробуйте обратиться к маэстро Сержу Параджанову, сидящему пока во внутренней тюрьме НКВД за разложение мировой культуры.

По экрану забегали ржавые царапины. Кадр оборвался.

Ника Вивальди сидел, сжавшись, в вольтеровском кресле.

Я лежал на диване с торчащими ржавыми пружинами и молча глядел на моего учителя и школьного товарища с абсолютно седой головой. Я лежал расслабленный, с закрытыми глазами. В подвале подпольных художников одной западной кинофирмой был организован международный кинофестиваль. Джотто уступил для такого мероприятия свой мрачный подвал. Куда денешься, если правительство просит?..



Демонстрируется с успехом сюрреалистический фильм «ОДЕТТА и ФИЛЬМОРЕЖИССЕР ПЬЕРО». Сальвадор Дали согласился нарисовать афишу. Запросил за нее три мятых, изодранных кавказских рубля. Рассчитаемся! В подвале много съехавшихся из свободной, либеральной Москвы гостей. Едут они на Кавказ за щедрыми угощениями, терпким, головокругительным вином, шашлыками, кутежами, подарками, развратом. ЗАЧЕМ УМЧАЛСЯ НА ГИБЕЛЬНЫЙ КАВКАЗ?.. Кинопрофессора и киношлюхи в оранжевой помаде, звенящей на вульгарно-сладострастных губах. Слава киношлюхам!.. Я вижу в подвале, где идут конкурсные фильмы, одних лысоголовых, в парижских белых костюмах с лиловыми платочками в кармашке длинного с разрезами пиджака, в белых туфельках. Лезет к нам в подвал толпа враждебных зрителей, набухших пивом и водкой. Вот они, знаменитые желтые носки доктора кино Альвиана Кукушкина. Он развалился вальяжно и неприлично в кресле с бронзовой спинкой, над которой навис оголенный ангел с выколотыми мальчишками глазами. Толстая, морщинистая шея одной продажной, закрашенной и подгримированной, как труп, кинодамы. Глаза шизофреничной актрисы Аловой с остановившимся, как часы, стеклянным взором. Владельцы парижской кинофирмы «Одеон» с пятнадцатью приспешниками в модных, павлиньих, искрящихся радугой сингапурских пиджаках. Экран. Белый с желтыми разводами. Простыня. Ленту склеили. Кое-что вырезали, выбросили. Я молчал. Все молчали. Я поднялся и стал осторожно бродить под экраном, во тьме. Модный кинофестиваль в подвале. Люди кино. Киношлюхи и кинобляди, стареющие, дурно крашенные кинодамы-критикессы в облезлых боа, профессора — проститутки ВГИКа. Их громкие, хриплые, пьяные голоса. Крики, визги, сигареты и анекдоты будут раздражать и злить меня, лежащего на нарисованной в моем воображении траве рядом с мокрой от росы альпийской фиалкой. Фиалка мягко горит. Я хочу, чтоб кинолюди провалились, исчезли, улетели куда-нибудь, как ночные тени, не мешали мне вдыхать в душу эту маленькую сонату фиалки. Я хочу стать прозрачным и невидимыми руками дотрагиваться с тонкой любовью до этого маленького звукового колебания. Я хочу сделаться мастером икебаны. И мягкой божьей коровкой сесть на светлую ладонь Одетты. Океан неба, два-три знойных плачущих вздоха, голые худенькие плечи девочки. Белая тонкая смятая постель. Кружева. Скрипка. Пьеро. Почему я такой сумасшедший? Почему я так люблю тебя?

«Мое сердце, птица пустыни, нашло свое небо в твоих глазах. Скажи мне: это все правда, любовь моя, это правда? Это правда, что губы мои сладостны, как раскрытый цветок первой любви?» Пьеро бросился к бордовому занавесу с плачем. «Я жажду сказать самое сокровенное слово, какое только есть у меня для тебя, но не смею, боюсь, что ты станешь смеяться. Я жажду сказать тебе самые правдивые слова, какие только есть у меня для тебя, но не смею, боюсь, что ты не поверишь. Вот почему я облакаю их неправдой, говоря то, чего нет».

Автор ФИЛЬМА НА БУМАГЕ замер у горящего шелком занавеса. Слышите, как шелестит белый-белый шелковый воротник? Как сгорают накрахмаленные кружева. «О, мир, я сорвал твой цветок! Я прижал его к сердцу, и он вонзился мне в сердце шипами. Когда день угас и стемнело, я увидел, что цветок увял — осталась только рана. О мир, много цветов благовонных и пышных будет еще у тебя! Но прошло мое время рвать их; и во мраке ночи нет у меня розы — осталась только рана».

В подвале, где идет международный кинофестиваль, где тени и крысы шныряют по рядам, вызывая истошные женские визги, паника.

Я снова глянул в зал, полузажмурившись. Тер кулаком покрасневшие глаза. Я смотрел на господ из фешенебельной публики, оттолкнувших хозяина подвала, армянина Джотто. Вот они, ярко и экстравагантно одетые богемщики. Продажные богемщики. Пожилые, молодящиеся актеры с перекрашенными волосами, развратные актрисы с блудливыми взорами, наглые длинноволосые юнцы из театральной молодежи, много раз крашенные и перекрашенные кинодамы в английских алых платьях и в черных лаки-

рованных сапогах — как для верховой езды, с бренчащими, звенящими серебряными шпорами, — купленных на толкучке. Лысые, сладкоглазые старики кинорежиссеры в ярких мягких апельсиновых рубашках и в клетчатых и лаковых, кожаных пиджаках с батистовыми платочками в кармашках, с цветистыми шарфами на жилистых, сухих, тонких шеях, с юными любовницами, какие-то страшно известные театральные художники, придушившие сапогами с железными подковками самого Ван Гога, богатые кинодраматурги со скучающими, равнодушными лицами, киномонстры и киностервы с волосами оранжево-огненными, с чудотворными прическами: «Сад гладиолусов», «Ядовитые змеи», «Сумасшедшие голые мужчины». Я вижу даму. Я вижу тридцатилетнюю женщину, мягкую и чистосердечную сумасшедшую красавицу — развратницу Аню, отдающуюся раз в месяц старенькому певцу-импотенту Мосе Ксандровичу, что пел с книжкой талмуда в сафьяновой обложке в левой руке, а пстом эмигрировал в Израиль, где стал распевать нежным детским тлетворным набожным голоском в синагогах за бешеные еврейские и американские деньги. Ксандрович — сладкоголосый любовник. «Все у нас символично», — доверительно шепталась с подругой Аня, пожилой певец помнет Аню легонько напудренными пальчиками, повздыхает, посопит блестящим носиком мышонка с маленькими дырочками, задохнется от ужаса перед могучей сладостью крепкой, здоровой, неистойвой, наверное, с другими любовниками женщины — и лопнет, как воздушный детский шарик, улетучатся грусть и страсть дряхлого, сверкающего лысым лбом народного артиста, и одарит Аню парижскими чулками, дорогим бельем голландским с кружевами, брильянтик какой-нибудь малюсенький преподнесет ко дню ангела на ладошке обезьянки похотливой и раздражительной, купит в Бельгии платье. Дома старая прожорливая, жадная еврейка-жена, взрослые дети и нахальные, рвущие из горла кусок внуки, давно подавшие в ОБИР на отъезд. Из каждой гастрольной поездки он что-нибудь да пришлет развратной арлезианке. Аня — бездарная чтица-декламаторша филармонии, объявляет номера в концертах, накрашена и напомажена, с шиньоном. Из Крыма недавно Мося Ксандрович прислал своей обворожительной пылкой любовнице дельый ящик перламутрового, дурманящего брызжущим соком винограда. Старой жене купил голубой унитаз для ремонта квартиры. Были здесь в подвале, на кинофестивале, укывшиеся во тьме толпы острозубые, никогда не наедающиеся сценаристы, богачи и дельцы от кино, лысые и плешивые, грассирующие и картавящие осторожными, застенчивыми, словно извиняющимися голосами, и самый богатый из этой банды — Натан Жар-Басаров (бывший Кшондзер), дряхлый муж юной балерины из Киргизии. Снявшейся в одном шумном, красочном, экзотичном фильме о лошадях и конном заводе. Натан после ловкой женитьбы на молодой несчастной женщине, брошенной с ребенком от одного киносыночка в огромных черных очках в итальянской оправе, Натан удачно перешел на безопасную фамилию жены, сделался вроде киргизом с местечковыми томными и страшными глазами, полными тайной мглы вероломных тупиков коридоров власти.

Глядите, внимательно и зорко глядите по сторонам!..

Публичный мужчина и публичный поэт Женька Улиткин, сам себя переводящий на английский. И директор театра миниатюр из Собачьего тупика с четырнадцатилетней любовницей.

Яркие, буйные краски. Глазам больно от цвета нарядов.

В глазах фейерверк от всех этих джемперов, желтых атласных бабочек, сюртуков с горящими позолотой пуговицами, алых мундирчиков, черных официальных фраков, смокингов, ярко-алых шуршащих юбок, оголенных длинных ног; тяжелых, угрюмых накрашенных глаз и наклеенных влажных ресниц из кипящей солнцем киновари.

Я вспомнил, как однажды меня, юного акробата из спортивной секции общества «Динамо», вместе с другими акробатами зав. труппой Казенного театра из-за недостатка ловких, увертливых статистов пригласил принять участие в нашумевшем балете с Венецианским Мавром в заглавной партии. Три рубля за каждое выступление зав. труппой, маленький, печальный человек в рыжих расползающихся ботинках, прижулил, зато он дал нам возможность не только побывать на знаменитом спектакле, но и сыграть в

нем сначала воинов, берущих штурмом и защищающих крепость, а во втором акте — связанных гремющей ржавой цепью пленников Венецианского Мавра.

Нас пригнали в пустой театр за час до начала триумфального спектакля, окруженного толпами восхищенных поклонников и балетоманов, бросающихся на нас, протаскиваемых за руку акробатов, через толпу. Во мраке было холодно. На сцене горел одинокий фонарь, он ловил неутомимого шестидесятилетнего Мавра, который, разминаясь, совершал по глухой сцене провинциального театра с облупившейся и помертвевшей, померкшей позолотой свои бессмертные, неутомимые прыжки, вращения и полеты. В черном трико, в белой рубашке, в пестрых, молодежных носках с разноцветными кубиками, с вдохновенным лицом в черном гриме и красными накрашенными губами, задыхаясь от волнения, творческой радости, захлебываясь черным влажным горячим потом, с шеи и лба катящимся в раскрытый рот, Венецианский Мавр, Хозяин балета, Хозяин театра, вертелся, пытаясь словно унести, удрать из настойчиво и хищно преследующего его луча.

— Эй! — кричал кокетливо Мавр вверх, электроосветителю, подобострастно лоящему его своим белым огнем. — Эй! Экономь электроэнергию! Не трать на меня наше государственное электричество!

И пена брызгами летела во все стороны с его взмыленного измазанного сажей лошадиного лица.

Мы восхищались. Мы стояли за кулисами и видели так близко рождение шекспировской трагедии. Мавр снова прыгал, скакал возбужденно, размахивал и взмахивал руками, зависая в невыносимо долгом и низком, но кажущемся сверхвысоким прыжке над пропастью оглохшего, пустого, обалдевшего зала.

Мы видели Дездемону. В белом платье, в розовых чулках, с худой некрасивой спиной в веснушках и прыщах, ключицы выпирали, как у курицы, золотоволосая, с поблекшими буклями, с синими водянистыми, пустыми глазами, она замерла у палки, у репетиционного станка, и ловко поводила упрямой ножкой.

Синеглазая кукла с фальшивыми, мертвыми глазами, молчаливая, с маленькой обидой и славой сжатым ртом.

Она сделалась знаменитой на весь город, станцевав Дездемону, — молчаливая, самовлюбленная, немножко злая; мы, юные акробаты из миманса, смотрели на нее с холодным восхищением и почему-то с жалостью, нам казалось, что она не женщина, а заводная кукла и она умрет, остановится, как только раскрутится пружина, на которую ее каждый раз перед началом спектакля заводил ржавым, искривленным ключом зав. труппой, аферист и прощелыга, мелкий жулик и обирала немых статистов, выносящих, как театральные рабы, каждый раз длинный, бестолковый, ненужный канделябр с потухшей желтой свечой. Дездемону можно было унести, украсть, спрятать в подарочной коробке, перевязанной красной атласной лентой. Любой из наиболее романтических поклонников мог бы на ней жениться или хотя бы попросить ее тонкую, стеклянную, хрупкую, маленькую руку с зеленым колечком на мизинце. Но если ключ от куклы будет потерян, то влюбленному в нее придется от тоски покончить жизнь самоубийством. Венецианский Мавр использовал ее нервные и трепетные данные, ее шаг и прыжок, золотые искусственные волосы и накрашенные, лунным камнем вытарщенные глаза для успеха своего спектакля, он мастерски ревновал ее на сцене, под восхищенные аплодисменты тифлисских обывателей и не менее мастерски душил в самом конце шекспировской трагедии, заламывая руки и вертясь вокруг распластанной бездыханно на постели юной балетной жены.

Мавр считал, что вывел безвестную балеринку из горемычного кордебалета в люди, дал ей станцевать такую выигрышную партию, прославиться, но при этом интриговал, делал ей маленькие гадости, чтоб она не зазналась и чтоб не оказалась сильнее Мавра в театре, — это было его обычной тактикой.

Стравливать своих подчиненных партнеров, выдвиненцев, кусать их подколдной змеей, давать рольки и маленькие партии, не брать на гастроли, оговаривать, вдруг снова восхищаться и при этом шептать, что балерина, танцующая с ней в очередь, по всему театру распространяет слухи о без-

дарности соперницы. Так же он относился и к третьему главному исполнителю премьеры, другому своему выдвиженцу — Яго.

И Яго, и Дездемона ненавидели Мавра, но терпели его власть, были его партнерами не только в театре, но и по игре в карты. Они собирались в громадной пятикомнатной квартире хозяина театра, который жил одиноко, стареющим, желчным, капризным холостяком, держа в экономках поставшую вместе с ним высокую, худую, молчаливую, уродливую женщину с костяными ногами и длинными оттопыренными ушами. Она позволяла себе даже покрикивать на гениального Мавра на правах всевластной кухарки, домработницы и прачки, в накрахмаленном переднике и старомодной прическе с высоким узлом жестких волос и бронзовой наколкой, которую Мавр преподнес ей тридцать лет назад, наняв ее как молчаливую, безропотную прислугу.

Как на самом деле звали кухарку, не имело значения, Мавр с иронией называл Олимпией, она была холодной, безучастной свидетельницей всех маленьких и великих, ужасных, безобразных тайн его насквозь прожженной балетом, испорченной премьерами и постановками, интригами и вероломством жизни. Она была безразлична к его мировой и провинциальной славе, стирала его трико и трусы, носки и шаровары для балета «Корсар» и ни разу в жизни не была в Казенном театре, не видела ни одного балета с его участием, ей это было безразлично, она считала его стареющим несчастным жадным мужчиной с капризным женским характером, ходила по магазинам, базарам, рынкам, гастрономам, лавкам овощным и мясным, тащила в дом провизию и одежду из химчистки, стирала — руки ее были раздены мылом — холодной, плохо пенящейся водой, глаза слезились, краснели, она варила, жарила, парила, резала, натирала, процеживала, запекала, готовила Мавру каждое утро простоквашу, отваривала морковь, была ответственной за диету, следила за его здоровьем, измеряла градусником температуру, ставила ему клизмы, горчичники, пиявки, делала компрессы, массаж ягодич, выгуливала его, как кота, а если ожидалось множество поздравляющих с днем рождения или с премьерой гостей, злобно, с неудовольствием отдавалась приготовлению изящнейшей снеди, готовила сациви, жарила шашлык, испекала торты с затейливым кремом с кружевными розовыми и голубыми цветочками, вертела сверкающую ручку громоздкой, громыхающей мороженицы, раздевала в прихожей гостей, снимала с них плащи, пальто, шубы и пелеринки, выдавала назад котелки, цилиндры и трости, а потом мыла несколько дней горы грязной посуды, тарелки, стаканы, фарфоровые старинные блюда, синие звенящие фужеры, серебряные ножи и вилки, волочила на мусорку завалы объедков, остатки торта с высохшим, кусками отваливающимся недоеденным кремом, кормила его многочисленных котов и кошек — как одинокий мужчина он обожал и жалел кошек, — а потом вытряхивала половики и ковры, стирала скатерти, оттирала пятна, мазала мастикой пол, проветривала накуренную залу и только глубокой ночью, прогнав и проводив вон последних гостей и жалких, угодливых поклонников, она падала замертво, голодная и усталая, на свой маленький облезлый диванчик, что беспомощно ютился возле чулана, за дверью кухни. Венецианский Мавр не мог обходиться без Олимпии, костлявой и со страшными, холодными глазами самоубийцы, презирающей его балетную жизнь и его изнеженные и злые капризы, она презирала его и обожала, она могла громко осуждать Мавра, ругаться, визжать и даже скучно — как старое, выжившее из ума животное — плакать безучастно долгие часы в одиночестве, и Мавр ни за что не приближался к ней, устыдившись с протянутой к несчастной голове рукой, но она была нужна ему, она исполняла партию рабыни в его домашнем спектакле, исполняла все прихоти и капризы самодура, а любому замаскированному подхалимничающему недругу, который осмелился бы исподтишка сказать про Мавра колкость, она выцарапала бы глаза. Они ненавидели друг дружку, но были связаны одной цепью обстоятельств, толстенным канатом одиночества, Мавр платил ей крошечное жалованье, чуть ли не десять или пятнадцать рублей в месяц, жалуясь на нищету и малые доходы, хотя получал тысячи за свои постановки, спектакли, гастроли и держал еще нагловатого, развязного молодого красивого шофера, к которому питал нежность, хотя сам прекрасно мог управлять своим громадным, роскошным, сверкающим лаком и белеющим шелковыми за-



навесочками черным автомобилем, сначала ЗИСом, позже ЗИМом, потом «Чайкой» и наконец «Мерседесом».

Никто из гостей Венецианского Мавра не имел права обидеться на Олимпию или даже раздраженным голосом ей возразить, когда она по позднему времени гнала их вон с базарной бранью, швыряя им кепки, шляпы с бантами и котелки, а иногда модные поскрипывающие ботинки или калоши. Дездемона и Яго содержались Мавром как заложники дряхлеющей Терзихоры, он по настроению выдвигал их в своем балетном театре, давал роли, ведущие партии, а потом вдруг задвигал обратно, в темный угол, в мрак безлюдных кулис, заставлял куклами безмолвными стоять в глухом кордебалете, не брал в заграничные поездки, отнимал чаевые Министерства культуры и безнравственности, урезал ставки, при всей труппе мог обозвать шлюхой, сутенером или бездарем, а вечером, после спектакля, оба приспешника, и Яго и Дездемона, обязаны были приезжать к нему в холостяцкую квартиру с анфиладой разукрашенных комнат, чтоб за чаем с лимоном и капелькой розового коньяка в хрустальной рюмочке играть с ним, великим балеруном и балетмейстером-постановщиком эротических сцен, в карты и во что бы то ни стало проигрывать ему, применяя для этого все свое умение и ловкость. Им приходилось проигрывать ему, даже когда выпадали блестящие, беспроегранные карты, зеленеющие лицами и розовеющие сердечком сложенными губами равнодушными козырями, дамами в пестрых халатах, валетами с голубыми погонами смешных мундиров неизвестных и бесполох родов войск с шелковистыми, шелушащимися, дерзко вздернутыми кверху носами.

Мавр кривил тонкие губы кровожадной усмешкой и, вскидывая покрашенную рыжеватую бровь, нежным шепотком удивлялся, как же им вдвоем, Яго с короткой шеей, кривыми ногами и морщинистым лицом, изъеденным балетными гримасами отчаяния, злобы и мести, и ей, златовласой голубоглазой кукле с фарфоровым ангельским напудренным личиком отравительницы, удалось проиграть, имея на руках такую немислимую, пеструю, ослепляющую завистливые взоры удачу?!

Но они, подневольные артисты балета, содержащиеся в опере на ставку, которая им то возвращалась, а то вновь отбиралась, несчастные и сами подлые и вероломные Яго и Дездемона (оба союзника ненавидели друг друга и терпели свой вынужденный военно-оборонительный союз), еще отыграются на своем вампире с гладкими, стройными и уже немножко большими балетными ногами, они будут интриговать со страшной свирепостью, с искаженными крысиными лицами, как только подмостки поплывут под его вдруг одеревеневшими ступнями и он уже не сможет сделать ни одного благородного прыжка и начнет передвигаться при помощи кипарисовой черной палки с бронзовым набалдашником в виде змеиной головы с расинутой пастью и торчащим, как кинжал, языком смерти (подарок архиепископа-поклонника в черной рясе, в голубом облачении с золотыми безутешными крестами, в венценосном клобуке, который обожал самые бесстыжие балеты с самыми оголенными и самыми юными одалисками), они отрываются от изгнанного из своего родного театра балетмейстера, когда он будет танцевать, уже дряхлый и немощный, растолстевший, последний спектакль, и вдруг ему делается плохо, остановится на мгновение и вновь почему-то застучит обескровленное интригами и антраша, прожженное успехом балетное сердце, и за ним придет к последнему акту белая машина «скорой помощи», и его понесут прямо со сцены толпы кричащих от горя отвратительных, испорченных, покрашенных балетоманов всех возрастов, они ворвутся к нему, бледному, с немочью в испугавшихся смерти глазах, в его залу, где он в халате и в ночной шапочке, потеряв домашние туфли, будет сидеть в кресле-качалке, окруженный возненавидевшими его вдруг голодными котами, и заставят играть с ними, бывшими балетными рабами, с Дездемоной и Яго, в карты, обыграют его девяносто раз подряд, будут откровенно нагло играть мечеными, краплеными картами, купленными у тифлисских шулеров, а он будет захлебываться от ужаса, дрожать, отпихивать с колен вспрыгнувшего туда, орущего силным голосом ошестинившегося и выгорбившегося кота, растеряет домашние шлепанцы, останется в одних холодных капроновых иностранных негреющих носках, а они, его вечные рабы и крепостные, возьмут над ним верх, возьмут реванш за все интермедии, мизансцены, и он, бисером дрожа растарашенным, онемевшим

от горя и презрения слюнявым ртом, должен будет проиграть им всю свою жизнь, сверкающий лаком сервант, тумбочку из ореха, ковры, хрустальные вазы, подношения благодарного правительства за долгие годы успеха, унесут все его бальные костюмы, роскошные китайские халаты, бронзовую статую наложницы с ночным куполом-ночником, ночной фарфоровый горшок, давнюю голубую мечту голубоглазой Дездемоны, поволокут громоздкую ширму, расписанную жар-птицами, станут распахивать по карманам антикварные махровые, пурпурные и лиловые веера, изорвут все афиши его сверкающих успехом, как блестками, премьер и заберут назад все свои подарки, вплоть до коллекции нефритовых слоников и благим матом орущего громадного кота с ключьями опаленной, дымящейся, ошарашенной шерсти. Олимпия, кухарка, экономка и прачка, ужасно стуча костяными ногами и шевеля длинными давно омертвевшими ушами, бросится отнимать у бывших друзей дома и картежных партнеров награбленное имущество, вцепится в искричавшегося кота, любимца Мавра, в облезлый хвост его, чтоб несчастное животное в качестве расправы не утопили в мутной, буреющей пеной смерти Куре.

Но это все случится немножко позже.

А пока я ждал вместе с моими товарищами нашего выхода.

Зав. труппой грубо толкнул нас в спины, и мы полезли, разделившись на два враждующих лагеря, штурмом брать и защищать крепость из фанеры на заднем плане, в то время как весь выкрашенный черной сажей и ваксой Мавр-полководец в балетной пантомиме одними выразительными руками хвастливо вещал замирающей от восторга кукле-Дездемоне — картежнице и курильщице, с худыми, тощими, сведенными по-балетному козлиными ногами, — о всех своих подвигах и победах. Он охмурил невинную девочку, чтоб потом, по свирепым уверениям ее очумелого от ужаса свершившегося отца, изнасиловать в роскошной, венецианской, спускающейся в ад кружевной кровати. Мы, воины, избивали друг друга ватными черными подушками, махали деревянными пиками и картонными мечами, били друг друга по шлемам, кололи животы, вступали врукопашную, бежали и наспех приставляли к трясущейся фанерной крепости наши длинные, разваливающиеся в руках осадные лестницы, летели в кулисы вверх тормашками и даже пустили кровь одному пожилому статисту, вот-вот готовому уйти на пенсию, оставалось оформить кое-какие бумаги. Стычки вскипали в потемках, нас поливали горячей водой, мы терялись в клубах горячего пара, освещенного кровавыми огнями, мы тонули в мутных волнах кровавой шекспировской гениальности. Вдруг все погасло. Мрак. В антракте мы отмывали хлещущую потоком кровь из раны на лбу пожилого статиста, приносили ему свои извинения, пили с ним пиво в буфете, но он твердо обещал с нами расквитаться во втором акте, когда он будет исполнять роль хмурого, страшного надсмотрщика с деревянным убойным мечом, а мы будем приведены на голую сцену связанными одной ржавой цепью и отданы под его начало. От пожилого статиста, сыгравшего за несколько десятилетий в Казенном театре множество самых забитых, тупых ролей, несло кислым пивом; он весь был в шрамах, жалкий армянин, он почувствовал к нам, мальчишкам, расположение за три бутылки пива, вдруг стал с нами откровенничать, поведал о том, что жена его, капельдинерша, изменяет ему с пожарником и что он, как только уйдет на заслуженную ничтожную пенсию, найдет верных сообщников и подожжет ненавистный ему Казенный оперно-балетный театр, чтоб понес наказание и был брошен в страшное подземелье Ортачальской Свободной Тюрьмы этот зав. пожарным постом, рыжий и долговязый мерзавец с кислыми, топорщащимися в разные стороны, как у кота, усами. Мы были поражены тем, что он, помимо своей основной должности избитого при осаде крепости статиста, выполнял в театре еще одну, навязанную ему Венецианским Мавром обязанность — боясь, чтоб Мавр не выгнал его из театра за стареющие ноги и спину, он добровольно взялся закупать для всех котов и кошек Мавра, живущих и разводимых в театре, как в живом уголке, вонючую копченую рыбу и ловить мышей.

Подрагический армянин, жалкий артист миманса, ненавидел этих гнусных котов, он пытался уговорить их самих отлавливать себе пропитание, серых безобидных мышей с несчастными милыми хвостиками, он ползал на коленях, отвратительно мяукал, фыркал, мотал взъерошенной головой, зна-

ками показывая котам на сжатую в его ладонке мышь, замученную и полудохлую, и, как играющий с мышью, призывал бросаться за своим несчастным кормом в погоню.

Но коты и глазом зеленым не вели, только, злобно шипя, дрожали кончиками обозленных усов и вдруг, испорченные и избалованные бесплатной кормежкой и подлым пресмыканием перед ними этого деревенеющего конечностями и всеми обижаемого статиста, исполнителя ролей воинов, горожан, палачей, крестьян, рабочих, матросов, мертвецов и призраков, вдруг бросались на него с воем и царапали своими железными когтями за непослушание и попытку избавиться от исполнения своих унижительных обязанностей.

— Вот я уйду на пенсию! — заговорщически шептал он нам, подмигивая и оглядываясь по сторонам. — И подожду театр! Сожгу всех котов вместе с несгорающим, как железный сейф, Венецианским Мавром, а дежурного рыжего пожарника пусть судит народный суд района имени 26 бакинских комиссаров.

Но ему незачем было оглядываться и прятать за ужимками и дрожащими пальчиками, мокрыми от пивной пены, свои страшные угрозы: весь мелкий технический, обслуживающий персонал давно уже слышал о гнусном преступлении, задуманном отчаявшимся безмолвным артистом миманса, даже зав. труппой, вор и жулик, знал, даже кое-кто из дирекции, но всем было выгодно, чтоб Казенный театр на время сторел — вместе с массивными сейфами, бухгалтерскими книгами, кассой, мешками с невыплаченной зарплатой, и все они толкали и подталкивали с мелкой издевкой замученного обидами плюгавого, пожилого, седенького артиста миманса на страшное государственное преступление!..

Спектакль шел к концу. Нас и в самом деле тщедушный, с маленьким горбом статист отколотил деревянным мечом, когда в качестве пленников, связанных самой настоящей цепью, мы были брошены к неподкупным ногам венецианского черномазого полководца. Колотя нас, наш друг и сообщник подмигивал нам белым левым слепым глазом; мол, все еще впереди, ребята, за мной последнее слово Казенного театра, пожары и суды еще впереди, вот только бы мне побыстрее оформить себе ничтожную, годную разве что на три дня пропитания гнусного кота пенсию артиста миманса, а уж там факелом смолистым и пылающим вырву отмщение за трусливые слезы, катящиеся росой по грязным щекам. При виде занесенного над нашими сжавшимися головами могучего меча, уstraшенные статисты, мы и в самом деле поверили в беспощадную расплату и были потрясены: неужели он пойдет на то, чтоб наш древний, мертвеющий восточный город потерял свою единственную Оперу — единственную жалкую радость, культурный досуг своры визгливых, царапающихся ногтями балетоманов?! Но смотреть долго в его дергающееся судорогой обиды кошацье белмо было невыносимо. Потом под гром аплодисментов последовал всех ошарашивший, вошедший во все учебники мирового балета Мавританский танец — судороги, ужимки и потрясывания испачканными в ваксе растопыренными ручищами!..

Потом — козни Яго, дикая буйволиная ревность безразличного к женскому полу Отелло, потом — цепь удушений и убийств!..

И наконец толпы накрашенных и много раз перекрашенных, орущих от восторга балетоманов, шумный, дьявольский успех, раскланивания во все стороны вечно жующего бутерброды сухопарого, чинного и глуховатого дирижера в помятом пыльном фраке, корзины живых и умирающих цветов, золотые ленты, роскошные подношения, конфеты, коробки с шоколадом, овации, визги, взывающие и выбегающие на шум — на просцениум — перепуганные коты, подобострастие партнеров, зависящих от своего лихо танцующего, самовлюбленного хозяина, злобные улыбки недоброжелателей, поздравления от подхалимов и приспешников всех мастей и калибров, телеграммы городской управы, ржание коней конной милиции на площади перед Казенным театром, осажденном толпой безбилетных поклонников и воздыхателей.

Венецианского Мавра, еще не разгримированного, в прозрачных неприлич-

ных одеждах, с голыми ногами и ягодицами, стадо балетоманов на высоко поднятых вместе с бронзовым креслом руках осторожно проносит к автомобилю со смазливой, хорошеньким шофером, специально в эстетических соображениях нанятым Мавром, долгие прощания, рукоплескания, рукожатия через окошечко черного громадного ЗИСа, поцелуи, похотливые и воздушные, кортеж автомобилей и мотоциклов с ревущей сиреной, газовый шлейф Дездемоны, тянущийся из одного из окошечек свиты автомашин, хмурые швейцары, никого из посторонних не пропускающие в подъезд особняка Мавра, снопы гирлянд и свежесрезанных цветов у белых дверей с золотыми вензелями и венками и наконец одинокий ужин на троих, при свечах, Олимпия в роли прислуги, злая и с ненавистью поглядывающая на гостей, готовых разорвать в клочья своего благодетеля, игра в карты до утренних, измученных хриплой бессонницей петухов, вынужденные мелкие проигрыши партнеров, издевки хозяина над ними, какие-то смешные, полублюбовные, кукольные мизансцены с придыханиями, наигранными легкими поцелуями кастратов, мертвые объятия холодных, бесстрастных мужчин, Олимпия фурией в ночном колпаке с метлой на длинной ручке, как крыс, отгоняющая налипших с двух сторон на Мавра и сосущих из него балетную, бутафорную кровь, этих картежных вальяжных партнера и партнершу по кровавому шекспировскому спектаклю.

Звон разбитого бокала с шампанским. Всклипывания.

Тусклый синий свет лампочки. Зевки. Поглаживание лаптящегося кота. Дурно окрашенные, невыспавшиеся, отчужденные глаза рыжей Дездемоны в парике.

Театральный разъезд.

Яго, застегивающий ленивыми, измазанными в варенье пальцами пуговицы малинового, расшитого серебряными амурами камзола.

Лысоватый Яго с ужимками.

Вынужденный любовник.

И прощальная гениальная мизансцена за круглым ломберным столиком черного дерева, среди бокалов с недопитым, еще пенящимся шампанским. Это последняя мизансцена поверившего в измену Дездемоны Мавра!

Яго взлетел коршуном. Мавр, несчастный черномазый стареющий ревнивец, лежит спиной на столике, сбив локтем бокалы, запрокинув тяжелую, грузную в лохматом курчавом парике голову, а Яго, взлетев, опустился на его грудь одним сапогом, наклонившись над поверженным, распростерши коршуном крылья, свирепо торжествуя над своей жертвой.

А рыжая, с дурно подведенными голубыми глазами куклы сообщница ночных попок, неисправимая картежница Дездемона, рассыпает фонтаном, цветистой сверкающей радугой шлейф подпорченных мелкой звероподобной ненавистью к хозяину дома подлых карт.

Однако в подвале армянского художника Джотто продолжался международный кинофестиваль.

Фильморежиссер Пьеро изнывал без Одетты.

— Смешно! — закричала княгиня в горностаевой мантии, трясущая девяностолетней осыпающейся куриными белыми перьями головой. — Вы не могли так влюбиться!

— Наивно! — прошептал с завистью прославленный постановщик Суковский.

— Любви нет! — визжал бледный юнец с длинными волосами в белых брюках.

— Молодой человек! — властно, желчно и самодовольно улыбаясь, произнес при воцарившемся молчании доктор кино Альвиан. — Вы что, с луны свалились? Вы желаете сказать, что жили себе так вот двадцать семь одиноких лет и вдруг в один прекрасный день в январе пришли в театр балета и, обнаружив какую-то балеринку из ваших детских сновидений, неожиданно и загадочно влюбились на всю жизнь?

— Так не бывает! — вздохнул богатый сценарист Натан Жар-Басаров и



махнул тростью с золотым набалдашником и блеснул перстнем с изумрудом на толстом и волосатом мизинце.

— Я верю! — вдруг донеслось откуда-то издалека, это был страшно известный всей богемной столице голос Аловой.

Та самая Алова, что втрескалась в актера Ваську Васечкина, который бил эту свою жертву сапогами.

— Я верю! — повторила Татьяна Алова, на ней было звенящее платье в малиновых шариках-бубенчиках, нежно дребезжащих при вздохе растолстевшего после родов тела. — Он должен был влюбиться.

Алова родила мохнатого бурого медвежонка. Пыталась утопить новорожденного. Судили. Не дали отказаться от материнства.

Она отдала сына на воспитание в московский зоопарк.

В детдом для незаконнорожденных зверей.

Раз в месяц в темных очках, с любовником, она навещала сына с мохнатыми лапами и когтями, затертого в клетке другими медведями.

Она привозила несчастному медвежонку ярко-оранжевые апельсины и шоколадные конфеты «Мишка на севере».

Оставляла слугителю зверинца, отъявленному, беспросветному пьянице, три рубля.

— Купать будем, мыть будем, гаспажа! — лживо кивал татарин.

Грянул дружный смех.

Актрису Алову никто не принимал всерьез.

Я поднялся на просцениум и замер под великим белоснежным занавесом. Мое бледное лицо дрожало.

— Господа! Вы хотите сорвать кинопремьеру? — спросил я.

Публика замолкла. Демонстрация фильма продолжалась.

## ФИЛЬМ НА БУМАГЕ.

Я был воспаленной бабочкой.

Меня носило по свету.

Меня носило из одной дальней стороны в другую дальнюю сторону.

Это адажио, мокрое от моей крови, вылетело из твоего маленького и большого сердца в дождь, сырой тифлисской ночью, когда ты замирала в окне и молча звала на помощь.

«О, мама, юный принц проедет мимо нашей двери, — как же я могу думать о работе в это утро? Покажи, как убрать мне волосы, скажи, какое мне надеть платье.

Зачем ты глядишь на меня с изумлением, мама!

Я знаю, что он ни разу не взглянет в мое окно; я знаю, что он скроется во мгновение ока, только замирающий звук флейты, рыдая, донесется издали. Но юный принц проедет мимо нашей двери, и хоть на миг я надену свое лучшее платье. О, мама, юный принц проехал мимо нашей двери, и утренним солнцем сияла его колесница, я откинула с лица покрывало, я сорвала с груди рубиновое ожерелье, я знаю, что оно было раздавлено колесами колесницы, что осталось красное пятно в пыли и что никто не знает, чем был мой дар и кому он предназначался.

Но юный принц проехал мимо нашей двери, и я бросила самоцветный камень с груди моей к его ногам на дорогу».

Господа зрители!..

Кто подаст мне руку в этом фиолетовом пространстве?

Эта скрипка и тифлисская балерина, их невыносимое адажио расковыряло как иглой мою старую, еле зажившую осеннюю рану.

Эй, врач! Дайте мне побыстрее ландышевых капель для сердца.

Три прозрачных ландышевых капли в стакан с водкой.

Ваше здоровье, господин Чайковский! Что-то вы мрачны в шестой симфонии? Что вас беспокоит?.. Аа... понимаю! Это ваша острая, мучительная и невыносимая тяга скрипки, которую вы сочинили давным-давно, это черная, сверкающая смертельным ядом игла идет к вам назад, через столетие, и больно колет навывлет в грудь маленькой точкой.

Это месть злого гения, плода вашей больной и бессильной, прекрасной, светло-ущербной фантазии. Но вы меня не вовлечете в омут вашего пессимизма.

Как невыносима, прекрасна эта голубая и прозрачная музыка!

На вашем лице отпечаток огромной духовной силы, господин Чайковский.

Но вы умираете. Но все равно вы умираете.

Чайковский вздрагивает, печально и напряженно глядит в мое лицо, потом поворачивает седую голову и вслушивается, всматривается в адажио.

Маленькие слезы тихо катятся по его высохшим, желтым щекам.

Я подставляю ладонь, и ладонь моя делается мокрой от этих слез.

— Одетта спасет! — шепчу гению.

Эта белая угасающая птица, соната призраков, эта одинокая и маленькая слеза Чайковского.

Она в сдержанной и холодной страсти ревнует; птица, обрывая белые лебединые перья, плачет. Я вздрогнул. Так вот о чем пела скрипка?

Так вот отчего так несчастна и прекрасна одухотворенная Одетта!

Одетта! Я хочу дать тысячу имен моей возлюбленной.

С каждым мгновеньем в Пьеро все ярче разгорается любовь к Одетте. Смотрите, смотрите, господа, вон автор фильма на бумаге.

Посмотрите, господа, видите — там в углу бара с бокалом коньяка?..

Это он в черном смокинге, какой-то болезненный.

— Где? Где? — раздался голоса.

— Который? — громко спросила толстая оголенная дама в сиреновом, переливающимся павлиньими красками платье с широким вырезом на потной спине с прыщиками.

А еще меня рассматривает, щурясь, кобылистая статная девица в макси из монет и в золотых египетских браслетах из раскопок на худых, длинных, беспомощных руках.

— Глаза тоскливой и больной собаки! — предположил седой и тощий старик, оператор.

— Вам нравится конкурсный, подпольный фильм? — спросил репортер еженедельника «НЮ» коренастого человека с обрюзгшим выражением лица и наглыми глазами.

Все вокруг замерло. Мониста не звенели. Веера не шелестели длинными и дохлыми страусиновыми перьями. Публике было любопытно мнение этого господина. Это был доктор кино и профессор ВГИКа.

Он вздрогнул, и осклабился, и сверкнул взором.

— Какая картина? Одна пустота? Бумага?

Репортер, бойкий молодой человек в клетчатом пиджаке, зловеще усмехнулся и торопливо зацарапал в своем блокнотике.

— Гениально! Гениально!

Одна старуха в соболях мурлыкала. Репортер в клетчатом пиджаке мигнул вспышкой фотоаппарата.

— Но фильм интересный! — вдруг раздался теплый и грудной голос. Все обернулись. Странная и влюбчивая Алова, запершая родного сына-медвежонка в клетку московского убогого зоопарка с толстыми ржавыми прутьями. На ней серебристое мантио, во рту попыхивает французская сигаретка. Широко раскрытые голубые глаза с поволокой, под левым глазом навис взбухший страшный фонарь, выбитый с одного удара кулаком Васьки Васечкина.

Лицо Аловой бледно и напудрено. Она вспомнила клетку. Она заплакана.

— Фильм волнует! — повторила она томным, обиженным голосом.

Ей было приятно, что все смотрят на нее и, может быть, жалеют.

Коренастый доктор кино, деспот и подхалим с начальством, напоминающий только что вырвавшегося из крепостничества мужика с топором, сверкнул стальным глазом.

— Убью! — пробормотал он глухо.

— Не мешайте демонстрации фильма! — сердито зашикали с галерки лохматые, неприятные, давно нечесанные юнцы в грязных, рваных майках.

— Шизофреник и алкоголик! — закричали.

— Пьеро — алкоголик?

— Он не курит и не пьет. Только белое сухое вино. Десертные вина Грузии.

— Большое сердце!

— Все равно опустившийся алкоголик.

— Дурак! Романтик!

— Все подпольные художники пьяницы!

— Ура!..

Черная птица залетела в демонстрационный зал, в нанятый Голливудом подвал господина Джотто Карапетяна.

Долго летала бумажная несчастная птица. Потом уселась на лысину доктора кино.

— Одетта! Одетта! — закричал автор.

Одетта разглядела автора в оранжевой рубашке, загорелого, с худым лицом. На берегу Черного моря Одилии. Она помахала ему рукой.

Но почему он встал? Он поднялся и идет куда-то по пляжу, обжигая босые ноги о горячий песок.

Автор фильма исчезает в сознании. «Был полдень, когда ты ушел».

Балетоманы во главе с Игорем Кошкиным и его старшим другом, известным на весь Тифлис разовым постановщиком модных танцев, Юргисом Пендереккисом, замерли у белой колонны.

Было тихо. Казенный театр. Юргис замер в фойе. В экстравагантной, кричащей рубашке, малиновой звенящей куртке, волосы, жидкие и выцветшие, богемно растрепаны; окруженный мягкими и женоподобными молодыми людьми, он хищно сверкал глазами, вглядываясь в проходящих мимо мужчин. Игорь Кошкин ревновал его к своему интимному приятелю, лысому низенькому молодому человеку с влажными серыми печальными глазами, грузину-католику.

Игорь Кошкин держал преданного ему, как котенок, католика за вспотевшие пальчики, а сам другой рукой оперся о дружеское плечо Юргиса. Золотой браслет блестел на тонкой кисти.

Я медленно шел мимо этих старожиллов закоулков, кулуаров, задворков Казенного оперного театра и курил трубку. Я плыл в облаках густого сизого дыма. Я поклонялся Одетте, безответно и глупо любил ее, а они ходили сюда как профессионалы обнаженного мужского тела, циники и корыстные, дотошные знатоки мужских бедер и ягодич.

Балетоманы наводнили Оперу.

Вдруг послышался тонкий голосок. Мышиный писк. Я вздрогнул.

Этот голосок шел от маленького старичка гномика, он подтянулся на цыпочках, рассматривая мои глаза.

— Что вам надо, гномик?

Это был дряхлый, но настойчивый, как умирающая муха, балетоман, сохранившийся еще с николаевского режима, патриарх любителей обнаженной, извивающейся мужской природы Кавказа.

Молодые балетоманы гнали его прочь. Он безутешно плакал.

— Вы знаете, почти вымерли юноши, желающие сожительствовать со стариками! А ведь был и такой вид балетной любви!..

Хочешь получить партию, как говорил Мавр, стань моим нежнейшим другом, овладей мною где-нибудь за кулисами, за декорациями, в темном подвале, на куске грязного брезента.

Ах, вы не знаете, скольких святых юношей я соблазнил в сезон 1913 года! Вот был урожайный год!..

Старичок был седеньким, лет ему восемьдесят, он в желтых брючках, желтом пиджачке и накрахмаленном жабо. Маленькие и высохшие ручонки, которые он воздевал к потолку, тряслись.

— Я влюблен, влюблен, влюблен! — декламировал, дрожа свисающим кадыком, припудренный старичок. — В эти липы, в этот клен!..

— Ах! — кричал он детям на утренниках. — Отдайтесь мне, и я в буфете угощу вас газированной водой со смородиновым сиропом!..

Я захлопнул дверь своей ложи.

ЮРГИС ПЕНДЕРЕЦКИС приехал в наш маленький, заплеванной семечками южный город из свободолобивой Прибалтики. Юргис всю жизнь боролся за свободу нравов. Он попал к нам в качестве артиста-плясуна ансамбля песни и пляски Закавказского военного округа. В свободное от военных упражнений и стрельбы по круглым мишеням, по черному профилю человека время он таскался в Оперный театр, быстро свел знакомство с Венецианским Мавром, который сделался его нежным покровителем, а после отбытия военной службы в народно-сержантском ансамбле с пожилыми солдатами, армянами и евреями в старенькой форме с изжеванными погонами, был принят в кордебалет Оперы. Но в Опере он продержался недолго, он подружился с влиятельными балетоманами, их дружками и покровителями, подружился с мафиозным крестным отцом — диктором местного телевидения — и сделался членом этого всемогущего клана.

В клан балетоманов входили спекулянты, жулики, кандидаты педагогических наук, торговцы краденым женским бельем, массажисты, неудавшиеся музыканты, уголовные преступники, а также чиновники Министерства культуры Тифлиса всех мастей и рангов.

Юргис Пендерецкис стал ставить маленькие и яркие, эротичные, броские и взбалмошные танцевальные номера на всех сценах, для всех коллективов (даже в клубе МВД и трамвайно-троллейбусного управления), вертелся в филармонии, в драмтеатриках, на телевидении и даже умудрился поставить румбу на радио — в эфир шло притоптывание каблуков и задыхающееся дыхание Юргиса. Он завел кучу сберкнижек, а потом потайной сейф, куда складывал прибыль, которой щедро делился со своими покровителями и телохранителями.

Но он и сам не зевал, сам брался охранять тела мальчиков, которых отыскивал, жадно, как хищник, рыская по всему восточному, давно умирающему городу, где много молодых, бравых, усатых мужчин за хорошую плату, джинсы или японский транзистор готовы были развлекаться напропалую с настойчивым Юргисом ночи напролет, пока не обворовывали его, связав, заткнув в рот кляп и вынося из роскошной антикварной однокомнатной квартирки Юргиса начисто все, от громадной хрустальной люстры с тысячью подвесок до мышеловки, не считая отрезки, бриллианты, видеоаппаратуру, шелковые халаты из Японии, наборы праздничных тувель. Но Юргиса Пендерецкиса этим невозможно было приструнить.

Грязные деньги текли к нему ручьями и реками и попадали в руки уже отмытыми. Юргис Пендерецкис сто раз посмотрел «Вестсайдскую историю» и, переняв все мизансцены, приемы и прыжки, подражая бродвейским постановщикам, стриг и стриг с их нашумевшего детища купоны, распыляясь даже на постановку утренников в детских садах.

Он, впрочем, не тратил никогда больше одного дня, одного часа на самый громоздкий, громохочущий и венценосный танец! Приезжал на своих красных «Жигулях», иногда не вылезая из-за руля, махал в спущенное ветровое стекло, ерзал на сиденье задом, выделявая позы, а ритм сопровождения несся с кассеты его маленького миниатюрного автомобильного магнитофончика, потом подзывал к себе бухгалтера, подписывал счета, бумаги и, дав газу, летел в сберкассе.

Балетоман и балерун на колесах, он пользовался своим транспортом, колеса по городу, чтоб выскивать и заманивать в свою еще более помпезную и богатую после очередного ограбления квартирку-бонбоньерку какого-нибудь здорового хмурого курда-грузчика, мушу, уличного хулигана или бедного, голодного студента.

Раз как-то мотор заглох, когда он на бешеной скорости гнался за громадным синим троллейбусом, в котором в окошечке ему приглянулось баранье лицо усатого водителя. Юргис, человек экстравагантный и вдохновенный, загорелся безумной мечтой совратить этого глухонемого шофера троллейбуса, грязного, немывтого деревенского увальня из Дигоми.

Но мотор автомобильчика Юргиса заглох, и Юргис в отчаянии в своем полосатом голубом пиджаке с золотыми разрезами и в красных уругвайских штанах побежал за скрипящим от ржавчины, как телега, троллейбусом. Он вцепился в двери, повис на подножке, рисковал жизнью, глаза его испанно слезлились от ветра, потом, когда двери расхлопнулись, он ринулся в переполненный народом салон, расталкивая удивленных пассажиров, по-



путно прижимаясь к молодым пассажирам-мужчинам, закатывая от наслаждения свои измученные и взмыленные глаза, и вот ворвался в кабину, обнял перепуганного деревенского здоровяка за медвежьи плечи и шею народного борца, ухватился за баранку, вырулил на тротуар, в сторону своей однокомнатной бутафорной квартирki; он шептал могучему водителю, что он может даже не выключать троллейбуса и пассажиры подождут, а они вместе взбегут на третий этаж и ненадолго запрутся, повалятся на широченное турецкое ложе с балдахином. Водитель отпихнул сумасшедшего маньяка с накрашенными глазами, троллейбус наехал на фонарный столб, зазвенев, посыпалось стекло, раздалась визги ушибленных пассажиров, которые стали лупить Юргиса ногами и кулаками; потом прикатил на синем тарахтящем мотоциклете с коляской толстый, с жирными отъевшимися щеками кавказский беспощадный автоинспектор, и Юргису, доставленному в участок, при его деньгах и влиянии в городе благодаря мафии балетоманов ничего не стоило откупиться, причем он вместо ста рублей штрафа предлагал пятьсот, влюбившись и в этого случайного на своем жизненном пути человека, в прожорливого толстяка в милицейской фуражке, надетой набекрень. Но автоинспектор просто отнял у Юргиса все его наличные деньги и вышвырнул за грязную, облеванную дверь.

Юргис не горевал. Он нашел и другие источники доходов.

Помимо утомительных прыжков, поз и бешеных ритмов канкана.

Члены банды балетоманов свели его с воротилами финансового мира вечно пыльного города, и Юргис стал привозить из гастрольных поездок валюту, скупал и перекупал драгоценности, не брезговал старинной живописью, собрал удивительную и баснословную коллекцию голландской миниатюры семнадцатого века и исправно делился доходами и антиквариатом с отцами старого, умирающего от одиночества города и с теневым правительством подпольной тоски.

Венецианский Мавр по-прежнему вынужден был поддерживать отношения со своим бывшим протеже из ансамбля песни и пляски Закавказского военного округа, но завидовал, обижался, страдал, наблюдая в бессилье, как тот вырывает у него из оскаленного криком рта лучших и самых стройных мальчиков балетного Тифлиса.

Но ссориться с Юргисом в открытую было опасно: Мавр был народным артистом, лауреатом международных премий, почетным членом жюри многих балетных конкурсов, а Юргис — в дружеских, приятельских деловых отношениях с отцами города, с мафиози; поставляя им девиц из кордебалета, он участвовал с ними в опасных валютных операциях.

Знаменитому Венецианскому Мавру нашего города приходилось состоять в фальшивых, лживых дружеских отношениях со сделавшимся всесильным Юргисом. Но он ненавидел базарного халтурщика и спекулянта, перебивавшего у него в самом зачатке самые пламенные и романтические романы с нежнейшими юношами с чистой воды голубого налива глазами.

Однако ссора росла нарывом, и Мавр страшился, что дни его сочтены. Он терзался, плакал, запирался в гримуборной на всю ночь, не отпирал, жаловался на свои обиды стареющего премьеры гнусаво орущим котам, наводнившим Оперный театр, и, не дай Бог, если кто обидит или хотя бы приласкает его кота.

Выцарапает глаза такому обидчику Мавр.

## ПОТОМ ЛЕНТА ОБОРВАЛАСЬ.

В руке Пьеро багровая роза.

Красивый кадр.

В вонючем зверинце кричал медвежонок, сын равнодушной киноактрисы Аловой.

Одетта звала меня на спектакль. — Хочешь быть моим партнером?!

Тащу на спине громадную корзину с пышными увядающими хризантемами. — О, КРИЗАН-ТЭМЫ, ДАВНО ОТЦВЕЛИ...

Она удивленно обернулась. Корзина от поклонника?

Худое, усталое, лошадиное лицо балерины с лошадиной челюстью.

О Боже, зачем я, рыцарь, избрал ее дамой своего бумажного сердца?!

— Одетта! — громко позвал я.

Она не видит несчастного Пьеро.

Я — пустота.

Цветы, как мусор, корзину с мусором вчерашнего праздника, она опустила на худые колени.

В благодарность она шепчет мне:

— Давай станцуем с тобой что-нибудь из третьего акта? Хочешь?

Я готов. Коленки дрожат. Натягиваю на несчастное мое тело черное трико.

Публика партера настороженно глядит на меня.

Балетоманы кишат в первых рядах, как черви.

Дирижер взмахнул палочкой. Дирижер нетрезв. Налакался пива в антракте.

— Идем на коду! — шепчет солистка.

Я — обманутый обманщик.

**ПЬЕРО! ПЬЕРО!**

**ЛУННЫЙ ПЬЕРО!**

Одевальщики переодели мое тело в зеленое трико.

Больной юноша в зеленом трико и с искаженным лицом. А другой танцовщик, обтянутый в малиновое, отталкивал его, рыдая туловищем и гибкими балетными руками. Отодранные, вырванные с мясом из тела аккорды. Белое, напудренное лицо босого человека в малиновом трико.

Человек малиновый и зеленый летит, вытянув руки, крестообразно, грудью на геометрически изломанную девушку.

Жаждают любви Одетты.

**ПЛАЧЬ, ПЛАЧЬ, БЕЛЫЙ ПЬЕРО ИЗ УВЯДАЮЩЕГО КАК КРИЗАНТЭМА ТИФЛИСА!..**

Балерун в зеленом мертвеет.

Во тьме скрип.

В дом девочки-балерины моего детства я пришел.

Меня, кавалера, ожидают у японской ширмы с птицами. Молча ждут прокаженного душой жениха. Одетта с веером и в кимоно.

Нас много. Поклонников.

Сидят влюбленные женихи, мужчины-торгаши и юнцы с розовыми крыльями из ваты за спиной.

Сидят печально обманутые девочкой мужчины на низеньких, выкрашенных черным лаком скамеечках. Любовники курят. Только Одетта нервно ходит.

Не может выбрать судьбу.

— Детей не буду иметь! — подняла брови. — Не хочу!

— Не могу!

— Не желаю!

— Поздно!

Одетта! Одетта!

Я вошел мокрый из-под тифлисского осеннего дождя.

Плачущий над собой Пьеро!

Я смеялся над любовью, что пропала.

Воротник пальто поднят. Намокший лист клена в руке. В другой фиалки.

Гости девушки поднимают свои лица. Мертвецы.

— Bravo, maestro! — кричат.

Одетта вспыхнула.

Потом тишина стала ледяной.

— Любовь? — прошептал кто-то.

Я бережно опускаю фиалки на подушку.

Пусть подберет их случайно. Она.

Плачь! Бумажный Пьеро! Пьеро!

Плюньте в мою душу.

Юноша в зеленом трико мертвеет.

Во тьме скрип двери.

«Отчего светильник погас?

Я закрыл его плащом от ветра — вот отчего светильник погас.

Отчего цветок увял?

Я жадно прижал его к груди — вот отчего цветок увял.

Отчего ручей иссяк?

Я запрудил его, чтоб он служил мне, — вот отчего ручей иссяк.

Отчего струна на арфе порвалась?

Я пытался извлечь из нее звук, превышавший ее силы, — вот отчего струна порвалась».

«О мир, я сорвал твой цветок!  
Я прижал его к сердцу, и он вонзился мне в сердце шипами».

Я тороплюсь в пыль. В бывший Тифлис. Тифлисцы носят яркие купленные за бешеные деньги у спекулянтов вещи и задыхаются в пыли. Старый пьянчуга — бывший Тифлис — глядит на меня с удивлением. Я бегу к нему, прихрамывая, сгорбившись и раскрыв объятия. Нищий оборванец глядит мне вслед. Но он не зовет меня. Тифлис каждую ночь прощается со мною, слыша, как я умираю. Мне некогда беседовать с городом, утопающим в платановых мягких листьях, о вечности. На ходу я бросаю моему родному городу медную монетку. Монета звенит о мостовую. Тифлис давно молит за меня, бродячего кавказского спившегося бога с мутными, красными, выпученными глазами. Тифлис молит за меня своего бога. Я бегу из города детства в город старости и забвения. Я бегу в надвигающийся акварельными вихрями листьев город из обветшалых декораций. Оревуар, Тифлис!  
Я замер, как бродяга, у Оперного театра.  
И смотрю в тифлисское, меланхольное, панихидное, немножко пьяное небо, откуда только что спустился на тоскливых сумасшедших дрожках без лошадей. Лошади удрали. Пурпурные лошади Параджанова летят по небу Тифлиса. Они уплывают в память о великом фильморезжиссере.  
Эй, маляры и штукатуры любви, хватайтесь за мастерки и ведра.  
Спасайте мою жизнь!

А кто еще там в пустоте?

Глядите! Глядите!

Моя персона нон-грата в стране любви.

Я выдуманый. Я лгун.

Палачи Тифлиса! Освободите меня от бремени всех моих пыльных грехов. Я снова вижу мираж в Тифлисе, цветной сон, расплывающийся огоньками слез, стройную фигурку балерины в красном, весеннем пальто, ярко-рыжие крашенные волосы Одетты. Я очень тороплюсь. Мне надо на базар, выкупить цветы, что я заказал накануне. В церкви голубое пение. Волосатый, весь заросший, как дьявол, бородой дьякон хрипло, жадно поет о любви. К деньгам. Я иду через цветущий осенью Александровский сад с Кашветским собором с византийскими сказочными фресками Ладо Гудиашвили. Моего субутильника. Ангелы рыдают от печали за нашу жизнь. Ладо Гудиашвили был изгнан из Академии художеств за скорбные глаза грузинских сказочных героев и святых. Ангелы поют на тифлисских чернильных, несущихся к Дидубе небесах. Солдатский базар. Цветочный ряд. Спекулянты и перекупщики роз. Человек в синей громадной кепке связывает и заворачивает в газету букеты алых, белых и пастельных роз.

Я молодец. Я становился живой гибелью.

Человек-кораблекрушение. Мадам! Я к вашим услугам.

И вот я сидел в такси, как в розовом саду. Благовонный аромат нежно разливался во чреве автомобильчика и подавлял меня.

В автомобиле засвистели соловьи.

— На свадьбу? — спросил шофер.

— Не знаю, — пробормотал я.

Оранжевая на колесах затормозила. Окно балерины. Господа фильмозрители! Вам не любопытно?

Я выскочил из лилового авто, как сумасшедший, в непонятном, цветном бреду. Розы кровоточили на заднем сиденье. Я улетел. Я куда-то улетал на коньке-горбунке. Мама, мне страшно!

Эй, любители пирожных! Лакомки! Профессора, кондуктора и протодьяконы!

Ловите в огромные, марлевые дырявые сачки на длинной палке обезумевшего конька-горбуна.

Я стучу кулаком в окна Одетты. Шевелится на легком ветерке занавеска. Шевелится в полумгле на полу крыло белого умирающего лебедя. Это домашняя бутафория актрисы. Любовник исчез из спальни. Крылья мешали им в кровати. Они зашвырнули их под кровать. Крылья осыпаются белым пухом перьев. Окно в спальню распахнуто. На спинке стула платье. Я напряжен. Меня не слышат. Меня не зовут. Куда цветы?

На улице тихо. Утро. Дворник скребет метлой тротуар.

У тебя на руках умерла любовь, вашей встречи ты помнишь вечер?

Умирающие розы стали бросать в тазы и лохани, заполненные до краев холодной водой. Крик этих красавиц был невыносим. Почти безумен. Я никогда не думал, что цветы так мечтают жить.

И вдруг я и Одетта замерли.

От мокрых роз исходило, клубясь, коралловое, оранжево-золотистое сияние. Малюсенькие цветные капельки, как радуга, звенели, пылая.

Беда. Беда.

Поднимите синюю плиту в старом соборе на Майдане, где спит Саят-Нова. Ашуг любви.

Приведите его в бордовом армянском одеянии.

Шагай по иранскому ковру, ашуг. Человек с длинными волосами монаха упал на колени.

Заплакали женщины в черном. Слезы моей матери высохли на камне. Я хотел зарыться с головой в чистый песок детства. Я невыносимо влюбился в девочку в окне. Молчаливая, печальная девочка. Темными вечерами она звала, одиннадцатилетняя, своих будущих мрачных мужей.

Ветер! Ветер! Что звенишь ты мне, одинокому?

Ты принес мне тоску и розу,  
ты принес мне новую боль,  
тифлисский пыльный ветер.

Желтый ворон вдохновенья моего  
полетел к вороне сумасшествия.  
Что поет ветер? Ветер Тифлиса поет о кораблекрушении.

Конек-горбунок из балета!

Отзовись!..

Мой милый конек-горбунок, меня оплевали.

Не плачь, мальчик! Не плачь, смертельно больной младенец!

У тебя все еще впереди. Ах, мальчик, мальчик,  
ты такой глупый.

Мальчик-сороконожка.  
Мальчик фиолетовый.

Лягушки! Лягушки!  
Что несете вы, зеленые лягушки?  
Тебе униженье. Тебе униженье!  
Лягушки! Лягушки из Александровского сада  
моего детства,  
за что?  
Глупый, отвратительно глупый мальчик.  
Тебе надо  
в черную пропасть.  
Следуй за нами. За нами.

Почему?

Месье бумажный Пьеро, не задавите судьбе глупых вопросов!

Юргис Пендереккис и Венецианский Мавр враждовали. Мелкая неприязнь из-за балетных и всяких других мальчиков перешла в жестокую, подпольную вражду. Хотя внешне при встречах на премьерах и концертах, на творческих вечерах и прогонах, генеральных и оркестровых репетициях, встречах с творческой общественностью они вежливо раскланивались, даже обнимались и иногда притворно, фальшиво целовались, но зрочки как одно, так и другого разъярялись и наливались испорченной черной кровью, как у коршунов-могильщиков. Ставки были слишком высоки в этой кровавой, смертоубийственной балетной игре. Венецианский Мавр жалел, что когда-то заметил и приблизил к себе, обласкав и впустив в кордебалет ловкого, наглого участника ансамбля песни и пляски Закавказского военного округа. Теперь Юргис Пендереккис давил Мавра, наступал ему на пятки, завидовал положению главного балетмейстера, перебивал иногда поклонников, бледных балетоманов и юношей восторженных и чистых. Юношей худеньких, начинающих жите.

Связанный с уголовными кругами, картежниками, сам картежник и шулер, спекулянт, делец, валютчик и перекупщик краденого, он пытался подкупить кого-нибудь из теневого правительства Тифлиса, а также исполнителей смертных приговоров, вероломных дел мастеров, проигравших ему должников карточных, чтоб затравить, изгнать из театра, лишить почета и любви горожан и публики, обесчестить святое великое имя и самому сделаться хозяином балетного Тифлиса, а самое главное — крестным отцом околбалетной, совращающей души возни, сделать всех балетных мальчиков своими рабами и наложниками.

Венецианский Мавр нервничал, злился, капризничал, впадал в истерику, чувствуя, как балетная сцена выскользывает у него из-под постаревших, больных, скользящих на ровном месте, негнущихся ног. Но он был артистом старой закваски, имел за плечами Санкт-Петербургскую школу, мог мелко интриговать, вести себя, как капризная женщина, делать друзьям мелкие пакости, но на жестокую, откровенную, вероломную и пахнущую убийством борьбу был не готов. Он проигрывал свой поединок с Юргисом Пендереккисом, валютчиком, скупщиком краденого, махровым спекулянтом и знаменитым педерастом, совратителем молодого поколения города. Венецианский Мавр сдавал одну зону влияния за другой.

Меньше ставил, болел, сделался уныл, глаза тускло светились, хныкал, обижался на своих голодных котов, которых забывал покормить, неделями не разговаривал с преданной ему и ненавидящей его экономкой Олимпией.

— Чтоб на Плехановском проспекте ты не появлялся! — как-то, нахмутив накрашенные и торчащие брови, прошепелявил ему холодным, страшным голосом Юргис Пендереккис. — Это моя зона!

И не смей подъезжать на своем черном авто ни к кинотеатру «Комсомолец» после вечернего, последнего киносеанса, к группам неискушенной, но преступной молодежи, не совращай моих питомцев, не лезь ни к заднему, грязному, подозрительному, страшному двору летней филармонии, ни к парикмахерской, а самое главное — объезжай общественный мужской платный туалет возле райкома партии.

— Там кругом мои люди, они перережут тебе горло! — угрожал Юргис Пендереккис.

Венецианский Мавр побледнел, всплеснул нарочито руками, проделал какую-то визгливую пантомиму извивающимся от возмущения телом и бросился вон. Он не мог танцевать, не мог придумывать все новые мизансцены своей стареющей, блеклой с погасшими мишурой, и бисером, и блестящими жизни, не сочинял чувственных, эротичных балетов. Балет без уличной любви потерял для него свою голубую, кроличью кровь.

Все было оплевано.

Мавр Венеции терял свою верховную, державную власть.

Он изорвал в отчаянии свои балетные туфли, туники, розовое трико, меньше кривлялся оголенный по утрам перед овальным, мутным, с зелеными пятнами позора старинным зеркалом, по утрам плакал в подушку, и его не раз видели приезжающим на репетиции с глазами выплуканными, красными, одинокими, страшными. Юргис Пендереккис, его бывший выдвиже-

нец и протее, посылал ему по почте красочные открытки с новогодними угрозами, запугивал при помощи своих дружков из воровского мира, пытался срывать спектакли, распространял о великом тифлисском балеруне и балетмейстере грязные слухи, издевался исподтишка и открыто.

Сам же Юргис процветал, однокомнатная квартирка его каждую ночь горела огнями, озарялась хрустальными подвесками фантастической люстры, пели электронными оркестрами сразу три японских магнитофона, на экране телевизоров, по видео он демонстрировал своим любовникам пять или шесть эротических балетных фильмов о мужской любви, в квартирке-бонбоньерке устраивались банкеты, оргии с самыми распущенными богемными балетоманами города, здесь плясали обнаженные знаменитые лесбиянки, шампанское лилось рекой, кружились пары, из разрываемых в страсти атласных голубых и красных подушек летели к потолку облака гусиного свежего пуха, из китайских одеял голые гости составляли палатки и шалаши, пьяные и веселые, они постигали с самых азов до академии все интимные тонкости и подробности коллективной, общественной любви, становились в круг, держались за бока друг дружки, связывались бездумно в китайские вертящиеся колеса, играли в гигантские шаги, обнаженной командой на обнаженную команду, хохотали, визжали, проигрывали в карты любовников, Юргис Пендерецкис голый, извиваясь, плясал на столе весь репертуар ансамбля песни и пляски Закавказского военного округа, а утром невыспавшиеся и хмурые гости разъезжались по своим службам и учреждениям, кто в исполком, кто в райком, кто в ВТО, кто в артель по пошиву особо изящной обуви, кто на мясокомбинат, кто в районный отдел милиции или в прокуратуру мертвеющего Тифлиса или даже в Свободную Ортачальскую Тюрьму; имелся среди участников вальтургиевых ночей и вакханалий один собаковод на протезе, который заманивал на пиры и танцы юношей города при помощи дорогих породистых щенков, дарил возвращаемым выращенных им служебных собак.

Ошивалась возле квартирки Юргиса Пендерецкиса банда балетоманов. Служили здесь лакеями и распорядителями вечеров и банкетов, официантами, массажистами и банщиками, их главарь Игорь Кошкин в синем пиджаке с золотыми пуговицами, который никогда не выпускал руку печального лысоголого католика с нежными улыбками, которые он посылал грязным кавказским мужчинам, влез в компанию балетоманов и бывший тифлисский армянин, изменивший свою старую, почтенную фамилию на грузинскую, более выгодную для карьеры, врач, специалист по лечению сосудов ног, Ашотик Асламидзе, который заманивал в свою клинику при общежитии студгородка молодых бездомных красавцев из деревень Грузии, страдающих болезнями вен и сосудов, делал молодым парням уколы в ягодницу, ставил клизмы, массировал зады, обнимал и целовал зады и животы, успокаивал, сочувствовал, дарил деньги, облегчал боль в желудке. Ашотик Асламян был очень богат, папа его, врач-гинеколог, оставил ему кабинет и крупное состояние. Ашотик выполнял любые повеления Юргиса Пендерецкиса, старался с ним не ссориться, но иногда тайно перехватывал поклонников, а потом делал Юргису богатые подношения, а Юргис посылал ему больных юношей, зараженных им клиентов.

Все они, агрессивная армия любителей обнаженной мужской природы, подчиняясь Юргису, начали травить своего бывшего кумира и покровителя — Венецианского Мавра, бросили его в беде, хихикали, делали мелкие гадости, оправдываясь тем, что на своем веку сам Венецианский Мавр многими гадостями отравил жизнь своего балетного, несчастного, загнанного в глухой кордебалет униженного коллектива.

Одним из самых важных гостей оргий был приятель и дружок Юргиса, недавно назначенный министром культуры умирающего Тифлиса.

Новоиспеченный министр был внуком давно умершего композитора, всю жизнь он всем казался мямлей, медленно бормочущим какие-то вялые слова, заканчивал в юности какие-то заплесневелые музучилища, музтехникумы, бесконечно долго за тупостью учился в консерваториях, воровал скрипичные ключи и пряники, писал понемножку мелодии с чужих сочинений, на радио исполнялись его глухие, монотонные, скучные оперы, а в детстве школьные товарищи хватили его и окунали в пожарную бочку с гнилой, зеленоющей, вонючей водой, а будущий композитор вырывался, плакал, кричал о том, что он пишет ораторию и ему нельзя простуживаться. За-



хлебывался. Потом немножко подрос, завел знакомства с отцами города, влез в музыкальную провинциальную среду, что-то протаскивал, что-то печатал, где-то дирижировал, исполнял и рос в длину всю жизнь, как шест, до пожилого возраста, даже шестидесятилетним человеком продолжал расти, получая лауреатские звания, — долговязый, длинный, как жердь, музыкант с влажными от детской слюны губами, с щепоткой грязных крысиных «гитлеровских» усиков.

Он мелко интриговал всю жизнь, так что почти не оставалось времени для сочинения опусов, тоскливых хоров и украденных у всех немецких романтиков, у Шумана, Шуберта и Мендельсона, симфоний. Получив власть и сделавшись министром культуры оплеванного города, стал преследовать молодых талантливых композиторов, ставил себя выше великого Захария Палиашвили, иногда инкогнито, под гримом и в парике Моцарта, приезжал повеселиться на вечерок Юргиса Пендерецкиса, неприметно тянул коньячок и хихикал, от волнений и удовольствия хватался за сердце, капал в бокал валерьянку.

Ашотик Асламян-Асламидзе измерял ему холодное, как у рыб, пониженное кровяное давление, каждый раз на колени ему насильно усаживали размалеванную кокотку, и он, лапая ее костлявыми холодными пальцами, умолял ее для возбуждения напевать ему в сморщенное волосатое ухо, дрожащее от радости, арии из популярной, сочиненной им в трусливой агонии мелкого пакостника оперы.

Юргис Пендерецкис потребовал от него в качестве платы за добытое с его помощью кресло министра культуры — изгнание Венецианского Мавра из Театра!!!

Тощая жердь, глуховатый композитор с усиками и свинцовыми глазками, потускнел и без того тусклым глазом трупа. Он шевельнул рыжими усиками, задрожал макушкой, еще более вытянулся, как вешалка, и дал кровное слово.

— Не выполнишь — не получишь Сталинскую премию! — предупредил Юргис Пендерецкис. — А я уже хлопочу через мэра Тифлиса!..

Над бедным и роскошным, помпезным, и изнеженным, и страстным, и вдохновенным, и капризным Венецианским избалованным успехом Мавром с пылким лицом в сапожной ваксе — нависла смертельная угроза.

Кроме того, Юргис обыграл крупно в карты мужа его выдвигенки Одетты, которую Мавр вывел на большую сцену и к которой в данный момент питал нежность как покровитель и благодетель. Она вытеснила из афиши Дездемону, она была его успокоительницей, мыла ему ноги, пела ему комплименты, он даже удочерил ее, обещая после смерти своей наследство. Ему надоела экономка Олимпия, он задумал из балерины Одетты сделать свою домашнюю крепостную и домработницу, ухаживающую за кошачьим царством. Одетта притворялась, что согласна, ведь он угрожал, что не станет больше заниматься в спектаклях.

Проигравший большие деньги в карты Юргису муж Одетты дал слово выбросить свою жену с чердака на мостовую.

Это было бы моральным убийством Мавра, который, будучи чувствительным, привязался к Одетте как к своей кошке, при помощи нее держал в страхе и подчинении Олимпию.

Вот как закручивались события, все эти кукольные интриги на маленькой сцене Казенного театра, который задумал поджечь старенький, несчастный статист, артист миманса с кривыми волосатыми ногами, чья жена, толстая капельдинерша, изменяла ему с рыжим, рыжеусым, громадного роста и могучего телосложения пожарником в золотом римском сверкающем обвислом дырявом шлеме, на который любили прыгать, отчаянно крича, коты Венецианского Мавра.

Бумажный Пьеро не догадывался о беде, нависшей над его возлюбленной.

Я — бумажный Пьеро — несу ей охапку цветов.

Слышишь, Одетта, как плачут мои несчастные цветы, жирные, влажные, благовонные розы всех мастей, колеров и нежных, угасающих перламутровых оттенков!..

Кто я? О, Одетта!

Я не флейтист, не художник, не карточный шулер, не твой грузный с нахмуренным взглядом мясника муж!

Я не Венецианский Мавр!

Я не шмель гудящий, хоть и дикий ревнивец.

Я не долговязый министр культуры мертвого Тифлиса.

Я глупый, отвратительно глупый мальчик.

Не плачь, беложровный мальчик!

Тебе давно надо в могилу!

Тебе надо в пропасть.

Зеленые лягушки. Ядовитые жабы моего детства.

Фиолетовый мальчик в белом жабо. Бумажный Пьеро.

Все было тихо. Как в морге. Мои желтые губы прошептали:

— Цветы вымирают в Тифлисе.

В утро балерины. Эй, Пьеро, к ней, в какую-то светлую и новую весну!.. В безвозвратность. Двери квартиры Одетты широко распахнуты. На гладкий столик я бросаю эти влажные, умирающие букеты с Солдатского базара.

— Что это такое? — вздрагивает она.

— Это цветы.

Розы Розы. И отчаяние.

— Зачем так много цветов? — тихо и удивленно спрашивает она.

В светлых одеждах. В светлом платье. Выдуманный мною ангел, Слеза. Это сновидение. Цветы и эта молодая женщина.

Пьеро! Пьеро!

Будь доволен тем, что урвать удалось летучей улыбкой, беглой слезой, мимолетным взглядом, тенью любви!

А ты хотел получить всего человека? Ты слишком дерзок! Пьеро! Что ты можешь дать взамен?

— Ах! Сколько цветов! — радостно говорит она.

Она отыскивает какие-то вазы, банки, кувшины, кастрюлю.

На столе целое развернутое и промокшее в дожде войско.

Кровавая пасть последней весны. Розы кровоточат, как больные десна. Светло в комнате. Благоухающая свежесть.

Я несу блюдо, залитое до краев водой. Там, тесно прижавшись, вздрагивают розы — эти мои дети. Я опускаю несчастных на стол. Розы, пурпуровые, дышащие мглой прощания, внезапны, как крик сумасшедшего. Вот я возложил венок на тумбочку, рядом с белой подушкой. Другой венок на кровать Одетты. Куда еще поставить цветы моего отчаяния? Я собираю зеленые листья. Колючки.

Она протянула мокрые ладони, и я отдаю эти листья и вздрагиваю.

Мои пальцы коснулись ее влажных ладоней. Весна! Светлая и безумная весна. Май! Навсегда это теперь замуровано в мою больную грудь.

**ФИОЛЕТОВЫЙ МАЛЬЧИК СОШЕЛ С УМА.**

Она тонкая и хрупкая. Это не сон? Я вижу так близко любовь.

Солнце умирает в окне. Наверное, я сумасшедший. Что-то сдавило в груди. Мне тяжело. Я вижу близко ее глаза.

За что мне такое счастье?

Я могу коснуться руками ее рук. Лучистые глаза твои люблю.

Я рыдаю, и она это видит. Я молча улыбаюсь. Почему мне так тяжело?

Я хочу быть с тобой всегда. Всегда видеть эти руки, слышать этот голос. Я боюсь тебя, мне так хорошо с тобой.

Блюдо с кроваво-бронзовыми розами пылает на столе. Копна распущенных волос захвачена гребнем. Счастья, как много счастья в этом лице. Одетта подходит к занавеске, отодвигает ее — там растет фиалка.

— Прохожие любят эту фиалку, — задумчиво говорит Одетта.

Я молчу. В ее руке маленькая багровая роза.

Бумажный Пьеро прощается с Одеттой. Ему плохо, господа. Вот я иду мимо католиков в лиловой рясе, лиловое пылающее утро главы грузинской автокефальной церкви. Тягучий запах его цветов кружит голову. Кругом клумбы, разбитые ангелами. Я хватаюсь за прутья черной ограды. Маленькая собачка надрывается в злобном лае. Собачка ревнует католика к розам.

Я оцепенел и долго, отчужденно смотрю на цветы. Надо привести сюда Одетту и сказать ей:

— Смотри, Одетта! Это любовь, которую ты отвергла.

Я пробираюсь в Сионский храм, и древняя прохлада тьмы заключает меня в известковые, осыпающиеся ладони. Мрак пятого века. Христианство в Тифлисе. Одиноким храм на Востоке, и тьма ползущей на него исламской саранчи.

Старец-храм хмурит лоб, кровью сочатся глубокие морщины воспоминающий. Все спит бесконечным, глухим сном. Овца и пастырь.

Когда же, наконец, проснутся грузины?.. Братья мои грузины.

В этой тишине я начинаю различать едва слышный, призрачный звон. Я слышу в полумраке слабый звон. Лучи встают над моей опущенной головой, огонь греет мою задавленную грудь.

Моя дрожащая рука.

Смотрите, фильмотрители моего фильма на бумаге! Смотрите!

Собор отрывается от земли и мягко летит в тифлисском бледно-малиновом, зеленеющем, душном небе. Я остаюсь один на камне, а собор медленно улетает в небо, как голубь. Слышите речной запах усталой от мутного дождя Куры? Все соборы Грузии летят в вечность. Они покидают город, который их предал.

Вот на овальной картине в бронзовой раме в музее царица Дарья.

Она потеряла царство. Дарико валялась на малиновом, ягодном ковре в черном шелковом платье с лентами венценосной, пурпурной страсти к властолюбию и заливалась, бедная, истеричным женским плачем.

Она искрушала крошачимися от любви к халве зубами батистовый царский платочек и в негодовании возмущенно была серебряной туфелькой в лицо старого слугу со сморщенным, как ветхий персик, лицом.

Грузия восемнадцатого века, истерзанная врагами и заговорами, медленно кончалась, умирала, задушенная торгашами в цветистом хурджине мацонщика.

Старинные ружья и сабли с кинжалами на стене, на коврах, равно как и гордые песни были уже ни к чему.

Песни можно было скрутить в пергаментный свиток Георгиевского трактата и опустить навечно на дно кованого сундука, в нафталиновую бездну, а сверху навалить белья и золотую парчу, корону же — сдать в музей искусств. Островежную корону последнего могучего грузинского царя, царя царей Востока, унизанную рубинами, алмазами и слезами сверкающими грузинских ангелов-младенцев.

Вай! Вай! ЧЕМО САКАРТВЕЛО! РА МОГИВИДА САМШОБЛО?!

О родная земля, Расскажи, что с тобой?

Грузия вяло ворочалась в цветистом ковровом мешке с хурмой и дынями. Мягкотелая государыня, желтолицая и провинциальная дама, взяла в малюсенькие, белые, породистые пальчики, смазанные иранской мазью, французскую сладкую сигаретку.

На белой скатерти кровотоцит влажная и сочная бордовая чурчхела.

Белый-белый с белой бородой слуга в огненно-алой черкеске и со стальным дамасским смертоносным кинжалом, спящим в серебряных ножнах, вежливо-вежливо кланялся кахетинским иконам и государыне-кекелке, что валялась на полу.

И капризничала.

— ЧЕМО БИЧИКО! — тоскливо простонала свергнутая государыня и

оправила вылезшие из-под грузного тронного платья малиновые и розовато-белые кружевные юбки. — Мой Бичико!..  
— Вассал моего вассала — не мой вассал! — огрызнулся седоусый слуга.

Седой и желтый, древний, как кувшин, слуга-наперсник беззвучно плакал, трясая мягкой, слабавольной бородой.

Зубки царицы были остренькими и черными от разгрызания грецких орехов. Любимое лакомство. Из грецких орехов варят кипящее смолой безумно сладкое, завораживающее преобразованием, черное, как сон, варенье. Каклис мураба!

Бледно-желтое небо давило на стекла. Ишак, загнанный, торопливо перебирал ножками, весь в краснополосатых мешках, хурджинах, подгоняемый крестьянином в тушинской шапочке, шел по бульжнику в гору.

— Комиши! — кричал бесшабашный торговец в черной шапочке. — Желтая айва! Желтая айва!

— Вай ме! Мой трон шатается! — шептали беззвучно обидой вспухшие губки дамы, валяющейся на холодном мраморном полу.

— Вай! Вай! — рыдал мягко и вежливо белый старик.

Струна плача, вытянутая из моей гортани, дрожала и звенела в ответ, пылая на солнце кровью.

Бумажный Пьеро из Тифлиса, прощайся с древним городом!

Город давно умирает — умирающий город, ты умираешь вместе с ним.

— Эй, люди! Что вы делаете! Остановитесь!

Не ломайте мой город лопатами!..

Но старинные дома мастеровых и ремесленников, закопченные и с потными стариковскими лицами беззубые дома, живущие одиноко возле Куры на Песках, разбивают. Много раз они тонули в Куре и все же выплыли, и вот новые люди города, изгнанные старинных воспитанных дам, захватившие власть в мэрии, торгаши и спекулянты честью святой земли, уничтожают Пески!

Пусть вместо древнего города будет автостоянка и одинокие жестяные желтые, скрипящие от тоски карусели.

Вот на карусели, на лошадках и верблюдах, пучеглазых и напуганных, покружим старичков-дворян и мелких кахетинских помещиков, сололакских торговцев, благовоспитанных фабрикантов.

ФИЛЬМ НА БУМАГЕ.

Пыль над развалинами. Над гнилью, кирпичами и бревнами.

Обрушенные стены, отломанная штукатурка, осколки стекла.

Почерневшие рамы. Жара.

Пыль и духота.

Бумажный Пьеро! Фильморежиссер Пьеро! Поклонник Одетты.

Я шляюсь среди этих обломков, заглядываю в заваленные щебнем и грудами битого кирпича тифлиссские дворики с живописные полотна гениального Бажбеук-Меликова, карабкаюсь по разрушенным и опасно нависшим балконам.

Пусто и одиноко в брошенных мертвых домах.

Я вздрогнул.

Играют в карты воры. На белоснежном платке блестит вырезанное из груди последнего тифлисца окровавленное сердце.

Какие-то угрюмые люди сидят на барьере разрушенного бассейна дворянина и играют в меченые, страшные карты смерти.

В бассейне мокнут бронзой отломанные и утопленные амурсы со слепыми глазами.

Крылья сломаны и валяются под ногами вандалов.

Кровь сверкает и ослепляет палачей Тифлиса.

Один из них, сорокалетний, бритоголовый уголовник с большими глазами морфиниста и страшным ножевым шрамом от виска к горлу, наклонил могучую шею.

Валет. Валет. Дама.

Вцепились в лезвие бритвы волосатые пальцы убийцы.

Здесь играют в карты на мой бывший город.  
Здесь убьют белого бумажного Пьеро с кружевным воротником.  
Пьеро, шатаясь, с зажмуренными глазами идет над пропастью двора, по  
перилам ветхого балкона. Балкон шатается.

Вон, люди, горожане, смотрите вверх, там идет и не боится гибели Пьеро-  
эквилибрист!..

Я иду с зажмуренными глазами.

Морфинист швырнул в меня стальной нож и промахнулся.  
Я, замирая, подбираюсь к голубым разодранным обоям на обвалившейся  
стене гостиной. Я ищу спасения. Меня хотят убить. Меня приняли за че-  
ловека.

Оранжевый абажур с потемневшей, повисшей бахромой одиноко и бро-  
шенно глядит на меня. Из чужого уюта.

Чей-то тифлисский уют раздавлен насмерть.

Эй, братья грузины и армяне, спасайте свои патриархальные гнезда.  
Ваш уют раздавлен обезумевшей чернью!  
Ваша душа, как муха, раздавлена толстым пальцем лавочника и темного  
дельца.

Кровоточащая душа приплюснута, как муха, к желтому, сожженному  
пожаром стеклу.

Тоненькой струйкой стекает высохшая белая кровь.

Господа тифлиscopy, я снимаю шляпу перед вашей памятью.

Вы давно умерли.

Панихида завтра.

«Здесь я перешел в другую крайность и выпил воды, воды из реки Куры;  
но это было чистым безумием.  
Ибо тот, кто хоть раз напился воды из реки Куры,  
будет вечно тосковать по Кавказу и стремиться туда **обратно**».  
Кнут Гамсун.

Юргису Пендерецкису с помощью тощего, долговязого министра культуры  
города Тифлиса с серым унылым лицом и крысиными грязными усиками  
удалось свергнуть несчастного пожилого Венецианского Мавра. Теперь  
Пендерецкис тешил себя тошнотворной мыслью, что он хозяин над душа-  
ми тифлисских балетоманов, но он сам, обладая коллекцией голландской  
миниатюры, был на крючке у истинных хозяев города, у подпольного, те-  
невого верховного правительства кавказского Рима.

Их связным был очередной муж Одетты, толстоватый угрюмый картеж-  
ник-шулер с распухшим, болезненным лицом и черными, якобы засыпаю-  
щими, а на самом деле коварными, плотоядными глазками.

Державные владыки восточного, засыпанного мертвыми листьями Тифли-  
са уступили нежной просьбе Юргиса Пендерецкиса свергнуть с балетного  
трона Венецианского Мавра, к тому же муж Одетты проиграл Юргису сто  
тысяч в алые, шелковистые, горящие китайским смущением и кознями  
карты, и совместными усилиями мэрия вынесла приговор снять с должнос-  
ти главного балетмейстера Казенного оперного театра Венецианского  
Мавра за развал придворного балета.

Но Юргису Пендерецкису и этого было мало.

— Я погашу сто тысяч! — шептал он больному водяной шулеру. — Убей  
свою жену Одетту! Столкни ее с купола театра, замани на чердак и вы-  
швырни вниз, на мостовую!.. Мне надо морально раздавить Венецианского  
Мавра, а ты освободишься от очередной жены. Ну что тебе, что торгу-

ешься! Ты ведь уже как мог обобрал ее! Столкни вниз, а сам можешь окрутить худую, как курица, Дездемону в золотистом выцветшем, пахнущем нафталином парике и с томными голубыми фарфоровыми глазами! Идет? Сто тысяч!..

Юргис Пендереккис рассчитал все верно.

Одетта была очередной протеей Мавра, он воспитал ее в балетной школе, давал партии и с ее помощью травил свою другую подопечную, Дездемону, партнершу по игре в карты. Потерять театр и лишиться опекаемой им танцовщицы, шкатулки души, было чрезмерно для чернокожего, темпераментного военачальника.

И вот однажды, когда Венецианский Мавр, сопровождаемый свитой поклонников и балетоманов, приехал на своей очередной роскошной, сверкающей автомашине на репетицию, в гримуборной его ожидал маленькой, блеснувшей в цветах змей в корзине подношений от поклонников — страшный приказ долговязого, желчного, безликого министра культуры об освобождении Мавра от всех занимаемых должностей в мире балета за развал спектаклей и страшные преступления против нравственности.

Гнусаво и хрипло закричали коты. Плакали, тряся седыми головами, капельдинерши, плакала потрясенная банда балетоманов, точас крысами перебегая в стан друзей общества им. Юргиса Пендереккиса. Бледного как смерть, лишившегося сил, в обмороке, красу балетного мира вынесли из театра на носилках с черного хода и на автомашине, приспособленной для убоя случайных уличных собак, вывезли домой, где свалили в прихожей, взяв с помешавшейся от горя Олимпии расписку в получении. Приказ о снятии Мавра был написан кривым, безграмотным почерком на голубой, дышащей бальзаминол полоске нарядной бумаги с золотыми обрезками, на которой обычно печатают приглашения на премьеру членам теневого верховного правительства восточного кавказского Рима-Тифлиса.

В эту же ночь с чердака Казенного театра была сброшена мужем на булыжник мостовой Одетта.

Прима-балерина.

Уголовное дело замаяли. По кавказскому Риму ходили самые невероятные слухи о причинах гибели и исполнителях ужасного убийства. Может, сами органы НКВД распространяли их, чтоб сбить с толку толпы встревоженных горожан и балетоманов. Никто не был арестован. Похороны прошли быстро и незаметно. Из морга — на кладбище для самоубийц возле ограды Верхнего, Старо-Верийского кладбища, на котором мечтал быть похороненным сам черный принц нашего славного тлетворного города, гений и доктор кино Серж Параджанов.

У Венецианского Мавра отнялись от печального известия ноги, он целую неделю не работал у станка по утрам, а ведь даже изгнанный с позором и с котами из своего любимого Театра, он дал себе клятву до гробовой доски заниматься ежеутренним экзерсисом, чтоб не опуститься, не превратиться в жалкого городского умалишенного, над которым смеются все прохожие, а мальчишки кидают вслед камни и пивные бутылки.

Ноги отнялись, а потом Мавр начал их лечить на заграничных курортах, у народных целителей, а дома, в сверкающей люстрами гостиной, для оставшихся немногочисленных поклонников повторял порядок заглавной мужской партии в «Спящей» и в «Лебедином», надеясь вернуться снова на сцену и потрясти публику, а пока он медленно, держась за костыли, со скрипом и ужасными гримасами мучений на осунувшемся лице один под люстрой плясал па-де-труа. И ждал отмщения.

Ему аплодировала кучка оставшихся ему верными дряхлеющих балетоманов и тощих старух-приживалок, отвергнутых цивилизованным, мертвым обществом Тифлиса.

Он раскланивался, хватаясь за костыль, много раз выходил на поклон, а дряхлые балетоманы, держась за вставную челюсть и глядя осиротелых, выгнанных из театра котов, и старушки кедали к его забинтованным ногам высохшие, рыжие хризантемы.

Иногда Венецианский Мавр даже пытался петь, воображая из себя домашнего повесу-конферансье и ведущего интересной программы теневого правительственного концерта, кривлялся перед зеркалом, читал стихи об отвергнутой любви, прикладывая к губам стакан вместо микрофона, гудел в стакан, закатывая маленькие глазки мученика и жертвы.



Яго и Дездемона прекратили с ним играть в карты, как только узнали об изгнании Мавра. Они писали ему оскорбительные письма, унижали ночами по телефону, а он умолял их приехать в его громадную, одинокую, запыленную квартиру с голодными дичающими котами и сыграть с ним партию подкидного дурака.

— Приезжайте! Что ж вы!.. Я совсем один. Никого нет!  
Кроме этой идиотки Олимпии! Я один! Я калека, а Одетту, девочку, сбросили с чердака Казенного театра... Умоляю! Я боюсь! Коты свирепо окружают меня и могут сожрать!.. — Он тихо, как старичок, плакал.

— Я еще буду ставить знаменитые балеты и занимать вас в главных партиях! Я поставлю балет в городском парке или общественном платном мужском туалете, какая разница!

Главное, чтоб нашелся свой благодарный зритель!

Я заплатил большие деньги одной гадалке, чтоб она наслала неизлечимую, дурную болезнь на Юргиса Пендередкиса!

Господа фильмотрители!

Одетта умерла.

И только один несчастный Бумажный Пьеро, автор этого цветного киноабсурда, верил, что она ждет его, что еще полюбит его томные, бледно-синие глаза с поволокой, что они когда-нибудь тайно обвенчаются в бане или в бедной, обвалившейся церковке Кукийского кладбища, населенного бандитами, картежниками и морфинистами.

— Одетта! Я буду твоим последним мужем!

Бумажный Пьеро плакал.

Премьера фильма «Одетта и Пьеро».  
«ОДЕТТА И ФИЛЬМОРЕЖИССЕР — ПЬЕРО».  
АНОНС! «ОДЕТТА И БУМАЖНЫЙ ПЬЕРО».  
Студия «Тифлис — Рим» 2000 г.  
Продюсер Сержъ Параджановъ.

Автор фильма на бумаге Пьеро из Тифлиса.

Финал со всеми участниками, хором и оркестром.

Маленькое откровение автора и прощание со зрителями.

Ночь. Два часа ночи. Тифлисская сырая, грязная и нудная весна. Холодная ночь с колючим ветром, почерневшими и обуглившимися от промозглой сырости листьями кавказских платанов, чинар.

Во тьме моего глаза осела пыль с песком. Этой ночью сторбленная человеческая фигурка очень медленно бредет по бывшему Тифлису, старинному городу актеров в синих полумасках карнавала.

Я — человек. Я выбрался на площадь, сдавленную со всех сторон криками, покосившимися домами старого Тифлиса.

Это малосенький, игрушечный, великолепный город.

Кавказский Рим для толстосумов. Вечный мешок с деньгами.

Вот старое, высохшее дерево растет корнями в темный, спящий воздух. Дерево хочет зацепиться за пустой, тлетворный воздух ночи. Поздно.

Умирай, дерево!

— Мравалжамнер! Мравалжамнер! — ксилофонит шарманжа.

Это застольная, традиционная песня.

Белый Пьеро вздрогнул.

Стаканчики с терпким кахетинским вином, ледяющим твою кровь и охлаждающим голову, летят с белой скатерти моей прощальной свадьбы и со звоном разбиваются вдребезги.

Господа фильмотрители! Я женюсь на Одетте! Не верьте, что балерину сбросили с чердака Казенного театра Тифлиса и она разбилась.

Нет! Она не мертвая. Я люблю ее.

Я слышу жалкую и обывательскую пьесу. Это панихида. Я прощаюсь с любовью.

Я вскарабкался на дерево и заглядываю в окна подвала сверху. Играют три официальных человека из бюро похоронных музыкантов.

Они за медные гроши оплакивают мою жизнь.

Оркестранты бюро похоронных музыкантов в подвале армянского художника Джотто из Тифлиса.

Старичок в дырявом плаще с голубой атласной бабочкой на лиловой груди и толстый мужчина в коротком детском пиджачке и в рваной шляпе с опущенными полями.

Эти двое играют на скрипке, еще один на саксофоне.

Лицо старика смиренно, глаза мутные и голодные. Лицо могучего саксофониста багрово, как помидор, украденный на Солдатском базаре. Виолончель в руках благородной, вежливой дамы с поношенным лицом. С виолончелью дама со сдобным, циничным лицом. Дама грубовата, парфюмерна. Чулки на разбухших, толстых икрах скрипят.

Белые двери мрачного подвала Джотто распахнуты настезь.

Ночь черной, страшной собакой стоит в подворотне. Сегодня панихида последней картины армянского живописца «Зеленая лошадь».

Мы похороним ее на нашем художественном кладбище.

Леонард Стравинский по случаю похорон надел траурный зеленый фрак. Обычно он всегда носит в учреждение оранжевый.

Обнаружив меня, он протянул сверкающие розовым кремом ручки:

— Какое горе, милый Пьеро! Какой ужас!

И с печалью, одухотворенно кивнул в сторону раскрытого страшного белого гроба с золотыми вензелями, возле которого подавленно замер армянский живописец из подвала, Джотто.

Я с надрывом вздохнул и театрально стал ломать над собой свои негнущиеся руки.

Старик Джотто вцепился в гриву седых волос. Старик рыдал, как новорожденная черепаха. Черепаха не хотела жить тысячу лет. Черепаха боялась ночного Тифлиса. Тифлис — отец ночной пыли.

Джотто рыдал, как глухонемой. Впечатлительный Леонард Абрамович Стравинский в зеленом помятом фраке с развевающимися фалдами бродил по ковру. Шажки были мягкими.

Все видели, что нервничает одаренный человек.

Толстый саксофонист, скрипач и виолончелистка с обвислым подбородком завершили грустную элегию и взялись за рондо.

Это была пьеса Шумана в исполнении пожилых, неряшливых сотрудников похоронного бюро Тифлиса.

От высохшего старичка с бабочкой шел резкий дух вонючего самогона. Виолончель в голых и жирных руках дамы гудела, как труба. Эта могучая дама без бюстгальтера сладострастно насилвала Шумана. Старичок в бабочке желтел щеками. В белом антикварном гробу из комиссионного магазина Параджанова — лежал покойник.

Это была последняя картина Джотто «Зеленая лошадь — подожди меня!»

Мрак.

Всю жизнь старик корпел подслеповато над этим полотном, и, когда он закончил, мы, горе-художники, пили водку. Мы напились, как животные. Старик Джотто пригласил нас в свой знаменитый на весь кавказский Рим глухой подвал с крысами, и мы принесли в подарок счастливому живописцу свежесорванные меж трамвайных заросших путей маки.

Мы — подпольные художники Кавказа. Мы пили ясную, сверкающую водку, и огни свечей отражались в этой влаге. Мы закусывали пряными, изумрудными сливами. Леонард Стравинский полез целоваться. Он обхватил шею старика композиторской рукой, а левая, отсохшая и хилая, болталась, ударяясь о восковые бутафорные персики, выкраденные из Казенного оперного театра.

На мизинце Стравинского сверкало колечко с розовым аметистом.

Мы пили страшную, сумасшедшую водку. Мы затаили дыхание.

Лицо старика дрожало, вспотевшее.

— Лучшее, что я написал! — прохрипел он и сдернул кусок бархатной траурной ткани с подрамника.

Мы схватились за головы.

! ...а за лошадьё на задних копытах, исполинской лошадьё, бежит маленький человечек в наглухо застегнутом чиновничьем сюртуке, в черной шляпе, с тростью.

И вот сейчас в гробу спала эта картина.

В склеп мы это унесем. Старик Джотто похоронил там заживо все свои полотна.

— Пора, мой друг! Пора! — с театральным вызовом пробасил Стравинский и, подойдя к старику, опустил ладонь на чужую, горестную голову. Леонард Стравинский обернул к нам свое геометрическое лицо модерниста. Он был радостно возбужден. Этот экстравагантный и неполноценный, ущербный человек играл роль странного мостика от неизвестных творцов Тифлиса к ясному небосводу. Запах весеннего поля шел от зеленого фрака. Над головой разливались волны тройного вонючего одеколона.

— Ребята! — пробормотал он. — Давайте гроб уносить! Он схватил меня за плечи и стал отрывать от шкафа, в который я отчужденно вцепился изо всех сил.

— Что вы лезете в шкаф, Пьеро? — шипел он. — Бумажный Пьеро!

— Я буду жить в шкафу! — радостно затараторил Пьеро.

Композитор бросился к больному Нике Вивальди. Экстравагантный композитор принялся трясти его за шиворот.

— Я вам не кошка! — обиделся Ника и съежился.

Отец его был обедневшим князем и всю жизнь служил в тресте «ГРУЗ-МАСЛО».

Причем масло вечно было желтым, грязным, испорченным и несъедобным. Увы!..

Маленькая и черная собачка в розовых пальцах скулила.

Толстая дама и толстый саксофонист играли танго смерти.

Все было, как в честных борделях Тифлиса.

За нашей спиной разбили прощальную бутылку с водой, заговор от будущих смертей.

Ночь, как одинокая проститутка, ждала нас на улице.

Тяжелый гроб больно давил на мое плечо.

Вульгарная, накрашенная женщина с виолончелью заревела, как носорог. Я высморкался.

Черная бетховенская толпа зрителей молча ждала, укрывшись за мусорными ящиками в подворотнях.

Леонард обернул ко мне прижатое к позолоченной ножке гроба бледное от волнения лицо:

— Давайте плакаты! Пьеро!

Ветки тифлисских вязов затряслись в пляске святого Витта.

В самом хвосте процессии шел Ника Вивальди в наглухо застегнутом сюртуке, с непокрытой головой, сгорбленный и вялый, стеклянные глаза, это наш гениальный фильморезиссер, а рядом с этим человеком мелко трусила собачка. Собачка была на поводке. Ника обмотал его о палец. Собачка нервно металась, терлась о туфли гениального человека, вскидывая мордочку на своего потерянного хозяина.

К толпе примкнул нищий с сумой и посохом и рыжей кошкой-поводырем.

Это слепец в синих очках беды, он напоминал Сальвадора Дали.

Такой же неистовый и вдохновенный.

Слепой, шамкая, пел:

— Боже мой! Боже мой, внимли мне! Для чего ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова, вопля моего.

— Господа! — обратился Леонард Стравинский к притихшей, молчаливой толпе богомных художников, сгрудившихся у свежевырытой могилы. Гроб именно застыл на холмике у зияющего чернотой отверстия.

— Господа! В эту ночь, в эту сырую мартовскую ночь Тифлиса, мы пришли сюда для того, чтоб отдать последний поклон лебединой песне нашего многоуважаемого художника нео-рео-имажиниста, господина Джотто! В толпе раздались всхлипывания, какой-то дурак зааплодировал. Это был сыщик царской охранки в черной испанской шляпе и оранжевых сапогах.

Он пытался сорвать траурный митинг. Но валторнист столкнул его в свежую глубокую яму и стал соскребать на голову его комья.

Сыщик сначала пытался было скулить, а потом решил, что наблюдать за происходящим из могилы, из могильной тьмы, очень выгодно и что это может явиться примером рвення и, возможно, поспособствует его дальнейшему продвижению по службе.

Сыщик в оранжевых сапогах внимательно притих и прислушивался к непонятным звукам подземного царства.

— Мы хороним сегодня душу господина Джотто! — всхлипнув, закричал Стравинский. — Мы отдаем ее на съедение червям, мы дружно осеняем ее крестным знамением и отпускаем в бессмертие.

Леонард Стравинский в модном фраке с разрезами, вдохновенный и артистичный, оставлял красивое впечатление.

Движения его талантливых рук были плавными и мягкими, он словно дирижировал богомным, подземным человеческим оркестром.

— Мы все — люди из богомного подполья! Творцы, заживо погребенные при ненавистном режиме Николая Второго Кровавого, замурованные в собственные эфирные оболочки, подпольные люди, испытывшие слишком много на собственных шкурах. Мы, зарывшие свои горячие судьбы в черствую, каменистую землю, — мы говорим сегодня нашему старому собрату, — Леонард Абрамович глотнул ночного, темного воздуха кладбища и взмахнул мертвой, сухонькой ручкой с пылающим во мгле аметистом. — Ты велик, Джотто! Ты велик и бессмертен, армянин и живописец, бессмертный старик!

Сыщик в яме заплакал, сморкаясь.

— Твоя душа этой ночью отлетает в вечность, в никуда, чтоб слиться с мировой душой, распятой на Мировом Кресте.

Роза вечности ждет тебя, армянин!..

Так лети же весело!

Боги Кавказа ждут тебя в подворотнях!

Боги жаждут!

— Аминь! — вымолвил из могилы сыщик в оранжевых сапогах. Джотто сидел рядом с заколоченным гробом, где спала вечным сном его последняя картина. Сырой ветер шевелил его седые волосы. Седые клочья.

— Видите, господа, в небе зеленую лошадь? — шептал композитор.

— Ага! — раздались неуверенные голоса.

— Я вижу лошадь! — пробормотал сыщик в могиле.

— Слово товарищу по гимназии господину Лилипутову, бывшему музыкальному эксцентрику и куплетисту.

Головы присутствовавших с любопытством обернулись, к гробу пробирался высокий, стройный старик со злыми, холодными глазами, бакенбардами, алебардой в руке, похожий на благовоспитанного англичанина.

— Я Арнольд Лилипутов! — просипел он. — Я ненавижу этого зазнайку Джотто!

Все застыли, пораженные.

— Я ненавижу его за ложь! За лицемерие! За бездарность.

Он вбил себе в голову пятьдесят лет назад, что он гениальный художник,

хотя самая обыкновенная посредственность.

И все эти годы имел наглость воображать себя непризнанным, несчастным и отверженным.

Этот пустой гордец и честолюбец играл в Джотто.

Кто же дал ему право, этому прохвосту, присвоить псевдоним великого и почтенного человека?

Но пробил час, явились трубадуры, и маска должна быть сорвана!

И сделаю это я — друг его детства и товарищ по гимназии!

Ты ничтожество, Джотто! — закричал бывший иллюзионист, тряся бакенбардами и размахивая алебардой. — Ты воючка и скорпион!

В толпе произошло замешательство.

— Зарыть его в могилу! — кричали люди.

И озверевшая толпа сбросила г. Лилипутова в свежерытую яму прямо на голову сыщика охраны в оранжевых сапогах.

— Господа! — взволнованно обратился к обществу подпольных творцов Стравинский. — В нашей среде ожили хамелеоны! Господа, будьте бдительны!

Будьте выше своей гениальности! Носите с достоинством благородный крест оплеванного подполья.

Не давайте хода мелким страстям.

Да здравствует хлебосольного человека! — как говорил Пиросмани.

— Ура! — закричал сыщик, сидящий на помертвевшем от страха иллюзионисте.

Вдруг поэт-горбун, низкорослый и немый Илюшечка Бокштейн, отталкивая гостей, рванулся к гробу.

Серое лицо напуганного зверька дрожало.

— Просим! Просим! — заплодировал сыщик.

— Я в ночь иду, как тысячи свечей! — пробормотал Илюша.

Стало очень тихо.

— Я в сон пойду осколками костей.

Идет мой Белый человек

на черный глаз,

на черный Бас.

Угас несчастный человек —

остался черный глаз.

— Bravo! Bravo!

Маленький красный чертик вскарабкался на спину несчастного, убитого поэта.

— Брависсимо! — пицал чертик.

Ника Вивальди, сын мелкого клерка «ГРУЗМАСЛО», не слушал надгробных речей и скандалов. Он молча разгуливал с черной собачкой. Кладбище было огромным и странным. Было тихо. Ника замер у памятника. Это склеп. Ника молчал. Здесь лежал, тлея, мотив чьей-то оперы. Здесь покоилась музыка, здесь тихо лежала муза — нежная белая женщина с закрытыми очами.

Ника молчал. Могло показаться, что этот человек пребывает в летаргическом сне. Ника забыл все на свете.

Он слышал чужой свист, какие-то обезьяньи крики, сладострастные вопли, завыванье, уханье, скрип тараканьих шагов.

Что-то летело на него, какие-то существа, какие-то мысли... демоны... ангелы... змеи... вампиры, нетопыри, совы, козлоногие, рогатые и большие собаки, в желтом болезненном зареве полыхали бабочки с девичьими ли-

цами, жар-птенчики, поющие цветы-ангелочки, малюсенькие злые профессора духа в голубых полицейских мундирах с погонами.

И вдруг стало очень светло. Залило небо над головой кладбища голубым, пламенеющим факелом.

Голая муза с отбитым носом плакала.

— Кто не умрет, прежде чем он умрет, тот погибнет, когда умрет!

Фильморежиссер и черная такса испуганно замерли.

— Кто не умрет! — шептала женщина с мраморной головой.

Собачка залилась ядовитым лаем. Истекая желтой пеной страха.

В ответ подали признаки жизни твари, охраняющие склеп: бронзовый лев заплакал, орел каменный застонал, сова из золота, переливаясь, шипела змеей, а дракон хрипло залаял.

Ника в ужасе, побледневший, отшатнулся и побежал.

Такса мчалась рядом с ним, переваливаясь на кривых, коротких лапах. Вдруг Ника Вивальди замер. Его окружили голые музы в белых пелеринках. Волосы их были распущены. Они кружились, забирая Нику в плен.

— Зачем? — шептал Ника.

Муза из могилы жутко улыбалась, разваливаясь.

— Ах! — завыл Ника, хватаясь руками за голову, за вздыбившиеся волосы. — Помогите мне!

— Юноша! Юноша! — звали его пляшущие покойницы.

— К чертовой матери фильма на бумаге! — бился он в истерике. — Сожгите все мои прокаженные фильмы.

Это недостойно чистого художника. Я хочу повеситься!

Мама!..

Мертвая, холодная луна висела в ночи, как обломок каменной докторской диссертации.

— Тай-тай тара-рай!

Ника бежит во тьму, он почему-то в домашних шлепанцах.

Черная собачка несется рядом. Это его совесть на четырех дрожащих лапах.

Собачка кусает хозяина в пятку.

Ника Вивальди, уставший и загнанный, взмокший, в холодном поту, выбежал к толпе похоронных гостей во фраках, где шла последняя часть церемонии «АГНУС ДЕЙ», и свалился в бумажные истлевшие цветы.

— Эй! Господа! — просветленно вымолвил Леонард Стравинский в зеленом, пылающем изумрудом длинном фраке. — Господа, сплюньте на ваши ладони! Товарищи! Возьмемся за могильные заступы!

— Оркестр! Маэстро! — позвали вдребезги пьяных лабухов.

— Оркестр любви!

— Играем «Танго Смерти»!

Надо заметить, что многие уже давно были в нетрезвом состоянии и еле держались на ногах.

Вытолкнули к черной пасти братской могилы толстяка с небритыми, висящими, как у мопса, щеками и здоровенным саксофоном.

— Отдайте мою скрипку! — дрался с кем-то голодный, прожорливый старик в бедном, рваном плаще с пятнами сырости.

— Возьмем же, господа, в наши мозолистые талантливые руки тяжелые могильные заступы! — умиленно и радостно лепетал Стравинский. Его накачали армянским коньяком.



Даже в Казенном оперном театре отозвались траурным маршем из оперы Вагнера «Гибель богов».

Заворковали, настраиваясь, смычки, зазвенели тарелки, громыхал тяжеленный пузатый барабан.

Публика прислушивалась, завороженная осторожной, глуховатой речью гобоя, любимца старух.

— По Африке ходила больная крокодила! — запела басом могучая дама с голой спиной.

— Без шуток, господа. Печальнее. Печальнее и беспощаднее! — советовал Стравинский.

— Она! Она! Гааалоднаааяя была!

— Кто была гааалоднаааяя?!

— Кррррракадила!

— Дама из похоронной бюры, заткни свое хайло!

— А я тресну тебя виолончелью по голове!

— Уважаемый Джотто! Позволь в этот страшный и смертный час...

— Гааалодная была, сука!

— Кто была гаалодная?!

— Дама из похоронной бюры, заткни свое хайло!

— А я тресну тебя виолончелью по голове!

— Уважаемый Джотто! Позволь в этот страшный и смертный час...

— Гааалодная была, сука!

— Не фальшивьте!

— Теперь водку дороже в сто раз будут продавать и людей душиТЬ на улицах!

— Анчихристы!

— Креста на них нет!

— На ком?

— На энкеведешниках!

— Подтягивайте хорал! Чиво пьянствуете до срока? Козлы!..

— Не фальшивьте! Умоляю!

— Пшел ты!..

— Даешь водку «Рыковку»!..

— Умоляю!

— Покойничек обидится?

— Гаспадин Стравинский, паачему на наводите парядок?

— Ась?

— Кого хороним? Опять дерьмо?

— Заткнись, Брамс!

— А коньяк будет в пятьсот раз дороже!

— В тыщу!

— Налогами народ задавят! Каждую душу в кровь!..

— Врешь!

— Вот тебе православный крест! Ей-ей, батенька! Как говаривал вождь мирового пролетариата!

— Убийцы!

— Мракобесы!

— Головорезы!

— По Африке ходила больная крррракадила!

— Ей-же-ей, батенька! Ждите народного бунта!

— Бей жидов, спасай святую Русь!

— Мракобесы! Джордано Бруно на костре энкеведешники сожгли!

— Слава подвалам НКВД!

— Поднимайте гроб!

— Тащи бумажные венки, эссеист!

— Опустить!

— Нет, поднять!

— Пошел к черту!

— А я вам советую не сквернословить!

— Вся власть Советам!

— Опустить! Опустить! Опустить!

— Чья челюсть?

- Бедный Йорик!
- Кто потерял сборник статей?!
- Ауууу!..
- Влево! Подайте влево!
- О! Леонард Абрамович, кто гениальнее: вы или Прокофьев?
- Раз... два... взяли!
- Вира!
- Майна!
- Паскуда!
- Ты Кафку читал?
- Нет! А ты?
- И я нет!
- Не верю я в него!
- И я не верю!
- Гааснадин Стравинский, а это правда или ложь гнусная, что вы ученик Римского-Корсакова?
- Господа, оставьте тупые шутки! Мне стыдно.
- Почему тянешь гроб на себя?
- Идиот? Я идиот? Я клинический идиот?
- Бальная кракадила!
- Где слепой с рыжей кошкой-поводырем?
- Даешь Гомера за тройк?
- Кррракадила была умная, гаспада!
- А Набокова «Лолиту» читал?
- А ты?
- А ты?
- Я тебя спрашиваю, шизик!
- Лолиту! Маразм... Тьфу!.. Развратник! С девочкой связался!
- Пакостник!
- Это нео-классика! Стыль! Читал?
- А ты Льва Толстого знаешь? «Войну и мир»?
- А я вообще ничего не читаю из того, что напечатано!
- Эй, лабазник, ты моих работ не видал? Графику?
- А зачем мне твоя мерзкая графика? Я сам Гекуба!
- Да здравствует гаалодная кррракадила! Урааа!
- Смотрите, йог уже пьяный валяется!
- Кришнаит вонючий!
- Он самогонщик?
- Харикришна! Харикришна! Харикришна!
- Не прикасайся к моему эфирному телу!
- А ты, сука, не извлекай мой астрал!..
- Дам в морду!
- Не так громко, господа богословы!
- Сильва!.. Ты меня не любишь?
- Кого хороним, опять гениальное?
- Мне хочется обнять ваши ягодички, мадам!
- На вас муза нашла, пакостник?
- Сильва! Сильва!
- А вы все же почитайте Набокова! Почитайте!
- Чиво трясешь седой бороденкой, говнюк?!.
- А почему мне не налил?
- А где твой стакан?
- Из моего стакана лакает эссеист!
- Бей в морду эссеиста!
- Гроб падает! Ловите гроб!
- Леонардо, это правда, что Гайдн педераст?!.
- Я композитор, а ты шлюха!
- Бунин злой, желчный, но Бунин обожал спелые вишни!
- Налей, еще водки налей, кррракадила ты вонючая!
- Эссеисту глаз подбили!
- За что?
- По карманам чужим шарил!
- Ловите гроб!
- Ловите гроб!

- Поберегись!
- Не раскачивайте!
- Мягче! Пьяниссимо!
- Мадам, уже падают листья!
- Налейте офицерского вина!
- Налейте виноградную отраву!
- Леньку Губанова не видали?
- Подрался с кладбищенскими сторожами! Валяется в канаве, плачет.
- Сильва! Эй, Сильва! Куда ж ты? С кем? С эссеистом совокупляешься, гадина!
- Сильва! Сильва! Сильва! — пищал от наслаждения эссеист.
- Налей! Налей! Налей!
- Семь раз отмерь ногтем, а один налей! Понял, сука?
- Товарищи! Кто из вас читал «Лолиту», прошу поднять волосатые руки и голосовать.
- Набоков — спекулянт!
- Кто хочет Агнию Барто?
- Не то! Не то! — закричало сразу несколько мужских, развратных, разочарованных голосов.
- Эй, ребятки! Мне пятнадцать лет! Я маленькая! Я отдаюсь любому старикашке!
- Набоков — спекулянт.
- Читал «Лолиту»?
- Иди в ад.
- Толстой — сука!
- Какой Толстой? Лев Толстой?
- Внимание! Гаспада! Пьем за Анну Ахматову!
- Смотрите, Джотто по земле катается, волосы на себе рвет.
- Артист!
- Императорского театра!
- Кто завидует Прокофьеву? Я завидую Прокофьеву? Я сам — гений!
- Братцы, дайте закусить!
- Голодаю! Великий композитор Кавказа голодает!
- По Африке бродила больная крррракадила!
  
- Она! Она голодная была! — подхватили все хором.

А гроб уже засыпали черствой и каменной, тифлисской землей. Толпа из подпольных, богемных людей затолкала и отпихнула Джотто. Именинника. Именинника сердца. На него никто не обращал внимания. Его не видели. Он всем надоел. Гроб ударился о дно с глухим стуком.

Из могилы пытался было выкарабкаться сыщик в оранжевых сапогах, он даже влез на плечи г. Лилипутову, пальцы его судорожно цеплялись за край могилы, но господа богемные художники с отчаянным смехом и кошачьими визгами безжалостно принялись отдавливать бледные пальчики стукача черными лакированными концертными туфельками, и при общем удовольствии в гвалте сыщик охраны был окончательно сброшен в вечную пропасть и мастерски и лихо затрамбован.

Не кантовать! Низ! Верх!

На могилу была выброшена мраморная плита с надписью витиеватыми золотыми буквами на певучем итальянском языке:

ПОТОМОК, сними шляпу!

Здесь спит последняя картина тифлисского гениального художника

ДЖОТТО  
(Тер-Карапетяна)

Кавказские черноволосые ангелы!

Примите душу усопшей картины армянина!

Стало очень тихо на кладбище. Рассветный призрачный ветер налетал на обнаженные головы. Было тихо, как в чистилище.

Душа картины отдиралась от полотна и отлетала к престолу самого подпольного Художника-Бога.

Маленький зеленый воробей, мокрый от зеленой краски, выплеснутой художником на его перья, ехал в воздушной карете на поминки.

Это был экзотический тифлисский воробей, гость поминок души.

Господа богемщики подняли головы и стали глядеть ему вслед.

Задрали напуганные головы в котелках и шляпах. Зеленый воробушек счастья что-то пел. Богемщики вздрогнули и воодушевились.

Они вспомнили, что чирикание этой птички, подслушанное Бетховеном на прогулке, явилось темой Пятой Симфонии.

### — ТАК СУДЬБА СТУЧИТСЯ В ДВЕРЬ!..

до минор опус 67

Каждый из этих богемщиков решил, что только он один схватил этот крик и сегодня же ночью воплотит его в нечто гениальное!

Все стали поспешно расходиться, поеживаясь от холода и разбиваясь на мелкие одаренные группки.

Все были равны перед лицом гибели.

Тифлис, покорно мерцающая черными картами окон, ожидал нас в старой, пыльной ночной котловине. В котловине поминальной ночи.

На опустевшем кладбище в Соллолаках осталось мало живых душ.

Это был Ника Вивальди, он замер с маленькой таксой — душой на руках. Он прижимал ее к груди.

Здесь, в отдалении, застыл Леонард Стравинский, ощутивший смертельную, надчеловеческую усталость. Толстая дама с виолончелью и глазами пьяного Гете. Дама, покрашенная отваливающейся со щек линиялой краской, возвышалась стагудей над страшным, едва живым мертвецом, этим Джотто.

Этот наводящий на нас теперь страх бессмертный человек сидел на земле. Он упал рядом с могилой и тупо взирал на мраморную плиту. Ему бы радоваться славе, глупому!..

Стравинский изодрал в клочья свой парижский зеленый фрак.

Стравинский обхватил голову руками и рыдает.

Супер-композитор двадцатого века, его волосы шевелятся.

Но вдруг дама с голой спиной в бархатном юбилейном платье для дешевых провинциальных эстрад, с могучей, пышной грудью осторожно повела смычком по струне.

— Пора! — гудела шмелем виолончель. — Поооррааа!..

— Раааааа-порааааа-рааааа!..

— Ах, дама! — взмолился Леонард Абрамович, скрестив на груди, как Чайковский, тоскливые, нервные, холеные руки.

Из-под земли, из могилы донеслось бормотание.

Это был заживо погребенный николаевский сыщик.

— Зеленая лошадка Джотто сгнила! — радостно шептал он.

Художник Джотто с белой гривой растрепанных волос выпрямился вдруг, скрипнул разрушенными зубами, закричал что-то в отвратительно черное, как нефть, удушливое небо, отодвинувшееся от нас еще дальше от этого крика, и в ярости бросился разрывать землю желтыми зубами.

— Помогите! — рыдал он.

Мы все бросились к несчастному старику. Кружевной воротник белого бумажного Пьеро оторвался. Стравинский в толкучке ударил толстую виолончелистку ногой в лакированном ботинке в обвислый, беременный живот. Старик плакал, как грудной ребенок.

Мы оттащили его от могилы.

— Домой! — впрохрипел Леонард Стравинский.

— Вон отсюда! — визжал Пьеро, выпучив глаза.  
— Завтра придет весна! — захлебывался Стравинский. — Весна священная!

— Богемные художники расцветут!..

И только один человек молчал.

Ника Вивальди стоял с черной собачкой на руках.

Собачка взвизгнула.

— Эй! — обернулся Стравинский к Нике. — Идем!

— Куда? — вяло пробормотал равнодушный Ника.

Дама замерла под цветущим Иудиным деревом и плакала.

Стравинский задумался.

— Эй, ты! — сказал он. — Шлюха!

Дама побежала, прихрамывая. Вивальди плелся в одиночестве.

Я и модернист Леонард Абрамович несли бездыханного Джотто.

Из могилы рос землетрясением гул сыщика в оранжевых сверкающих сапогах.

— Смерть богемным... смерть богеме Тифлиса!

Сыщик в новеньких сапогах и в могиле собирался караулить наши души.

Венецианский Мавр, всеми брошенный, разъезжал по ночному городу в черном модном авто. Он останавливал авто в бандитских тупиках, в мрачных переулках, возле морга и уличных туалетов.

Он искал новых, талантливых исполнителей для своих будущих балетов, которые сочинял, опустив мертвые веки.

Знаменитый балетный Венецианский Мавр с кричащими голодными кошками и котами собирался ставить где-нибудь в подворотне, возле мусорных ящиков, свой новый великолепный балет.

Он был превращен врагами в подпольного художника.

Это было страшнее смерти.

— Ты перед сном молилась, Дездемона? — вопил он самому себе, опустив худое лицо на руль своего умирающего авто.

Тифлисские хулиганы нападали и били его каблуками туфель в лицо. Мавр не защищался.

Он ждал свежих впечатлений, могущих воспламенить его холодеющую кровь.

Комната Джотто страшна, как внезапно побледневшая женщина.

Стол накрыт белой скатертью.

Вкусный бордового скатерти винегрет талантливо исполнен Леонардом Стравинским. Желтые свечи оплывают. Винегрета было много. Целая куча. Целый котел.

Люди поминок, господа богемщики, сидели, опустив головы в глубокие тарелки с синей каемкой.

Мы переодели Джотто, надели на него черный, официальный фрак, заставили вымыть в тазике измазанные землей и сырой глиной вздрагивающие руки.

Голова его тоже падала в белую тарелку.

Ника сидел с такой. Люди печальны, как ночные страшные бабочки.

Леонард тоже давно переоделся. Он в оранжевом летнем фраке, на груди бледно-лиловая кружевная манишка.

— Господа богемщики! — счастливо и свежо вырвалось из его сладострастного, слюнявого рта. — Я вижу мой винегрет и водку! Бордовый с кровью винегрет и белая ясная водка! Голландский натюрморт!.. Шармант! Грудь моя, грудь гениального композитора, полна великих предвкушений!..

Мы напьемся, как лошади! Довольно печали!

Как говорил наш коллега, подпольный и оглохший в подполье Бетховен в грандиозном финале Девятой симфонии!

Джотто, не кисни! Улыбнись, детка! А разве впервые мы слышим погребальный звон хрустальных княжеских фужеров?!

Эй, обедневший князь Ника Вивальди, сын проворовавшегося чиновника треста «ГРУЗМАСЛО», скажи! Ах, этот прощальный звон хрустала! Как много ящиков с нашими одинокими, отвергнутыми местным обществом творениями духа мы опустили на веревках, а то и просто сбросили, спихнули ногами в эту бездонную яму, что почему-то зовется вечностью! На съедение червям вечности отдали мы наши растоптанные души! Это какая-то дьявольская fuga, черт подери!

Будем пить водку, братья!

Дама встрепенулась и потянулась жирными, оголенными руками за водкой. Она возжаждала. Измазанный в жире и соусе двойной подбородок мешком дрожал взволнованно.

Водка, как желтый дождь с дырявой крыши, потекла, хлюпая, в венецианское стекло бокалов и звонких фужеров.

Мы радостно потирали шершавые, натруженные могильными заступами ладони с кровавыми волдырями.

— Эй! Дама! Чтоб ни одна капля водки не умерла! — предупредил виолончелистку композитор двадцатого века.

Ника Вивальди сдвигал худыми руками бокал.

Слезинка мутного стекла капала, пенясь, в водку.

— Измучась всем, я умереть хочу! — вымолвили тонкие губы бескровно-го человека. — Тоска — смотреть, как мается бедняк!

— И как шутя живетса богачу! — добавила дама, вытирая бумажной розовой салфеткой мясистый рот.

Белый Бумажный Пьеро отставил стакан:

— И доверять, и попадать впросак,

и наблюдать, как наглость лезет в свет!

— И честь девичья катится ю дну! — снова влезла в сонет Шекспира дама. — И знать, что ходу совершенствам нет.

— И видеть мощь у немощи в плену! — вздохнул великий Джотто.

Леонард Стравинский вскинул дымящуюся шевелюру:

— И вспоминать, что мысли заткнут рот

И разум сносит глупости хулу!..

Стало тихо за поминальным столом. Ника плакал.

— Ника! — сказал я.

Он вынул из старого, поношенного бархатного пиджака батистовый платочек.

— И прямодушье простотой слывет, — возобновил декламацию Леонард. Ника сжал кулачки. Желтые слезы капали в тарелку с винегретом.

— И доброта прислуживает злу...

Стравинский вскинулся:

— Измучась всем, не стал бы жить и дня!

— И дня! — повторил он, оглядываясь.

Ника Вивальди едва слышно, очень тихо завершил сонет.

— Да другу будет трудно без меня!

Может, он снова вспомнил своего папу, бедного бывшего князя из проворовавшегося давно треста «ГРУЗМАСЛО», и нахмурил серые детские обиженные бровки.

И тут раздался оглушительный, катастрофический звон.

Это мы, стоя на ногах, чокались друг с другом изо всех сил.

Били хрусталь фужеров и царапали осколками пьяные, несчастные лица, каждый пытался ослепить собрата, чтоб умереть последним.

Похоронить останки своих бывших товарищей по подполью.  
Мы напивались оглушительной золотистой водкой.

Капли влажного золота горели на щеках и подбородках.

Искры, золотом звенящие и горящие, разлетались по мрачному подвалу живописца Джотто, по тесному пространству в этой душной тюремной камере.

— Вееееечнааааяяяя пaaaамьяяяяты! — средневековым басом затянул Стравинский.

— Вееечнаяяяя память! — пел Ника, вытирая слезинки кулачком.

— Вечная! Вечная! — сокрушенно кивал белой головою старик Джотто.

— Господа! Вечная память, господа! — оглушительно хохоча, раздевалась толстая дама.

Возле уличного ночного мужского туалета, где остановилось черное авто Венецианского Мавра, завязалась жестокая, но бестолковая драка. Это сражались сторонники, слуги и друзья домов Монтекки и Капулетти. Маленькая инсценировка балета.

На Мавра напали балетоманы, подкупленные врагом Юргисом Пендерекисом. Мавр обнажил бутафорную, позолоченную шпагу.

На его защиту бросилась кучка других балетоманов, предводительствуемая Игорем Кошкиным, толстым худеющим балетоманом, упорно соблюдающим диету. Они все дрались из-за сфер влияния в ночных развратных одуряющих тупиках и переулках. Дрались, как львы.

Нанося сокрушительные удары обнаженной сверкающей под луной шпагой, Мавр совершал великолепные прыжки и антраша.

Визжали коты.

Юргис Пендерекис целился в кружащегося в фуэте Мавра из рогатки.

Балетоманы дрались с балетоманами.

Лица их горели струйками крови. Они кусались и царапались, как женщины.

Потасовка, как обычно, закончилась всеобщим пугливым миром, нежными срамными объятиями и тлетворными поцелуями.

Разгоряченные, окровавленные мужчины сладко целовались с мужчинами.

Где-то, спрятавшийся за водосточной трубой, одиноко посвистывал напуганный милиционер без форменной фуражки, унесенной лихим ветром.

Март по зиме творит поминки,

Снег пахнет хлебом и вином.

И ветер, феску заломивши,

Вечерний гонит фаэтон...

А в подвале Джотто продолжалась поминальная попойка.

И тут, звеня бубенцами, помчалась вниз, полетела вниз головою на мостовую, на булыжник, зеленая разбившаяся умирающая лошадь.

Поскакал этот пир, цокая бешеными, отчаявшимися копытами, цветущий и умирающий пир.

Понеслась, кружа вихрем в бездну, оргия моего романа.

Поминки Пьеро. Поминки белого бумажного изодранного Пьеро.

Сверкая, взлетали над скатертью вилки. Мертвая вареная курица, ободранная, сваренная вместе с перьями, вскочила с круглого фарфорового блюда, обложенного печеными яблоками, и убежала от нас, обезумевших, хромя, и билась о стекла подвала в истерике.

Мы отталкивали друг друга с хохотом и гонялись за скверно ощипанной курицей. Жизнь вдруг разом сменила окраску и стала пронзительно голубой.

Толстая дама с жирным беременным животом давно сорвала с себя платье и, тяжело дыша от одышки, вскарабкалась на белую, залитую водкой и шам-



панским скатерть, на праздничный стол, уставленный яствами и фруктами. Она стояла на блюде с красными, мокрыми от вина яблоками и исполняла танец живота.

— Кушайте винегрет! — обалдело кричал Стравинский. — Винегрета много!

— А плов бараний?

— Плов разыграем в лото!..

На продавленном диване с выскакивающими пружинами Леонард Стравинский взгромоздился на голую даму и тяжко, задыхаясь, дышал на весь дымящий пепелищем подвал.

Слюна капала с его толстых, мясистых губ.

— Ах! Ах! — стонала покрасневшая раскормленными щеками дама. — Как жизнерадостно все это!

Ника Вивальди плакал.

— Мой жирафик! Мой верблюдик! — кричала дама.

— Кррракадила! — раздавленно отзывался Леонард Абрамович Стравинский.

— Винегрета много! — голосил он. — Винегрета тьма!

Кушайте, дорогие гости!..

Ночь, чернолобый  
Сократ, видит меня  
на столе.  
Две идиотки стоят,  
молятся черту-скале.  
Больше не буду  
любить,  
Смерть, улети  
Птица-боль.  
Будет улыбку  
удить  
тьень моя в  
озере-ноль!

— Винегрета тьма! Весь пропадет! — рыдал Стравинский.

В фантастичном фильме на бумаге Ники Вивальди разворачивались пурпуром дымным горящие цветковые фрески. Последние кадры фильма о зороастрийцах, огнепоклонниках, в Тифлисе.

Мы не дышали. Мы смотрели, пьянея, на то, что разворачивалось в фантастичном мире Вивальди, сына работника треста «ГРУЗМАСЛО».

Джотто вздыхал и чесал седую шевелюру мизинцем с огромным перстнем. Пылал кровью рубин.

— Винегрет! Винегрет!

Любовники, Стравинский и беременная дама, безумно целовались на раздавленном диване.

На экране опустевший, вымерший Тифлис. Ни одной собаки, ни одного милиционера. Город покидает последний гражданин.

Скоро смерть, господа тифлисцы! Давайте снимем шляпы.

Мужчины и женщины на старинных пыльных дагерротипах танцуют в кругу озверевшей толпы, черни, голые и в шляпах.

Шляпками с цветками и котелками они прикрывают срам.

— Кушайте винегрет! — захлебываясь, безумно вопит композитор Стравинский.

Гонят из Тифлиса, как шелудивых, бездомных псов, древних граждан восточного, изнеженного, благородного города. Гонят захватившие Тифлис озверелые деревенские жители, торговцы, перекупщики, спекулянты, лидеры доморощенных партий, туеядцы и воры.

— Вы не коренное население кавказского Рима! — беснуются они, сжигая книги на площадях.

— Винегрет!..

Разгул черни.

Разгулялась кавказская чернь.

Сжигайте и мои книги, господи кацо!

Срывают портреты, сжигают знамена, истерично орут стадом прожорливых свиней.

«Барыня, а барыня!»  
«Что тебе?»  
«Вас скоро повесят!»  
Барин пришел. Часы скрипят.  
Белый исчерченный круг.  
«Что у вас такое? Опять?»  
«Барин мой миленький,  
Я на часы смотрю,  
Наверное, скоро будет десять!»  
«Прямо покоя нет.  
Ну что такое:  
Приходит и говорит,  
Что меня завтра повесят».

Темно. В подвале темно. Погасла керосиновая чадающая лампа.

В темном подвале, спотыкаясь, к роялю, блестя голыми, трясущимися от сытости ягодицами, пробирается гениальный Леонард Стравинский.

Толстая, жирная беременная дама спустила с диванчика полные волосатые ноги с малиновым педикюром на хищных, острых когтях.

Вот и вновь зачадившая лампа бросила отблеск на высокий, крупной лепки лоб выдающегося композитора, енотовидные глаза его в черных очках, он почесывает, скребет рыжеволосую, искусанную дамой грудь.

Тонкие пальцы его вгрызаются в черно-белые оскаленные собачьи зубы рояля.

Играл Леонард одной рукой, другая — детская, засохшая и скрюченная, он прижимает ее к животу.

Я высоко поднял граненый стакан, и блеснула расцветенная на черном солнце золотая капля водки, и в этой божественной капле, в этой прощальной слезе что-то засветилось, и там я вдруг обнаружил всех нас, гостей поминок, еле поместившихся в подвале, сгорбленных под низким, закопченным потолком, без обуви, в одних рваных носках, — мы пели, держась друг за дружку.

На упруго натянутых струнах черного, панихидного рояля — белая тарелка с обезглавленным, харкающим кровью из раны окуном, выловленным композитором в реке пыльного Времени.

В такт сумасшедшим, погибающим аккордам живой и окропляющий мрачный подвал и нас кровью окунь хлестко и дерзко подпрыгивал, взлетая над тарелкой.

Черные очки Стравинского.

Подвал шевелился тенями. Кто валялся на диване, обнимаясь с горячей дамой. Кто молился в углу, прижавшись лбом к грязной стене, плача.

Кто одиноко рыдал.

Вот она, музыка небесных сфер.

Пост-додекафоническая, интегральная, конкретно-предметная, серийная, машинная умирающая музыка, расцветающая, распускающаяся черными цветами.

Лягушка скачет. Лягушка скачет.

В морг.

Музыка Шенберга. Малера. Мессиаана.

Я слышу скрип двери, стон крышки гроба, стон погребенной на кладбище  
картины старика Джотто.

Хорал для сорока голосов.

Я слышу запах мокрых ладоней Одетты в зернах растаявшей музыки сна.

Беременная, голая дама аккомпанирует роялю во тьме.

Звенят стаканы с отравленной водкой.

Виолончель важно и сердито нас поучает. Поучает. Нас.

За что?! Пора! Пора, богемщик!..

Нас всю ночь, мучая, поучает.

Ах, густо поющая, густо плачущая виолончель!..

Кто родил тебя этой ночью?

Мы плачем. Мы поем.

Маленькие, несчастные подпольные певцы.

Непрерывно и глухо поучает нас струна измученной виолончели.

Дамский хор.

Песня одиноких, бездомных балетоманов.

Слушайте! Слушайте все! Снимите шляпы! Долой котелки и цилиндры!

Это мои поминки.

Я — черный, бумажный Пьеро.

Это мои черные поминки.

Время! Скажи! Сколько старухе

Минуло лет?

В зеркало смотрится — гробы.

Но зачем эти морщины злобы?

Встала над постелью  
с образком девичьим.

Точно над добычей,

Стоит и молчит.

«Барыня, а барыня!»

«Что тебе? Ключи?»

Лоб большой и широкий

В глазах голубые лучи

И на виски белые волосы дико упали,

Красивый своей мощью лоб окружая, обвивая.

«Барыня, а барыня!»

«Ну что тебе?»

«Вас завтра повесят!

Повисишь ты, белая»

«Ты с ума сходишь? Что с тобой делается?

Тебе надо лечиться».

Здесь все, в этой гениальной симфонии-каприччио, вся моя жизнь, вся  
наша жизнь — вот она — мы.

Гидра подпольного творчества.

Едва шевелится.

Стадо подпольных человечков.

Я кричу. Я кричу. Кто слышит меня в эту глухую ночь?

Что поет ветер? Ветер ничего не поет.

Куда скачет глупая лягушка?

Лягушка скачет в морг.

Оранжевый ветер моей тоски.

Лягушка скачет.

Следуй за нами.

За нами!..

Бумажный Пьеро, ты погиб!

Лягушка скачет в морг.

Фиолетовый, наивный мальчик.

На Плехановском проспекте остервенелый, страшный крик.

Провалится крик, замолкнет кричащий, задыхаясь, и снова истошно вопит. В милицейской дежурной машине, в темном, жутком тупике, засыпанном мертвыми листьями, сидит схваченный, сжатый с двух сторон несчастный Юргис Пендерецкис.

Не помогли ему связи с подпольным, теневым правительством Тифлиса. А может, само правительство погубило одинокого, распутного балетмейстера!.. Прослышало правительство убийц про голландские миниатюры мирного коллекционера с растленными глазами.

К тому же Юргис Пендерецкис заболел неизлечимой, злокачественной болезнью и дни его сочтены.

Вот и давит власть города, требует, чтоб оставил по завещанию народу награбленное.

Обещает правительство после его смерти открыть в каком-нибудь мрачном, заплеванном закоулке музей вещиц и монет, подаренных покойным Юргисом Пендерецкисом.

В музее выставят копии, а подлинники разойдутся по рукам членов кабинета, среди игрушечных министров, и каждый распишется в получении валютных экспонатов в МВД.

Несколько сот тысяч Юргис завещал на поминки, чтоб устроить их в самом роскошном ресторане на Святой горе, чтоб приглашен был весь свет вечного, кавказского Рима и даже банщики мужских Серных бань.

О, Турецкие бани Тифлиса! Мечта покойника!..

А пока он орал, захлебываясь кровавыми пузырями, в черно-синей старенькой милицейской машине. Два дюжих, волосатых, мрачных кавказских милиционера-мясника душили его. Юргис Пендерецкис вырывался, бился рыбой, обезглавленным танцующим окунем, становящимся на хвост и кружащимся на остром перистом хвосте.

Рядом с отделением милиции — цветочный магазин. Цветы для погребенных. Мокнет за стеклом восковая мрачная лилия. Лилия обливалась пресными, жирными слезами покойницы от жалости к убиваемому.

В отделении милиции дюжие офицеры, капитаны и полковники в расстегнутых грязных мундирах, прислушивались к звериным крикам насилуемого. Юргиса, связав ему руки полотенцем, хором насилывал младший офицерско-сержантский состав участка.

Капитаны и полковники играли на деньги в засаленные, дырявые карты, отнятые у карманных воров. Они пили из жестяных консервных банок кислое пиво. Мочились прямо на пол в дежурной комнате. Балетмейстер, связанный кожаными милицейскими ремнями, посинел и кричал слабее. — Я все отдам! — бормотал он. — Даже свою девичью честь! Отпусти! Мама!..

Восковая, панихидная лилия не могла прийти на помощь несчастному. Пендерецкис был беззащитен в этом загаженном бездомными псами темном городе хулиганствующих милиционеров с бандитским, уголовным прошлым.

Умирая в больничной палате, Юргис Пендерецкис будет, слабея, обнимать лысого, маленького балетомана-католика с грустными глазами, друга Игоря Кошкина, вызывая мучительную, острую ревность последнего.

— Так подыхай! — исходил Кошкин злорадствующей слюной. Кошкин в модном синем пиджаке с золотыми, блестящими пуговицами.

Лягушка скачет в морг.

## ВИДЕНИЯ АМИНЯ ДЛЯ ДВУХ ФОРТЕПЬЯНО

Аминь звездам и планете с кольцом

Аминь агонии Христа

Аминь желанию

Аминь ангелам, святым, пению птиц.

Аминь Судному дню

Аминь завершению

Слушайте гигантские живописно-симфонические фрески Леонарда Стравинского!

Бездна птиц. Интермедия. Хвала вечности Иисуса.  
Танец ярости для семи труб. Хаос радуг для ангела, возвещающего Конец Времени.

## ХВАЛА БЕССМЕРТИЮ ИИСУСА

— Хочу винегрет! — шептал Ника Вивальди.

— Винегрета тьма! — отвечал Стравинский.

Часть первая. Приближение лета — пробуждение Пана.

Часть вторая. То, что дикие цветы мне рассказали.

Часть третья. То, что человек мне рассказал.

Часть четвертая. То, что ангелы мне рассказали.

Часть пятая. То, что любовь мне рассказала.

Часть шестая. То, что ребенок мне рассказал.

Музыка, выражающая конец света, вездесущность, славу, божественные и чудотворные таинства.

Стравинский побледнел за роялем.

Литургия кристалла. В пять утра птица-солист, окруженная звуковой пылью и светящейся гармонией обертонов, затерявшихся в вершинах лиловых ночных деревьев, начинает импровизировать..

Гармоническое молчание неба.

Блестящее фортепьяно Стравинского начинает поддерживать ритмическое остинато на трех сопоставляемых индийских ритмах рагвардхана, кандаркала, лаксимса.

Кларнет интонирует песню птицы.

Вокализ ангелу, что возвещает Конец Времени.

Ангел появляется в убранстве из радуги и облаков.

Неосязаемые гармонии неба.

Каскады нежных аккордов, голубых и сиреневых, зеленых, лилово-красных и оранжево-малиновых, — над всем царит цвет серой стали.

Джотто превратился в сиреневого ангела.

Автор музыки, Леонард Стравинский, видит в смерти лишь прелюдию, переход от подпольной земной жизни к жизни иной — к славному существованию

которое следует за воскрешением.

### CORPS GLORIEUX

Души усопших вызывают «de profundis», воскрешение Христа

залог нашей будущей жизни.

Джотто, маленький и прозрачный, улетел в небо.

Вдруг — голос, пробуждающий усопших художников.

Его символизируют нестройное пение, контрастирующая динамика, голос таинственной птицы с берегов Амазонки, а также перезвон тифлисских ржавых колоколов.

Тихие и громкие звуки тамтама — это концерт звезд.

Слышите пасхальные колокола и колокольчики?

«Аллилуйя» труб.

Слышите голос жаворонка — птицы Греции и Испании, порученный кларнетам?

Он — радость!

Ангелы и звезды, все темы и тема тромбонов из первой части объединяются, чтоб прокричать Воскрешение

из мертвых, божественных художников.

Леонард, ученик Оливье Мессиаана, органиста собора св. Троицы в Париже, запел густым басом.

Мы все подхватили мощный баховский речитатив:

Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем,

Язвы, ходящей во мраке; заразы, опустошающей в полдень.

Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя,

но к тебе не приблизится.

Только будешь смотреть очами твоими и видеть возмездие нечестивым!..

— Господи! — тихо плакал Ника Вивальди.

Зажегся яркий электрический свет.

Ника сидел на стуле бледный. Черная собачка спала в его руках. Ника вдруг повалился на бок и с глухим стуком ударился головой об пол. Он придавил собачку.

Он лежал мертвый, как Арлекин. Он лежал очень счастливый.

Губы его потрескались. Он лежал очень счастливый.

Он лежал мертвый, очень мертвый. Черная собачка залилась истеричным лаем. Из глаз ее капали маленькие, взрослые слезы.

Она лаяла безумно, мы стали затыкать уши, потом ловили ее, бегая в подвале и опрокидывая стулья и, наконец, схватив, выгнали за дверь. Я чуть

было не ударил зверька.  
Она скулила, скреблась о дверь.

Потом стало тихо.

Время! Скажи! Сколько старухе  
Минуло лет?  
«Барыня, а барыня!»  
«Ну что тебе?»  
«Вас завтра повесят!  
Повисишь ты, белая»

Бумажный черный Пьеро!  
Ты с ума сходишь? Что с тобой делается?  
Тебе надо лечиться.

Мы все подняли нашего товарища и опустили его на праздничный стол, на белоснежную скатерть в винных, влажных пятнах. Опустили мертвое легкое тело на блюдо с потускневшим красным от бурака винегретом. Волосы Стравинского встали дыбом. Композитор в оранжевом фраке испуганно сжался.

Мертвое тело Ники Вивальди мерцало радугой и таяло.

Это было фантастическое, феерическое свечение.

Блестящие, белые огоньки, бывший Ника, летели к грязному, в саже потолку.

Фильморежиссер Ингмар Бергман из Швеции произнес кокетливую речь:

— Есть поэты, никогда не пишущие стихов, они строят свою жизнь как поэму;

Есть актеры, никогда не играющие на сцене, но они разыгрывают свою жизнь как интереснейшую драму.

Есть художники, никогда не берущиеся за кисть, ибо, закрыв глаза, они на обратной стороне своих век создают прекраснейшие полотна.

Есть фильморежиссеры, живущие в своих фильмах, но они никогда не злоупотребляют своим талантом, чтобы отснять эти фильмы на пленку.

Не принимая во внимание мои собственные убеждения и сомнения, которые неважны в данной связи, я считаю, что искусство утратило свой творческий символ в тот момент, когда оно порвало с религией.

Оно разорвало пуповину и сейчас живет собственной бесплодной жизнью, порождая само себя и вырождаясь.

Господа! Господа! Прекратите кашлять и чихать, что за безобразие и пошлость?

Нетерпение!

На экране что-то происходит, а вам наплевать.

Немного терпения. Фильм идет к счастливому концу.

Кинофестиваль завершается, гости покинут скоро мрачный подвал.

Вот только раздадим серебряные призы, поощрительные золотые ложки — и все по домам!..

В Австралию. Индию. Новую Каледонию.

В Париж.

В Клозри де Лиля.

Киноактриса Алова, угомонитесь, слезайте с коленок застарелого, лысо-голового Альвиана!

Мало вам медвежонка, родного сына, превратившегося в громадного свирепого бурого медведя из здоровенной клетки московского вонючего зверинца с ржавыми толстыми прутьями.

Сейчас дежурный милиционер возьмет напрокат у бандитов револьвер и застрелит зверя.

Не ерзайте на острых старческих коленках доктора кино!

Лучше — поразмышляйте о смерти сына.

Вы, господин в седьмом ряду! Вы из мясного отдела, секции консервов, овощного прилавка министерства кино?

Браво! Брависсимо!

В пенсне и лысина блестит и пухлый, набитый сувенирными банкнотами огромный кожаный портфель, подарок кавказцев, на коленках.

Вы температурите? Вас лихорадит? Бросает в пот?

Да кто ж вы такой?

Послушайте! Я вас заметил давно.

Вы — великий Альвиан! Вы — растлитель кинодевочек-первокурсниц ВГИКа. Вы — мастер. Мастер советского кино, лезущий к абитуриенткам ВГИКа под юбки на первом же испытательном туре! Мальчик! Шалунишка лысоголовой! Голова — бильярдный шар, я вас вижу!

Вы — доктор кино.

Доктор Альвиан. Моче-половые болезни экрана.

Вы — опасный человек.

Вас Сережка Эйзенштейн выгнал в шею в двадцатые с кинофабрики за СЕРОСТЬ.

Вы очень опасный картежник.

Похабник.

Со стажем.

Совесьь отечественного кинематографа. В сером смокинге и серой мышинной бабочке.

Зализанный. Сверкает бриолином лысна.

У кого нет ножа,

У того есть мышьяк.

Шагай, темнота,

Как знамя — глаголы!

Несите нажим с Горячего поля

Войском нищим, Войском нищим,

Чем блеснув за голенищем,

Хлынем! Хлынем!

Вынем! Вынем!

Жарко идут ножи — они зеркало воли.

Там, где бойни,

Нам спокойней! Нам спокойней!

Видит Господь.

Богемные играют в оловянных солдатиков с доктором кино.

Как гениально, господа, ведь и я подонок!

Тифлисская элита на святой московской земле.

Где же, где ж Психиатр Всея Руси?

Держите меня в клетке, подпольного, замученного творца.

Свяжите меня, пытайте, бейте палками и резиновыми дубинками.

Колите морфием душу.

Насилуйте мое больное сердце!

Отравляйте дух!

Загоняйте в казематы и подвалы духовного Освенцима.



Сжигайте наши души в печах крематория.

Эй, санитары! Приглашайте в мою палату Психиатра ВСЕЯ РУСИ.

Ника Вивальди умер! Да здравствует Ника Вивальди!

Он сын бедного бывшего князя, ничтожного сотрудника продажного треста испорченного «ГРУЗМАСЛА».

Ату его, ату!

Эй! Золоточешуйчатые трубадуры моей жаждущей света души!

Играйте на персидско-красном солнце мою последнюю панихиду.

Джотто стало плохо.

Он стиснул зубы и схватился отчаянными руками за грудь.

Я и Стравинский раздели его и уложили в постель.

На груди малиновых подушек.

Мы не выключили электричество.

— Спите! Покойной вам ночи, — сказал я бодро.

Старик кашлял. Лицо посинело. Он пытался что-то сообщить, но задыхался. Ярко горел огонь лампы. Но было темно.

Было темно в подвале. Было темно в голове.

Я глядел в глубокие, налитые дыханием то ли жизни, то ли смерти глаза.

Старик впал в детство. В рваной, дырявой майке он привстал на постели.

Малиновые подушки свалились на пол.

— Мама! — заплакал старик. — Я боюсь.

Было страшно в подвале. Старик кричал во тьму.

Мы ушли. В подъезде я спросил Стравинского:

— Кем вы станете? В Америку смоеетесь?

Я молчал. Этот человек насмешливо поглядел на меня и жестко улыбнулся.

Было тихо.

— Прощайте, господин! — пробормотал я.

— Прощай, бумажный Пьеро!

Мы пошли в разные стороны по переулку. Вдруг я обернулся к уходящей спине модерниста.

— Дама умерла с виолончелью?

Стравинский пожал плечами.

И вдруг Леонард дико, странно захохотал.

Я побледнел.

Мы писатели ножом,

тай-тай, тара-рай! — кричал Стравинский. —

Мы писатели ножом,

Священники хохота.

Белый Пьеро в измятом воротнике сжался.

тай-тай, тара-рай!

тай-тай, тара-рай!

Я бросился бежать от него. Я тяжело дышал.

Стравинский на мостовой плясал жигу.

В Казенном оперном театре премьеры балета «ЗА МИР!». Оскорбленный тем, что его выгнали из любимого театра, Венецианский Мавр обратился за помощью к администрации мужского уличного туалета, что был воздвигнут великими кавказскими зодчими с тем, чтоб ему сдали внаем это вонючее, мрачное помещение, и в пику Казенному театру поставил в грязной уборной, облюбованной тифлисскими хулиганами и балетоманами,

свой новый гениальный балет «ПЕСНИ ОБ УМЕРШИХ ДЕТЯХ». На премьеру прилетел на «кукурузнике» сам столичный балетный критик с громадным перстнем с трехкилограммовым брильянтом — Бенедикт Миррский. В кавказском мрачном туалете он чувствовал себя всегда как рыба в воде. Жадно поглядывал на всех встречных кавказских мужчин, гадливо им улыбался, прижимал руку к сердцу. Все парижские газеты сообщили о новой постановке тифлисского гения. Успех был феноменальный. Предстоят гастроли всей наспех набранной на вокзалах и в подворотнях труппы в Латинскую Америку.

Лужи мочи и вой котов не мешали танцам. В кордебалет пригласили морфинистов и наемных убийц.

Уличная грязная уборная была завалена букетами свежих роз и венками от поклонников. Игорь Кошкин метался между верхним Казенным театром и нижним, в уличном туалете для общественных нужд.

И наверху и внизу шла премьеры. Один из богатейших тифлисцев, цеховик и торгаш по имени Мурик, прислал гирлянды и красные фонарики. Бенедикт Миррский напился вдребезги и обнимался с подозрительными, мрачными кавказскими хулиганами. Мавр был отмщен. Осталось только сжечь Казенный оперный театр.

Кривоногий волосатый артист миманса согласен был ворваться за кулисы горящим, живым полыхающим факелом.

Маленький, тщедушный человек ревновал свою пожилую жену, капельдинершу, к длинному, рыжеусому дежурному пожарнику в сверкающей золотом каске брандмейстера.

Кривоногий мим подрядился в смертники.

Казенный оперный театр был обречен и доживал свои печальные дни. Вот-вот запылает бушующим радостным пламенем мавританский театр.

тай-тай, тара-рай!

Бумажный Пьеро покинул этих мертвых людей. Пьеро бросил их навсегда и выбрался из душного ада. Море ясного воздуха опрокинулось на мою большую голову.

Очень далеко отсюда, там, за горизонтом, на краю ночи, летел в пустоту зеленый тифлисский воробей.

Высохшая краска отваливалась от маленьких перьев.

Пьеро надо выспаться, завалиться под атласное одеяло, на мягкую кружевную постель и забыться вечным сном.

Страшным сном выдуманного человека.

— Вот они, — думал черный Пьеро с бледными щеками и желтым ртом. — Загнанные и затравленные живописцы, никому не показывающие своих полотен, писатели, жгущие романы от страха за будущее в дурдоме, скульпторы — покойники при жизни, бессильные изваять из мрамора легкую голову ангела, младенца, бессильные поднять руку.

Какое печальное и бесстрашное зрелище! Какое невыносимое зрелище! Мне тяжело смотреть на этих подпольных творцов.

Я не хочу дружить с ними. Это смерть. Это мое зеркало.

Это — я. Мой конец. Мой недописанный роман. Мой фильм на бумаге.

— Одетта! Открой!

Я постучал в окно.

Занавеска шевельнулась.

— Одетта!

Балерина в голубом халате.

Мы стояли в гостиной, на столе фарфоровая китайская ваза с орхидеями. Мы молчали. Волосы ее были аккуратно расчесаны на ночь.

— Тебя не убили? — удивился я. — Тебя не выбросили на мостовую, на панель, с чердака Казенного театра? Не похоронили в театральном скверике?

Она молчала.

Огромные глаза блестели.

— Как поживают твои любовники? — спросил Пьеро.

Глаза блестели.

— Все умерли! — вымолвил я.

Она молчала, она смотрела на меня необыкновенными глазами.

— Я хочу любить тебя! — произнесли мои губы.

И тогда я осторожно, впервые в жизни обнял ее худое тело, и тепло щеки обожгло мою щеку.

Я любил ее всей моей белой душой. Я ощущал теплое и родное дыхание.

Где-то рядом, очень близко. Губы мои были сухими.

Они дрожали. Одетта молчала. Она села в кресло.

День втягивается в затмение сквозь щели в ставнях.

Бумажный Пьеро снова обнял Одетту. Она высвободилась и ушла в спальню.

Там было одиноко. Спальня была пуста. Сегодня не приехал любовник.

Меня звали. Я обернулся. Багровая сумасшедшая роза никнет в стакане.

Роза смотрела на Пьеро влажными глазами.

И за окном провинциальная и замершая в пыли улица.

Кто был автором этой слезы?

Мое детство?

Маленькая чужая слеза скатилась на мое голое плечо.

Обожгла.

Я проснулся. Я лежал под одеялом.

— Не плачь! — прошептала Одетта. — Я мертвая. Почему ты всегда плачешь?

— Я Пьеро!

Теплая ладонь женщины стала гладить мое лицо.

Я сочинил слезу.

Пьеро стал одеваться. Ему было плохо. Любовь не сожгла его тоску.

Все было снято, растоптано в нашей жизни, в моей любви.

Я замер в дверях, в белом костюме с белым кружевным воротником.

Я в нем ходил на похороны.

— Почему ты уходишь? — тихо спросила Одетта.

Пьеро стоял в дверях и плакал.

«Вдруг она затихла, лицо ее с закрытыми глазами еще сильнее побледнело, она обняла мужчину и больше не противилась ему».

Многие забывают женщину, умершую тридцать лет назад.

Иные сохраняют фотографию, милую их сердцу, поблекшую от времени.

Но вам никогда не изгнать из памяти эту сцену.

Занятно, не правда ли?

Во вторник, 1 мая 1914 года, вы стояли здесь, на этом месте, и видели и слышали все, что говорили и делали этот мужчина и эта женщина.

Женщина села и оправила платье на плотных круглых бедрах, и вспухшее, дряблое лицо ее ровно ничего не выражало.

Мужчина встал и теперь бесцельно расхаживал взад-вперед.

Женщина:

А теперь я пойду домой и все расскажу мужу, и я заранее знаю, что он мне скажет. Он скажет: «Бедная девочка, как мне тебя жаль». Таким тоном, словно он — сам Господь Бог.

Тогда я заплачу и скажу: «Тебе меня правда жаль?» — и опять буду плакать и просить у него прощения.

И тогда он скажет: «Ты не должна просить у меня прощения.

Мне нечего тебе прощать».

Она с усилием поднялась, распустила волосы и принялась их расчесывать и укреплять шпильками в прежнюю затейливую прическу, а мужчина присел на камень чуть поодаль и спокойно курил.

Какое у него было выражение лица, я не мог бы сказать, потому что нависшие брови скрывали взгляд, но голос был невозмутимый и насмешливый.

Мужчина:

Ну и бешеная же ты. Просто как безумная.

Женщина засмеялась и скрылась в лесу.

«Мне снилось, что я стоял у воды, и кричал, и кричал, но теплый летний ветер относил мои слова прочь от залива, и они не достигали назначения». Ингмар Бергман. «Земляничная поляна».

Гости международного кинофестиваля в подвале армянина Джотто разрезались. Перед отъездом они пожелали попариться, покупаться в турецких банях голышом, женщины кричали, что хотят купаться только вместе с мужчинами.

Плевать им на официальные законы провинциального Тифлиса.

Играл восточный оркестр, курды играли на барабанах из натянутой воловьей кожи.

Актриса Алова, мать застреленного живьем в клетке зверинца громадного медведя, плыла в клубах дыма, обнявшись с доктором кино, лысоголовым профессором ВГИКа Альвианом с хмурым прищуром мясника.

Визги. Хохот. Пляски. Гости фестиваля уезжали из гостеприимного шумного города с кучами подарков, ящиками вин, чурчхелами, свежей зеленью, бурками пастухов, чеканкой и глиняной сувенирной посудой.

В круглый мраморный бассейн с кипящей древней серной водой банщики, схватив за голые руки-ноги, раскачивая, швыряли обнаглевших, извращенных балетоманов.

Банда балетоманов сварилась заживо.

Выжили Игорь Кошкин и кое-кто из его дружков.

Горел, полыхая, Казенный оперный театр.

Вопили от ужаса балерины из «глухого кордебалета».

Маленький, щедедушный артист миманса свершил свое злодейское дело. МЕСТЬ.

Паклей пылал игрушечный театрик. Новогодними бенгальскими огнями. Рушились стены.

Несло паленой кошачьей шерстью.

Носились по умирающей сцене с отчаянным воем охваченные пламенем, взбесившиеся коты Мавра.

Потом будет трехлетнее глупое, ленивое следствие.

Сыщики МВД допросят тысячу одного свидетеля.

Было подозрение на Венецианского Мавра.

Его арестовали, пытали, били головой, затылком об стену тюремной камеры.

Сажали на бутылку голым задом.

Истязали.

— Ты перед сном молилась, Дездемона? — вопили палачи.

— Как я мог поджечь любимый мой театр? — стонал Мавр.

Вину взял на себя кривоногий статист-рогоносец из миманса.

Но лживо призвал в соучастники тощего, громадного пожарника в сверкающей каске и с рыжими торчащими усищами.

Обоим дали по году домашнего ареста условно.

Хотя мрачный прокурор требовал для всех высшей меры наказания.

Смертной казни.

Там, где были ряды кресел, все обуглилось.

Но жизнь балета продолжается.

Новые постановки даже на пожарище. В золе копошатся, сладострастно извиваясь, клубки ядовитых змей.

Это тифлисские балетоманы. Чудом спасаясь в который раз банда балетоманов с главарем Игорем Кошкиным.

Балетоманы бродят в обнимку на пожарище, в гари и копоты, в красных модных кителях и мундирчиках с золотыми погончиками и пуговицами. На почерневших креслах партера копошатся змеи.

Браво, Игорь Кошкин!

А что на экране?

Шуты бегут на меня с колокольчиками смерти.

Пьеро мертв.

Я вижу черное, обуглившееся тело.

Палачи обступили труп.

Мертвый Стравинский в черном фраке играет на виолончели.

Это симфония подпольных человечков.

Мавр поднял бокал с розовым, пенящимся, благоухающим вином.

Музыка доносилась из розовой капли вина.

Скрипочка. Скрипочка... Цимбалочка!

Игорь Кошкин, завывая, душит лысого, женоподобного, маленького своего наложника с печальными, томными глазами провинциального католика. Это мечь.

Католик под пыткой признался, что изменял ему шестьсот раз с покойным Юргисом Пендерецкисом.

Венецианский Мавр заперся один в своей опустевшей, громадной квартире. На стене — венок черных роз из бумаги.

Он играет в карты сам с собой. Ветер подхватывает пестрый шлейф карт, несет красочным воздушным змеем над Тифлисом.

Я вижу окно.

Большое окно распахнуто, ветер налетает, треплет кружевную занавеску, дымится солнцем тюль, врывается весенний, молодой крик сирени, фиолетовый и розовый.

Тифлисский ресторан. Свадьба. В тонких, высоких бокалах блестит на солнце золотистое вино.

Это моя белая свадьба.

Бумажный Пьеро снова плачет. Черный Пьеро.

Свадьба твоя!..

Надо протянуть руку.

Автор протягивает отставшую от жизни руку.

Белый, ослепительно белый манжет.

Сухие пальцы дотрагиваются до хрустала.

Обручальное кольцо.

Порыв холодного ветра.

Кричащий аромат сирени.

Ледяная капля рейнвейна скатилась на ладонь.

Пьеро плачет.

Кельнер в малиновом фраке замер у тяжелой портьеры.

— Одетта вышла замуж! — промолвила мама.

— Кто он?

— Белые свадебные хризантемы высылайте по новому адресу. И ярко-оранжевые розы, мой друг!

Тогда я сел в черную похоронную карету и покатил вниз по старинной пыльной улице за цветами.

Пьеро был в белом наряде.

Кружевной воротник.

Появилась черная блестящая карета.

Пьеро уселся на бордовые подушечки и задернул шелковую занавесочку.

Карета катила, тяжело дребезжа о булыжник колесами, по голой пустыне в ад.

Время! Скажи! Сколько старухе

Минуло лет?

1969, 1991

Москва.



## У б ы в а н ь е з в у к а

### *Предпоследнее стихогворение*

Веки на четверть сдвинул — и сразу поднял:  
куда половина жизни девалась? где четверть века?  
о чем говорят, что носят? Чуть не все на сегодня  
мертвы — разгул геноцида, и не свалить на генсека.

Некогда я доходил до черты и слышал: исчезни!  
Это когда был юн. Теперь потеряли упругость  
хрусталик и перепонка: слов в собственной песне  
не разберу; нет вещи — только очерк и грубость.

Чувство любви ушло, сама же любовь осталась  
в нежности, и в доверье, и в надеждах на завтра.  
Юность любит любить и притом очертанья, а старость  
любовью преследует истину с грацией динозавра.

Жизнь еще есть: минута, сутки, десятилетье —  
чтоб изрыгнуть, припомнив, всосанную прежде сладость.  
Старость — жалоба, спетая на одинокой флейте,  
младость — застольная песня хором, ну ее, младость.

Из-за весенних зюйд-остов, из-за нехватки балла  
некогда я до черты доходил и слышал: исчезни.  
В старости хочется жить, чтоб вставить решку кристалла  
в мутные дни и труды, в сахарные болезни.

Мне не мешал никто, меня спасал от соблазна  
даже куратор, тянувший на пальцы казенные душу,  
зато и с дурью узорной знаком я только заглазно,  
к тому же их мягкость и бритость щупал — и больше не трушу.

Даже товарищ бывший, клеветца и пиявя,  
что лез я в кишки, предавал, и умер, и сгнил, и похлеще,  
мое экономит время, мое посрамляет тщеславье,  
а вдуматься, и не пиявит и, увы, не клеветает...

Пещеры, и чащи улиц, и колоннады рощи,  
и вереницы встречных, образы и подобья,  
лепоты и лепнины, опухоли и мощи,  
древний отрок — и юный старик, в гробу и в утробе,

расстаемся, простите. Живые, не обессудьте.  
Жизнь еще есть: минута, сутки, десятилетье,  
чтобы, сказав спасибо, рискнуть подобраться к сути.  
Дети — погоня и бегство времени, милые дети!

С тем проститься, что любишь, когда знаешь, с чем, — не штука.  
Миг между тем, как веки сдвинул и поднял, прожит.  
Дел все меньше, покой — все полней. Убыванье звука.  
Как жить хорошо тому, кто уже жить не может?

\* \* \*

Соловей запоет.  
уцелевшая вздрогнет обитель:  
щелкопер, рифмоплет,  
а как чисто ведет, соблазнитель, —

об иных временах  
и про схожее с вечностью время.  
Усмехнется монах:  
**свободиши рещи о земле мя,**

чтобы мне не гадать  
о чужом и пронзительном даре  
и зачем благодать  
подается в бессмысленной твари:

и стволу, и листу,  
и пичужке, и диному звуку  
даровал красоту,  
в ней сокрыв нашу с нею разлуку:

показал невзначай,  
я за ней потянулся несмело  
и осекся. Прощай,  
замирай, соловей, филомела,

свист твой тягостен нам,  
он пустоты и паузы множит.  
Ибо все, кроме рощи, все — там,  
да и роща, быть может.

1982

### Облако

О. облака  
Балтики летом.  
И. Бродский

Облаком Балтики, грезящем об  
лаком облитых маслинах Эллады,  
целую жизнь освежается лоб,  
робкие cedятся сны и улады.

Облако Балтики, бредень дождей;  
флюс, средиземным надутый  
сирокко;  
дикое мясо бесплодных идей;  
купол бесплотности в духе барокко;

друг-лицедей, обезьяна моих  
складок младенческих, ракушки уха,  
мышц пиловидных, замкнувших  
поддых  
старческих жилок, обвисшего брюха.

Облако, скульптор красот и причуд,  
резчик, резец и подогнанный мрамор,  
груды пространства и слепленный  
из мокроты, из гранита и гранул... —

Балтика — глушь, и — ни слова  
взахлеб,  
или в сердцах, или глупого слова.

Лоб освежен мой, но в теле озноб.  
Только есть в ней всецено живого,

что облака. И признаться пора:  
Греция — прабабка и не любима.  
Облако Балтики позавчера  
плыло над Римом —  
а все мы из Рима.

Все мы — из Рима. И облаком, об  
Лациум тершимся, взгляд утешаем  
целую жизнь. Итальянский сугроб  
сладостей детских, нависших  
над краем

вазы, — вот облако наше! Белил  
перышко в Балтику над кипарисом  
плыло веками, и курс его был  
вчуже пленителен цезарям лысым.

Облако! с высей — твоя на земле  
тьнь — только пятнышко в сыпи  
болотных  
кочек. Но вот ты скользнуло по мне.  
Вот я в объятых твоих мимолетных.

1989

### Романс

Так проходит вся жизнь: в узнавании черт —  
смутных, зыблемых далью, на пленку не снятых,  
например: — Это что ж? — Новогодний десерт. —  
Да когда же? — Да где-нибудь в пятидесятых...

В узнавание — нет-нет, в возвращении к ним,  
запропащенным вместе с цигейковой шубкой  
под китайщиной лет, как отыгранный грим  
вдруг стираемых зреньем любовным, как губкой.

На одну хоть секунду в полгода — и вдруг  
из-под складок у губ и блестящего меха  
проявляется юный восторг и испуг,  
ямки щек и морщинки мгновенного смеха.

И тогда вспоминаешь, что ты и тогда,  
в Новый Год, под презрительно поднятой бровью  
напряженно угадывал: нет или да? —  
набегающей жизни учимый любовью.

1979

\* \* \*

По кипящей листве световые колышатся кудри,  
по зеленой Литве в неотмытой чернобыльской пудре,  
по Эстонии, равно искусной с серпом и гарпуном,  
и по Латвии, сбитой с пути к просоветным рунам.

Над ручьями под солнцем хрустальные локоны выются,  
между прядями зайчиком вспыхивают изумруды —  
все, что с детства и юности мне сберегли автостопы  
на окольных дорогах языческой честной Европы...

Погибавшим с сознанием правды на лоне природы,  
в прибалтийских лесах и сибирских, за дело свободы  
и кромсавшим природу отцов на ростовском комбайне,  
и природе, дававшей им меру и цельность сознанья,

от лица и от имени тех, кто по собственной боли  
забывал о чужой, с кем достаточно съедено соли,  
от расплывшихся в сумерках жизни верселей и челси,  
из-за слез не увидел которые, хоть и всмотрелся,

я, в Давиде-царе, и в Стефане, и в юноше Савле  
узнающий родню, равнодушный то к власти, то к травле,  
шлю признание позднее вместе с мольбой о прощенье  
в сквозняке и воде и луче, чья игра — утешенье.

1989

\* \* \*

Губы дуют в наледь,  
на стекле глазок:  
дай глаза попялить  
мне еще разок

на слоисто-дробный  
городской мираж,  
на простой, догробный  
мир уютный наш,

где друг друга водят  
ото дня ко дню,

где охотой входят  
с детства в западню,

где панели хрупки,  
знобок сумрак ниш,  
где в холодной шубке  
ты сейчас стоишь,

где, спасибо призмам  
мерзлого стекла,  
жизнь моя трюизмом  
чудным протекла.

1983



П с а л о м

РОМАН-РАЗМЫШЛЕНИЕ О ЧЕТЫРЕХ  
КАЗНЯХ ГОСПОДНИХ

V

Когда осиротевший младенец — христианство — потерял свою еврейскую мать в силу вечного соперничества меж теми, кто строил Храм, и теми, кто строит Вавилонскую башню, он попал вначале в руки тех, кто знал о матери его все или многое, но был этому враждебен. Опекун-грек, а это был главным образом грек, представитель совершенно иной духовной основы, постарался сделать так, чтоб младенец не знал сам о себе правды. Для этого опекун-грек ввел затворничество не как временный творческий прием, которым пользовались и Моисей, и Иисус, а как постоянное бытовое монашество, которое создало идейную основу для того, чтобы окончательно оторвать младенца от его иудео-христианской матери, заставить забыть ее подлинный облик, ее подлинные надежды, ее подлинные горести и страдания погибающего народа. В монашеском затворничестве родился даже новый физический облик Христа. Нет, это не был облик ученого фарисея, уже в юные годы поражавшего убеленную сединой профессуру, знатоков Библии, не тот, кто понял практический смысл и силу учения пророка Иеремии о непротивлении нечестивцу, от которого в качестве добычи своей, в слабости своей можно взять душу свою. Не был это и облик мудреца, понявшего, что глас пророка — это глас, вопиющий в пустыне. Пророк предсказывает будущее, но народ осознает его правоту, лишь когда будущее становится прошлым. Потому пророку нужна власть, какая была у Моисея. Царь-Христос — вот кто ныне Спаситель народа... Он знает, как тяжел крест Царя Иудейского... Самые отважные и бескорыстные — невежественны, самые разумные и ученые — трусливы и корыстолюбивы. Так бывает всегда, когда народ в долгом угнетении, и ему, знатоку Библии и пророков, это ясно. Он помнит слова Моисея, он знает, что Спаситель и Патриот должен обладать также и хитростью, поскольку мир — это волчье логово. С людьми учеными он говорит острым, гневным языком опытного полемиста, с людьми темными он говорит инсказаниями, поскольку путь во тьму лежит через мистицизм и доверие невежд завоевывается лишь в случае полного непонимания ими происходящего. Если невежде понятны частности, он отвергает недоступное ему целое. Значит, чудеса должны быть и в целом, и в частном. И в главной идее спасительного людского добра, и в мелких исцелениях. Для ученой верхушки коллаборационистов, усевшихся на Моисеевом седалище, он — беспокойный молодой самозванец, кем, кстати, он и был в действительности. Они понимают его и оттого ненавидят. Для римских оккупантов он — разрушитель Моисеева закона, соперника их языческой идеологии. Они не понимают его и оттого стремятся использовать как коллаборациониста. Тем самым Иисус почти в точности повторяет судьбу своего духовного предшественника Иеремии, посаженного в темницу своим горячо любимым народом и вырученного из темницы ненавидящими врагами — ассирийцами. Ибо пророк может предвидеть и осознать судьбу народа, но он бессилен перед собственной судьбой. Так бессилен перед своей судьбой и Спаситель. Истина была в словах насмежавшихся над ним, распятым:

«Других спасал, а самого себя спасти не можешь». Он удивительно одинок не только на кресте, но и до креста. Апостолы, которых он всегда внутренне презирал, к концу его жизни испытывают в нем все большее разочарование и ищут способа избавиться от него. Невежды от общения с великой личностью начинают понимать частности и потому отвергают недоступное им целое.

Незадолго до Пасхи в доме Симона-прокаженного, в Вифании, назрел прямой конфликт меж Иисусом и апостолами. Вот Евангелие от Матфея, самое достоверное Евангелие.

«Приступила к Нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала Ему возлежащему на голову. Увидев это, ученики Его вознегодовали и говорили: к чему такая трата? Ибо можно было бы продать это миро за большую цену и дать нищим».

Здесь апостолы явно намекают Иисусу, что он сам не соблюдает собственное учение о том, что все следует раздавать нищим. Уразумев их упреки, Иисус и ответил:

— Нищих всегда имеете с собою, а Меня не всегда имеете.

Он помнил слова Моисея: бедному не потворствуй в тяжбе его... Он знал: бедность — болезнь и беда, но не заслуга... Именно после этого предательства Иуда Искариот решил предать Иисуса первосвященнику. Но что значит подлинно предать в условиях соблюдения буквы Закона? Это значит доказать его вину на суде. «Первосвященники и старейшины и весь синедрион (верховное судилище) искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили; и, хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но наконец пришли два лжесвидетеля и сказали: Он говорил: могу разрушить храм Божий и в три дня создать Его». Кому же говорил это Иисус? Согласно Евангелию, говорил он это только апостолам, а значит, два неизвестных лжесвидетеля были из апостолов. Все дальнейшее поведение Иуды Искариота, который в христианской литературе и Евангелии от Иоанна представлен как исчадие ада, в действительности говорит о том, что человек этот был лишь орудием в руках наиболее опасных и хитрых врагов Иисуса среди апостолов, которые так и остались неизвестными. Иуда же был просто наиболее наивный и прямодушный, менее всего умевший скрывать свои чувства, и Иисус, подозревавший о заговоре среди апостолов, указал на Иуду просто потому, что Иуда, безусловно, по чьему-то хитрому умыслу более других бросался в глаза. Указав на Иуду, Иисус не доверял и остальным. На горе Елеонской Иисус говорил им: «Все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы стада».

В провинции, в Галилее, Иисус был личность известная, но в столице его мало кто знал, и когда пришла иерусалимская «золотая рота» брать его, то потребовался поцелуй Иуды, чтоб указать, который из двенадцати чужих пришельцев — богохульник. И далее: «Сие же все было, да сбудутся писания пророков. Тогда все ученики, оставив Его, бежали».

Так пал Иисус жертвой не только внешней ненависти сотрудиничавших с римлянами коллаборационистов, но и внутреннего заговора апостолов, если не всех, то по крайней мере группы апостолов, научивших Иуду и выставивших его напоказ. О том, что Иуда Искариот был человек наивный, недалекий, но совестливый, свидетельствует его поведение после суда. «Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осужден, и, раскаявшись, возвратил тридцать сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря: согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали ему: что нам до того? смотри сам. И, бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился». Здесь угадывается личность честная, но неразумная, даже не осознававшая смысла происходящего, удивленная тем, что Иисуса за неразумные его речи приговорили к смерти. Тем не менее Иуда обозначен в христианской литературе и христианском мышлении как образ канонического предателя, дабы скрыть предателей тайных, разумных и подлинных. И по сей день эти предатели числятся в святых апостолах и в честь их воздвигнуты Божьи храмы.

Так клевета и ложь явились уже в самом апостольском начале и еще более укреплены были апостолом Павлом из колена Вениаминова, никогда не видевшим Иисуса, не слышавшим его живого Слова и происходившим из бывших врагов его Учения... Следует ли удивляться поэтому, что

в греческом затворничестве родился даже физически новый облик Христа — изнеможенного, с убитой плотью человека, который скорее напоминал святого Антония, чем сына из Дома Давидова.

Позднее, в раннем средневековье, в отрочестве, христианство уже находилось в руках тех, кто не только был враждебен, но и не знал ничего правдивого о палестинской матери. Лишь иногда в чернокнижье христианство читало тайную правду о самом себе, но оно само страшилось этой правды и карало самых талантливых за нее. По мере роста своего христианство попало в руки людей совсем чуждых еврейству, ибо греки были еврейству враждебны, но не чужды. Вот почему многое простое, практически ясное в доме матери, стало сложным, недоступным, отдающим метафизической глубиной в чужом доме. Ведь любое человеческое слово в иных мирах становится шифром. Потому, пожалуй, непротивление злу как основной христианский догмат было зашифровано метафизическим шифром все-таки не ранними христианами, а скорей сильными народами раннего средневековья, когда вражда первых античных опекунов христианства к подлинной еврейской матери его еще ощущалась как живое деяние, а не как мифологический элемент, возникший потом среди славянского христианства, и в то же время в раннем средневековье уже был утрачен и стал непонятен язык библейской души. Когда слова о непротивлении злу потеряли подлинный аромат речи Иисуса из колена Иудина, обращенной к погибающему в тяжелой борьбе своему горячо любимому упрямому и непослушному народу, они стали изречением сына Божия, спустившегося с неба и беседующего в пустыне с умерщвляющими свою плоть греческими монахами. Когда из слов этих пропала мудрость политика и горечь патриота, остались лишённые национального языка всемирные поучения, которые становились все менее доступны живому человеческому сердцу... Почему же случилось такое? Христианство всегда, с ранних начал своих было враждебно еврейству, но оно самоотверженно, самоотреченно утверждало в мире веру свою. Потому случилось такое, что чрезмерное утверждение Божественного, небесного происхождения Христа ведет к атеизму. Разве не тем же занимаются и атеисты, пытаясь доказать мифологичность, антиисторичность личности Иисуса, пытаясь отрицать его как личность национальную, одного из лидеров национального Назаретского движения?

В весьма давние времена греческий купец Маркион сочинил Евангелие, в котором отрицал причастность Христа к Библейскому еврейскому Богу. «Библейский Бог, — утверждал Маркион, — это Бог материального мира, а отец Христа — Бог духовного мира». Вселенский собор отверг тогда Евангелие от Маркиона. Слишком уж наглядно он был лжив, слишком искажал подлинность, слишком пахивал многобожием и язычеством. Однако гораздо позднее Собор приобщил к трем каноническим Евангелиям четвертое, от Иоанна, который, следует еще раз повторить, не имел никакого отношения к святому Иоанну, написавшему Апокалипсис. В этом четвертом, декадентствующем Евангелии в более умелой и красочной форме, чем у Маркиона, доказывается, по сути, то же самое и Христос отлучается от своего Библейского Бога... Интересно отметить, как от Евангелия к Евангелию слабел мотив заговора апостолов против Христа. В самом древнем и подлинном, от Матфея, он дан полностью, в Евангелии от Марка он дан достаточно сильно, у Луки он уже значительно ослаблен, а у Иоанна он и вовсе отсутствует. Наиболее трагические эпизоды, предшествующие смерти Христа, написаны совершенно по-разному. Из Евангелия от Иоанна исчез не только заговор апостолов, исчезла неприязнь между апостолами и Христом, вовсе не сообщено о двух таинственных лесвидетелях, по наговору которых Иисус был приговорен к смерти, Иуда же дан как предатель-одиночка, порождение сатаны. Нет места, где он в скорби отрекается от сребреников, а, наоборот, подчеркивается его корыстолюбие через денежный ящик при нем. Правда, дано временное отречение, по слабоволию, Петра от Иисуса, слишком уж заметен этот факт. Однако главное — преднамеренный заговор группы апостолов, который явно виден у Матфея, — у Иоанна полностью скрыт. Так заговор апостолов против Христа превратился в заговор христианства против Христа. Ясная, простая Божья Чаша была безжалостно расколота на метафизически сложные философско-религиозные осколки. В «Легенде о Великом инквизиторе»

Достоевского дан неживой, антinationальный небесно-космический образ Христа, но земной заговор христианства против Учителя дан достаточно точно. Правда, христианство это у Достоевского названо «католичеством», однако в христианском мире, расколотом на осколки, это не более чем естественный полемический прием, который с успехом может быть повернут и против православия.

Так, обособившись от Библии и Моисеева закона, христианство вступило на естественный логический путь обособления и раскола. Заговор против Моисея перерос в заговор против Христа. Давно нет уже у идеологов от христианства общей идеи, когда же нет общей духовной идеи, ищут общего телесного врага, который помог бы сохранить призрачное единство. Впрочем, общий телесный враг найден уже давно, еще в монашеском бытовом затворничестве первых греческих анахоретов. Имя ему — наслаждение. Христианство учит бежать от поля наслаждений, от поля Сатаны, обходить его на пути к Господу, а Библия учит идти через поле наслаждений, через поле Сатаны к Господу, ибо иного пути нет, поскольку проклят человек, и Господь изгнал человека из рая с небесных хлебов на собственный духовный хлеб, в поте лица добываемый. Если атеист трудится в поте лица на поле наслаждений ради хлеба духовного, он выполняет Господнее, если же человек, считающий себя религиозным, ждет на поле наслаждений хлеба духовного с неба от Господа, он против Господа. Христианство, правившее миром более пятнадцати веков, теперь обвиняет в несовершенстве мира атеизм, который еще и века нет, как обрел власть. Это то самое христианство, которое захватило власть над миром, поддерживая тайный заговор апостолов против Христа. Это оно много веков проводило в духовной праздности, предаваясь чисто буддистскому созерцанию метафизических истин и заменив Деяние злобными спорами о добре и зле... Оно и поныне осыпает проклятиями тех, кто в здравом, искреннем человеческом порыве бежит от них к полю наслаждений, бежит туда, куда и следует по замыслу Божьему. Но, к несчастью для себя, бежавшие от юродивых поучений идут через это опасное поле Дьявола, ведомые не тяжелым духовным трудом Учителя, а лишь повинувшись собственным телесным инстинктам. Потому часто гибнут они либо вследствие юношеского невежества в самом начале пути, либо, кто миновал начало, влекомые старческим невоздержанием мимо плодоносной Сердцевины к другому краю, где господствует извращенная мистическая мудрость. Гибель этих несчастных вызывает лишь злорадный хохот сидящих в отдалении в духовной праздности христианских духовных евнухов. Впрочем, ныне многие из этих евнухов сменили церковные одеяния на вполне светскую мантию профессора философии или даже на пиджак литератора.

Вот истина: кто знает Библию, знает все, доступное человеку, кто не знает Библии — не знает и самого себя... Пример тому — Россия... Уж более четырех веков строится в России Вавилонская башня. Библия предупреждает: возьмет башня всю силу, весь талант, всю страсть, но достроена не будет, и прахом станут сила и талант, как это случилось в Вавилоне. Но чаша отвергнута и расколота, ясные истины стали сложной метафизикой осколков. Суетились, строились. Пришел национальный архитектор Достоевский, глянул. К небу уже башня подбирается в конце девятнадцатого века. «Ай да русский народ. Где ступил урус, там уже и русская земля. Только давайте, братцы, придадим этой башне облик Храма. Этим мы от Европы будем отличны. И башня у нас, и Храм. И империя в силе, и религия в силе». Однако более умелыми, самоотверженными строителями на вышних этажах оказались атеисты. Тогда строители-христиане удалились и ныне злорадствуют над теми, кто продолжает начатый ими же вавилонский вызов Господу, над теми, кого они сами же учили получать истины с небес якобы из рук Сына Господнего, а в действительности же из высохших лапок греческих монахов-затворников. А история доказала, как нетрудно в таком случае подменить небожителя и как легко его подобрать...

Все прямо с небес, ибо существует в Евангелии от Матфея (а они знают, что это наиболее достоверное Евангелие, хоть и любят, балуются четвертым, декадентским Евангелием, в котором литературный талант довлеет над духовным содержанием) стих 63 и стих 64. Любят цитировать христиане эти стихи как неотразимое доказательство. Что же в этих

стихах? Иисус приведен в суд. Спрашивает его первосвященник, человек, в котором великое колено Левия достигло предела в своем унижении:

— Ты ли Христос, Сын Божий?

Отвечает ему Иисус:

— Ты сказал; даже сказываю вам: отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных.

Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал:

— Он богохульствует.

Но богохульствовал ли Христос? Опустим тот факт, что это место вообще темно и антиисторично. По Моисееву Закону богохульствовал лишь тот, кто ругал Бога. Христос же здесь Бога не поносит. Допустим, первосвященник, сотрудничавший с римлянами, нарушил Моисеев закон, но нарушал ли Моисеев закон Иисус? Всякий иудей считал себя Сыном Божиим, ибо со времен Авраама народ — Господен. Всякий патриот мог ощутить в себе мессианскую силу в момент, когда народу грозила гибель. Тем более что к небесному «Мессия» он постоянно прибавляет земное — Царь Иудейский. Звание для личности потусторонней, метафизической, не национальной странное. Что же касается Вознесения Сына Человеческого в небесную высь, то это отнюдь не богохульство, ибо тогда следует обвинить в богохульстве и канонически признанного пророка Илью, вознесенного в огненном смерче... Не богохульство это, как утверждает первосвященник из Евангелия, но и не уникальное явление, свидетельствующее о небесности происхождения, как утверждают христианские идеологи, уповая на стих 63 и на стих 64. Это не что иное, как гениальное состояние души великой личности в предельный ее момент. Так что в действительности, пытаясь возвысить происходящее, христианские идеологи унижают его, будучи чужды и еврейской истории, и еврейского национального мироощущения. А иного пути нет к подлинному пониманию Библии и Евангелия, как только через еврейскую историю и еврейское мироощущение. Но разбита Чаша.

Чаша не сложна сама по себе. В первом своем облике она не тревожит разум, осколок же Чаши уже в первом своем облике (он же и последний, ибо у осколка один законченный облик от альфы до омеги) тревожит разум. Чем меньше осколок, тем более он целен сам по себе и тем более он тревожит разум в первом же своем облике, требует меньшего духовного напряжения, чтоб проникнуть вглубь. Осколок волнует сразу, Чаша сразу не волнует, она ясна. Но в ясности Чаши скрыт гораздо более глубокий смысл, чем в темной сути осколка. Чаша материальна и практична в бытии и вносит в него материальное. Это как раз то, в чем всегда обвиняли евреев. Евреи, мол, вносят в мир материальное, и это губит мир. Особенно неистовствуют в этих утверждениях русские национальные метафизики. Да, Чаша практична и диалектична в бытии, в вечном же — метафизична, осколок метафизичен и мистичен в бытии, в вечном же — диалектичен, стремясь постичь недоступное, придавая Конечному диалектический смысл. Придавая человеческим страстям, человеческой любви, человеческой ненависти бесконечный, высший, вечный мистический метафизический смысл и в то же время стремясь диалектически, философски постичь такие цельные вечные понятия, как Небо и Бог. Между Чашей и ее осколками такая же разница, как между Верой и религиями, между смыслом и концепциями, между первичностью интимного чувства и первичностью публичного обряда... Но разбита Божья Чаша, и о том — последняя, пятая Притча Антихриста, посланца Господа.

## **ПРИТЧА О РАЗБИТОЙ ЧАШЕ**

Андрей Копосов, как это случается с детьми, зачатými матерью в чрезмерной страсти, был молодой человек хилого здоровья. Собственно, хилое здоровье ребенка возможно и по иным причинам, но чрезмерная, болезненная страсть матери его Веры как бы навек воспалила мальчика. Он рос нервным и одновременно застенчивым, с «улыбочкой». Отца своего, в честь которого он был назван, Андрей не знал, тот умер за много месяцев до рождения сына, а это для мальчика всегда дурно. В семье он был нелюбимым. Сестры — Тася и Устя — его шлепали, сыновья Таси, Андрей и Варфоломей Веселовы, с ним дрались, муж Таси, Николай Ве-

селов, над ним смеялся, патрульная старуха Сергеевна, мать Веселова, глядела на него остро, с неодобрением. Только мама Вера любила, однако была его мать какая-то запуганная в семье, на нее собственные дочери крикнут, она и замолчит виновато и не имеет возможности защитить любимого сыночка. Потому жизнь в родном городе Бор Горьковской области с детства была Андрею в тягость, и, отвергнутый людьми, он приобщился к книгам, стал активистом Борской библиотеки. В то время минуло ему шестнадцать лет, и было бы чудом, если б он не начал писать стихи. Чуда не свершилось. Дальнейшее его стало ясно. Сомов, профессиональный стихотворец из «Борской правды», окончательно наставил его на путь истинный.

— Подавай в Литературный. Ты парень русский, волжский, талантливый, примут.

Сам Сомов, который годился Копосову чуть ли не в отцы, подавал уже несколько раз, но терпел неудачу. Ныне, однако, он был уверен в успехе, поскольку имел, наконец, рекомендацию от местного агитпропа.

— Они на меня зуб держали за сатирические стихи об инвалиде Иване Прохорове, — пояснил Сомов. — Стихи эти теперь в Москве по рукам ходят... Эх, Москва! Ты, Андрюха, не представляешь, что там за литературная жизнь. И половая тоже недурна, все девушки курят... Ну, ты не красней, вот юноша...

Первые стихи Андрея, которые опубликовала «Борская правда», начинались:

Хлеба краюха и Волги глоток...

— Да у тебя народный талант, — говорил Сомов, — сейчас это очень ценят... Надоела всем еврейская литература... Хлеба краюха и Волги глоток — это уже нечто от русского христианства.

Так впервые на шестнадцатом году жизни услышал Андрей о русском христианстве как о чем-то важном и серьезном, отличном от прежних его комсомольско-молодежных представлений и смешных старушек на паперти.

Сейчас, сидя в московской комнате, которую он удачно снимал у московской старушки, ибо она большую часть своего старушечьего времени проводила у своего женатого сына, сейчас, вспомнив этот изначальный разговор и чувствуя себя совершенно иным человеком, Андрей испытал свойственный подобным натурам жгучий прилив стыда наедине с собой и перед собой за себя самого.

Действительно, приехав в Москву, Андрей еще в большей степени стал себе подобным, то есть еще сильнее укрепился в юношестве, однако по-иному, чем Савелий, без стыдного страха перед девушками, а обособляясь от них как от людей. Впрочем, от людей он не бежал, но больше любил посидеть один. Став студентом Литературного института, он стихи писать разлюбил, однако над искусством задумывался и научился получать от него счастье до слез. Приобщился он и к религии, сперва через глупые споры в компаниях, а затем и через свои размышления. И в этих постоянных болезненных, часто не по летам тяжелых размышлениях многое ему открылось. Например, с некоторых пор он догадывался, что основная мысль гуманистов о том, что нет дурных народов, все народы хороши, безвкусна, как лечебная пища, лишённая мясных соков и соли. В ней было так же мало таланта, как и в расистской мысли о преимуществе одних народов над другими. Но расистская мысль хотя бы обладала плотью, пусть свиной, невытой, но здоровой плотью любви к себе и нелюбви ко всему вне себя. Он знал уже, что вход в этот лабиринт — через детские вопросы христианства о добре и зле. Что чуждая Христу христианская топь метафизических вопросов отняла у западной культуры значительную часть ее духовной силы, не давая подойти к тем библейским истинам, которые лежат в фундаменте бытия. Иногда он сознавал это настолько ясно, что все духовные муки гениев прошлого казались ему понятными. Это и смущало его, это и пугало его, это и уводило прочь от ясности к известным и признанным в московском молодежном обществе толкователям евангельских истин, которые брали над ним верх. И вновь он попадал в заколдованный круг христианских разговоров о добре и зле, где люди, которых он считал глупее себя, говорили умнее

его и приводили неопровержимые доводы. Попытка же возразить приводила к тому, что он выглядел человеком реакционным, злым, чуть ли не расистского направления, и, когда однажды в споре один нервный человек, Вася Коробков, кстати говоря, известный антисемит, крикнул ему «фашист», Андрей понял, что сложившиеся веками евангельские истины, так, как они навязывались авторитетными толкованиями, действительно не оставляли человеку здорового индивидуального рассудка иного пути: либо принять эти истины, как они сложились в течение пятнадцати веков, либо стать расистом. Это его пугало, и он перестал ходить в компании с духовно-религиозными разговорами, оставив за собой прочную репутацию реакционера и человеконенавистника, а по выражению Васи — репутацию потомка в пятнадцатом колене тех самых фарисеев, которые отвергли и распяли Христа. И в этот момент, когда Андрей перестал себе доверять и пал духом, он наткнулся на Моисеево отношение к народу. Собственно, ему приходилось много раз слышать о разбитых Моисеевых скрижалях и даже читать и перечитывать о том, как Моисей вознегодовал на изменивший Богу народ свой и разбил первые скрижали, и что лишь по уговору Господа написал он вторые скрижали. Но читал это без интереса и душевного напряжения, которые вызывали в нем места из Евангелия.

И вдруг однажды утром, часов около одиннадцати, когда квартирная хозяйка отсутствовала и он был совершенно один, Андрей прочел о Моисеевых скрижалях как бы впервые и с каким-то чувством восторженного удивления, точно не положил в этот раз, как обычно, старую, купленную по случаю, неопрятную Библию на обеденный стол, покрытый старушечьей скатеркой довоенного образца, не перелистал залапанных страниц, а совершил вдруг восхождение за истиной куда-то вверх, в гору, поближе к себе и подальше от народного коммунального бытия.

Гуманисты учили, что нет дурных народов. Это было благородно, но требовало насилия над собственным здравым смыслом. Расисты учили, что есть народы высшие и низшие, причем к высшим они причисляли «по знакомству» себя и своих близких. Это было неблагородно, но реалистично и в духе повседневности. Моисеево же библейское учение, если в него вдуматься, находясь в том душевном состоянии, которое открылось в то утро Андрею, говорило, что хороших народов нет вовсе. Это не требовало насилия над здравым смыслом и не давало никому врожденных неблагородных преимуществ. Это была ясная, прочная отправная точка, идя от которой многое можно было понять в материальной истории и в духовной жизни человека. Библия говорила вовсе не то, что утверждали многие ее сторонники, и не содержала в себе того, что отрицали ее враги. Более того, если Библия ортодоксов лишь спесиво замыкалась в себе под яростным, многоликим и уличным напором влюбленных в свою метафизическую идеологию христиан, то Библия живая показывала неправду и языческую суть культа мучений как основы нравственности, показывала подмену основного второстепенным, показывала, что гуманизм — обожествление человека и расизм — обожествление расы являются хоть и поздними, хилыми, но зачатými в страсти братьями этого культа людских телесных мучений.

Все это Андрей понял разом и записал без помарок на четвертушке бумаги за какие-нибудь полчаса. Он знал, что более сейчас не поймет ничего, а в том, что понял, вскоре начнет сомневаться. Потому он не стал искушать себя новыми надеждами, торопливо закрыл Библию, спрятал записанное своим почерком, но будто чужой рукой, не в свои бумаги, а туда, где хранились деньги и документы, в потайной карман куртки, висевшей за шкафом, куртки, которой любой вор побрезгует из-за старости ее.

Было без восьми минут двенадцать. Время, когда он в тот день окончил свою подлинную жизнь и начал ложную, Андрей засек точно. Ложную свою жизнь он начал с приготовления завтрака, вышел на закопченную коммунальную кухню с индивидуальными столиками по числу проживающих семей и поставил на плиту хозяйскую сковородку, вылил на застывший от прошлых жарений жир несколько яиц и, глядя, как шипит яичница, задумался о том, как провести удачнее день, чтобы не потерять и не обесценить только что найденное. Если продолжить оставаться наедине с собой, то значит прожить день жизнью умственной, целенаправлен-

ной, сосредоточенной на одном, а это, безусловно, повлекло бы к сомнениям и могло бы перечеркнуть найденное. Если же встретиться с людьми по бытовым пустякам, то это значит постоянно сравнивать свое заглавное с происходящими вокруг бытовыми пустяками и в результате, во-первых, оставить о себе дурное впечатление, а во-вторых, некрепкую еще мысль свою столкнуть с устоявшимся, осязаемым и прочным, отчего опять же найденное измельчает и поблекнет. Потому лучше всего было бы провести день с людьми, однако не по-бытовому и желательно не в религиозных спорах. Тут вспомнилось, что в Третьяковской галерее открыта выставка французского художника, бывшего эмигранта из России, выставка, производящая шум и рождающая неофициальный шепот. «Вот удача, — подумал Андрей, — заодно Третьяковку посмотрю, давно не был. Позвоню Савелию, Саше Сомову, земляку. А вот возьму и позвоню еще и Васе Коробкову, пусть будут разные люди. И наедине я не окажусь весь день, и среди разных людей меньше будет откровенных, мелких, дружеских разговоров. Ни к чему они мне сейчас».

Было лето, начало июня, занятия в институте подходили к концу, приближались экзамены, к тому ж сегодня, согласно институтской специфике, был творческий день, свободный от лекций. «В другой раз на выставку не попаду, говорят, недолго будет», — подумал Андрей и, сняв сковородку, погасив огонь, пошел к коммунальному общественному телефону, который в это рабочее время не был, к счастью, занят соседями. Первым позвонил он Савелию. Ответил женский голос, мать или соседка. Савелий еще спал, и Андрей минут пять вслушивался в потрескивание и гудение телефона. Наконец застучало, послышались отдаленные голоса, мужской и женский, и Савелий, отхаркиваясь, кашляя, сказал:

— Извини, старик, поздно лег... Здравствуй...

Андрей сказал про Третьяковку и про выставку.

— Конечно, — восторженно воскликнул Савелий, — обязательно приду и жди меня обязательно возле этой дряни... Перекуем мечи на орала... Возле Вучетича... Или нет, лучше у касс... Только я не один... Я с женщиной, — и Савелий стыдливо хихикнул.

Сомов тоже был дома и согласился придти.

— Повидаться надо, земляк, — сказал он. — Разговор есть.

После этого Андрей задумался, звонить ли Васе, которого он не любил и немного побаивался.

Вася Коробков действительно был личностью опасной и странной, но не исключительной. Был он беден, нестроен, жил и пил неизвестно на что, как можно жить и пить только в России человеку с литературными заработками. Заработок этот в стране был очень обширен и кормил целое сословие, весьма разношерстное. Одних — с чрезмерными роскошными излишествами, других — досыта, третьих — экономно, объедками, четвертых, вовсе от случая к случаю. Однако жили все, пользующиеся этим заработком: и вельможи, и люди разбойные, которые возле сытых всегда, если и не имели каждый день что поесть, то имели каждый день чем закутить. Так ежедневной даровой закуской жил и Вася, писавший странные стихи по-русски и по-украински. По-русски он писал массовую лирику:

Я в руки карандаш беру березовый,  
И стих с него стекает нежно-розовый  
На белый лист заснеженного поля...

По-украински он писал стихи индивидуально-религиозные:

Господь помылвся  
И в Киев явився.  
И дуже пры цьому страждав...

— Я ведь с Харьковщины, — говорил он. — Село Шагаро-Петровское, хутор Луговой. То есть я-то родился в Керчи, где мать моя покойная, Мария, вместе с бабкой Марией работали по вербовке. Но все родичи мои с Харьковщины. Собственно, настоящая фамилия моя хохлацкая — Коробко... «В» мне уж потом прибавили, в детдоме... Я до десяти лет в детдоме воспитывался, а потом меня на воспитание тетка моя взяла, после того как разыскала, сразу после войны. Тетка Ксения из Воронежа. Отца своего не знаю, но Ксения говорит, что моряк он был, украинец из



Крыма. А в Крыму ж там в каждом украинце туретчины намешано, татарщины, греческого немало... Вот и наградил меня внешностью вроде бы жидовской... А у меня все родственники иные, типично украинские. В селе Шагаро-Петровское — сестра Шура и дети ее, и дядька у меня был Коля, который в войну погиб, и еще один дядька Вася, который во время коллективизации малым пропал, отчего меня в его честь назвали. И тетка моя Ксения из Воронежа, вы б на нее поглядели, ничего подобного, типичная славянская внешность. Один я нос имею кривой, а глаза и волосы черные. Однажды подходит ко мне жид на улице, начинает со мной по-жидовски говорить. А я пьяный был, конечно, но не очень, и давай ему в ответ стих читать:

Тай нема краще, як на нашій Вкраїни,  
 Що нема жида, що нема пана  
 І унії не буде...

Он — ай, вэй, а я — извините, разрешено цензурой. Тарас Григорьевич Шевченко, том такой-то, страница такая-то, разумеется, в дореволюционном издании. К тому ж, братцы, я как раз гонорар получил и в ресторане «Украина» закусил водку хорошим украинским борщом с чесночными пампушками. Повернулся я к жиду, который украинца имел наглость за своего принять, может, из-за запаха чесночного. Ну, говорю, украинец и чесноком не по-жидовски воняет. Повернулся к нему, ногу поднял и даже сам удивился, что сотворил. В страхе бежал от меня жид, как от казацкого духа, страшного для него, некрещеного.

Смеялся Вася всегда с клокотанием и переливами, а способностью портить воздух был известен в широких кругах, помимо своего страстно-ежеминутного антисемитизма. Газ из кишок исходил у него по-разному, отражая его внутреннее состояние. Иногда, как ясное короткое слово, иногда, как тихая протяжная жалоба, а иногда, как дикий вопль ужаса...

Андрей Копосов боялся Васю и душой, и телом, то есть душой испытывал к нему безразличие, а телом спасался от гнева личности несчастной, которой незачем себя беречь, и оттого опасной для других. Когда во время религиозного спора Вася крикнул Андрею, высказавшему свое мнение: «Фашист!» — Андрей тотчас же ушел. Он знал, что недавно Вася ударил в религиозном споре о Христе старика Иловайского, эрудита-античника, кулаком в глаз. Но было и иное.

Однажды, еще до совместных споров о Христе, в первые дни знакомства, Вася пригласил Андрея к себе домой, куда-то на московскую индустриальную окраину, где он имел комнату в результате размена жилплощади с бывшей женой. У Андрея тогда еще не было своего Евангелия, и Вася обещал одолжить. Васю он застал в рубашке поверх брюк, измазанным краской, с кисточкой в руках. Что-то он подрисовывал в стоящей перед ним иконе, по виду старой. Он предложил Андрею сесть, налил плохого чаю и поставил черствые пряники. Вначале угостил бедно. Однако потом притащил хлеб и бидон пахучего топленого свиного смальца.

— Тетка из Воронежа прислала, — сказал он. — Тратится на меня, она еще не знает, что я плохо кончу, — и улыбнулся.

Может, из-за того случая и решил сейчас Андрей позвонить также и Васе. Вдруг Андрею захотелось, чтоб в день, когда ему открылось то, что он хотел сбересть, и этот человек был с ним рядом.

— Знаю, знаю, — ответил Вася, к счастью, трезвым голосом, — уверен, что это суетня, которую наши местные французы подняли, как поднимают у нас на щит Малевичей, Татлиных и прочих гонителей русского реализма. Но из любопытства приду.

Наскоро поев остывшую яичницу, запив бутылкой кефира, Андрей вышел в жаркий московский день. Он слышал, что публика на выставку валом валит, приходится долго стоять в очереди, и потому вышел гораздо ранее условленного времени, думая, что на «Новокузнецкой» метро будет битком. Однако на «Новокузнецкой» было пусто и прохладно, возле ограды Третьяковки была, правда, небольшая очередь, но минут на двадцать, не более. «Что ж делать, — подумал Андрей, — пойду один, а потом пойду вместе со всеми». Когда он так решил и направился к кассе, отстояв даже менее двадцати минут у ограды, вдруг кто-то его окликнул. Сомов, земляк, который тоже пришел пораньше.

— Это он, — улыбаясь, сказал сатирик Сомов, глядя на Андрея, — я узнаю его, нет, не в блюдечках-кругах спасательных очков, здравствуй, некто, как я рад, что ты живой...

— Ребят еще нет, — сказал Андрей, радуясь, что первым пришел самый глупый, а не самый болезненно эмоциональный, как Савелий, и не самый злой, как Вася.

— Пойдем без них, — сказал Сомов, — я тебе кое-что показать хочу... Поэму сочинил, конечно, не для публикации. Называется: «Побочные явления инстинкта размножения». Или вот. — Он задышал возле щеки, зашептал:

Поел салат — и в самиздат,  
Редактор — хват, давай, мол, брат.  
А я в ответ ни «а», ни «бе»,  
Ни «а», ни «бе», ни «КГБ».  
Редактор зол: куда пришел?  
С таким ЧП иди в СП...

«Я ошибся, — подумал Андрей, — лучше б пришел Вася, если мне уж не суждено посмотреть одному. Тот хотя бы злобно молчал... Вообще я ошибся... Надо было смотреть все-таки одному. Этот более других мешать будет».

Французский выходец из России произвел на Андрея впечатление, вопреки заранее внушенному самому себе разочарованию. Темпы двадцатого века отняли у людей одно из главных благодетелей жизни — терпение. Люди двадцатого века нетерпеливы и в поведении, и в понимании. Если сразу же не поняли, шагают вперед и дальше.

Выставка французского художника, выходца из России, была в двух глубинных залах, так что на пути к ней надо было пройти мимо множества картин и миновать множество лиц посетителей. Андрей был возбужден и крайне болтлив, но не вслух, а в себе, и ему нравилось такое состояние.

— Мне кажется, — говорил Андрей о французском художнике, — рисунки его, особенно позднего периода, ближе к литературе, чем к художничеству. Нечто меж литературой и художественным творчеством. Зрительское восприятие здесь лишь служебно. Как при чтении. Краски, фигуры суть буквы некоей азбуки. Их надо научиться читать — и проникнешь в происходящее, тогда как реалистический художник доступен даже безграмотному. Это не преимущество и не недостаток, это просто разное. Безграмотный смотрит картину Рембрандта или Репина, он видит деревья, людей, небо — то, что можно различить и на фотографии, в то же время он знает, что это очень знаменитый художник, и гордится тем, что в этом художнике ему все предметы понятны, и за это художнику благодарен. Иное — если этот безграмотный возьмет в руки Шекспира или даже грамотный возьмет в руки Шекспира на английском языке. Он его даже по складам прочесть не сможет. Вы заметили, что книга на непонятном языке внутренне раздражает. То же и с творчеством художника не реалистического направления. Он раздражает явно или тайно...

При виде абстрактных или сюрреалистических рисунков Сомов скупал, но в иных, немодных русских залах он проявил интерес подлинный, и лицо его приобрело тот мучительно тупой оттенок, когда человек, умственно слабосильный, хочет понять непомерное. Впрочем, в ранних залах чувствовал он себя более вольно. Ранний зал — портреты. Эпоха Екатерины. Лица в париках, но сними парики, и обладатели их сядут в кресла директоров, начальников жилстроев, замминистров, развратных дам из главков, жен членов высших инстанций. Усядутся в «Волги», а графа Орлова вполне можно в трамвай или в метро. Екатерину Вторую — на дачу, в сарафане варенье варить. Вот кто строил Вавилонскую башню, передав ее надежным наследникам. Далее огромная картина Иванова «Явление Христа народу». Перед этой картиной всегда множество музейной публики, главным образом провинциальной. Те, кто спешит на француза, перед ней не задерживаются или задерживаются ненадолго. Однако Андрей постоял вдоволь, разглядывая картину и публику. Сомов сопел рядом, и на лице его царило то творческое напряжение, которое является на лице человека, сидящего в туалете. Впрочем, такие лица можно и в церкви встретить. Вот неподалеку видит Андрей женщину, шавочку лет около

сорока, может, и моложе, но постаревшую от частых родов и недоносов. Лицо не крестьянское и не городское. Мелкое. Среднее. Щеки красные, вернее, с нездоровой краснотой, нос мал и кверху. Не женственна, груди отвисли. Такие набожны. И эта набожна. Такие верят слухам и правительству, если правительство свое, русское. Рядом с ней мальчик девяти-десяти лет, круглолицый, с тяжелым подбородком, — вид плохого ученика провинциальной школы или пригорода. Но не озорник, слушает, судя по поведению, мать. Задаёт вопросы. Спрашивает о картине:

— Это что, мама?

— Это Христос, — тихо отвечает она, — он хотел, чтоб всем людям было хорошо, за это его евреи убили.

Мальчик понимающе кивает, отходит к другим картинам. Рядом с женщиной вертятся какие-то длинные нескладные русские девахи, то ли дочери, то ли вместе из глубинки приехали к родичам или за продуктами. Список у них: посетить Кремль, мавзоль Ленина, Третьяковскую галерею, ГУМ, ЦУМ, «Детский мир». Продовольственные магазины, разумеется, в первую очередь и вне конкурса. Женщина смотрит на «Явление Христа». Андрей смотрит на нее, думает: «Вот он — русский верующий. В компаниях с религиозными спорами сейчас много говорят о том, что атеизм проиграл и начинается религиозное возрождение. Хорошо, допустим, атеизм проиграл, но выиграла ли от этого в России религия? Ничему не научившись, возрождается она с прежним юродством вместо чувства, с тяжелоголовыми спорами о Христе и с простонародьем, которое о Христе не спорит, но ждет от него того же, что и от грузина Сталина, от турка Разина или иного русского атамана. И если суждено России в будущем попытаться спастись через национально-народное сознание, то не материалистическим и атеистическим оно будет. <...> Во-первых, то, что именовалось «атеизм», действительно в России себя скомпрометировало, надоело, потеряло новизну. Во-вторых, в национальном оно не проявило должной гибкости, оказалось неповоротливым, в то время как православие неоднократно доказывало в прошлом свою способность открыто возвеличивать национальную силу, а ныне для молодежи оно еще и новизной привлекательно».

Но вот иной вовсе зал. Картины Кипренского «Пушкин» и Перова «Лермонтов» не производят впечатления более, чем репродукции этих картин, виденные в журнале «Огонек». Тут же Толстой и Достоевский. Толстой пуст во взоре, но это у него естественно, по-буддистски, ибо усилившаяся среди гуманистов девятнадцатого века страсть достичь совершенства наиболее кратким путем неизбежно вела к духовному поэтическому схематизму, которым характерен буддизм. На противоположной стене висит картина Перова «Странник». Перов писал Достоевского в 72-м году, а «Странника» в 70-м. Удивительно похожи. Особенно взгляд. У Достоевского, как и у «Странника», напряженное углубление и погружение во взгляде и в фигуре. Как будто сосредоточен взгляд на самых глубинах видения Божия, а на самом деле, если приглядеться, — на старых лаптях да непогашенных долгах. Но что эклектично соединено с глобальными великими думами. Достоевский недаром так возносил «Странника» в святого. Странник, особенно русский странник, эклектик до мозга костей, механически легко соединяет свои насущные нужды с нуждами мира. Мечтает, чтобы сбылось все, как он выстроил. У «Странника» Перова за спиной зонтик, у пояса кружка. Достоевский ухватил руками колено. Оба сосредоточились, задумались об одном и том же.

Но вот француз, эмигрант из России. Андрею кажется, что ошибка, вынужденная ошибка — смотреть француза в натуре, на стене музея. Его нужно листать в альбоме, как книгу. Репродукция от оригинала почти ничем не отличается, так же, как почти ничем не отличается отпечатанный в типографии Толстой рядом с рукописью. Зато можно сосредоточиться. Здесь же сосредоточиться невозможно, ибо толпой допустить разглядывать картины или массой слушать музыку, но массовое чтение невозможно. Глубинки мало. Заносит ее изредка. Много евреев — та, в основном, публика, из которой формируется современный выкrest, церковный или гражданский.

Дореволюционный выкrest в значительной степени был купец, торговец или инженер, доктор, человек с расчетом, ничего не имеющий против

Моисея, если тот обеспечивал ему прибыль. Ныне выкрест—это интеллеktуал, философ, мистик. Моисеем он сознательно недоволен. «Сплошные запреты: нельзя, нельзя, нельзя. А у Христа: можно, можно, можно». Но из Моисея знает, в основном, «око за око». Из Христа: «Возлюби врага своего»... Евреи—явно москвичи, другие залы видели много раз и в них не задерживаются, как, впрочем, и иная подобная публика. Состав зала, где вывешен француз, довольно постоянен, тогда как другие залы меняются, тасуются. Скучно. Оживление вносит глубинка.

— А это что? — спрашивает какой-то из глубинки. — Почему человек на щеке?

— А это художнику так захотелось, — отвечает некая с большим носом, блестя глазами и таинственно усмехаясь.

«Вряд ли, — думает Андрей. — Реалистическую живопись гораздо труднее объяснить, там больше тайны. Здесь же все расставлено, как фразы в хорошо отредактированной рукописи. Ничего лишнего».

Некий экстремист из глубинки, сухощавый и русоволосый, пожилой, умышленно говорит вслух сыну:

— Пойдем, после Репина и других хороших картин это смотреть нельзя.

На него не реагируют. Соры нет, и он уходит. А хотелось ему, как в очереди, поговорить, защитить матушку-Русь...

Далее зал Врубеля. Общеизвестный «Демон» 1890 года кажется слабее «Демона» распростертого, телесного, лежащего в страстной позе насилия, но одного, без женщины... Черное, синее, сиреневое... Далее мученик—Фальк... Кончаловский—портрет Якулова. Сидящий по-восточному веселый человек с шутовскими усиками, при галстукe, кажется частью орнамента вместе с висящими на стене ятаганами... Все, как ковер, и все равноправно, и человек, и ятаган... В творчестве Фалька ощущение слабости. Краски его стыдливы, тогда как талант Кончаловского расположился по-хозяйски. Дело не в административном распределении мест. Это внутреннее чувство—стыдливости и слабости у Фалька, силы и сочной цепкости у Кончаловского. Это стыд и слабость, которые необходимы ночью за закрытыми дверьми, и сила и цепкость, которые необходимы днем в толпе себе подобных... Слабость переходит в легкость, воздушность не по плоти, а по сути и несет к небу, сила и цепкость корнями опутывают землю. Силе и цепкости неуютно на небе, слабости и стыду неуютно на земле... Далее натюрморты... Российский хлеб, мясо... Здесь же выгащенный из запасников француз в бытность свою молодым русским евреем... Вот «Медовый месяц». Он и она длинными туманными туловищами-радугами встают из-за горизонта... Небо в цветах, земля в белорусской грязи. И козлиные еврейские лица влюбленных. Самый грустный зал. Все красочно, все молодо, и слезы набегают на глаза. Но не всем. Сомову, земляку, здесь просто нравится. Он ходит не скучный, как перед абстрактными и сюрреалистическими рисунками, и не сосредоточенно тупой, как перед реализмом. Ему интересно, как на гулянке... Абстракция и реализм—искусство самоутверждения, но импрессионизм—искусство жертвенное... Художник здесь гладиатор, который умирает, чтоб восхитить толпу. Не абстракция и реализм, а импрессионизм более всего способен приобщить к искусству души незрелые, грубые, если бы он хоть когда-либо официально господствовал... Но человеку с чувством здесь тяжело, как на дорогом кладбище. Прочь отсюда, в социалистический реализм, успокаивающий душу прочностью мелочей, к навек застывшей повседневной ясности... Если среди абстракции Сомов скучен, среди реализма прошлого сосредоточенно туп, среди импрессионизма праздничен, то здесь, в залах социалистического реализма, он чувствует себя как в троллейбусе. Здесь все узнаваемо, здесь все привычно, здесь он ведет, уходит вперед и теряется где-то в залах народных художников — академиков. А Андрей выходит во двор, к скульптуре Вучетича «Перекуем мечи на орала».

На скамейке рядом с кафе, из которого без всякого благоговения перед святым местом доносятся обычные запахи общепита, сидит Савелий и какая-то молодая женщина, которая, как сразу понял Андрей, часто снится Савелию ночью, причем в разных видах. Да, Савелий по-прежнему пребывал в том состоянии, когда даже вареная курица, целиком уложен-

ная на блюдо с растопыренными ляжками-булдыжками, вызывала в нем не аппетит, а сексуальную жажду... У женщины было лицо престолярное, но не круглое, общероссийское, с татарщиной, а лицо русского севера, вольного от азиатчины... Особенно глаза ее были необычны. Русский светлый глаз обычно жидок, а здесь была голубизна густая, отдающая в темноту.

И, когда посмотрел на нее Андрей, человек замкнутый, мигом проснулось в нем от сестры его Таси, полюбившей Антихриста третьей любовью, не плотской, не платонической, и от матери его Веры, самозабвенной любовницы Антихриста. И обрадовался этому Андрей, ибо, пронеся через залы Третьяковки утренние свои библейские понятия неповрежденными, новым чувством еще более душой укрепился.

— Что же ты? — сказал Савелию Андрей.

— Опоздали, — сказал Савелий, — виноват.

Очевидно, они пришли гораздо позже условленного срока, не зная, что Андрей пришел гораздо раньше и не стал их дожидаться.

— Пришел Иловайский, — сказал Савелий, — заболтались о Христе... Виноват...

— Кто виноват, тому виват! — выкрикнул появившийся Сомов. — А тем, кто не виновен, — здасьте!

Сквозь залы социалистического реализма Сомов прошел как сквозь душевую, где смысл с себя скуку от абстракционизма, тупую сосредоточенность от классического реализма и праздничность от импрессионизма. и явился он на улицу, как и вошел, ничем не изменившийся и готовый к дальнейшей жизни в современной действительности. Залы социалистического реализма были словно баня, смывающая с человека ненужные наслоения искусства прошлого либо чуждого действительности, находящейся за стенами галерей.

— Это Руфина, — сказал Савелий, — соседка моя, а это Андрей Копсов, мой сокурсник.

Так свел их случай, тот, который в действительности есть Божий промысел. В первых же общих разговорах признали они друг в друге земляков. Признали, что дружила когда-то в детстве Руфина с сестрой Андрея, Устей, и была знакома с другой сестрой, Тасей, и с матерью Андрея, Верой. Сомов тоже сообщил, что он земляк из города Бор, отец его — рабочий газифицированной котельной центральной борской больницы, а мать — бухгалтер, но уже на пенсии. И что по этому случаю надо выпить.

Так чему надлежало — свершилось. Однако чего-то еще не хватало. Васи не было, Коробкова. Сильно запаздывал он. А как появился, сразу все оформилось. Увидела его пророчица Пелагея еще издали и поняла — вот оно, дурное семя Антихриста, которое надлежит извести, как извела Фамарь дурное семя Иуды — сыновей его Ира и Онана...

Подходит Вася вплотную, выпивший, и говорит:

— Запоздал я, виноват!

А Сомов повторяет:

— Кто виноват, тому виват, кто не виновен — здасьте!

Но не понравился этот стих Васе, как не понравился в свое время стих Сомова Павлову, инвалиду войны из города Бор. Тогда в саду возле танцплощадки Павлов Сомова ударил. Теперь в Москве, во дворе Третьяковки, Коробков Сомова саданул... Ну, Третьяковка — место хорошо охраняемое, милицией богато. Потому побежали всей группой подальше от выставки известного французского художника, а когда собрались вновь неподалеку, в скверике, Сомова среди них не было, обиделся... Пророчица Пелагея говорит Васе:

— Вы чего деретесь?

А Вася, который всегда был весел после того, как безнаказанно ударит кого-либо, ничего не отвечает, а смотрит на пророчицу Пелагею и замечает в свою очередь ее внимательный взгляд на себе.

— Вы на меня чего так смотрите, — говорит тогда Вася, — или узнали?

— Узнала, — говорит пророчица Пелагея, известная под именем Руфина, — сильно вы на отца моего похожи... Удивительно похожи...

— А ваш отец случайно не еврей? — с сарказмом спрашивает Вася. — Сруль Самуилович?

— Еврей, — отвечает пророчица, — но зовут его Дан Яковлевич. Вы ошиблись...

— Извините, — сатирически говорит Вася, — пробачьте, помылввся, як кажуть на Украини... Господь помылввся и в Къив явввся и дуже при цьому страждав... Вы такое чулы?

— А вы приходите, — говорит пророчица Пелагея, — убедитесь, как на моего отца похожи... Чайку выпьем...

И опять глянула. Второй взгляд ее уже был смертелен, было в нем уже много от Фамари, убившей дурное семя Иуды, сыновей его, первенцев Ира и Онана...

Исказился лицом Вася из племени Данова и говорит, повторяя судьбу Хулила от Суламифи из племени Данова:

— Плевал я на вашу жидовскую лавочку и на вашего жидовского Бога...

Тогда сказала пророчица Пелагея в себе: «Да свершится. Хулитель имени Господнего должен умереть. Пришелец ли, туземец ли станет хулить имя Господне, предан будет смерти».

Так говорила она в себе, глядя вслед удаляющемуся Васе. Андрей и Савелий, которые оба боялись Васю из-за его решительности в дурном, говорят:

— Хорошо, что ушел, — это Андрей.

А Савелий добавил:

— Я теперь лишь сообразил, что Вася на отца Руфины похож.

Андрей говорит:

— Я виноват, пригласил по глупости.

— Неудачно день начался, — говорит Савелий, — но, может, удачно окончится... У меня сейчас Иловайский дома... На дачу к друзьям своим приглашает. Дача эта какому-то хирургу принадлежит, который когда-то вместе с Иловайским в семинарии учился. Хирурга Всесвятский фамилия.

— Опасно это, — говорит Андрей, — они о Христе говорить будут, тяжело мне такое ныне слышать.

— Ничего, — усмехается Савелий, — эти старики по-другому говорят о Христе... Смешно и весело говорят... И Иловайский с ними весело о Христе говорит... Пойдем... Ты, да я, да Руфина, да мать моя с Иловайским.

— Пойдем, — соглашается Руфина-Пелагея.

Тогда сразу же и Андрей согласился. Ибо он уже начал ценить каждую минуту рядом с этой голубоглазой женщиной. Пока ездил Савелий домой за матерью, более часа провел Андрей с Руфиной наедине в окружении, разумеется, случайной публики: сперва прохожих, потом пассажиров троллейбуса, а потом вокзального народа на Савеловском вокзале. Говорили о городе Бор Горьковской области, откуда пророчица Пелагея хоть и уехала девочкой, но многое помнила.

— Что же Устя? — спрашивает Пелагея.

— У сестры Усти двое детей малых, — говорит Андрей, — а у Таси — тезка мой Андрей и брат его Варфоломей. Андрей в армии, Варфоломей шофером работает.

— А Вера как, мать твоя? — спрашивает пророчица Пелагея.

— Мама у меня хорошая, — говорит Андрей, — но слабовольная. Все на нее кричат, у всех она в подчинении, и у дочерей, и у внуков, и старуха Веселова ее третирует, мать Тасинога мужа. Боятся мать всего, и, даже когда молится, лицо у нее испуганное, точно и Бог на нее покрикивает...

Так поговорили и говорить вроде более не о чем, а времени, к счастью, еще много для совместного общения, и понравилось им сидеть друг с другом молча, как иногда пророчица Пелагея с отцом своим сидела, Антихристом. Удивилась этому Пелагея, ибо не знала она еще, что Андрей Копосов тоже есть семя Антихристово, как и Вася Коробков, однако семя здоровое, хоть и не основное.

Плодоносен пристальный взгляд, когда предмет не подавляет личность того, кто смотрит, как это случается в буддизме... Во взгляде буд-

диста холодный эпос — от слияния с природой, то, что все более завладело в упадке и христианством, однако лиричен пристальный библейский взгляд. Мудрость закона — уста Божьи, но плоть Божья, — это высокая лирика. Глянула пророчица Пелагея на Андрея Копосова среди вокзальной сутолоки и познала его. И поняла, что жизнь его сложится лирично. Ибо, когда жизнь складывается лирично, неважно из какого материала, часто даже из самого низменного, злодейского, то Господь всегда бывает рядом с подобной судьбой. Долгую жизнь проживет этот человек, и будет эта жизнь напряженной и опасной, однако будет эта жизнь духовного труженика, и не будет в этой жизни наказания Божьего, а лишь наказание людское, душе нестрашное...

Когда поняла все это пророчица Пелагея об Андрее Копосове, не о чем ей стало более с ним молчать, и тотчас появились Савелий, мать его Клавдия, молодая старуха с покрашенными губами, и старик Иловайский, знаток античности. Старик Иловайский был неприятен тем, что при встрече нечистыми старческими губами своими, неухоженным, запущенным лицом одинокого неряхи лез целоваться в губы, и проблема состояла в том, чтоб уклониться от поцелуя в губы, подставить щеку или вообще заставить Иловайского как бы невзначай, неловко повернув голову, поцеловать воздух, но при этом не обидеть старика. Пророчица Пелагея совершила это легко и умно, однако Андрей попался и ощутил на губах своих мертвую старческую плоть. К тому же мать Савелия, Клавдия, которая Иловайскому во всем теперь подражала, тоже поцеловала, ткнула напомаженным ртом. Савелий суетился.

— Скоро электричка. — И побежал за билетами.

— Иволгин сынок у меня, истинный Иволгин, — сказала Клавдия. — Вижу, как он суетится, вспоминаю отца его покойного, паникера. — И она по обыкновению всплакнула.

Погода испортилась внезапно. Летом в Москве это случается чаще, чем зимой. Вдруг среди безоблачного почти неба громыхнуло раз, другой, когда садились в электричку, уже было ветрено, прохладно, а минут через десять езды окна залило дождем. Разговоры меж собой в электричке вели главным образом люди подмосковные, городские же, уставшие от Москвы, крайне назойливой, когда она постоянно перед глазами, старались глядеть в окна поезда на дачную местность. Исключение составлял Иловайский, который говорил, рассказывал и не давал покоя.

— Вы, молодежь, — говорил Иловайский, — не слышали, конечно, и не читали писания священника Петрова... Христианствующий философ, — Иловайский хихикнул, — любовь как основа жизни общества... Отвергал частную собственность и экономическое неравенство, доказывал, что частная собственность иудейское, а не христианское творение... Семинарсты под его влиянием решили идти в народ с новым Евангелием... Упущено. упущено из истории революции религиозное народничество... Но Петров был отлучен... Да, глупость его была встречена репрессиями, как обычно в России...

— Тише, Гавриил, — сказала Клавдия Иловайскому.

— А что я такое говорю? — вызывающе удивился Иловайский. — Я, наоборот, антиправительственные глупости высмеиваю.

— Не произноси слова «антиправительственный», — шепотом сказала Клавдия.

— Ох и еврейская же у тебя стала душа от первого твоего брака с Кацем, — сказал Иловайский.

Меж Иловайским и Клавдией началось неожиданное препирательство, свидетельствующее о близости их отношений.

— Я сейчас вернусь, — шепотом сказала Клавдия на первой же остановке, — это бестактно, при Савелии... И при Руфине...

— А что, — говорил Иловайский, — Руфина знает, что я не антисемит и уважаю ее отца, ведь верно?

— Верно, — согласилась пророчица Пелагея.

Но Савелий действительно побледнел, и неизвестно, что бы произошло, если бы не приехали. Приезду и смене обстановки обрадовались все, в том числе и импульсивный старик Иловайский, понявший, что хватил через край. Он знал за собой подобный грешок, однако не мог отка-

зять себе в удовольствии позлословить, если был убежден, что его за это обругают, но не ударят, как Вася Коробков.

Мокрое дачное Подмосковье встретило городской народ угрозой, которая исходила от чужих заборов, собачьего лая, отсутствия поблизости милицейских постов и нескольких опасных фигур у пивного ларька. Однако, когда нашли дачу хирурга Всесвятского, друга Иловайского, и вошли во двор, отбиваясь от грязных лап большой ласковой собаки, сразу веселей стало. Когда же увидели на террасе стол с тарелкой яблок, сорванных с черенками и кое-где с листьями из местного дачного сада, и тарелку свежей малины, также оттуда, вся подмосковная прелесть разом заслонила первое неприятное впечатление.

За столом, кроме хозяина, хирурга Всесвятского, розовощекого, следящего за собой старика, сидела жена его Варвара Давыдовна и еще один старый сверстник, тоже знающий Иловайского и сказавший при знакомстве:

— Белогрудов... Фамилия былинная, но скорей в женском, девичьем роде, — что сразу определило в говорящем шутника. Указал Белогрудов и профессию свою — преподаватель литературы.

Иловайский принялся тут же целовать всех троих, вначале хирурга, потом жену его, потом преподавателя, потом опять хирурга. Домработница внесла самовар, а Варвара Давыдовна пыльную бутылку вишневки. «Сейчас заговорит о Христе», — с тревогой подумал Андрей. Но, пока не выпили вишневки, не заговорили, а когда выпили, заговорили сладостно, как обычно вспоминают старики о далеком, молодом, мечтая о прошедшем, как о несбывшемся.

— Помните, — говорят они, — помните? — и глаза их сладостно жмурятся, словно видят приятные сердцу сны, после которых просыпаются с сожалением.

— Помните, гомилетика, — сладостно жмурясь, говорил Белогрудов, преподаватель литературы, — гомилетика — теория церковного ораторского искусства?..

— Литургика — церковный устав, — подхватил сладостно Иловайский.

— В церкви и устав есть? — удивленно, как гусыня, глядела Клавдия. — Гаврюша, неужели есть устав? — Она тоже выпила наливки и кетничала.

От злой и потому производившей умное впечатление, внутренне собранной, церемонной, хорошо обеспеченной жены искусствоведа Иволгина, некогда железной рукой изгнавшей вон детей репрессированной сестры, не осталось и следа. Клавдия ныне злилась и нервничала, как это делают легковесные, глупые женщины, быстро все прощала, удовлетворялась самым малым. Савелию, сыну своему, она была давно уж не опасна, давно уж не строгая мать, пресекавшая его юношеский грех, и он относился к ней требовательно, как воспитатель, соперничая за ее слабую душу с Иловайским, однако не затем, чтобы эту душу беречь, а затем, чтоб через нее доказать свое мужчине-конкуренту.

— Церковный устав, — наставительно сказал Иловайский, — изучение порядка совершения всякой церковной службы.

— А Евангельские тексты, на которые дома писали проповедь, — вел свое Белогрудов, — изучение Иоанна-Златоуста, помнишь, Гаврюша? Помнишь, Сенечка? — обернулся он к хирургу.

— Как же, — сказал хирург Всесвятский, — практику проходили по приходским церквам. Но более всего любил я богословие и медицину... Это в старших классах изучали...

— А как же католики доказывают... — сказал уже сильно захмелевший Иловайский. — М-да... Католическая мысль — это Европа со всеми своими слабостями... Но братья и сестры, в понятии Троицы... — Он попытался встать, однако Клавдия, обняв его за плечи, усадила. — В понятии Троицы... У нас Святой Дух исходит только от Отца, у Европы также и от Сына... Католическая мысль свободна... Мы же поработочены еврейством, Моисеевым. Смешно, мы, русские, — и Моисеево.

«Сейчас начнется», — с тревогой подумал Андрей. Если б не Руфина, сидевшая рядом с ним, то он бы сильно затосковал, но его любовь к Руфине созрела быстро, а красивую тридцатилетнюю женщину юноша, ко-



торому немногим за двадцать, любит послушно, покорно, без мужского насилия в чувстве и стараясь ей подражать в манерах. Руфина же сидела спокойно и смотрела на пьяных стариков-семинаристов.

— Кант отождествлял религию с нравственностью, — словно с кафедры или амвона торжественно говорил Белогрудов, — для Гегеля религия — это начальная стадия философии, которая возникла у дикого человека как потребность в мысли и знании. У Фейербаха религия — самообольщение человека, преклоняющегося перед самим собой... Богоподобие духа человеческого... — Вдруг он перескочил в изложении и заявил: — В семинарии запрещались Тургенев, Гончаров, Толстой, Белинский, Добролюбов, Писарев, Чернышевский, Гончаров... Впрочем, Гончарова я назвал два раза...

— Вот чаша, — сказал Иловайский, облапив ревматическими пальцами красивую, с золотым ободком сервизную чашку с чаем, — она проста...

— Мама, — сказал Савелий, — отними у Иловайского чашку, иначе он разобьет чужую вещь...

— У вас, молодой человек, Эдипов комплекс, — повернул лохматую седую голову русского интеллигента-хулигана Иловайский.

— Если б не ваша немощь, я бы ударил вас, — блеснув слезами юношеского негодования, сказал Савелий, но, увидев испуганное, страдающее лицо матери, удовлетворился этим и успокоился.

— Полноте, — растерянно, наперебой заговорили хозяева Всесвятские, — выпили — и как дети.

— Ничего, я уже спокоен, — сказал Савелий, — я погуляю в саду.

— Сад у нас хороший, давайте я провожу вас, — сказала Варвара Давыдовна, и они ушли.

— Вот оно, Моисеево, — сказал Иловайский, когда Савелий ушел, — заносчивое...

— Именно, — добавил Белогрудов, — помните, революция?.. В семинарии митинг... Входит в класс ветхозаветник, а мы ему: «Библия — это догмат... Почему спрашивается, мы, русские, должны изучать историю еврейского народа, отчего-то Богом избранного, изучать всю подробность этой истории? Историю евреев изучать основательнее, чем историю нашей родины?» Я об этом случае русского патриотизма в семинарии в 1952 году в антирелигиозный журнал написал, но не пропустили...

— В 1952 году, — сказал Всесвятский, — случилась история, которую я часто вспоминаю... В лагерной больнице у нас умершего арестанта вскрывали. Вскрывал главный врач, а все врачи-арестанты, находившиеся в лагере, при этом присутствовали. Труп этот был человека пожилого, и на груди его был большой медный крест. Крест со шнурком передали в канцелярию лагеря, а главный врач лагеря, майор Баранов, воспользовавшись случаем, спрашивал всех заключенных врачей: веришь ли ты в Бога? Все ответили: да, верю. Один только ответил: верю, но в философском смысле. «Это один черт», — сказал Баранов... Я думаю, — добавил Всесвятский, — если бы они были на свободе, то не говорили бы так смело: верую... А там, с приговором в десять — пятнадцать лет, терять им было нечего.

— Вот чаша, — снова облапил чашку Иловайский, — она проста, но ударь ее об пол, разбей, и она станет сложной... Помните, Моисеева Чаша... Моисей — фигура явно преувеличенная, — гнул он свое. — Я античник. Уж, извините, меня не проведешь. Моисею книжник Ездра величие придал в поздний период... Это доказано... У пророков периода Судей или Царств Моисей не упоминается, и вообще великие пророки его не упоминают, кроме Иеремии... Да и то так, мимоходом. Культ Моисея возник в поздний период при Неемии и Ездры... Ездра и написал Моисеево Пятикнижье и искусственно придал ему древний характер.

— Ну что ж с того, — не выдержал Андрей Копосов, побледнев и волнуясь, — что с того?.. Вы, извините, неточно термин употребляете. Не «написал», а «записал». Я читал философский трактат, пытающийся унизить Пятикнижье, утверждая его позднее происхождение... Зачем же ломиться в открытую дверь? И патриархи — не летописи. Там, например, упоминается, что Авраам пришел в область Дана, тогда как Дан появился на свет в четвертом после Авраама поколении, а область Дана появилась

Сумеет ли русский полней всего ощутить Бога не в горе, а в радости, повзрослеет ли русская вера? Или, ничему не научившись, вернется на круги свои?.. Русский атеизм проиграл, но выиграла ли от этого русская вера?..

Вот устали веселиться три хохотуна-старика, бывших семинариста, от усталости поблекли их лица, и вместе с усталостью проступила на них набожность. Уж по-иному о молитве говорят.

— А молитву с тремя земными поклонами помните? — говорит Иловайский. — Господи, владыко живота моего, дух праздности, любоначалия и празднословия не даждь ми, дух же целомудрия, священномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему... Ей-господи, Царю, даруй ми запреты твои погрешениями и не осуждати брата моего во веки веков, аминь.

— А какое пение было в семинарии, — тихо уже, мечтательно сказал Белоградов, — хор архиерейский... Регент. — И он запел неожиданно молодым голосом: — Верую, Отче наш...

Два других старика подхватили, ладно выходило. Варвара Давыдовна, войдя из сада с тарелкой мокрых яблок, сказала было:

— Вы, свечкодуи, потише, хватит молебен служить. — Потом присела, утирая глаза, с глупой ласковой улыбкой, какая была и на лице Клавдии.

И все старики, до того кощунствовавшие, пели с чувством, даже философ-античник Иловайский, пьяно сморкаясь, сказал:

— А при семинаристской церкви два хора было со своими регентами... Помните Кольку-регента, который на жене богатого попа женился?.. Попадья на рояле играла, а Колька на скрипке...

Пророчица Пелагея осторожно, чтоб не нарушить пришедшее наконец с трудом к старикам блаженное состояние души, встала из-за стола и вышла во двор, а оттуда по выложенной кирпичом дорожке пошла в сад. Андрей, увлеченный стариковским пением молитв и псалмов, не заметил ухода Руфины, когда же опомнился, огляделся, не нашел Руфины и вдруг точно во сне испытал страх от безвозвратной потери, ибо впервые за последние три часа ее не было с ним рядом. Вскочив торопливо, обратив на себя внимание, так что старики даже прервали пение, он сбежал по ступенькам террасы и огляделся, не зная, куда идти. Вдруг кто-то кинулся на него сзади, толкнул в спину, и он от испуга нехорошо крикнул.

— Что с вами? — появилась на ступеньке с фонарем, ибо уже было темно, встревоженная Варвара Давыдовна.

Высунулся и всклокоченный Иловайский опять с лукавым, злопахательским, безбожным лицом.

— Молодежь, у них свои дела... Ревность... Ревнует к Савелию...

— Его собака напугала, — сказала Варвара Давыдовна, — она не кушается, молодой человек.

— Где тут дорога на станцию? — сказал Андрей, страдая от внезапности происшедшей с ним перемены, ибо только что он так уверен был в себе перед этими людьми и уверенными словами защитил близкое ему, так взросл был и вот, крикнув от глупой неожиданности, выдал свои душевные мучения, которые в глазах этих стариков выглядят по-детски, отчего и слова его, сказанные в споре, глубоко продуманные, стали теперь детскими...

— Да вы подождите, — показалась и Клавдия, — может, все вместе скоро поедем... Или с Савелием поедете... Савелий! — позвала она. — Да где же он? Наверное, с Руфиной гуляет.

— Нет, я пойду, — торопливо сказал Андрей, чувствуя на себе насмешливый, безбожный взгляд Иловайского, — мне пора...

Он вышел из калитки и пошел наугад по мокрой траве, когда же оглянулся, то даже если б хотел вернуться, не знал бы куда. Все дачные дома проступали в темноте одинаково. Отойдя как можно дальше, он уселся на большой камень, который нередко торчит из земли или валяется неизвестно для чего при дороге в загородной местности, и задумался почему-то не о любви своей к Руфине, которая была сильна, хоть длилась не более трех часов, и которая уже успела причинить ему такое страдание и такой глупый публичный стыд. А задумался он о начальном

после выхода из Египта, то есть спустя еще много веков после патриархов. Ездра укрепил фигуру Моисея в момент исторического подобия, когда выходил из Вавилонского угнетения, повторив выход из Египетского угнетения. Это пример гениального подражания, которое в творчестве выше всего ставил Пушкин... Подражание великим образцам требует гораздо больше таланта, чем новаторство... Низшая стадия творчества есть энигонство, затем новаторство, а затем — подражание великим образцам... Это классицизм... Величие Библии в подражании, в повторении Божьего... Может быть, гениальный подражатель Ездра по древним устным преданиям записал поэму в Пятикнижье Моисея и поставил ее во главе, на подобающее ей место, ибо правда поэзии выше правды истории... Я это не вычитал... Я это сам понял, а уж потом у Аристотеля вычитал и обрадовался, что подтвердилось. У Аристотеля сказано, что историка Геродота можно было бы переложить в стихи, и тем не менее они были бы историей, а не поэзией. Различие в том, что историк говорит о действительно случившемся, тогда как поэт — о том, что могло бы случиться. Поэтому поэзия философичней и серьезней истории. Поэзия говорит об общем, история — о единичном. Общее состоит в том, что следует делать и к чему стремиться, тогда как историческое частное говорит о том, что произошло и случилось... И библейское сотворение мира, вокруг которого тупоголовые попы спорят с научно-философскими красноречивыми, есть поэма, не поддающаяся научному историческому анализу...

Так высказавшись, многословно и до болезни горла, Андрей тотчас понял, что хотел сказать то, в чем был убежден и во что верил без труда, но Иловайский возразит ему более умно и неопровержимо, согласно способности русских спорщиков говорить умней смысла своего. Но тут молчаливая домработница внесла подогретый самовар, к тому ж вмешался шутник Белогрудов, красный от домашней наливки.

— Молодежь, — сказал он весело, — чада... Помните? — он засмеялся. — Рцы мне, чадо, не растлил ли детства своего млададоу, не малакствуешь ли?..

— Рцы мне, чадо, — тут же подхватил всклокоченный интеллигент-хулиган Иловайский, — не мужеложествовал ли еси кого или ни тебя, не сблудил ли еси со женою?..

— Ну тебя, Гавриил, — глупо заморгав, покраснев, сказала Клавдия, — говоришь такое при молодежи...

— Не попался ли со скотом или птицею? — совсем расшалился Иловайский.

— Обрезание Христа иже на осьмой день плоти, — балованно говорил и старик Белогрудов, — на осьмой день обрезатися изволив, нашего рода ради спасения.

— А помните пожар в церкви? — сказал весело Всесвятский. — На хорах загорелся ящик со свечными огарками... Духовник бегаёт с крестом, кричит: тушите, тушите... Потом пол загорелся...

— А мы в кустах, — смеялся Белогрудов, — кто «дерьмо» кричит, кто «лови», кто «дурак»...

— А молитва на основание дома, — смеялся Иловайский, — на копанье кладезя... Иже благословите яйца и сыр... Молитва о приносящих початки овощей...

И совсем плохо стало за столом, весело по-монастырски, но молчала пророчица Пелагея, ибо знала, как трудно русскому человеку верить в Бога... Если б предложили ему что-либо путное в безверии, в атеизме, счастлив бы он был... Поначалу казалось, что нашлась замена и счастлив он был, но недолго... Еще быстрее минуло... И опять возвращается, а куда? Может ли русский верить при таких просторах и такой истории? В Бога — нет, так хотя бы «в распятого за мы при Понтийском Пилате». Есть у пророка Исаяи слова, что не всегда следует искать Бога, но лишь когда Он близок. Близок же Он бывает молодой нерелигиозной нации, когда устанет она от шумного, веселого, свободного безделья. Молодой нации ближе всего Он в горе, в радости Он далек. Нация взрослая соблазняется в угнетении, как соблазнились и лишились Отца в Египетском угнетении евреи, но в радости — расцвет Божьего... Велик библейский плач, плач пророков, плач Иеремии, но ближе человек к Богу в хвалении. Недаром Псалтирь именуется в еврейском первоисточнике Книга Хвалений...

пребывании своем в Москве, когда все, что теперь было напряженным, выглядело празднично и приятно.

Попав в столицу, он обнаружил у многих им в ту пору уважаемых людей национально-религиозное русское чувство, и именно это национально-религиозное русское чувство было первой ступенькой приобщения его к духовному. Можно по-разному относиться к происходящему ныне, однако следует признать, что обновление молодежи началось с ширпотребовских распятий, которые делались из того же материала, что и кошечки-копилки с дыркой для монет в голове. Он тоже очень мечтал достать себе такое распятие, как когда-то мечтал достать себе финский нож, который видел у сильных мира сего. Поскольку и раньше все достойное подражания было русским и русским все венчалось и награждалось, эти русские распятия помогли отрешиться от прошлого и многое изменить, ничего, по сути, не меняя. Он начал читать Евангелие, которое на время одолжил ему Вася Коробков, и в Евангелии тоже все было русским. <...> Множество интеллигентных дам, некоторые даже из евреек, приобщившихся к обновлению русскому, еще более усилили влюбленность в русского Христа... Этот радостный, свадебный, медовый для Андрея месяц приобщения к русскому христианству был разрушен не духовными сомнениями, для которых он был тогда еще слишком неразвит, а на первый взгляд явлениями мелкими, бытовыми — дурным характером столичных христиан. И не только дурным, но и узнаваемым, привычным, потребительским, более отвечающим национальным эмоциям, чем стремлениям проникнуть внутрь Евангельских изречений. Когда же начали молодые люди переписку от руки Евангельских текстов и передачу их друг другу, точно прокламаций, он окончательно понял, что религия не спасет Россию в будущем, как не спас ее атеизм в прошлом. Нет от самого себя спасения, и перед самим собой человек беззащитен. Национальный характер — вот его истинный поработитель. Не дано человеку себя изменить, но дано ему себя понять и иных предостеречь словом. Что будет — то знает Бог, но, как не должно быть, может знать и человек. Не должно быть излишнего упования на религию, как было излишнее упование на атеизм, ибо христианская религия ныне не может уповать сама на себя. Христианство, начавшее свой исторический путь с заговора апостолов против Христа, понимает, конечно, что главное, чего ждет человек от религии, это успокоения, за которое он согласен платить покорностью. Ждет того же, что ждет ребенок от матери. Успокойшь — будет покорен, не успокойшь — не будет покорен. И успокаивает она любовью к страданиям и наградой в загробной жизни. Однако если заменить любовь к страданию любовью к подвигу, что в принципе одно, если заменить награду в загробной жизни наградой от славы нации, то вполне это будет пригодно для земного вызова Богу — строительства национальных Вавилонских башен. Апостольское христианство гордится своей любовью к человеку, в действительности же в основе всей его морали лежит преувеличенный смысл и значение человека в Божьем мире, и здесь они сродни атеистам. Нет, не тому учат библейские пророки, не тем успокаивают. Библейской правдой успокаивают они, Божьей правдой. Правда же состоит в том, что человек — существо проклятое с момента изгнания из рая-Эдема. Понять правду о себе доступно каждому, однако не каждый согласится ее понять. Мало кто согласится. А ведь правда о себе не только облегчит, но и укрепит жизнь. Каждая удачная минута, всякое счастье, любое доброе дело будут восприниматься тогда как незаслуженная, а оттого вдвойне дорогая награда, всякая же беда и неудача будут приниматься как заслуженное, а оттого менее обидное наказание. Не ждать наград, которые всегда должны быть неожиданны и восприниматься как незаслуженные, и не страшиться наказаний, которые всегда должны восприниматься как естественные, — вот подлинная судьба религиозного деятеля.

Есть знаменитое место во Второй Книге Моисеевой «Исход». В страхе перед преследующим их фараоном сыны израилены вместо борьбы-деяния обратились к Богу с молитвой, а к Моисею с проклятиями за то, что он поднял их к борьбе-деянию, оторвав от молитвы. И великий пророк, тоже дрогнув сердцем, обратился к молящемуся народу с обещанием милости Божьей за молитву их. «Не бойтесь, стойте и увидите Спа-

сение Господне, которое Он сделал вам ныне. Господь будет побороть за вас, а вы будьте спокойны». Тогда Господь преподавал Моисею урок. «И сказал Господь Моисею: что ты вопиешь ко Мне? Скажи сынам израилевым, чтоб они шли». Недостаточно Божьего замысла, но человек сам должен быть на уровне Божьего замысла, иначе не сбудется, не свершится.

И вспомнилось Андрею Копосову, вспомнилось ему, как некоторое время тому назад посетил он подмосковный Загорский монастырь, Троице-Сергиевскую лавру, и как вернулся оттуда с тяжелым сердцем. Он всегда боялся кладбища, здесь же было как бы кладбище, могилы которого разрыты для обозрения. Все выглядело этими старыми, разрытыми могилами, приносящими доход от посещений туристов, — монастырские стены, колокольни, трапезная в стиле аляповатого «русского барокко». <...> И все это было покрыто надписями, как на могилах, церковными — вязью и государственными — строгими буквами. Единое целое со всем этим составляли толпы старух примерно одного возраста, где-то вокруг шестидесяти, примерно одного роста, одного черного или серого цвета. Изредка среди них мелькало лицо мужчины либо лицо молодое: реже — мальчика, чаще — девочки. <...> Только монахи, кто в полном черном облачении со знаками отличия, цепями и крестами, кто в сером, приталенном облачении без всяких знаков, шли по двору в разных направлениях со здоровыми, живыми, полнокровными лицами и обращались с богомольцами спокойно. <...> Хоть было лето, но день холодный, ветреный, а богомольцы по-вокзальному расположились под открытым пасмурным небом на длинном ряде садовых скамеек. Кто спал, улегшись на скамейку, кто закусывал бедной пищей: хлебом, вареной колбасой, запивал водой из пол-литровых баночек. Здесь же были и монастырские кошки, видно, кормящиеся от подающий богомольцев, и тучи голубей, прямо садящихся на спящих и разгуливающих по ним:

В одной из древних церквей, у именитого, представляющего достоинство государства, иконостаса шла служба. Священник в очках, с седой гривой волос сидел в изголовье того, что изображало Гроб Господень, мертвенно поблескивающий серебряный Одр Божий, и мужской речитатив его подхватывался женским: «Аллилуйя!» Вереницей шли богомольцы и прикладывались губами к серебряному Одру. Все это происходило в полутьме и тесноте. В другой половине, такой же тесной, как бы в комнате ожидания, стояли скамьи и плотно, по-вокзальному, сидели богомольцы с узлами и корзинами. <...> Лев Толстой, личность с достаточно здоровым восприятием жизни, отобразил это в полной мере в «Отце Сергии». Истинно по-толстовски выразилась одна девочка лет восьми, которую привела с собой посмотреть на церковную службу мать-турка.

— Уйдем отсюда, здесь страшно, — шепнула девочка, наслушавшись «аллилуйя» и насмотревшись на зацелованный серебряный гроб...

Нет, религия не обновит русский характер, ибо сама она есть порождение русского характера и сама она требует обновления. Сегодня особенно понятен страх Толстого перед церковью, делающей веру публичной и коллективной. Все религии складывались, когда основная масса людей была темна и по-овечьи нуждалась в пастыре. А между тем религии интимность необходима не менее, а, пожалуй, гораздо более, чем любви. Никакой другой человек, как хорош бы он ни был и каким бы саном он ни был облачен, не должен и не может нарушать интимности веры, ибо церковная публичность веры еще в большей степени, чем публичность любви, есть путь к разочарованию и духовной гибели. Если в прошлом публичность веры была печальной необходимостью, то в будущем интимность веры станет неизбежной потребностью. Интимность религии — это единственный путь к религиозному обновлению. Люди могут знать, что кто-либо влюблен, но как он любит — не должны знать либо должны лишь догадываться. То же и в религии. Значение религиозного обряда, лишаящего религию интимности, должно все более ослабевать, а значение интимной веры — увеличиваться...

Тем успокоил себя Андрей Копосов, побочный сын Антихриста из колена Данова и русской женщины Веры Копосовой из города Бор Горьковской области. Понял он, что мучает его, и ясно определил свою до-

рогу. Он знал о себе, что верит в Бога, и потому он чувствовал свое право предостерегать от религиозного соблазна, который приближался к России среди скуки бесталанных официальных атеистов, предостерегать, что в будущем религия будет главной опасностью в России. За антирелигиозность будут ненавидеть его и будут смеяться над ним в неофициальном антиправительственном обществе и будут стараться использовать его в обществе официальном, как Пилат пытался использовать предостережения Христа против необновленного Моисеева Закона, Закона, в который Иисус Христос, иудей, верил сам всей силой своей великой души.

Когда понял свое Божье антирелигиозное предназначение Андрей Копосов, сын Антихриста, пророчица Пелагея, приемная дочь Антихриста, которая стояла с Савелием в темном дачном саду, ощутила это через мягкий толчок в сердце свое и сказала с улыбкой:

— Понравился мне, Савелий, друг твой Андрюша, только молод он, не пара я ему.

А меж ней и Савелием уже давно установились те по-женски откровенные, дружеские отношения, с помощью которых умная женщина удерживает от рискованных шагов нелюбимого человека. Если длится это слишком долго, то человек этот действительно начинает понимать каждое ощущение такой женщины и жизнь ее становится почти его жизнью.

— Сильно он полюбил тебя, — говорит Савелий, — сразу полюбил и, если даже встретит другую, уже счастлив не будет.

— Не для счастья с женщиной он живет, — сказала пророчица Пелагея.

— И Вася полюбил тебя, — говорит Савелий, — ты не смотри, что злой он ругатель... Это несчастный человек.

— Я знаю, — сказала пророчица Пелагея, — но недолго уж ему мучиться и страдать.

И вдруг какой-то нечистый отблеск явился в глазах ее. Темно-вишневый цвет явился, каким горит накаленное железо или тлеют угли потухающего костра. То был жестокий цвет небесной кары, который заимствовала пророчица у приемного отца своего, Антихриста. Всякая, и добрая, и злая, жизнь кончается от господства такого цвета...

Никогда подобного не видал еще Савелий, ибо осветился сад и стали видны аккуратные яблони с побеленными стволами. Здоровый человек, увидев такое от любимой женщины, повредился бы в разуме, но Савелий уже прошел курс в психиатрической лечебнице и ныне увлекался алхимией с той же страстью, с которой он в ранней юности увлекался сладким грехом затворников. Бывали у него и приступы, и ощущал он их без беспокойства, просто в эти моменты был более настойчив в тех мыслях, которые мучили его постоянно. Так сейчас начал он упрашивать Руфину-Пелагею подарить ему немного крови своей.

— Всякий человек сдает анализ крови в поликлинике, — говорил Савелий, — я договорился, я заплачу, и мне выдадут пробирку с твоей кровью... Конечно, неофициально... Есть у меня двоюродная сестра Ниночка, я думал взять кровь у нее, когда Ниночка приезжала, но потом узнал, что она замужем. Мне нужна кровь девственницы.

В дачном саду было прохладно и влажно после вольного загородного дождя и пахло богато, казалось бы, самой жизнью. «Именно запах земной жизни в корнях своих должен быть таким, — думала пророчица Пелагея, — после дождя поздно вечером в загородном яблоневом саду».

Этот запах вдохновил и Савелия. Он говорил о причине бессонных ночей своих, об идее своих последних месяцев, о мечте своей — обновленной современной алхимии, которая единственно способна решить тайну всего, тайну тайн, тайну жизни.

Поняла пророчица — и этому не спастись. Погубила его книга, как часто случается с натурами впечатлительными, женскими, у которых эмоциональная жизнь пригодилась бы и гению, а умственная жизнь пришлась бы впору подростку. Сильно, глубоко, хоть и односторонне способны они принять художественный образ, но книга, требующая взрослого единого обобщения, вредна для них. Конечно, Савелий — человек дурного кровосмешения и опасностей предельных, однако многое, ему свойственное, вообще свойственно молодому религиозному чтению. Не в Евангелии, а

в Пушкине скорей обнаружит пылкий молодой человек Бога... Как некогда в начале века было повальное увлечение умными книгами экономического материализма, с которых началось падение многих талантливых душ, так и ныне является опасность увлечения святыми книгами, от которого началось уж падение некоторых, а может быть, и падение многих. Со Святого Евангелия, библейского осколка, началось падение Савелия. Библия подобным натурам менее опасна, ибо менее для них привлекательна. Ясно — «око за око» — чего тут не понять? Но Евангелие — «возлюби врага...» — уведет, пообещает, увлечет и не ясному Пушкину передаст, а книгам мистическим. Так христианский аскетизм неизбежно превращается для молодого верующего в мистическую эротику. Особенно опасно это в эпоху духовного голода, вызванного засильем неталантливого, непоследовательного атеизма, идеалистического атеизма.

С некоторых пор посещал Савелий кружок молодых людей, собирающихся тайно на квартире у одного из них и радостно предающихся средневековью, благо явилась ныне мода петь хвалу средневековью по всякому поводу. Гоголь имел право в стареющий век любоваться средневековьем, радоваться юношеской свободной игре души и мысли, однако люди нашего времени, увидевшие и ощутившие неизбежно бездарный финал талантливой средневековой игры в человекобога, не должны стремиться в бездарном своем финале подражать плодотворному талантливому началу... Всякая детская игра не должна быть доведена до скучного конца, ибо любой ребенок знает, что самое неинтересное в игре — это ее конец. Средневековье — это возрожденное веселое временное детство, наступившее после Библейской мудрой вечной старости. Именно в средневековье христианин окончательно стал веселым язычником. Фашизм, как всякое народное движение, есть детская веселая игра, начатая еще гениями средневековья. Но гений наделен великим спасительным свойством совершать ужасное в мыслях и душах своих, тем ограждая мир от самой страшной для него угрозы — материализации немислимых человеческих фантазий и причуд. Когда же в эту игру начинают играть дети с дурной кровью, становится ясно, что фантазии Шекспира и Данте имеют своих исполнителей-практиков. Проста загадка, мучившая интеллигентов-либералов: откуда взялся фашизм в культурной Европе? Фашизм — это когда к талантливым играм средневековья приобщается множество бедных детей с дурной кровью. И взрослый человек, представитель, казалось бы, взрослой нации, легко включается в эти веселые игрища, отбрасывая пути разума, лишавшие его стольких диких удовольствий, проклиная Моисеево «нельзя», придает свой языческий смысл Христову «можно», резвится, превращается вновь в средневековое дитя двадцатого века, однако резвится уже со щипками и укусами, как резвятся, радуются и играют пахнущие мочой прыщавые недоноски. Но средневековую пышность этой игре придают мистические побрякушки. Когда-то в России мистицизмом увлекались разучившиеся верить в Бога декаденты. А если им ныне увлекутся не научившиеся еще верить в Бога дети скучного атеизма прошлых лет? Во что превратится массовый, народный русский мистицизм? В какую игру сыграют русские люди себе и другим на погибель? Много грехов на душе у России, ибо таков ее удел; нации, завладевшей таким пространством, нельзя обойтись без своих и чужих мучений. Однако не готовится ли в будущем страшный грех, за который уже не простит Бог? Грех, когда Святое Евангелие научит незрелые, истосковавшиеся в атеизме души дурному...

Вот книги, которые читали в кружке, посещавшемся Савелием: «О состоянии человека по смерти и превращении тленного его тела в нетленное, как он в Эдеме создан был, также и о состоянии осужденных нетленных тел из начала мрака»; «Отверзтые врата тайной природы и действующих свойств ея в добре и во зле. Также что есть Эссенция вещей и давно желанная всеми химиками к сведению первая материя философского универсального лекарства в пользу ищущих истинных снагерических и медицинских знаний».

Впрочем, Савелий с некоторых пор в кружок являлся редко, больше просиживал дома среди колб и реторт, раздобытых на аптечном складе. Подумывал он также и об оставлении Литературного института с тем, чтоб поступить по биохимической специальности в университет. Пока же увле-

кался он книгой «О философских человечках, что есть они в самом деле и как их рождают». В книге этой была на титульном листе приписка, которая особенно Савелию нравилась: «В печать издана, украшена фигурами и свету сообщена». Сообщалось свету о рождении философских человечков просто и уверенно, без излишнего лиризма и с научной убежденностью.

«Сие происходит следующим образом. Возьмите колбу из самого лучшего хрустального стекла, положите в оную самой лучшей майской росы, в полнолуние собранной, одну часть, две части мужской крови и три части крови женской. Но заметить должны, что сии особы, если только можно, были чисты и целомудренны. Потом поставь стекло оное с сиею материею, покрыв его слепой крышкой, сохрани для гниения в теплом месте, и тогда на дно осядет красная земля. После сего процеди сей менструм, который стоит наверху, в чистое стекло и сохрани его хорошенько».

Так начиналось описание процесса создания философских человечков — мужчины и женщины..

Пророчица Пелагея знала, что то, чем хочет заняться Савелий, есть грех, и слыша ранее не раз его увлеченные рассказы и выслушивая его просьбы о том, чтоб подарить ему немного своей крови для опыта, она думала, как предостеречь этого влюбленного в нее, страдающего больного парня. Она знала, что слово бесполезно в подобном случае, а как предостеречь делом — придумать не могла. Можно было не дать ему своей крови, что она и делала, но он бы только этим укрепился в желании совершить задуманное, искал бы кровь в другом месте, жил бы этим и укреплялся бы в грехе. Можно было бы дать ему своей крови, и тогда он совершил бы опыт, который, конечно бы, окончился ничем либо не тем, что задумывалось, как всякий алхимический опыт. Тогда бы он проявил истинно мистическое упорство, стремился бы к новым опытам, опять неудачным, и если б ему суждена была долгая жизнь, то постарел бы в грехе. И сейчас, стоя в темном дачном саду среди яблонь, глубоко дыша богатым, волнующим, влажным запахом жизни, видя рядом с собой бледное, по-славянски безудержно влюбленное лицо с Клавдиным коротким носом и испуганными сочными глазами Алексея Иосифовича или даже деда, Иосифа Хаимовича, видя и чувствуя все это, пророчица Пелагея решила вдруг бороться с грехом, помогая ему совершиться и обнаружить себя, бороться с Сатаной, идя Сатане навстречу...

Надо, кстати, заметить, что пророчица Пелагея и сама уже продолжительное время мучилась женским и вполне испытывала на своем теле третью казнь Господню — дикого зверя. Через попытку изнасиловать ее еще девочкой, в лесу, вблизи города Бор, было дано ей знамение о пророчестве ее, и она помнила это. Знала также, что подвиг девичества, который ныне совершался ею ради Господа, укреплялся Сатаной, неизбежным участником всякой рискованной Господней драматургии... Вначале, пока Пелагея была подростком и молоденькой девушкой, помогали стыд и дочерняя любовь к отцу своему — это было самое несложное время в ее борьбе. Но, когда она стала читать Библию, читать Евангелие и часто молиться, ей почему-то особенно тяжело пришлось соблюдать обет. Тех, кто сватался к ней, она отвергала легко, и тут никакой борьбы не было, люди эти большей частью были ее круга, ибо знакомства у нее с отцом, дворником жэка, были не широкие... Но в самый тяжелый для себя период, с 25 до 30 лет, ей несколько раз доводилось видеть мужчин, для нее опасных...

Однажды послали ее от жэка за город на уборку картофеля. И шофер, который вез пророчицу Пелагею в кабине в район на заготовительный пункт, попытался ее изнасиловать. Очевидно, было в ней что-то крайне женское, что толкало натуру необузданную к насилию... Они боролись в лесочке, куда пошли воздухом подышать, и пророчице Пелагее вдруг захотелось дать ему возможность одолеть себя. Но Сатана, который стоял рядом и у которого были свои замыслы, увидел это и понял все. Шофер был известный деревенский хулиган, отсидевший в тюрьме за поножовщину, но красавец. Он изнасиловал в деревне уже несколько женщин, однако на него боялись жаловаться. Не просто он любил насиловать, а сперва испугать, поизмываться, тем более ныне, когда эта женщина бы-



ла в его полной власти, в вечернем лесу, наедине. Сатану, стоявшего рядом с пророчицей, он, конечно, не видел. Однако, когда ударил Пелагею шофер по лицу и схватил, не захотела Пелагея воспользоваться пророческим, а захотела воспользоваться только своим, людским. Ибо при наильнике Павлове была она слабой девочкой, ныне же стала налитой, дюжей женщиной русского севера. Ударила она шофера ногой в живот и ушла в разорванной кофточке, прикрывая руками обнаженную грудь. Так спаслась она от соблазна в первый раз. Второй раз все должно было произойти добром, понравился ей мужчина хороший, красивый, но инвалид войны. Все тоже быстро произошло, главная опасность была в быстроте. Сватовство — тут все по порядку и закону, а против порядка и закона ее обет девичества был силен. Боялась она лишь беспорядка и случая. Случай этот опасный начался на каких-то поминках, где она была с отцом своим, Антихристом. Отец ее, Дан, Аспид, Антихрист, по дворницкому своему делу раньше отлучился, а Пелагею пошел провожать этот инвалид. На поминках, конечно, слезы были, покойник, хоть и не очень знакомый, но душа была размягчена. И вот в таком состоянии идут они, и не так он ее провожает, как она его, поскольку гололед, а он на протезе с палкой. Подошли они к дому его, и стал он пророчицу Пелагею просить войти к нему.

— Пойдем, Руфина, чайку попьем с мороза...

Все, как обычно мужчины делают в такой ситуации... Вошла она, и начал он ей фотографии фронтовые показывать, на **которых** с покойником вместе был изображен. Показывает и плачет, лицо **детское** совершенно стало, жалко его, пожертвовавшего мужскую молодость войне, а теперь не имеющего полноценного мужского. И захотелось ей опять дать себя одолеть. Но Сатана по-прежнему был рядом. Свет заранее потасили, видно инвалид стеснялся перед молодой женщиной своего увечья, культяпки... Пророчица Пелагея уже на койку легла и вдруг в темноте рукой зацепила палку инвалида, та упала с шумом, от шума этого вернулась к себе пророчица издалека, куда успела уйти на минуту-другую, пока лежала рядом с напряженным чужим телом, которое она должна была спасти от напряжения и спастись сама... Разом встала она с койки, ибо все случившееся уже сложилось в некую историю еще до того, как произошло непоправимое. А как только оно сложилось в историю, восстановился порядок, а как только появился порядок, восстановился и обет девичества, который она дала Господу. Оделась пророчица, извинилась перед инвалидом и ушла... Было ей тогда 27 лет, и с тех пор ей казалось, что девственность ее особенно прочна и не подвергается соблазнам. Однако соблазны недавно вновь явились, сперва во сне, потом и наяву. Потому, стоя сейчас в темном саду рядом с влюбленным в нее грешником, решила пророчица бороться с грехом, идя греху навстречу, навстречу Сатане, но все-таки не нарушая обет девичества.

— Хорошо, — сказала она, — я дам тебе крови своей для опыта.

Не поверил счастью Савелий, засмеялся от радости и попросил поцеловать ее в щеку. Она разрешила. Тогда руку попросил он поцеловать. Она снова разрешила. Но большего он просить не решился, и они пошли из сада.

— Может, Руфина, здесь заночуем, — сказал Савелий. — Дача большая, найдется тебе комната.

— Нет, — сказала пророчица, — отец один дома... Да и соскучилась я по нему...

— Тогда я тоже поеду, уйдем не попрощавшись, мать поймет, а то еще задерживать будет. Только вот как Андрея позвать?

— Андрей уже давно ушел, — сказала Руфина-Пелагея. — Я видела.

— Страдает он, — сказал Савелий. — Жалко его.

— А Васю тебе не жалко? — сказала вдруг Руфина-Пелагея. — Он ведь тоже страдает.

— Васю? — удивленно переспросил Савелий. — Знаешь, я давно с ним знаком. Опасный он, страшно живет, точно в чем упрекает всех остальных, перед ним виноватых. Боюсь я его, — признался Савелий, — антисемит он ужасный, болезненный какой-то, неспокойный антисемит.

— А правда, он на отца моего лицом очень похож? — сказала пророчица Пелагея.

— Действительно, — сказал Савелий. — Я и сам теперь подумал. Это потому, наверно, что южные украинцы сильно с турками смешаны. Он, кстати, знает, что похож на еврея, и сильно от того страдает. Если б ему другую внешность, может, он добрый был бы парень и антисемит более спокойный. Сегодня возле Третьяковки он слишком сильно нервничал и слишком тупо Сомова ударил. Сомова можно было и поумнее ударить, он того стоит. Вася ведь не всегда тупой; когда забудется, словно не помнит себя, доброта проступает в нем, и с ним бывает приятно. Но сегодня как бы чего не натворил.

Это была правда. С тех пор как расстались возле Третьяковки, как крикнул он про жидовскую лавочку и жидовского Бога, не находил места Вася и не мог сидеть, а все ходил и ходил, надеясь устать и успокоиться. Но не устал; и не успокаивался. И не мог он понять, что с ним, — то ли евреев до нервного приступа возненавидел, то ли голубоглазую еврейку полюбил. К женщинам Вася всегда относился более спокойно и рассудительно, чем Савелий или Андрей, а влюбленность и вздохи вообще считал не мужскими, еврейскими, слабосильными штучками. Была у Васи жена, посудомойка, с которой он разошелся; теперь была деваха, преподавательница английского языка из школы, расположенной против его дома... И вот с утра такая напасть. Знал Вася, где живет Савелий, и слышал, что в той же квартире живет и еврейка, которая не давала ему покоя.

«Пойду, — решил Вася, — давно пойти надо было. Там, у Руфины-жидовки, наскандалю, успокоюсь и забуду ее».

Предварительно зашел Вася в Дом литераторов, в знаменитый ресторан, где привилегированной литературной публике разрешалось дышать пряным запахом разлагающегося мяса и прокисшего томатного соуса... Подсев к столу богатого еврея-песенника, который очень боялся Василиных скандалов и которого Вася в позапрошлом году на майские праздники ударил, он выпил триста граммов даровой водки и съел одну даровую шпроту. Ел Вася мало. От Дома литераторов к бульвару, где жила еврейка, было рукой подать, быстро шел Вася, но триста граммов даровой водки еще быстрее разобрали и исказили речь Васей Божий мир. Так пришел Вася к дому на бульваре. Дом этот был старый, интеллигентный, дореволюционный, и Васе показалось — со сладким жидовским запахом на лестнице. Однако выше этажом гуляли грубо, во всеуслышание, с частушками, и это успокоило — значит, теснят жида, не дают ему одолеть... Слезаящимися почему-то глазами нашел он номер квартиры и позвонил. Дверь отперли.

— Можно Руфину?.. Руфиночку можно?.. Девушку Руфиночку... — начал было Вася заплетающимся языком и тут же осекся.

То, что увидел он в дверном проеме, поразило его. Свой постаревший облик увидел он, освещенный слабым желтым светом коридорной лампочки. Себя пожилым человеком увидел Вася, поседевшим, со сторбившейся еврейской спиной. То отец его отпер ему, Дан, Аспид, Антихрист.

— Нет Руфины дома, — сказал Антихрист и, взглядевшись в Васю, тоже тотчас узнал.

Это был его первенец, зачатый под Керчью на берегу моря с Марией, доброй душой, малолетней блудницей из села Шагаро-Петровского Дмитровского района на Харьковщине. Тогда шире распахнул Антихрист дверь, и вошел Вася из колена Данова, дурное семя. Сели отец и сын друг против друга за стол и смотрят. И чем больше смотрят друг на друга, тем больше узнают.

— Ну, — говорит Антихрист, — Расскажи, сыночек, как ты ругал еврейского Бога своего?

— Врешь, жид! — кричит Вася. — Украинец отец мой... С туретчиной украинец. И мать моя из села Шагаро-Петровского. И Бог мой — православный. А жидовского Бога ненавижу. И нечистый жидовский хлеб ваш ненавижу! — Схватил он кусок хлеба, лежавший на столе, и бросил его на пол.

А то был действительно нечистый хлеб изгнания, завещанный пророком Иезекиилем. И преобразились мягкие еврейские глаза Антихриста, загорелось в них то, что губит и что заимствовала у приемного отца своего пророчица Пелагея. Как раз, когда у отца загорелось, и у нее загорелось за много километров отсюда, во тьме дачного яблоневого сада. Ког-

да загорелось в глазах Антихриста и осветилась комната мигающим, то вишневым, то малиновым, темным, словно от вечернего небесного облака, испугался Вася, заныло еще миг назад по-славянски уверенное сердце и впервые ощутило подлинную и единственную еврейскую вину перед павшим миром, имя которой Беззащитность. Встал Вася и пошел, отцом не провожаемый, сам отпер входную дверь и вышел на лестничную площадку. В тот момент двери этажом выше распахнулись, там, где грубо гуляли, и жлобы с красными лицами, все, сколько их было, вышли на лестничную площадку. Это называлось: «Мужчины вышли покурить». И сказал один жлоб Васе:

— Куда прешь, жид, глаза повылазили, что ли?

Ничего не ответил Вася и, как домой приехал, не помнит. Когда же приехал домой, начал искать он способ удавиться. Сперва хотел он на ремешке от брюк удавиться, однако понял, что ремешок может не выдержать, и нашел в пыли под ванной бельевую веревку, неизвестно с каких пор лежавшую, может, еще со старых хозяев, и его, Васю, дожидавшуюся, чтоб выполнить свое предназначение. Сделал он из веревки петлю и начал искать крючок, но не мог найти хорошего крючка ни в комнате, ни на кухне, гвоздя же крепкого тоже не было и молотка не было, ибо жил Вася бесхозяйственно, как придется. Жил с бутылками и банками грязными на подоконнике, с грязными носками на батарее парового отопления, с кучками мусора, заметными во все углы, и, кроме двух икон — Христа-Спасителя и Николая Угодника, — не было у Васи никаких ценностей.

«На эти иконы меня и похоронят, — подумал Вася. — Если удачно продать, да еще иностранцам, и крест можно будет поставить. Напишу тетке Ксении записку, чтобы продала иконы для похорон моих и для могильного креста».

Присев к столу с бельевой веревкой, намотанной на руку, Вася написал записку Ксении и тут же просьбу к тому, кто обнаружит его смерть, дать телеграмму в Воронеж Ксении Коробко, по мужу Гусаковой, и адрес указал. А также в Харьковскую область, Димитровский район, село Шагаро-Петровское, хутор Луговой, Александре Коробко, по мужу Наливайко. Приложив к этому смятый трешник и окончив тем подготовку, он начал опять искать крючок. Не найдя, он решил просто кинуться с балкона, однако постеснялся вызвать этим веселый шум зевак и глупую толпу. Тогда продолжил он поиски и нашел все-таки крючок в углу у окна, сильно затянутый паутиной и окрашенный при побелке. Очевидно, на крючок этот прежние хозяева укрепляли перекладину, к которой подвешивали портьеры. Убедившись, что крючок крепок, он намочил под краном мыло и, намывив веревку, бросил мыло тут же, посреди комнаты. Сделал Вася петлю, подставил шаткий табурет, почувствовал сильные колки в желудке, стоя на табурете, помочился на пол и, подпрыгнув с петлей на шее, наступил на край табурета так, что табурет упал. Мигом затянулась петля, захрипело, заклокотало, и умер Вася нечисто...

Так отвергнуто было гнилое семя Антихриста, Господнего посланца.

Обнаружили Васю через три дня соседи, и, конечно же, он их напугал. Без того невозможно, чтоб висельник не напугал, однако здесь испуг еще усилился следующим происшествием. Когда покричали уже, поохали и, не прикасаясь к покойнику, вызвали по телефону милицию и «скорую помощь», вдруг, еще до приезда властей, Вася на глазах у толпящегося из разных квартир народа сорвался, упал на пол, и как бы из него выкатилось зубчатое тонкое колесико, подобное часовому из больших карманных часов, описало полукруг, задрожало, задрожало и затихло плашмя. Но на этом необычность Васиней смерти кончилась, наступила обыденность. Приехали Ксения и Шура, вызванные телеграммами, заказали гроб, заказали музыкантов.

Ксения, как это нередко случается с развратными в молодости женщинами, превратилась в добрую, участливую, бездетную старушку. Она была богатая вдова, на средства, которые оставил ей муж, жила на окраине Воронежа в собственном домике с садом. Васе она всегда была чем-то вроде опекуниши и, помня о матери его, сестре своей Марии, которая девочкой приезжала к ней жить в голодном 1933 году, но которую она отправила назад в село вследствие семейного скандала, старалась, чем

могла, сделать доброе Васе. Похороны Ксения организовала за свой счет, Шура не дала ни копейки. Да и не было у Шуры. Шура жила по-прежнему почти безвыездно в селе Шагаро-Петровское и была бедна, со множеством детей, выросших и дурно устроившихся, а взгляд имела по-прежнему злой, тупой и измученный. Васино старое пальто, Васины стоптанные босоножки, Васин закопченный чайник — все, кроме того, в чем Васю хоронили, она увязала в узлы и увезла к себе в хозяйство, в село Шагаро-Петровское. Только иконы Христа-Спасителя и Николая Угодника Ксения взяла себе. Ксения хотела увезти иконы, однако по совету одного из соседей продала хорошо, удачно какому-то бородачу, дав, разумеется, советчику комиссионные.

И вот вынесли Васю. Когда вынесли Васю, сразу стала видна постыдность обыденной смерти. Летним днем, в раннее рабочее время, вдруг ни с того ни с сего раздалась в будничной скуке звуки похоронного марша, который играли несколько нанятых музыкантов. Из дома вынесли венки и крышку гроба, которая опиралась не на плечи, а на головы несущих. Наконец вынесли покойника с неумным лицом, как и у большинства из лежащих в гробу, а в общем, как у всякого, лежащего в гробу. Так что если говорят: «У покойника было умное лицо», — то обманывают себя воспоминанием о том времени, когда он жил и был им дорог.

Похороны были малочисленны. Несколько стариков, старух, какие-то молодые люди, очевидно, соседи. Был среди них и Андрей Копосов, узнавший о смерти Васи и приехавший проводить брата своего. Ибо он не знал, но ощущал странное — будто Вася брат ему, но брат позорный, неудачный... Так оно и было, и в том он убедился позднее. А отец Васи и Андрея Антихрист и приемная дочь его, пророчица Пелагея, наблюдали за похоронами издали.

Похороны у Васи были веселые, и создали это веселые дети. Против Васиного дома была школа, где Васю знали, может, оттого, что он несколько раз приходил пьяный к учительнице английского языка Екатерине Анастасьевне... Учительницы этой то ли не было в Москве в данный момент, то ли она начала дурно к Васе относиться за какой-то его дикий поступок, чем он при жизни отличался. Видно было, что улица знала о его поступках, и ребят они веселили. Вот и сейчас резво и радостно побежали ребята к похоронам. Девочки-подростки, взявшись за руки, стайкой подпрыгивали и кричали:

— Чеснока похоронили, Чеснока похоронили...

Оказывается, здесь у Васи была кличка — Чеснок. Мальчик-озорник, желая потешить девочек, подбежал близко и, отскочив, морщась, как от чего-то грязного, сказал:

— Фу, воняет.

Дети бегали взад-вперед через улицу.

— Вон гроб! — кричали они, и им было весело.

Ведь дети не чувствительны, ибо не измучены еще сознанием. Им расти надо, сердца их прочны и грубы, как корни растающих в землю молодых растений. Но рядом из прачечной вышли две работницы в белых халатах. Слушают они звуки похоронного марша, видят чужой гроб и утирают слезы. Жизнь уже не кажется им такой бесконечной, как этим ребятам, и всякая чужая смерть для них угроза. Им себя жалко и за себя обидно.

Тогда сказал Антихрист, отец отринутого Господом первенца своего, сказал из шестого псалма Давида:

— Обратись, Господи, избавь душу мою, спаси меня ради милости Твоей.

И продолжила приемная дочь Антихриста, пророчица Пелагея:

— Ибо в смерти нет памятования о Тебе, во гробе кто будет славить Тебя.

Но Антихрист не знал еще, что дочь его — пророчица, подумал, что хорошо изучила она Псалтирь. И похвалил ее.

Покойного Васю меж тем погрузили на грузовик и увезли похоронить. Немногие сопровождали его к кладбищу. Ксения, да Шура, да несколько нанятых на Ксенины деньги, которые держали венки. Бесплатно сопровождал Васю, брата своего, только Андрей Копосов, сын Антихриста и Веры Копосовой из города Бор Горьковской области. Малочислен-

ны, позорны были похороны Васи, однако через несколько дней о Васе вдруг заговорили как о трагически и преждевременно погибшем таланте. В литературном ресторане обеды и ужины превратились в поминки, все размякли душой и несколько дней обращались друг с другом бережно. Однако были и другие. Смерть Васи тоже на них подействовала, хотя и в ином смысле. Еще сильнее замкнулись они в знаменитой своей позе: «кто губит Россию?» — подперев щеку, изредка играя желваками и глядя на залитую вином скатерть. Огляделся и Андрей Копосов, посмотрел на эти разные лица, достигшие всего или, во всяком случае, многого, и понял он, что при естественном развитии рано или поздно увидит он эти лица в некрологах. «Кто живет, тот помрет, — подумал он, — я же не живу, но и не помру». Такое он себе внушил — не помру я, и все тут. Грешную мысль внушил. Ибо многое он уже о себе знал. О том же, что он сын Антихриста, посланца Господа, догадывался смутно, как сквозь сон. О том ему вскоре мать его сообщила, Вера Копосова, богомольная старушка.

После страстей, случившихся в ее жизни, быстро состарилась она; за чтением Евангелия и выглядела гораздо старше своих пятидесяти с небольшим. Лет на десять старше, а то и более. Надевала она дешевые старушечьи очки в железной оправе, брала в руки Евангелие, лицо ее делалось глупо торжественным, и затылок был, как у домашнего животного, с интересом глядевшего на какой-нибудь человеческий предмет.

Удивительно красиво лицо человека мыслящего, читающего искренне про себя глубокую книгу. У человека не мыслящего, читающего искренне волнующую его неразумно, согласно внешнему внушению, книгу, лицо, наоборот, теряет часто вовсе человеческие черты, и черты животного, всегда неприятные на человеческом, проступают в нем. Что-то обезьянье проступало у Веры при чтении ею Евангелия. Но при этом, будучи глупа в мыслях, Вера была иногда неожиданно умна в словах. Когда приехала она навестить сына, решил Андрей повести старушку-мать на Красную площадь, куда часто бывшие провинциалы водят своих провинциальных родственников, чтоб внушить им почтение к своему нынешнему положению.

У Андрея в тот день была предэкзаменационная консультация в институте, поэтому пришли они с матерью рано, еще солнце вставало. Центр Москвы мучает днем шумом и толчеей, однако тихий рассвет над Кремлем торжественней всяких церковных молений. Розовое небесно-младенческое сияние лежит на старых кремлевских камнях. Русь задумчива в эти минуты, уютно в ней человеческой душе, покойно, как в доме родительском, и кто б ни пришел, видит в ней мать, для которой нет ни своего, ни чужого, которая всех пожалеет, как Мать Божья... Коротки эти соборные минуты на Красной площади летним рассветом. Высоко в хрустально-голубом торжественном небе раздается колокольный звон часов на кремлевской башне, и, печатая шаг по гулкой брусчатке, точно под сводами храма, совершается ритуал смены почетного военного караула у марксистского гроба господня, у мавзолея Ленина.

Стояли Андрей Копосов и мать его Вера Копосова и смотрели, как все это свршается. Вдруг оглянулся Копосов и видит слезы на глазах матери своей. Не плач, а редкие, по-настоящему церковные слезы, которые текут у человека несознательно и незаметно для него.

— Что вы, мама, — говорит Андрей Копосов, — это смена караула у мавзолея Ленина. Она каждый день бывает и по несколько раз.

— Какой почет человеку, — говорит тихо и со слезами в голосе Вера Копосова, униженная постоянно и грехом своим, и грехом людей, — какой почет человеку... — Сказала, не подумав разумом, но умными словами.

Так проявляет себя подлинная народность. Термин «народность» на Руси давно уже стал идолом. Смысл его давно уже канонизирован славянофильской интеллигенцией: народность — это престонародье. Есть у славянофилов и Библия своя, которую они изучают с тщательностью монахов-фанатиков, которой безговорочно верят, которой кичатся и которую противопоставляют в спорах Библии иудеев. Библия эта — русская деревня.

— У вас Библия, а у нас русская деревня, вот она, наша Библия. Вам нашей Библии не понять.

Здесь та самая тайная мечта славян об остановке истории сказывает-

ся. Тут и умница Герцен с нелепым упованием на общину. Тут пророк русской несамостоятельной интеллигенции Достоевский, обнаруживший народное яковы в лучшем его виде среди каторжан. Что же оно, народное, не по Достоевскому, а по Пушкину? По Пушкину, народное — простонародное, а национальное. Народность в писателе, пишет Пушкин, — достоинство, которое вполне может быть оценено одними соотечественниками. По Пушкину, аристократ Расин народен для француза, но не народен для немца. Пушкин, как всегда, гениально ясен, однако даже пророческий гений его не мог понять того, что не было еще рассказано Господом через идущее время. Ибо время — это язык Господень, которым он говорит с человеком. Во времена Пушкина народный вопрос не был еще трагическим вопросом. Во времена Пушкина проблемы «народ» не существовало в таком трагическом осмыслении, как существует она ныне. Да и подлинно народного было во множестве, казалось разливным, неисчерпаемым океаном оно, подобно полезным ископаемым нашей планеты. Кто ж его иссушил, исчерпал? Народное сознание исчерпало, через которое народ в правители истории начал выбираться. Плодоносен народный инстинкт, этот массовый вечный разум от дедов-прадедов, где, казалось бы, по-своему поступает человек, по-своему говорит, а в действительности прадед его так говорил, дед его так поступал. Не свое человек говорит, а общее, вечное. Как только начинает говорить человек свое, будучи лишен культуры, так сразу он становится бесплоден. Народ научить не может, но у народа научиться можно, чтоб затем объяснить ему самого себя. Это святая обязанность личности. Народ не способен понять свой плодоносный инстинкт своим низким бесплодным сознанием хотя бы потому, что для того, чтоб понять свои национальные инстинкты, надо обладать наднациональным, общечеловеческим сознанием. Когда народ хочет своим низким сознанием понять свои глубокие инстинкты, получается та лубочно-частушечная философия, перед которой преклоняются славянофилы в России. Непутевый разбойник, оппозиционер или правитель — вот конечный продукт народного сознания. Но еще хуже, когда культура, обязанная служить народу, разъясняя ему самого себя, то есть разъясняя народу народность, трусливо-рабски пытается услышать от народа истины о себе, о культуре, о личности. Этим она развращает народ и, воздавая почести бесплодному народному сознанию, уничтожает в народе плодоносный инстинкт. Немного уже его осталось, сохранился он лишь там, где в личной бессознательности рождаются общие святые слова, где человек мыслит глупо, а говорит умно... И если в XIX веке России удалось создать великую культуру, то это благодаря тому, что петровские реформы оторвали интеллигенцию от народа, тому, что, черпая из плодоносного океана народного инстинкта, культура не была порабощена народным сознанием. Лишь позднее, к концу века, благодаря стараниям разночинцев-обличителей, народное сознание начало порабощать культуру и последователи этих обличителей довели этот процесс до своего предела.

Так думал Андрей Копосов, сидя на консультации и вспоминая слова матери. В Литературном институте, бывшем доме Герцена, сторонника деревенской общины — спасительницы России, уже шел летний ремонт, пахло краской, коридоры были загромождены мебелью, пол устлан газетами. Нетронутым оставался конференц-зал, где продолжался учебный процесс воспитания сторонников соцреализма. Продумав некоторое время о своем и сделав несколько беглых заметок-намеков на листе бумаги, Андрей хотел было вслушаться в то, что говорилось вокруг него, однако говорилось вокруг в духе того самого славянофильского, народного сознания так много и ведущий консультацию известный поэт, человек с чисто русским псевдонимом, исконно, по-рязански был так звонок в голосе, что Андрей вновь отвлекся и начал смотреть по сторонам.

Конференц-зал был увешан кусками литературы всех времен и народов, именно отдельными органами, извлеченными из тела. Андрей долго думал, на что похожи эти тесно покрывшие все четыре стены стенды с обложками книг классики прошлого и того, что ныне именуется классикой и попросту книгами первого, второго, третьего сортов. Вокруг были лозунги-цитаты, великие слова на красном холсте, великие профили и силуэты. И понял Андрей — это литературная анатомичка, морг для отдельных частей тела. Заспиртованные цитаты и обложки, что-то вроде печени,

легких, рук и ног в банках со спиртом. Части тел в спирте менее имеют отношение к человеку, чем камень на улице или ветка дерева. Камень и ветка дерева более похожи на живого человека, чем его собственная печень или легкие, из чего вынутые. Так же далеки от литературы и эти куски литературы в литературной анатомичке. Да и во всем этом заведении есть что-то медицинское, научное, где литература выглядит подопытным существом, кроликом, которого мучают исследованиями, где литературе уготовлена роль жертвенная во имя людского благополучия, согласно гуманным принципам социалистического реализма.

Окончив занятия, Андрей Копосов поспешил домой, ибо ему с матерью предстояло посетить множество мест, в которых провинциал приобретает дефицит. Варфоломею Веселову, сыну сестры Таси, надо было купить джинсы, Тасе, бывшей возлюбленной отца его Антихриста, о чем Андрей не знал, надо было купить комбинацию, патрульной старушке Сергеевне, матери Тасино мужа, — кускового натурального сахару к чаю, которого в городе Бор не сыщешь, детям Усти — нательное и гостинцев, а также, по возможности, мясных консервов в припас и лимонов-апельсинов, фруктов святых, чтобы ими побаловаться... Однако вернувшись, обнаружил Андрей, что все уже куплено, увязано-упаковано белой, серой и синей упаковочной бумагой и бумагой разноцветной с магазинным клеймом. И святого фрукта, лимонов-апельсинов, полная авоська. И мать его Вера в чистом белом платочке сидит и Евангелие читает, сама же вида лукавого, радостного и таинственного.

— Догадайся, сынок, кто здесь был и покупки мне помог совершить...

— Да разве вы, мама, знаете кого-либо в Москве?

— И я знаю, и меня знают, — говорит Вера. — Не хотела я тебе сразу говорить, неудобство испытывала, но староверка Чеснокова, древняя старуха из тридцатого номера по улице Державина, она ведь с бывшими квартирантами переписывается. Адрес мне дала Дана Яковлевича и дочери его Руфины. А по телефону я им соседку твою попросила позвонить, славную такую женщину... Руфина мигом приехала. В гости приглашает, вот он, адрес.

Садится тогда Андрей на стул и испытывает странную тревогу от услышанного.

— Я знаю этот адрес, — говорит он, — и Руфину знаю. Люблю я ее, мама, и не могу более скрывать.

Тут лукавство на лице Веры, матери его, пропадает и торжественно глупый, кроткий испуг, как при чтении Евангелия, воцаряется на нем.

— Неразворотливый ты у меня, сынок, — говорит Вера и крестится мелким крестом, — беспокойный, шатучий, да разве можно родную сестру любить? Грех тебе простится оттого, что не знал, а на мне грех, что не сказала. Ох, грешна я грехом непролазным.

— Что вы такое говорите, мама? — удивляется тоже с испугом Андрей. — Разве она дочь вам?

— Она не дочь мне, но она отцу моему дочь... Отец твой Дан Яковлевич, еврей... Так что и ты не русский... Недаром тебя родня наша через Тасечку, Веселовы, род старый, волжский, не любит... Особенно Сергеевна. У ней на еврея нюх лесной, звериный, хоть уж лет она преклонных. Так что каюсь я перед тобой, сынок, и прости мне тяжкий грех мой.

И хочет она перед сыном своим на колени пасть. Однако Андрей ее вовремя подхватил и говорит:

— Что вы, мама! Не то страшно, чей я подлинно сын, а то страшно, что не могу я пока к этому привыкнуть. Давайте, мама, в обнимку посидим, может, скорей я к этому привыкну.

Обнялись они и просидели так до вечера. Вечером Андрей Копосов говорит:

— Пойду к отцу моему.

— За это тебе, сынок, спасибо, — говорит Вера. — И я с тобой, хоть не муж он мне перед людьми, но перед Богом муж.

Приходят они, встречает их в передней Руфина и говорит тихо:

— У отца нашего сегодня печальное торжество. Начало поста еврейского Шиво-осор бе-Тамуз, что означает пост в память разбития скрижалей Завета...

Когда вошли они в дом и увидела Вера Копосова, богомольная старушка, предмет последней женской страсти своей, постаревший и поседевший, со спиной, веками сгорбленной, молодо закружилась у нее голова, и сказала она:

— Ты ли это, желанный мой, вот я, сударка твоя... А вот сын твой Андрей, не по тебе названный, но тобой рожденный...

Обнялись мать и отец, давно не видевшие друг друга, обнялись сын и отец, никогда не видевшие друг друга, обнялись брат и сестра, видевшие друг друга, но не знавшие, кем друг другу приходится и оттого едва не согрешившие... Тут и время подошло свечи зажигать. А зажигание свечей в канун религиозной даты всегда происходит в строго установленном время.

Так в кругу земной семьи своей встретил пост Дан, Аспид, Антихрист, посланец Господа. Вот перечень святого семейства. Из товарного вагона от безымянной матери своей, угоняемой в немецкое рабство, попала маленькой девочкой к Антихристу пророчица Пелагея, уроженка села Брусяны, что неподалеку от города Ржева. Через прелюбодеяние, третью казнь Господню, приобрелась к святой семье Вера Копосова, как через прелюбодеяние приобрелась к святой семье Иуды Фамарь. И родила Вера от Антихриста в городе Бор сына Андрея, доброе семя. А семя злое, первенец Вася, рожденный от Марии Коробко под городом Керчь, отвергнуто было и отторгнуто и стало навек потерянным Братом... Ибо не все осколки Чаши будут склеены, будут и отторгнутые, однако Божьей Силой Чаша будет как новая...

Пост Шиво-осор бе-Тамуз, пост 17-го Тамуза, был одним из самых печальных, ибо это была скорбь не по насилью внешнему, чего немало было в еврейской истории, а по злодеянию внутреннему, совершенному народом против себя же, отвергнувшего Бога своего и оскорбившего пророка своего Моисея, который в гневе и страдании отречься от неразумных и разбил скрижали Завета. Далее последовал известный диалог между Господом и Моисеем. Всякий раз, когда Моисей пытался отречься от своего неблагоприятного народа, его уговаривал Господь пересилить свой справедливый гнев не во имя этого народа, который так же дурен, как и иные народы, а во имя исполнения предсказания пророка. Когда же Господь хотел отречься, уговаривал Моисей и опять же не во имя народа этого, а во имя Замысла Господня, с этим народом связанного. Так в промежутке между Первыми и Вторыми скрижалями укрепилось Моисеево отношение к народу, самое достоверное и простое. Сказано: «Скрижали были дело Божье, и письма, начертанные на Скрижалях, были письма Божьи».

Когда же приблизились Моисей и Иисус Навин к стану, Иисус сказал:

— Военный крик в стане.

Но Моисей сказал:

— Это не крик побеждающих и не вопль пораженных, я слышу голоса поющих.

Так с пением и плясками вокруг золотого тельца — языческого кумира — отречься народ от Бога. Так искусство — Божий дар — было обращено против Подарившего. Двойной это грех, ибо, кроме искусства, нет ничего Божьего у человека. Наука — дело людское, насущное, необходимое для получения людских благ. Она в Боге не нуждается, и религиозной науки быть не может и не должно. Философия — тоже дело людское, как и наука, ясна причиной своего существования. Философия необходима разумному существу для умственных упражнений. Подобно тому, как белка в колесе бесполезным бегом совершает полезное деяние, сохраняя силу мышц, так философия сохраняет силу мышц умственных, необходимых для приобретения людских благ в борьбе за существование. Потому религиозная философия выполняет, по сути, то же предназначение, что и атеистическая и всякая последовательная попытка через философию постичь Бога неизбежно ведет к атеизму. Нельзя постичь Бога и через мораль, поскольку всякий последовательный честный моралист, даже такой, как Лев Толстой, должен ответить на пресловутые вопросы, связанные с моралью: отчего человек смертен и отчего в Божьем мире существует и в пределах человеческой жизни торжествует зло?



Но есть нечто для жизни, для приобретения благ, для борьбы за существование ненужное и непонятное, а как раз наоборот, часто уменьшающее физические возможности в противовес науке, не всегда прибавляющее ума в противовес философии и затемняющее вечные вопросы, противоборствуя этим с моралью... На седьмой день Творения было его Рождество, когда Господь попросил человека дать имя всему Им сотворенному...

Так начал Господь свою игру с человеком и назвал эту игру человек искусством. Что есть искусство, как не инстинктивное подражание Творцу? Конечно, и через искусство нельзя увидеть Бога и постичь Его. Сказал ведь Господь Моисею: «Лица Моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может Меня увидеть и остаться в живых». Но искусство есть то «пламя огня» из тернового куста, которое увидел Моисей, никому еще не известный пастух, далеко в пустыне у горы Хорив. Даже великое искусство не может постичь Бога, но оно есть знамение, подобно пламени из тернового куста. Знамение того, что Бог рядом. Когда душа человеческая потрясена и просветлена искусством, значит, рядом Бог, и не упустит этого мгновения, как не упустил своего потрясения пастух Моисей. В эти минуты Господь разрешает тебе говорить с Собой прямо с глаза на глаз, ибо сказано у пророка Исайи: «Не всегда говори с Господом, а тогда лишь, когда Господь рядом»... Однако, чтоб не упустить мгновения своего, когда Бог рядом, нужна хотя бы частица таланта, которым обладал Моисей, сказавший: «Пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает»...

А в святом семействе Антихриста, посланца Господня, все наделены были такой частицей таланта, никто не упустил своего мгновения. Ни пророчица Пелагея, ни Вера Копосова, ни Андрей Копосов. Дурное же семя, Вася от Марии Коробко, отвергнуто было.

Когда попрощались уже перед уходом, подняла Вера Копосова глаза на мужа своего и сказала вдруг:

— Ты ли это, Господи?

Ответил он:

— Не называй меня Господи, ибо один у нас Господь. Мы же все придем и уйдем. Ибо какая разница, что изгоняет нас на тот свет, — то ли внешние безысходные обстоятельства, то ли наши собственные хитрости.

Так поговорили и простились они. Каждый зажил своим. Вера, жена Антихриста, еще более поглупев разумом и поумнев словом, увезла в город Бор купленные свертки и святые фрукты — лимоны-апельсины; Андрей, сын Антихриста, окончив курс, поехал передохнуть возле матери от столичных раздумий; пророчица Пелагея занялась выполнением своего обещания, данного Савелию, мечтающему в опыте по созданию философских человечков использовать ее кровь девственницы; Антихрист, ожидая повелений Господних, по-прежнему работал дворником жэка, а Вася, отторгнутое семя, лежал на кладбище среди цветов, которыми завалили его могилу неожиданно появившиеся многочисленные поклонники.

Меж тем пророчица Пелагея сдала свою кровь на анализ в лабораторию местной поликлиники. Савелий выкупил пробирку с ее кровью у выпивающей медсестры-лаборантки, разумеется, незаконно. Так же незаконно выкупил он и пробирку с собственной кровью, которую, хотя бы в колбе, вздумал смешать он с кровью любимой женщины. К опыту можно было приступать во второй раз. Ибо скрыл он от пророчицы, что уже совершил он первый опыт, окончившийся неудачно; выкупил у непуевой медсестры из лаборатории кровь неизвестных ему мужчины и женщины, в нужном соотношении смешал, прибавил чистой майской росы, собранной на рассветном Тверском бульваре, прикрыл слепой крышкой и поставил в теплое место для гниения. Однако после того, как процедил он образовавшуюся сверху пленку — менструм — и перенес ее в другую чистую колбу, пузырька, который должен был свидетельствовать о зачатии искусственной философской жизни, не образовалось. И хоть в одном Савелий огорчился, но в другом обрадовался. Нет, не оттого он обрадовался, что решил покончить с бесплодным грешным делом. Обрадовался он оттого, что все равно сомневался в рискованном деле, каким явилось взятие для опыта крови людей неизвестных. Поскольку сказано: «Ежели кровь,

из коей приготовлен Отцер и из которого выросли мужчинка и женщина, взята от людей нецеломудренных, то мужчинка будет наполовину зверь, также и женщина будет снизу ужасного виду».

Ныне вторично проделывал он опыт, запершись в своей комнате, ибо в комнате матери античник Иловайский громко спорил то с одним, то с другим приятелем своим о Христе. Недавно Иловайский переехал к ним, стал Савелию отчимом и теперь спорил о Христе одетый по-домашнему.

Античник Иловайский дома был бос, и в споре он быстрым мелким шагом ходил взад и вперед, ступая по натертому Клавдией паркету старческими, белыми с краснотой ногами. Пальцы ног его не были все одинаково измучены мозолями, однако все они были нездоровы. Одет он был в широкие короткие штаны неопределенного цвета, салатovou майку с широкими лямками, постоянно сползающими с белых костлявых плеч при жестикуляции. Маечные проемы были так велики, что обнажали бока и худые ребра, а спереди майка была короче, ибо на худом теле Иловайского бугрился шариком живот.

— Вот чаша, она проста! — кричал он, хватая пахнущую водкой чашку из наполовину уж сведенного на нет сервиза, купленного во времена Иволгина. — Но вот я ее ударю о пол, и она сразу станет сложной...

Савелий брал с собой термос с чаем, бутерброды с сыром, колбасой и запирался на целый день, выходя лишь по нужде. Ни глупая мать, ни даже бестактный Иловайский его не тревожили. Однако как-то под вечер вдруг постучали.

Это был трудный, тревожный вечер. Опыт приближался к стадии, на которой он прошлый раз окончился неудачей. Уже была смешана кровь в соотношении две части его собственной и три части Руфины, уже отстоялась она в теплом месте под глухой крышкой, уже смочена она была росой, правда, не майской, и это тревожило; уже осела на дно красная земля, уже отделен был менструм, процежен и помещен в чистую колбу; уже часть тинктуры из царства животных, сырое яйцо, помещена была в колбу, однако пузырька-зародыша не появлялось.

Когда постучали в дверь, сидел Савелий, сжав голову руками, и ему казалось, что в затылке у него завелись черви. Он хотел уже злобно крикнуть, обругать мать свою, когда вдруг услышал голос Руфины, любимой женщины, чья кровь участвовала в опыте с его собственной. Сердце забилося, дыхание участилось. Отпер Савелий.

— Как душно здесь, — сказала Руфина, входя, красивая, голубоглазая, — окно заперто... — и она распахнула окно.

Июльская лунная теплынь мягко, по-птичьим впорхнула в воспаленную комнату Савелия и, казалось, шепнула на ухо Савелию нечто неразборчивое... В центре каменной, бесплодной Москвы запахло вдруг яблоком, не прелым яблоком с лотка, а живым яблоком, орошенным ночным дождем. Так пахнет жизнь. А запах жизни и взгляд любимой женщины, одновременно совпавшие, — это уже то безумие, без которого невозможно плодотворение. Безумие подняло Савелия, измученного с позднего детства своего застенчивым грехом мальчика-затворника, и понесло с распростертыми руками навстречу женщине. Однако в тесной комнате, уставленной колбами и пробирками, он зацепился ногой за какой-то предмет, который потом не мог обнаружить, и упал, сильно ударившись коленом. Руфина засмеялась, провела сладкой ручкой своей по волосам его, отчего тело его покрылось, как на холодном ветру, мурашками, гусиной кожей, и вышла. Савелий лег не раздеваясь на койку и, не закрыв окна, уснул измученный. Проснулся он внезапно, словно от выстрела. То античник Иловайский хлопнул дверью. Хмельно разругавшись с Клавдией и находясь в вольтеровском состоянии, вышел он побродить по городу. Войдя в метро, он опустился на сиденье. Едва поезд тронулся, как Иловайский бешено, но безвольно замотал седой головой то влево, то вправо, зажав в кулаки очки без футляра и пугая окружающее мирное население своим желтым лицом. Выйдя на конечной остановке, он, вихляя, пошел в толпе, но к выходу не дошел, глянул, по-бараньи выкатив глаза, сверху вниз на каких-то женщин, сидевших на одной из скамеек, и уселся рядом на свободный краешек, подперв ладонью провисающую, точно готовую сорваться с шеи голову.

А Савелий, ненадолго разбуженный, вновь крепко уснул. Снился ему сон сперва жутко комический, потом просто жуткий. Вначале снится: идет он по улице, и на заборе мелом написано «Зарежу». Поворачивает он за угол, и там опять мелом надпись: «Верь, зарежет». Потом снится: тошнит его каким-то веществом, напоминающим вату, и маленькие частички этой ваты во время тошноты летают вокруг него. Сделав над собой усилие и проснувшись, как делает усилие тонуций, чтобы вынырнуть, Савелий действительно ощутил подкашившуюся снизу, от живота, тошноту. Зажег ночник, встал и торопливо подошел к колбе, где находился менструм, и к колбе, где была частица куриного яйца, сбрызнутого менструмом из крови и росы. Пузырек-зародыш поднялся кверху, да не просто пузырек, а уже нечто разившееся за ночь, с жилками. Тогда дрожащими руками, негнувшись пальцами, холодея от страха уронить колбу, откупорил Савелий менструм и влил туда, где был зародыш, немного менструма, предварительно подогрев на спиртовочке.

С этого момента жизнь Савелия потеряла всякий смысл для него, помимо опыта. Строго исполняя предписание, он старался не шевелить крепко закупоренную колбу. Не выходя из дома, побледнев и потолстев от малоподвижного своего поведения, следил он, как бродит в колбе концентрат и пузырек становится все больше. За месяц четыре раза вливал он менструм, все увеличивая порции. И вот свершилось, как предсказывалось в алхимической книге. «После сего времени, когда услышишь нечто шипящее и свистящее, то подойти к колбе, и к великой радости и удивлению твоему ты увидишь в ней две живые твари. Ежели от целомудренной крови они, то будешь радоваться ими и взирать на них с сердечным веселием. Но они будут не выше одной четверти аршина, однако же шевелятся, и движутся, и ходят взад и вперед по колбе. В середине же вырастет дерево, украшенное всякими плодами».

Так все и случилось. Менструм Савелий подливал отныне через трубочку с зажимом резинкой, ибо знал, что воздух, которым дышит обычный человек, вреден для крошечных мужчины и женщины, живших в его колбе. Вокруг них выросло много трав и деревьев, от которых они питались, и к Савелию они относились со страхом и почтением. Решил Савелий воспользоваться этим страхом и почтением, узнать у философских человечков то, что хотелось ему узнать. Спросил Савелий:

— Каковы главные идеи мира?

Ответил философский мужчик, тогда как философская женщина сидела в колбе подле него и его ласкала.

— Главные идеи — это идея Времени и идея Пространства. Идея Времени — религиозная, идея Пространства — атеистическая. Идея Пространства родила философию и науку, идея Времени — религию и искусство. Однако позднее произошло кровосмешение. Идея Пространства — созерцательная, и человек способен достиг в ней иллюзии равенства с Богом. Идея Времени — деятельная, человек чувствует в ней свою слабость перед Будущим, зависимость от Будущего и нуждается в помощи Господа. Буддизм и античность — идеи Пространства, Библия — идея Времени. Когда разбита была Чаша, Христианский мир из временного все более становился пространственным. В идее Пространства, идее настоящего, идее красоты, гений достигает величия, но предела своего он все-таки достигает в идее Времени, идее Будущего.

Тогда спросил Савелий:

— Что есть мир философский и что есть мир религиозный?

Ответил мужчик из колбы:

— Философский мир — это мир Единства, религиозный мир — это мир Полярности. В философском мире все исходит от Единого и возвращается к Единому. Это мир Человекобога. В религиозном мире основное навек разделено пропастью. Это Божий мир. Небо и Земля, Бог и Человек, Жизнь и Смерть... То, что по эту сторону пропасти, доступно пониманию, то, что по другую сторону пропасти, доступно домыслу. Но связи между Богом и Человеком, Небом и Землей, Жизнью и Смертью недоступны ни пониманию, ни домыслу. Смешение религиозных и философских понятий есть прием условный, научный, плодотворный в частности, но затемняющий суть.

Тогда спросил Савелий:

— Каковы пути к Богу?

Ответил философский человек из колбы:

— Три пути к Богу: Вера, Неверие и Сомнение. Вера — путь самый простой, распротраненный и прочный. Это путь церкви. Неверие — путь самый опасный, хоть и плодотворный. Это путь тех земных гениев, которые на личном пути к Богу сеют атеизм среди слабых. Путь Сомнения — путь праведников, путь Иова. Это самый тяжелый путь через каждодневный духовный труд. Это медленный, но прочный путь.

Тогда спросил Савелий:

— Как отличить Доброе деяние от Злого, ибо в мире Злое часто в Доброй личине, а Доброе — в Злой?

Ответил человек из колбы:

— Если то, что ты делаешь и чему учишь, тяжело тебе, значит, ты делаешь Доброе и учишь Доброму. Если учение твое принимают легко и дела твои легки тебе, — значит, ты учишь Злому и делаешь Зло.

Тогда спросил Савелий:

— Что есть Истина?

Ответил человек из колбы.

— Нет одной Истины для человека, но нет и трех Истин. Истины две — подлинная и ее зеркальное отражение. Человеку не дано отличить, которая из них Достоверная, которая Легендарная, однако следует сделать выбор и, ища Достоверную, не переходить к Легендарной, а ища Легендарную, не переходить к Достоверной. Не отрекаться от своей и не искать третьей, ибо ее нет...

Тут оборвался разговор Савелия с философским мужичком из колбы, так как мать позвала обедать, а Савелий не мог отказаться, чувствуя вдруг сильный голод. Уходя, он видел лишь, как женщина в колбе прильнула к усталому от речей своих мужичку и начала его ласкать.

При искусствоведе Иволгине Алексее Иосифовиче, портрет которого стоял раньше на письменном столе, ныне же был перевешен на стенку, Клавдия никогда не была хорошей кулинаркой. Правда, бычье мясо она могла неплохо обжарить, но борщ готовила солдатский, с твердой капустой, а на второе — чаще всего сардельки или котлеты с макаронами. Нового же мужа своего Иловайского, которого она обожала, хоть и препиралась с ним из-за его дурного характера, Клавдия баловала вкусной едой, говоря при этом со слезой:

— Он ведь там, в концлагере, соленой рыбой наелся, наголодался.

Баловала она его разной едой, но особенно получалась у нее еда национальная, белорусская. Щи кислые с грибами или кашей гречневой, печень по-гомельски, тушеная рулетом с салом, луком и кореньями, драчены картофельные со свиной, сырой картофель со свиной, мукой и кореньями. запеченный в духовке.

Вкусна была еда и на сей раз, так что Савелий, невзирая на тяжелый умственный труд, ел с аппетитом, и головная боль его несколько ослабла. Однако он помнил, что не все понял из объяснений мужички в колбе и не все у него спросил. Потому поел Савелий наскоро и, утершись салфеткой после тяжелой сальной пищи, удалился вновь к себе и заперся на ключ.

— Что такое добрый человек? — спросил он у мужички в колбе.

— Добрый человек — это не Божий Человек, — ответил мужичка, — в доброте нет Божьего, это слишком мелкое для Бога чувство, но оно самое необходимое грешному маленькому человеку. Гораздо более необходимое, чем Правда и Духовное богатство. Добро и Доброта — разные вещи. Гений не может быть добрым человеком, ибо он служит Богу, добрый человек не может быть гением, ибо он служит человеку. Добрый человек редко вносит в мир добро, ибо к нему тянутся люди дурные, растратившие себя, потерявшие себя, капризные, жадные, требовательные, и добрый человек при них не как врачеватель, а как сиделка при духовно неизлечимых. Добрый человек — это безымянный праведник, готовый полностью отказаться от себя, потому гений и пророк не могут быть добрыми людьми, ибо они тогда согрешат против Бога, отказавшись от Божьего, свыше им данного, ради людского несовершенного и преходящего. То хорошее, что появилось в мире, совершено не добрыми людьми, а пророками — врачевателями и гениями — накопителями духовных богатств. Го-

речь правды лечит мир, беспощадное прозрение гения, но не доброта. Доброта не лечит мир, но она утешает и спасает от одиночества грешного человека, а значит, укрепляет падший мир, не дает погубить себя телесно, ибо доброта не духовное, а телесное чувство. Она стонет вместе с больным, жаждет вместе с жаждущим, голодает с голодным, выслушивает чужие ропоты и невзгоды. К ней тянутся и от нее требуют безвозмездно и неблагодарно тем более, чем более она дает. Мир остается злым, но благодаря доброте он существует и не погибнет от собственной злобы. Подлинный христианин — это добрый человек любой религии, но подлинный иудей — это гений и пророк любой религии. Проанализируйте любого гения и вы найдете в нем иудейское начало, даже если он иудаизм отвергает. Иудаизм гораздо ближе к Богу, чем христианство, христианство ближе к человеку. Но добрый человек, как и гений, — явление редкое, поэтому подлинных христиан, как и подлинных иудеев, мало. Большинство лишь так именуется себя, чаще в силу рождения, реже — в силу обстоятельств. Главная неправда христианства в том, что, по его утверждению, служа человеку, можно служить Богу. Другое дело, что Господь в силу грехов людских одобряет и этот путь, хоть он далек от Божьего. Господь ведь тоже несколько раз менял Свои решения. Он создал человека, не предвидя последствий. Когда же создал и увидел, что получилось, то решил уничтожить творение Свое. Сперва изгнал из рая — Эдема, потом, когда увидел, что это еще более усилило грех, вовсе решил разрушить жизнь. Но после первого праведника — Ноя, первого Спасителя, которого Бог не осмелился погубить и из-за которого спас и остальной мир, понял Господь, что человек не способен любить Его не в силу злого умысла, а в силу своего ничтожества. На это способны лишь гении и пророки. Тогда решил он послать Мессию — Христа, чтоб подменить для грешника идеал Любви. Если не могут они любить Бога, то пусть хоть любят друг друга. И на этом идеале была построена цивилизация. Не гений во главе угла ее, не пророк, а добрый человек, который не служит Богу. Будучи слепым и неразумным, он одинаково раздает себя всем, но более умело берут его злые. Значит, доброта плодит зло, ибо она слышит не Бога, а свое слепое сердце. Те, кто более всего нуждается в доброте, наиболее обделены ею. Христианство построило цивилизацию, потому что оно дальше всех отступило от Бога и благодаря идеалу доброты сумело увлечь за собой наиболее цепких, сильных, голодных и злых, то есть тех, кто более других этим идеалом был обделен. Только гении не участвовали в этой игре. Игра была основана на лжи, что, служа человеку, ты служишь Богу. Человек, живущий по Божьим Заповедям, которые крайне просты, не нуждается в христианстве. Но, поскольку грешник не способен исполнить «не убий», «не укради», «не прелюбодействуй», он спасается в христианских неопределенностях. Меж массой и личностью всегда пропасть. Масса живет по привычке, и для массы христианство — благо. Но оно трагедия для тех, кто пытается быть сознательным христианином. Правда, и здесь ловчаки находят выход: «Я стремлюсь, но не готов». Христианство — наиболее умелая игра на грани безбожия. Иудаизм не способен на такую гибкую игру, для этого он слишком серьезен. В христианстве же можно очень сильно верить, будучи неверующим и используя эти преимущества, ибо христианская вера крайне диалектична. Борьба и поиски в Вечном, Незыблемом, в том, в чем ни борьбы, ни поисков быть не должно, — вот драматургия христианской жизни. На первый взгляд может показаться, что христианство — учение идеалистическое, не учитывающее природы человека. Человек зол, а оно проповедует идеалистическое добро. В действительности это не так. Идеалистическое учение способно создать религию или культуру, но оно не способно создать ни мощные империи, ни земные цивилизации. Как раз христианство весьма умело использовало подлинную природу человека. Ибо первоосновой человека является все-таки не зло, а легкомыслие. Предельное легкомыслие — основа христианского чувства, и оно соответствует падшему миру. Ясно, что Христос не был христианином и даже не слышал при жизни этого термина, но Он понял, что надо легкомысленной природе человека. Не Христос, а христианство построило цивилизацию. Сам Христос был человек острый, глубокий, общающийся с Богом. Христос считал себя иудеем и был иудей из секты фарисеев. Но серьезная заслуга христианства в том, что, ничего не изменив в злом, ненавистном

ему языческом мире по сути, оно тем не менее создало видимость полной перемены. Этому, в свою очередь, научился у христианства и социал-атеизм в момент своего господства. Он сумел сохранить порядок в падшем мире, многое изменив по форме и ничего не изменив по сути. Иудаизм не смог бы так, слишком велик разрыв меж ним и язычеством, идолопоклонством, слишком сильно взаимное отвержение. Бог велик, человек грешен, вот почему иудаизм — религия гения и пророка — сохраняет Бога для человека, а христианство — религия безымянного, неразумного, доброго человека, добровольного мученика, отрекающегося от себя во имя иных, неблагодарных, — спасает в легкомысленном падшем мире человека для Бога. Спасает если не духовно, то хотя бы телесно. К христианской телесности мир не только привык, но и полюбил ее. Христианскую телесность менять не следует, но суть христианства следует сегодня понять и видоизменить. Суть же его состояла в течение пятнадцати веков в противоборстве с библейским корнем своим.

Савелий видел, что мужчинка в колбе уже изнемогает от усталости, как и он сам. Однако Савелий знал, что мужчинка покорен ему и чтит его, потому продолжал спрашивать.

— Скажи, — спросил Савелий, тяжело опустившись на стул и закрыв глаза, — отчего я разумом не могу верить в Бога, хотя много разумных книг, доказывающих существование Бога, читал?

— Оттого, — тихим, усталым голосом ответил мужчинка из колбы, — что Бог не в разуме, а в инстинкте. Человек родился с инстинктом Бога так же, как он родился с инстинктом есть, пить и размножаться. Но те инстинкты просты, конкретны и доступны опытной проверке разумом. Разум дикаря не способен был постичь даже подвластные разуму, но лежащие вне опыта физические научные явления земли и неба. В таком же положении находится и разум цивилизованного человека по отношению к лежащему вне опыта сложному инстинкту Бога. Если представить себе такой фантастический случай, что желание пить не подкреплялось бы доступным наличием влаги, то существование воды было бы такой же проблемой для разума, как и Бог. Жажда заставляла бы искать и воображать воду, но разум легче доказывал бы ее отсутствие, чем наличие. Если представить себе человека, никогда не видевшего женщину, мир без женщин, то желания и похоть заставляли бы вообразить женщину, однако разум легче опроверг бы ее наличие, чем доказал. Желание было бы сильно и мучило бы разумных, может, еще более, чем неразумных, потому много разумных книг было бы написано о существовании женщины. Когда же разум был бы измучен этими попытками найти женщину анализом, не менее разумные, наиболее честные и последовательные из этих разумных одной-двумя ясными, толковыми книгами доказали бы абсурдность существования женщины только оттого, что существует похоть, или наличия существования воды только оттого, что существует жажда. А если учесть, что жажда и похоть возникли в дикие времена, то их легко можно было бы объявить результатом этих диких времен, до сих пор не изжитых. «Верую, ибо абсурд», — в отчаянии воскликнул ранний христианский писатель Тертуллиан. Ему хватило ума, чтобы признать бессилие разума в постижении Бога, но ему не хватило ума, чтоб отречься от разума в постижении Бога, ибо абсурд — понятие разумное, научное. Подобно Моисею, услышать Бога из пылающего тернового куста может только человек искусства. Разум требует разумного доказательства, но единственное доказательство в инстинкте — это потребность. Потребность в Боге — единственное доказательство наличия Бога, так же, как жажда — единственное доказательство наличия воды, даже если б на земле ее не существовало, а похоть — доказательство наличия женщины, если б Бог, сотворив Адама, не сотворил Еву...

После этих слов наступило в комнате молчание, и вдруг услышал Савелий нечто шипящее и свистящее, как в начале зарождения. В испуге открыл он глаза и увидел, что мужчинка и женщина в колбе вкушают от того деревца, которое первым выросло и расцвело. А под крышечкой колбы скопился туман вроде облака. Буквально на глазах сгущалось это облако, и вот оно стало красным, как кровь. Быстро нагрел на спиртовке менструм Савелий, хотя не время было его вливать. Но едва влил он большую порцию менструма, который сохранял крошечным людям в колбе

жизнь, как из кровавого облака полыхнуло, и оба человека поползли, пытаясь скрыться от огня. Больно стало сердцу Савелия. На глазах его поблекли краски в колбе, увяли травы, сохли деревья, как при засухе. Вот разверзлась земля в колбе, полыхнуло сильно огнем, и оба человека, мужинка и женщина, упали неподвижно и происходящим извержением были поглощены. В ужасе зарыдал Савелий, уже не сердце болело у него, а душа, нечто гораздо большее, чем сердце и расположенное во всей груди от живота до горла. Он слышал, что мать и Иловайский стучат в дверь, однако не отпирал, смотрел, как в колбе образовались четыре части, одна на другую севшие. На верхней нельзя было остановить глаз по причине великого сияния, в середине была хрустальная часть, далее следовала красная, как кровь, и в самом низу — черный дым, непрерывно курящийся.

— Савелий, — кричала мать его, — отпри, мальчик, мы тебе поможем!

Однако Савелий знал, что отпирать не следует, пока все не завершится.

— Не дури, старик, — услышал он голос Иловайского, — и безумцем надо притворяться себе во благо.

— Гавриил, — сказала мать, — сходи за дворником, будем ломать дверь. — И она громко заплакала.

Савелий слышал, что за дверьми уже много людей, кто-то что-то подвинул, кто-то налег плечом, что-то металлическое лязгнуло. И в этот момент раздался сильный взрыв, обожгло Савелия, он ощутил нечто острое, рванувшее его за левую щеку и левую руку, ибо левой стороной он был повернут к колбе. Он стоял, чувствуя разрастающуюся боль, пока не полилась кровь, когда же полилась кровь ручьем из щеки и ладони, он упал и потерял сознание. Но в мгновение до потери сознания он понял ошибку свою. Взрыв был следствием недостаточно прочной колбы, и форма ее была подобрана неудачно — продолговатая, тогда как необходимо было использовать колбу круглую, подобно шару.

Убегавшие в комнату Иловайский, Клавдия, слесарь жэка и пророчица Пелагея, подменявшая отца своего, дворника, увидели картину страшную. Все было в злом ядовитом дыму, частью темного, частью желтоватого цвета, пол широко залит каким-то скользким, жирным раствором, брызги которого были также и на мебели, осколки стекла разорванной колбы хрустели под ногами, а из колбы вывалилась какая-то масса, напоминающая ил и пахнущая болотом. Савелий лежал среди всего этого хаоса на полу, израненный стеклом, окровавленный.

Незачем говорить о горе Клавдии, матери израненного безумца, незачем говорить о тревоге и растерянности всех, кто увидел происшедшее. К счастью, «скорая помощь» явилась вовремя, и Савелию эта скорая помощь была оказана. Его перенесли на тахту в гостиной, обработали раны, которые оказались неопасны, хоть и обильно источали кровь. Савелий открыл глаза.

— Что с тобой, сыночек? — упав перед ним на колени, спросила Клавдия.

— Мама, — тихо сказал Савелий, — мне кажется, что голова у меня стала маленькой, как булабочная головка, и через нее хотят продеть что-то очень большое. — Он прижал ко лбу забинтованную руку.

Вскоре Савелия увезли. Когда Савелия увезли, пророчица Пелагея пришла в себя, опустила на колени и сказала:

— Согрешила я, Господи, против раба Твоего Савелия... Как замолить грех сей?

И поняла пророчица, что не сделала бы так, не будь с ней рядом опять Сатана. А Сатана только к женскому ее приходил всегда, и ныне неспроста он к женскому явился. Вдруг поняла она, зачем в этот раз Сатана явился, и страшно ей стало. Но вспомнила она дочерей Лота, во имя продолжения рода после гибели грешного Содома напивших отца своего и спавших с ним, отчего продолжался род моавитян. Вспомнила она, как великая моавитянка Фамарь, переодевшись блудницей, спала с тестем своим Иудой, продолжив тем колено Иудино и создав Дом Давида, откуда и премудрый Соломон, и Мессия Христос родом. Ей же было знамение

осуществить свою Идею через насилие с помощью Сатаны, ибо в любви дочери к отцу — нежность, в страсти женщины к мужчине — жестокость, а Господь не может быть жесток.

Вот возвращается откуда-то отец ее Дан, Аспид, Антихрист, и садятся они ужинать. К ужину этому приготовила пророчица Пелагея подобно дочерям Лота бутылочку домашнего вина, настоящего на лесных травах, которое через Веру передала староверка старуха Чеснокова из города Бор Горьковской области. Думала оставить эту бутылочку пророчица Пелагея на веселый праздник Симхат-Тора, радость чтения Торы, но поняла — сейчас пора, ибо надлежало исполниться Идее. Вот Сатана уже частью своей явился. А Сатана имеет обыкновение являться частями, у человека это как бы постепенное заглядывание в дверь. У Сатаны же сперва копыта являються, затем к ним — туловище косматое, а потом уж вырастает мудрое козлиное лицо лукавого пессимиста.

Хороша старушечья наливка на лесных травах. Выпил Антихрист подобно Лоту из Содома и увидел сбереженное, налитое, по-женски не потраченное и не изношенное тело своей любимой дочери. Руки ее были округлы, плечи широки, но не по-мужски широки, в них не кость мужская чувствовалась, не жилистый мускул, а цепкая женская сила роженицы. Антихрист знал, что женщина эта физически сильна, как сильны бывают крестьянские северные жены-красавицы. Для девушки она была уже не молода, и, как любимый отец любимой, во всем ему доверяющей дочери, он знал, что она еще не тронута. Есть старые девы, которые не плодоносят, засыхают. Она не засохла, это было чудом долгого цветения, как существует чудо долгой жизни. Но даже долгожители умирают и любое чудо имеет свои границы. Через лукавого пессимиста Сатану Антихрист понял, что ему, отцу, суждено положить предел этому неплодоносящему цветению дочери. Она не была ему дочерью по крови, но она была ему дочерью по душе, он взял ее крошкой из рук матери на пороге смерти, вырастил ее, теперь же ему надлежало совершить то, что невысказано без помощи Сатаны. Он не видел Сатаны, он чувствовал лишь терпкий запах влажного, теплого тела, дурной, несвежий, острый селедочный запах, запах того, что всегда далеко упрятано и тлеет в тепле, а теперь обнажилось... То был запах соблазняющего Сатаны, который уже явился частью своей, ибо Сатана является частями и постепенно, чтоб подготовиться и приучить к себе.

Дан, Аспид, Антихрист, понял, что назад уж нет пути, позади лишь проклятие, понял, что погубит свою мечту, если обнимет сейчас Руфину ласково, по-отцовски, а не схватит ее с силой, как мужчина, готовый к мужскому деянию. А если, схватив, промедлит и не опрокинет сразу, то уж погубит надежду окончательно. Но он, Аспид, был хитер, он решил дать дочери возможность повернуться спиной, чтоб схватить. Когда она обернулась к буфету, было самое время, и все-таки он промедлил и схватил ее в момент для себя неожиданный. Она пошла за чем-то в дальний конец комнаты и до кроватей, ее, девичьей, за ширмой, и его, раскладной, было далеко, поэтому он опрокинул ее прямо на пол. Однако далее случилось то, что он менее всего ожидал. Он думал, что она будет сопротивляться руками и коленями, а она сильно вцепилась ему зубами в ладонь, укусила не так, как кусает человек, женщина, а как кусает зверь, без оглядки, чтоб насквозь, пренебрегая болью того, кто схвачен зубами. Антихрист застонал от физического страдания и от неожиданности, рука его разом онемела до самого предплечья, и не думал уже Антихрист ни о чем, кроме как о том, чтоб спасти руку. Но в тот момент, когда он решил отступить, Сатана помог ему отвлечься от жуткой боли в ладони и понять, что этим только и ограничено сопротивление Руфины, которая не может так просто поддаться в женском любимому отцу своему. Однако сильные колени ее, главная защита женщины, неподвижны и податливы. Тогда своей свободной, не схваченной зубами рукой Антихрист помог себе во всем, чего хотел и о чем мечтал.

Так свершилось и наступило мгновение, когда Сатана явился весь, всеми частями своими, и жестокая сладость гибели волной прошла по телам их в надежде, что сердца их одновременно откажут и оба умрут в счастье. Но, как ни стремились они оба удержаться в этой губительной сладости, та же сила, которая погрузила их в нечеловеческое, низвергла



их оттуда вон, назад к жизни, к боли и страху перед смертью, и сердца их, взяв разом крутой подъем, преодолели блаженство Вечного Сна...

Что-то мелькнуло еще во тьме комнаты, то был лик исчезающего Сатаны, красивый и печальный, а вовсе не злобно-сатирический, каким он бывает в соблазнах, когда человек борется с ним.

Часы пробили два ночи. Обоим хотелось пить, как во время болезни, слюны было мало во рту, и она была вязкой. Руфина встала с пола и, не зажигая света, зашелестела во тьме одеждой своей, которая была смята Антихристом и, может, даже порвана кое-где. Она разделась и легла на кровать. Антихрист тоже снял рубашку и лег рядом.

— Что же теперь будет?—тревожно спросил он.

— Помолчите, отец, — сказала Руфина, ибо, став ему женой, она по-прежнему звала его «отец».

Антихрист подчинился дочери своей, изнасилованной им, поскольку не было у них иного пути к Идее. Они лежали, а ночь, как обычно, жила, и работала, и стремилась к своему концу. Сначала ночь стремилась к концу незримо, незаметно, ни в чем не меняясь, затем побледнев, побелев и начав движение.

— Что же теперь будет?— снова сказал Антихрист, когда явился нервный красноватый отблеск, совсем уж чуждый ночному покою. Это была уже не ночь, а заря.

— Помолчите, отец,—опять приказала дочь его, ставшая ему женой.

И теперь они оба лежали среди неистового, торопливого труда утренних сил, расчищающих небо и землю под возрождающийся гомон птиц. Когда же стало все ярким, ясным и негде было скрыться от света, он в третий раз спросил:

— Что ж теперь будет?

Она не ответила. Она спала с красивым, добрым, по-утреннему чистым и свежим лицом. Тогда лишь узнал Антихрист от Господа, что дочь его Руфина есть в действительности пророчица Пелагея из села Брусяны подо Ржевом.

Как праведника Иова Господь отдал в руки Сатаны, дабы он, претерпев мучения, укрепился в вере, так и отец с дочерью были ради Божьего отдачи Сатане, постоянному, необходимому участнику трагической Господней драматургии. Вспомнил Дан, Аспид, Антихрист, пророка Исаяю: «Тогда сказал Исаяя: слушайте же, дом Давидов! Разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего? Итак, Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве примет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе». Далее говорит Исаяя: «И приступил я к пророчице, и она зачала и родила сына». Антихрист знал, будучи образованным иудеем, подобно Брату своему, что это не был еще тот Сын, но это был сын-знамение. А без знамения не может совершиться ничего Божьего. Ныне после Дома Давидова дано прославиться Дому Данову, возвестив: «Младенец родился нам, Сын дан нам».

Как понял это Антихрист и как свершилось, затосковал он по прошлому своему и по земле своей. Так лишь вначале тосковал, когда еврейским юношей, почти мальчиком явился в 1933 году вместе со второй казнью Господней, голодом, на Харьковщину в Дмитровский район, село Шагара-Петровское. Тогда особенно часто шептал он о любимом святом Городе многовековую клятву-проклятие: «Если я забуду Тебя, то пусть язык мой присохнет к гортани».

Подлинная Родина человека—это не земля, на которой он живет, а нация, к которой он принадлежит. Нет ни русской, ни еврейской, ни английской, ни турецкой, ни иной какой-либо земли. Вся земля Господня, и Господь—единственный коренной житель на земле. И подлинное право на тот или иной кусок Господней земли дают не исторические завоевания, не исторические перемещения, не факт многовекового владения, а то, сделала ли нация кусок Господней земли плодотворным и порядки на нем справедливыми, или подобно гоголевскому Плюшкину гноит нация обширные пространства Господни, попавшие к ней в руки. Жестоко спросит

Господь с такой нации за Имущество Свое. Но воздаст Господь нации, хранящей Имущество Господне.

И ныне увидел Антихрист Город, но иным, не цветущим, а возрождающимся от четырех казней Господних. Таким он был после Вавилонского угнетения, согласно Книге Неемин, ибо при возрождении, после Вавилонского угнетения, не было, как после Египетского угнетения, единого Моисея, а был Неемия, который вел народ из Вавилона, и был Ездра, который учил народ Закону.

«И встал Елияшив, великий священник, и братья его священники и построили Овечьи ворота: они освятили их и вставили двери их, и от башни Меа освятили их до башни Хананела. И подле него строили Иерихонцы, а подле них строил Закхур, сын Имрия. Ворота Рыбные строили уроженцы Сенаи: они покрыли их и вставили двери их, замки их и засовы их. Подле них чинил стену Меремоф, сын Урии, сын Гаккоца; подле них чинил Мешуллам, сын Берехии, сын Мешизабела, подле них чинил Садок, сын Бааны; подле них чинили Фекойцы; впрочем, знатнейшие из них не наклонили шеи своей поработать для Господа своего. Старые ворота чинили Иоиада, сын Пасаха, и Мешуллам, сын Бесодии: они покрыли их и вставили двери их, и замки их и засовы их...»

Так с муравьиным упорством слабыми людскими руками восстанавливали Вечное.

«На втором участке чинил Малхия, сын Харима, и Хашшув, сын Пахав-Моава; они же чинили и башню Печную... Ворота Долины чинил Ханун и жители Заноаха... и еще чинили они тысячу локтей стены до ворот Навозных. А ворота Навозные чинил Малхия... Ворота Источника чинил Шаллум... он же чинил стену у водоема Селах против царского сада и до ступеней, спускающихся из города Давидова. За ним чинил Неемия, сын Азбука... до гробниц Давидовых, и до выкопанного пруда, и до дома храбрых... А подле него чинил Езер, сын Исуса... напротив востока к оружейне на углу... За ним Фалал... напротив угла и башни, выступающей от верхнего дома царского, которая у двора темничного... Нефинеи... починили напротив Водяных ворот... Далее ворот Конских чинили священники...»

Однако в падшем мире рядом со Строителями—всегда Разрушители, и их тоже следует понять. Нынешний либерал и гуманист всегда скорее поймет великую правду Разрушителя, чем узкую правду Строителя. Недаром с конца XIX века позолоченные слова либерала всегда идут впереди ножа убийцы. И действительно, ведь Строитель эгоистично трудится для себя, тогда как Разрушитель бескорыстно старается для всех. Разрушитель всегда обделен, хотя бы у него всего было вдоволь. Его всегда жалко, он всегда теряет. Ибо в падшем мире не найти—это значит потерять.

Сказали Разрушители, жившие окрест на широких просторах, пожаловались обычной жалобой своей, неизменной со времен Вавилона:

— Неужели они когда-нибудь кончат? Неужели они оживят камни из груды праха и притом пожженного?

Однако опытный Строитель всегда знает, чего следует ждать от страданий Разрушителя и как тяжко Разрушителям чужое благо. Тогда Разрушителями были Санаваллат, Хоронит и Товия, жившие на просторах, доставшихся им безвозмездно после Вавилонского нашествия. Вот слова Неемии, сына Ахалиина, бывшего виночерпия персидского царя Артаксеркса, Неемии, возглавившего тех, кто строил:

— Мы, однако же, строили стену, и сложена была вся стена до половины ее. И у народа доставало усердия работать... А неприятели наши говорили: не узнают и не увидят, как вдруг мы войдем в середину их, и перебьем их, и остановим дело... И осмотрел я, и стал, и сказал знатнейшим и начальствующим и прочему народу: не бойтесь их, помните Господа великого и страшного и сражайтесь за братьев своих, за сыновей своих и за дочерей своих, за жен своих и за дома свои... С того дня половина молодых людей у меня занималась работою, а другая половина их держала копыя, щиты, и луки, и латы... Строившие стену и носившие тяжести, которые налагали на них, одною рукою производили работу, а другою держали копье... И ни я, ни братья мои, ни слуги мои, ни стражи, сопро-

вождавшие меня, не снимали с себя одеяния своего; у каждого были под рукой меч и вода.

Все это вспоминал Антихрист весьма часто и пребывал в задумчивости. С того дня, как через Сатану стал Антихрист мужем дочери своей, не оскудела у пророчицы Пелагеи днем любовь к отцу своему, но явилась также ночью страсть к мужу своему. И зачала Пелагея так, чтоб по ее расчетам разродиться младенцем к ранней весне, к празднику Пурим, празднику веселому. С тех пор, как зачала Пелагея, ходила она всегда с отцом своим, ибо знала, что не всегда он будет с ней. Отец заботился о ней и, зная, как нужен роженице воздух не городской, уезжал с ней от города подальше, в осенние пригородные леса, ибо уже наступила осень.

Однажды приехали они в местность малолюдную, овражистую и с возвышением, поросшим лесом. Был с ними и Андрей Копосов, также знавший уже, кто в действительности отец его и кто сестра его, ставшая также и приемной матерью ему и зачавшая от отца его младенца. Когда взошли они на возвышение, сказал им Дан, Аспид, Антихрист, посланец Господа, через евангелиста Матфея, самого достоверного, словами Брата своего из колена Иудина:

— Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все.

Тогда спросил Андрей Копосов, идущий к Богу самым трудным, третьим путем, не через веру и не через неверие, а через сомнение наподобие праведника Иова, спросил Андрей Копосов, раскрыв маленькое карманное Евангелие, которое всегда было с ним:

— Отец, отчего же Брат ваш Иисус из колена Иудина в семнадцатом и восемнадцатом стихах главы пятой Евангелия от Матфея прямо говорит о том, что Он пришел исполнить Закон Моисея, а со стиха двадцать первого Он начинает говорить иное, в стихе тридцать восемь и в стихе тридцать девять говорит: «Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую»? В стихах сорок третьем и сорок четвертом говорится: «Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидеть врага твоего. А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас».

Ответил Дан, Аспид, Антихрист, посланец Господа:

— Верно все сказано, и нет здесь противоречия. Как верующий иудей, как гений, общающийся с Богом, он сохраняет и исполняет Закон Божий, дабы сохранить Бога для человека, о чем и говорится в семнадцатом и восемнадцатом стихах. Это его первая Истина, Моисеева. Но как мудрец, Спаситель и Мессия Он знает, что грешник в падшем мире не способен любить Бога согласно Заповедям Моисеева Закона и не способен исполнить простые Заповеди Божьи: не убий, не укради, не прелюбодействуй. Не способны внушить это злым грешникам и Божьи пророки, глас которых есть глас вопиющих в пустыне. Оттого для спасения падшего мира призвал он не чуждый миру Божий Закон пророков, а понятные каждому грешнику заповеди доброго человека, самоотречением которого, самопожертвованием которого грешник живет, как червь яблоком. Так не Божьим, а человеческим спасается для Бога падший мир. Об этом и говорит Брат мой Иисус из колена Иудина. Это Заповеди не для многих, но они спасают многих. Это его вторая Истина. А третьей Истины быть не может... И так говорит Иисус, Брат мой, оканчивая Нагорную проповедь свою: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный...» Таковы слова того, кто постиг Божье, сказанные для тех, кто не способен во грехах их постигнуть Божье и должен спасаться иным, человеческим совершенством, ибо доброта тоже совершенство.

Тогда спросила пророчица Пелагея, приемная дочь Дана, Антихриста, и жена его:

— Отец, для кого же принес спасение Брат твой Иисус Христос: для гонимых или для гонителей, для ненавидимых или ненавидящих?

Ответил Дан, Антихрист:

— Конечно же, для гонителей принес спасение Христос и для ненавидящих, ибо страшны мучения их. Страшны страдания злодея-гонителя.

— Отец, — сказала пророчица Пелагея, — а как же спастись гонимым, как спастись тем, кого ненавидят?

Ответил Дан, Антихрист:

— Для гонителей Христос — Спаситель, для гонимых Антихрист — Спаситель. Для того и послан я от Господа. Вы слышали, что сказано: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». А я говорю вам: любите не врагов ваших, а ненависть врагов ваших, благословляйте не проклинающих вас, а проклятия их против вас, молитесь не за обижающих вас и гонящих вас, а за обиды и гонения ваши. Ибо ненависть врагов ваших есть Печать Божья, вас благословляющая. Если ненависть многовековая и всеобъемлющая, если страсть этой ненависти искренняя, если не сам ненавидящий ненавидит, а точно нечто внутри его ненавидит, если порой и разум ненавидящего не может совладать с ненавистью его, если вокруг этой ненависти создаются идеологии и империи, значит, Господь через эту ненависть посылает ненавидимому знамение. Ненависть людей друг к другу не так уж редка в падшем мире, и она весьма часто так же мелка, как падший мир. Но только один Господен народ удостоен чести быть ненавидимым вселенской плодотворной ненавистью более двух тысяч лет неизменно и на протяжении более чем десяти империй — Вавилонских башен. Ничем он не выделен из остальных народов, и ничем он не лучше, но этой неизменной ненавистью выделен и этой ненавистью лучше.

Так окончил говорить Дан, Антихрист, посланец Господен, который знал уже, что недолго ему быть здесь, ибо окончились нынешние четыре казни Господни, когда же новые мучения будут посланы, один Господь знает. Конечно, казни эти никогда не покидают падший мир, но есть грешные периоды, когда они обновляются и приобретают особую силу. Тогда и может вновь явиться Антихрист, а может и не явиться — это уж как Господь задумает. Поэтому пророчица Пелагея знала, что предстоит ей расстаться с отцом своим и мужем своим надолго, если не навсегда. Однако она не знала, когда и как состоится прощание, и молила Господа, чтоб хоть после рождения младенца свершилось это. Так в любви и тревоге прожили они до Рождества.

Рождество в этом году было не очень морозное, но ветреное, беспокойное. Скромно отметил Дан, Антихрист, рождение Брата своего, отметил наедине с пророчицей Пелагеей, дочерью своей и женой. Отметил он мыслями о Брате и в беседе с дочерью своей, которой от него надлежало родить младенца. Сказал он:

— Всякий рождается духовно нищим, рождается глупым и рождается злым. Но пока он неразумный младенец, он живет в раю Божьем. Когда же являются зачатки сознания, то мигом изгоняется из рая на свои хлеба, и вот нищета, глупость и злоба подстерегают его. Как же вернуться к Богу, живя в сознании на своих хлебах? Против нищеты — гении, против глупости — пророки и мудрецы, а против злобы — люди добрые, безымянные. Это не земной гений Пушкин и не Шекспир, не Божий — Моисей, не пророк Иеремия и не пророк Исайя. Только те это, которые целиком раздадут себя в настоящем и от которых ничего не останется в будущем. И если оставит что после себя добрый человек, если станет он известен и прославится, если скажут о нем: этот был добр, — значит, не подлинную доброту он раздавал, не до конца задуманное исполнял. Только безымянный, неотблагодаренный праведник творит доброту до конца. Вот для чего рожден был Брат мой из колена Иудина, ибо Он — единственное утешение и награда безымянным праведникам, которые живут для спасения гонителей. Я же пришел, чтоб наградить и спасти гонимых.

Ночью проснулся Антихрист, поднялся на локте, вспомнил свои слова о себе, которые вложил ему в уста Господь, улыбнулся, посмотрел на дочь свою, которая спала подле него теплая, большая, с красивыми желтыми пятнами от беременности, посмотрел в ночное окно, за которым блестели рождественские звезды, а одна звезда среди них была ярче всех, посмотрел и мягко простился он с миром Божьим, простился с до-

черью своей, коснувшись ее лба губами осторожно, чтоб не разбудить. После опять заснул Дан, Аспид, Антихрист, пожил он еще во сне часа три с небольшим и умер на рассвете, мигом забыв бывшее с ним земное, как забывают иногда напрочь ночной сон при утреннем пробуждении.

Дочь же его, пророчица Пелагея, и после того, как отец ее пробудился от земного, продолжала спать рядом с остывающим телом, которое некогда принадлежало отцу ее. Снились ей похороны, которые снились и Аннушке Емельяновой, нечестивой мученице, в немецком свинарнике. Но Аннушке снился гроб матери, стоящий под сильным дождем посреди двора по адресу: город Ржев, третий участок, третий барак...

У пророчицы Пелагеи место точно указано не было, хоть были они с Аннушкой Емельяновой почти землячки, ибо неподалеку село Брусяны от Ржева. И не дождь был перед пророчицей Пелагеей, а солнечный день. Вот густая толпа народа идет и несет четыре гроба. Вошла толпа с гробами на узкий, но длинный мост. Прошла немного, оставила один гроб на мосту, прошла дальше, второй гроб на мосту оставила. Когда же сошли с моста, то третий гроб на воду пустили, и четвертый гроб чуть подальше, пройдя берегом, тоже на воду пустили. Но не уплывают гробы по течению, а колышутся возле берега. Вдруг из гроба, который ближе к берегу, крепкая, здоровая девушка вываливается, вываливается. Упала она и стала по горло в воде. Тогда из гроба, который колыхался подальше от берега, встал юноша, опустил в воду, пошел по воде к девушке, вывел ее за руку на берег к народу и, вернувшись, опять лег в свой гроб, который начал медленно уплывать и удаляться. Девушка же, с которой текла вода, едва выйдя на берег, заговорила очень громко, как безумная говорила, но не на том языке, на котором до смерти говорила, не по-русски. И изменилась она, потемнела, почернели волосы ее, округлость тела исчезла, и по-южному быстры стали жесты. Люди, стоявшие на берегу, бережно, почтительно взяли ее за мокрые руки, повели и привели в какое-то помещение. Там девушка была уже в сухом платье, обнажающем ее колени, и с сумочкой белой, вышитой бисером. Но монолог ее продолжался, хоть и не так он безумен казался и не так был громок. Монолог этот на непонятном языке, первобытном, может быть, диалектом, пещерном, ни на что не похожем. И все ж, нет-нет да мелькнет в этом потоке непонятных гортанных слов привычное русское слово. Однако по слову этому ничего нельзя определить и угадать. А люди жадно слушают и смотрят на жесты этой девушки. Кто в комнату не попал, не поместился, те в окна глядят, в щелку дверную заглядывают, толпой стоят у входа. Много часов слушают, хоть ничего не понимают. Пророчица Пелагея вначале опасалась войти в комнату, а потом подумала: «Что она мне сделает?» — и вошла. Вошла и говорит покойнице:

— Здравствуй...

— Здравствуй, Пелагея, — по-русски отвечает покойница и вновь начинает чужое многословье, среди которого нет-нет да и мелькнет случайно русское слово.

Меж тем народ чем дольше слушает девушку-покойницу, тем больше не понимает, тем чаще поддакивает.

И вроде другой уже народ вокруг, не траурный, не похоронный. Много молодежи, разноцветные платья, лица не сумрачные...

Так с облегченной душой очнулась Пелагея от тяжелого сна и видит — за окном утро рождественское, морозное, солнечное, веселое. Обняла она отца своего, чтоб его разбудить и рассказать ему странный свой сон, однако тотчас же с брезгливостью отпрянула прочь. За мгновение до того, как в сознании своем была она поражена людским горем от смерти любимого, в чувствах своих испытала она истинно библейскую брезгливость к мертвому телу. Она знала, что в каждом слове, которое отец сказал, а она запомнила, и даже в каждом предмете, который отец видел и к которому прикасался, больше его, чем в этом безвольном, оставленном им навек теле. Недаром в древние библейские времена назорейам, людям, посвятившим себя Богу, запрещалось прикасаться к мертвецу. Пока тело здесь, не может быть живой памяти о покойном. Тело следует быстрее предать земле, дабы то, что было дорого, воскресло.

Так она и сделала, скромно и незаметно, и помогал ей в этом брат ее Андрей Копосов. В скромном, недорогом гробу, на общедоступном

кладбище дети похоронили отца своего, помертвев сердцем. Однако, уже когда они шли с кладбища, сердца их ожили. Отец был опять с ними. С тех пор редко они разлучались и с отцом, и друг с другом, но не были при этом друг другом в тягость и не уставали друг от друга.

Родила Пелагея в начале марта, как раз в праздник Шушан-Пурим, пятнадцатого Адара по еврейскому календарю. Это был праздник избавления евреев от угрозы полного истребления по замыслу Амана, грека, иностранца, в Персидской империи, за триста пятьдесят семь лет до Рождества Христова попытавшегося окончательно решить еврейский вопрос, спасти человечество от евреев и заодно уж спасти его от Рождества Христова, дабы, как сказано в указе, «сии люди не препятствовали нам в последующее время проводить жизнь мирно и безмятежно до конца».

Однако благодаря стараниям Эсфири-иудейки, женщины, мирное человечество не было избавлено от Рождества Христова. Сам же Аман, грек-избавитель, был по приказу царя повешен. Так провалился первый греческий заговор против еще не родившегося Христа. Но второй греческий заговор, осуществленный после смерти Христа, был отчасти удачен. Чаша была разбита. И ныне, когда минуло четыре тяжких казни Господни, опять этому заговору противостояла женщина — пророчица Пелагея из села Брусняны подо Ржевом, родившая младенца — знамение от приходившего отца ее, Антихриста, Брата Иисуса Христа.

Младенец этот, названный Даном в честь отца своего, был иудейским обликом в отца, но глаза имел материнские, северные, ржевские. Подобно всем здоровым младенцам пребывал он в Божьем Раю, однако было видно уже по некоторым неуловимым признакам, доступным лишь Пелагее, родной матери-пророчице, что, покинув Божий Рай младенчества, Дан выделится из многих, а став юношей, выделится из всех. Быстро минет он пору поисков, а когда найдет, то быстро поверит в найденное. Полюбит он всей душой пророков библейских, но более всех полюбит пророка, навек оставшегося неизвестным, условно включенного в книгу пророка Исайи и условно названного Второисайей. Потому чаще других читала теперь пророчица Пелагея неизвестного пророка Второисайей, каждое слово которого, как бы знаменующая Божественность смысла, заключенного в нем, горело не сгорая, подобно терновому кусту Моисея.

«Вот Отрок Мой, которого Я держу за руку, избранный Мой, к которому благоволил душа Моя. Положу дух Мой на Него, и возвестит народам суд... — так читала пророчица Пелагея, мать младенца Дана. — Долго молчал Я, — читала она, — терпел, удерживался; теперь буду кричать, как рождающая, буду разрушать и поглощать все... Я предал хребет Мой биющим и ланиты Мои поражающим; лица Моего не закрывал от поруганий и оплевания».

Так сказано было неизвестным пророком Второисайей за полтысячи лет до Вифлеемской звезды. Сказано: «И Господь Бог помогает Мне: поэтому Я не стыжусь, поэтому Я держу лицо Мое, как кремь, и знаю, что не останусь в стыде. Близок оправдывающий Меня: кто хочет состязаться со Мною? станем вместе. Кто хочет судиться со Мною? пусть подойдет ко Мне».

Вот короткая, всего в двенадцать стихов пятьдесят третья глава Второисайи. Весь дух Евангелия, драматургия Евангелия и даже во многом основной сюжет Евангелия — в этой маленькой главе, написанной Второисайей за полтысячи лет до Рождества. Все, что есть творческого в Евангелии, дано в этой главе. Нет в ней лишь языческих украшений и языческого смысла, которым впоследствии через греческого опекуна Евангелие было унижено. Вот Евангелие от Второисайи, самое древнее, первоосновное, самое поэтическое. Не Евангелие-летопись, как все остальные, а Евангелие-пророчество.

«Господи! Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли; нет в Нем ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, мы отвращали от Него лицо свое; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы

думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу; и Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих; как овца, веден Он был на заклание, и как агнец пред стрищим Его безгласен, так Он не отверзал уст Своих. От уз и суда Он был взят; но род Его кто изъяснит? ибо он отторгнут от земли живых; за преступления народа Моего претерпел казнь. Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах Его. Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению; когда же душа Его принесет жертву умилостивления, Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его. На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством; чрез познание Его Он, Праведник, Раб Мой, оправдает многих и грехи их на Себе понесет. Посему Я дам Ему часть между великими и с сильными будет делить добычу, за то, что предал душу Свою на смерть и к злодеям причтен был, тогда как Он понес на Себе грех многих и за преступников сделался ходатаем».

Таково Евангелие от Второисайи, единственное пророческое Евангелие: Несмотря на то, что оно пророческое, то есть написано задолго до того, как свершилось, в нем более сути и смысла, чем в Евангелиях, написанных значительно позднее того, как свершилось. В нем последней фразой указано, кем является Христос: ходатаем за преступников, которых большинство. Однако не ходатаем за жертвы.

Конечно, в мире философии, в мире Единства, в пространственном мире общих понятий преступник и жертва неотделимы, и потому Христос философов — ходатай за всех. Однако в мире религиозном, в мире Полярности основных понятий, в мире подвижном, временном, библейском преступник в каждый конкретный момент четко отделен от жертвы и Христос в религии является лишь ходатаем преступника. За жертву же ходатайствует Антихрист. Вот почему в античном пространственном мире Христос и Антихрист как бы слиты воедино, ибо в античном мире жертву нельзя отделить от преступника.

Не только о Христе, но и об Антихристе сказано у Второисайи: «И поведу слепых дорогою, которой они не знают, неизвестными путями буду вести их; мрак сделаю светом пред ними и кривые пути — прямыми; вот что Я сделаю для них и не оставлю их... — так говорил ходатай не только преступников, Христос, но и ходатай жертв, Антихрист. — Будешь ли переходить через воды, Я с тобою, через реки ли, они не потопят тебя; пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя».

Через Антихриста, посланца Своего, обращается Господь к жертве: «Я, Я Господь, и нет Спасителя, кроме Меня... Так говорит Господь, искупивший тебя и образовавший тебя от утробы матерней: Я Господь, Который сотворил все, один распростер небеса и Своею силою разостлал землю. Который бездне говорит: иссохни!» А притеснителям, за которых ходатаем выступает Христос, Антихрист, ходатай ныне притесненных, говорит: «И притеснителей твоих накормлю собственной их плотью, и они будут упоены кровью своею, как молодым вином. Вот Я беру из руки твоей чашу опьянения, дрожжи из чаши ярости Моей: ты не будешь уже пить их, и подам ее в руки мучителям твоим, которые говорили тебе: «пади ниц, чтобы нам пройти по тебе»; и ты хребет твой делал как бы землею и улицею для проходящих».

Так говорит Антихрист, отец пророчицы Пелагеи и отец сына ее, Антихрист, который в мире философском, в мире Единства, есть враг Христу, а в мире религиозном, в мире Полярности, есть Христу Брат, дополняющий в справедливом Божьем судопроизводстве. Так читала Второисайю и понимала его пророчица Пелагея.

Когда младенец окреп, часто начала ездить с ним пророчица Пелагея в местность загородную, малолюдную, овражистую, с возвышением, поросшим лесом, где отец Пелагеи учил ее и брата ее Андрея Копосова. Вместе с ней бывал там и Андрей Копосов, брат ее, и Савелий Иволгин, сосед, согласно врачебному заключению практически излечившийся от душевной болезни своей. И верно, лицо его ныне потеряло прежнюю опас-

ную живость, свидетельствующую о внутреннем многоголосии, стало менее одиноким, и с большим доверием глядел он на мир, не подозревая более, что мир что-то замышляет против него и что-то от него утаивает. И вопрос познания не был более для него ироническим вопросом. Он знал уже, что в мире нет Единства, и потому вопрос познания житейский, а не трагический и роковой, каким он был бы при всеобщем единстве явлений и понятий. Помнил он также и основную религиозную заповедь неизвестного пророка Второисаи, которой подытоживались его откровения. Вот она из главы пятьдесят пятой, стих шестой: «Ищите Господа, когда можно найти Его; призывайте Его, когда Он близко».

Так, благодаря новейшим методам лечения, благодаря отказу от поисков единства мира, чему научил его покойный человек из колбы, и благодаря великой заповеди пророка, успокоился душой Савелий, стал приятен в общении, и пророчица Пелагея охотно приглашала его с собой на загородные прогулки.

Когда наступила первая годовщина ухода отца ее, Антихриста, как раз на Рождество Христово собралась пророчица Пелагея с младенцем за город. Поехали с ней и постоянные спутники, Андрей и Савелий. Младенца своего Пелагея запеленала тепло, поскольку, хоть и не было нынешнее Рождество ненастным, ветреным, как прошлое, но с морозцем и густым снегом, который с самого утра валил, не переставая.

Зимой, особенно за городом в снежный день господствуют два цвета: белый и черный, ибо все темное на фоне белизны кажется черным. Поэтому, если помотришь на стволы деревьев с той стороны, откуда ранее, может, ночью мела поземка, то все стволы, точно братья белые, облепленные снегом, а с противоположной стороны все они, точно братья черные. От этих двух цветов и святость в зимнем лесу, и ходишь по нему с замирающей душой, как в храме Божьем. Святая мужская суровость в белом и черном, а все остальные цвета кажутся второстепенными и незаметными. Божествен зимний лес под белым куполом, пока не проглянуло солнце, не пробудило земные краски, земные, легкомысленные, радостно женские отблески, радостную голубизну в небе. Красиво это, приятно, но женски суетливо. Что-то является мигом от летнего, сладкого телу рассеяния, от летних, неистовых трат, когда чувствуешь каждый уходящий из жизни день свой. Но хорошей загородной деревенской снежной зимой Бог как бы дает передышку человеку, уменьшает суету бытия, усиливает неподвижность, приятно обезличивает дни, и не чувствует человек потерь дней своих.

С такими чувствами, словно в Божий храм, вошли в зимний лес Андрей Копосов, Савелий Иволгин и пророчица Пелагея с младенцем Даном, в котором уже пробуждались первые ростки сознания, радующие мать, но которому еще далеко было до изгнания из Божьего Рая. Пошли они, утопая в снегу, к тому месту на возвышении, где прошлой осенью учил Пелагею и Андрея отец. Осмотрелись они вокруг и видят: из низкого, земного, все свято вокруг, а из высокого ни солнца, которому поклонялись солнцепоклонники, однако которому отказался поклоняться Авраам, ни неба, языческого божества, укрытого ныне белой пеленой, ни луны, мистического кумира, ныне погашенного земным святым днем Рождества, ни безбрежного простора звезд, главных, может быть, виновников многобожья, многоликой красотой своей надолго отвлекших древнего человека от Единого, Сущего Бога. Но сейчас близок Он, и это тот святой момент, когда можно найти Его, ибо зимний черный лес пылает своей белизной, как пылал некогда в пустыне перед пастухом Моисеем терновый куст. И услышали Андрей Копосов, сын Антихриста, Савелий Иволгин, грешник-алхимик, и пророчица Пелагея, жена Антихриста, голос Божий ясно, как никогда. Однако младенец Дан, лежавший в пеленках на руках у пророчицы и глядящий голубыми, северными, ржевскими глазами своими в нависшие над ним снежные, свежие, пахучие ветви, услышал Господа так, точно Он стоял перед ним и держал руку Свою на лице его. Конечно, услышанное им будет надолго скрыто от него в сердце его, но, когда придет срок, откроется ему, если будет он жить той жизнью, какая задумана для него Господом и сотворена отцом.

В библейской поэме о сотворении мира сказано, что Господь творил, а человек придумывал названия сотворенному, ибо ради немощи челове-



ческой Божье должно быть унижено через слово и наименование, то есть через искусство. Так и бездонные мысли Господа ради доступности их человеку унижаются через великое слово пророка. Но и слово пророка многократно унижено, если звучит оно без знамения, как был сейчас знаменем для этих людей зимний святой лес. Сказано у пророка Исайи: «Проси себе знамение у Господа Бога твоего, проси или в глубине, или на высоте». Вот что сказал Господь этим людям в зимнем святом лесу через пророка Исайю: «Если нечестивый будет помилован, то не научится на правде... Господь выходит из жилища Своего наказать обитателей земли за их беззаконие, и земля откроет поглощенную ею кровь и уже не скроет убитых своих».

Поняли люди в зимнем лесу, что только на Христа может уповать злодей и Христом он будет прощен и утешен за пролитую им, злодеем, кровь. Но Господь не простит, ибо Христос — Спаситель, а Господь — Творец.

Всякая жизнь и всякая судьба, даже горькая жизнь и мучительная судьба, когда она проходит, должна складываться в Псалом. Хваление Господу за то, что она состоялась в отличие от жизней неродившихся и судеб несостоявшихся. Всякая жизнь, даже горькая, есть удача и привилегия. Поэтому уже самим своим рождением злодей и отступник обманывает Творца. Христос же Спаситель, чистый сердцем, ибо чисто сердце, не знающее мук творчества, Христос послан Господом для того, чтоб не оставит тех, кого оставил сам Творец — Господь. Бесконечна и недоступна человеку сущность Господа, но в этой бесконечности только одна, может, не главная и не значительная сторона Господа доступна пониманию человека — Творец.

— Вот наступают дни, — говорит Господь через Амоса, самого древнего из пророков, зачинателя пророчества, — когда Я пошлю на землю голод — не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних.

Эти времена ныне приближаются, и голод по Слову Господнему будет, может, самая страшная, пятая казнь Господня, казнь, возведенная через пророка Амоса, как четыре прежних возведены были через пророка Иезекииля. От четырех прежних казней спасен был нечестивец, прощен через Христа: от первой казни — меча, от второй казни — голода, от третьей казни — зверя прелюбодеяния, от четвертой казни — болезни — моровой язвы. Но от пятой казни — жажды и голода по Слову Господнему, не спасется нечестивец, и не спасет его ходатай за преступников — Христос. От голода по Слову Господнему, от жажды по утешению Господнему умрет нечестивец в муках. Зато праведник насытится Словом Господним. Как сказано в книге пророка Исайи: «И будет прежде, нежели они взовут, Я отвечу, они еще будут говорить, а Я уже услышу...»

Сказано:

— Жаждущие! идите все к водам; даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте... Приклоните ухо ваше и придите ко Мне: послушайте, и жива будет душа ваша, — и дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанные Давиду... Как дождь и снег нисходит с неба и туда не возвращается, но напоет землю и делает ее способною рождать и производить, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, — так и слово Мое, которое исходит из уст Моих, — оно не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал его.

Так гений повторяет гения, и книга пророка Исайи повторяет Второзаконие Моисея, где сказано о Божьем Слове:

— Польется как дождь учение Мое, как роса речь Моя, как мелкий дождь на зелень, как ливень на траву...

Поняли люди через знамение — пылающие святой снежной белизной черные лесные деревья, — что после четырех тяжких казней Господних грядет пятая, самая страшная казнь Господня — жажда и голод по Слову Господнему, и только духовный труженик может напомнить о ней миру и спасти от нее мир, напоив и накормив мир Божьим Словом. Тогда поняли они и суть сердечного вопля пророка Исайи:

— О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте!

## *Одну Россию в мире видя*

Роман, прочитанный вами, помечен январем 1975 года и, судя по датам начала и завершения работы, был создан в очень короткий срок — несколько месяцев. Спустя одиннадцать лет он был выпущен за границей небольшим тиражом в некоммерческом русском издательстве «Страна и мир» и прошел почти незамеченным. Теперь он напечатан на родине. В таких случаях принято выражать уверенность, что отечественный читатель высоко оценит наконец-то возвратившееся к нему талантливое произведение писателя-изгнанника. Но, по правде говоря, не очень верится, что этот темный, требующий большого напряжения мысли, таинственный и малопатриотичный роман, который почти демонстративно не желает считаться с господствующей литературной парадигмой, — что этот роман будет иметь успех. Если, конечно, не считать «успехом» громы и молнии, которые он, чего доброго, на себя навлечет.

Тягостная эта книга не идет из головы, герои стоят перед глазами, не роман, а наваждение. О чем он? То, что составляет сюжетный остов «Псалма», дает о книге, пожалуй, не больше представления, чем скелет — о живом человеческом теле. Ясно, что писатель рассказывает о злоключениях своих героев не ради или не только ради них самих. Секрет настоящей литературы состоит в том, что, о чем бы вам ни толковали, ничто в книге не равно самому себе. Литература, в которой все есть, как оно есть, лица и происшествия равнозначны самим себе, есть литература второсортная, во всяком случае — устарелая. Пять частей, называемых притчами, повествуют о «четырех казнях Господних» — голоде, войне, прелюбодеянии, душевной болезни — и о каком-то разрешении, о смысле Зла, который отчасти проясняется в конце книги. Значит, роман о Зле? Я бы сказал иначе, словами Гете, поэта бесконечно далекого от автора романа «Псалом»: о проклятии Зла, проклятию, которое само становится злом. О том, как страдалец превращается в источник страданий, жертва — становится палачом.

Бог насылает казни на человечество, на Россию, на простых людей, как некогда он наслал десять казней египетских на подданных фараона. Зачем он это сделал? Библия отвечает: чтобы заставить фараона отпустить евреев. Возникает, однако, более общий вопрос. Виновные наказаны, и так им и надо. Но зачем страдают невинные, весь народ Египта? В романном мире подобный вопрос впрямую не ставится, и прямого ответа на него мы тоже не найдем. Из рассуждений автора — в которых нет недостатка — как будто следует, что было бы логичней спросить наоборот: а почему человечество должно оставаться безнаказанным? Существует древнейший способ осмысления страдания: поиск вины, преступления, греха. А невинные, а те, кто не грешил? В том-то и дело, что безгрешных нет. Страдание само по себе есть доказательство вины. Весь наш род проклят.

Проклятие произнесено над человеческой расой, как об этом записано в Книге Бытия. Человек создан богоподобным, а это значит, что он создан свободным. Он свободен в познании добра и зла и свободен употребить это знание на погибель самому себе. (Человек, если верить Плинию Младшему, свободней самих богов: ибо он может то, чего боги не могут, — убить себя.) Познав добро и зло, человек навлекает на себя проклятие.

Однако в романном мире существует только Россия, и кажется, что вся ветхозаветная мистерия была разыграна для того, чтобы в конце концов совершился суд над этой страной без конца и края. И так как наша страна в мире Горенштейна, для которого вне ее никого и ничего не существует, — собственно, и есть человечество, то проклята от века, и несет наказание за грехи, и мучается казнями, и мыкается без крова в поисках хлеба, как девочка Мария, и страдает от тевтонского нашествия и меча войны, как Аннушка, и становится рабой звериной похоти, как работница Вера, и чахнет от какого-то тайного недуга, как герои четвертой притчи, — наша недобрая страна, Россия.

Проклятие нависло над ее историей — проклятие страны, которая избрала «строительство Вавилонской башни» и отвергла «строительство Храма». Очевидно, имеется в виду великодержавие, имперская алчность и имперское прошлое, которое фатальным образом остается нашим настоящим. Но в таком случае не оказался ли прав Достоевский (к философско-националистическим грезам которого автор испытывает невыразимое отвращение и к которому он, может быть, не за-

мечая этого, чрезвычайно близок), объявляя устами Шатова, что «никогда еще не было, чтобы у всех или у многих народов был общий Бог, но всегда у каждого был особый... чем сильнее народ, тем особливее его Бог»? И тут договаривается последнее слово: проклятие тяготеет над деградировавшим христианством.

Началось это с того самого времени, когда разбилась вдребезги Чаша иудаизма, с отпадения христианства от Библии, с «заговора апостолов», который писатель каким-то образом ухитрился вычитать из достовернейшего, по его сведениям, «самого древнего и подлинного» Евангелия от Матфея, — с заговора, который вместе с «внешней ненавистью сотрудничавших с римлянами коллаборационистов» погубил Учителя. На самом деле мысль о том, что подлинным основателем церковного христианства был не Христос, а апостол Павел, автор мог вычитать, к примеру, у Мартина Бубера. Некоторые ошарашивающие неискушенного читателя толкования, с которыми он встречается в романе, в действительности введены в оборот христианской мысли уже давно, да и споры московских умников 70-х годов о еврействе и христианстве, что воспроизведены (или спародированы) в последней части романа, — отнюдь не новое слово в истории христианской экзегезы. Важно другое: в этой системе представлений коммунизм, победивший в России, с его намерением накормить всех, смешать всех в одну толпу, с претензией достроить Вавилонскую башню, оказывается наследником потерявшего себя, взорванного внутренними противоречиями христианства, подобно тому как Советский Союз оказался преемником Российской империи. Политический аспект — второстепенный в романе, политика есть всего лишь вульгарная версия метафизики, однако и этот поворот просматривается в книге довольно ясно.

Но тень проклятия простирается дальше. Мне приходит в голову странная мысль. Кажется, что проклятие тяготеет над самим романистом, которому досталось испытать чашу страданий и зла еще в детстве. Детство кошмаром стоит над его книгой. Почти у каждого писателя можно обнаружить инфантильные истоки его творчества; к автору «Псалма» это относится вдвойне, втройне. Проклятие зла заключается в том, что из философии Горенштейна нет выхода.

Но есть высшее искупление, и называется оно искусством.

«Литература — это сведение счетов». Французский писатель Арман Лану, сказавший эту фразу, возможно, не отдавал себе отчета в ее многозначительности. Литература — это сведение счетов с жизнью и способ отомстить ей, отомстить так страшно, как никакое несчастье не может мстить. Литература может превратиться в сведение счетов с горестным детством, с властью, чьи представители — дети народа, кость от кости и плоть от плоти, с самим этим жестоким простонародьем, имя которому — российское мещанство, со страной, которая всем нам была матерью и мачехой одновременно. «А между тем отшельник в темной келье здесь на тебя донос ужасный пишет». Поди потом доказывай, что донос несправедлив. Искусство обладает непререкаемостью высшей инстанции. Его приговоры обжалованию не подлежат. Но в том-то и дело, что, нанеся удар, искусство в каком-то ином, высшем смысле врачует.

В повести Фридриха Горенштейна «Искупление», одной из вершин его творчества, молоденькая девушка Сашенька становится частной носительницей зла, которое неудержимо разрастается, вылезает из-под земли вместе с останками зубного врача и его близких, над которыми совершено изуверское надругательство, зло настигает самих злодеев, зло везде, в каждом, и нет выхода. Но искупление зла приходит: это ребенок Сашеньки и лейтенанта Августа, который приехал с фронта, чтобы узнать о судьбе своих родителей-евреев, и уезжает, чтобы не поддаться искушению самоубийства.

В «Псалме» искупления как будто не предвидится. Вы можете сказать, что рано или поздно раны затягиваются, что искупление — сама жизнь, которая продолжается вопреки всему; но ведь это все равно что не сказать ничего. Антихрист уходит, оставив сына, другого Антихриста, рожденного праведницей... И все-таки искупление есть, и мы это чувствуем, как некогда люди XIX века, для которых русская литература была евангелием правды в обоих смыслах слова: правды-истины и правды-справедливости; искупление — это сама книга, искусство.

В книге есть нечто вроде главного героя. Можно было бы назвать весь роман его именем. Это олицетворение проклятия, но вместе с тем и милости — Антихрист, загадочный персонаж, странствующий по дорогам этой книги-земли, неизвестно откуда взявшийся, «посланный Богом». Он появляется в начале первой части: в чайной колхоза «Красный пахарь», куда заходит нищенка Мария. За столом у окна сидит мальчик, судя по одежде, — горожанин, но с пастушеской сумкой. молчаливый, чужой всем, и подает ей кусок хлеба, выпеченного из смеси пшеницы, ячменя, бобов и чечевицы, — «нечистый хлеб изгнания». Он встречается ей то здесь, то там, на дорогах, в разных городах, и в конце концов становится ей мужем на одну ночь где-то на окраине Керчи, на берегу моря. Он приносит несчастье. И так же точно он сопровождает действующих лиц в других частях книги, он бессмертен и неуязвим, но вместе с героями взрослеет и стареет, и в конце книги это уже сгорбленный и седой, много повидавший человек, почти старик. Его земной путь завершен, и он не то чтобы умирает (хотя говорится о похоронах), а исчезает.

Для чего Антихрист посетил землю, отчасти становится понятно на последних страницах. Поучение Дана представляет собой антитезу Нагорной проповеди.

Пелагея, она же Руфина, приемная дочь Антихриста и мать его ребенка, спрашивает:

«— Отец, для кого же принес спасение Брат твой Иисус Христос: для гонимых или для гонителей, для ненавидимых или ненавидящих?»

Ответил Дан, Антихрист:

— Конечно же, для гонителей принес спасение Христос и для ненавидящих, ибо страшны мучения их. Страшны страдания злодея-гонителя.

— Отец, — сказала пророчица Пелагея, — а как же спастись гонимым, как спастись тем, кого ненавидят?

Ответил Дан, Антихрист:

— Для гонителей Христос — Спаситель, для гонимых Антихрист — Спаситель. Для того и послан я от Господа. Вы слышали, что сказано: любите врагов ваших, благословите проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. А я говорю вам: любите не врагов ваших, а ненависть врагов ваших, благословляйте не проклинающих вас, а проклятия их против вас, молитесь не за обижающих вас и гонящих вас, а за обиды и гонения ваши. Ибо ненависть врагов ваших есть печать Божья, вас благословляющая...»

Вот, оказывается, в чем дело: обессилевшее, «падшее» христианство нуждается в новом учителе, который велит не благословлять гонителя, но видеть в нем награду и благословение.

Ненависть врагов ваших есть благословение Божье. Ближайший образ зла в книге Горенштейна, во всех его книгах — ненависть к евреям. Род неподвижной идеи, не то чтобы преследующей писателя, но стоящей над всем его мировоззрением, словно повисшее над горизонтом огромное мертвое солнце. Суть идеи в том, что с ненавистью невозможно бороться, перечить ей бессмысленно, — никто из его героев и не пытается это делать. Горенштейн мог бы процитировать Достоевского, по отношению к которому он оказывается в таком же зависимом противостоянии, как в его романе Дан-Антихрист — к своему брату-антагонисту Христу. «Пора перестать стыдиться своих убеждений, а надо высказать их» (из черновых записей к «Дневнику писателя», 1877 г.). Убеждения, следовательно, таковы, что их можно стыдиться. Но в том-то все и дело, что антисемитизм не есть «убеждение». Его невозможно опровергнуть. Он неподвластен разуму. Он способен умертвить даже собственного носителя: почти все фанатики и рабы антисемитизма у Горенштейна становятся его мучениками и погибают жалкой смертью. Если бы автору «Псалма», «Искупления», «Улицы Красных Зорь», пьес «Споры о Достоевском» и «Бердичев», большого романа «Место» удалось втолковать читателям то, чему, по-видимому, их не научил урок нашего времени, — что антисемитизм не есть дело, касающееся одних евреев, но все человеческая школа зла, — если бы он сумел втолковать это отечественной публике, это значило бы, что он совершил невозможное. Однако даже крупный писатель не в силах этого сделать. Мертвое

солнце остановилось, как солнце Иисуса Навина, а из романа мы узнаем, что в этом даже есть какой-то высший смысл.

Вы проваливаетесь в философию романа, как в черные ночные воды. На дне что-то мерцает. Попробуйте достать из глубины это «что-то» — мрачное очарование книги разрушится. Пространные рассуждения автора сотканы из «мыслеобразов» (термин комментатора Музиля Д. С. Давлианидзе), почти не поддающихся расчленению. Их прочность отвечает всему рапсодически-философскому строю и ветхозаветному стилю романа, поразительно цельного в отличие от некоторых других произведений писателя. Всякий будущий анализ «Псалма» должен будет с этим считаться.

С философией, впрочем, дело обстоит так же, как оно обстоит во всей большой литературе нашего века. Противопоставление образного и абстрактного мышления давно потеряло для нее смысл. Рассуждения представляют собой рефлексию по поводу происходящего в книге, но при этом они остаются внутри ее художественной системы; рассуждения — это не довесок к действию и не род писем под картинками, но сама художественная ткань. Обладая всеми достоинствами (или недостатками) современной культуры мышления, они, однако, «фикциональны»: им можно верить, можно не верить, ибо они верны лишь в рамках художественной конвенции; они «неподлинны», они — искусство. Искусство беспринципно и эгоистично, и если оно подчиняет себе религию и даже мораль, то почему бы не прикарманить и философию. В современном романе рефлексия так же необходима, как в романе XIX века — описания природы.

Тут встает вопрос, подвергающий испытанию эстетическое достоинство «Псалма». Мы сказали, что это удивительно цельная книга; так ли это? Остаются ли в романе Горенштейна философствования о Чаше, о Библии, о христианстве, проклятии и прочем — частью художественного целого, собственностью искусства? И в какой мере? Выдерживает ли его проза эту колоссальную нагрузку? Попытаемся понять, чей голос звучит в романе.

Речь идет о субъекте литературного высказывания: кто он? Есть рассуждения, которые просто вложены в уста персонажей. Есть рассуждения, отделяющиеся от персонажей, но более или менее привязанные к ним; таковы философско-религиозные упражнения человека из колбы, гомункулюса, сотворенного Савелием Иволгиным: вы можете считать гомункулюса вместе с его речами бредом безумного Савелия, можете рассматривать их и как пародию на богословские увлечения кружка молодых людей, к которому принадлежит Савелий, — пародию на модные искания, захватившие молодую интеллигенцию обеих столиц начиная со второй половины шестидесятых годов. Но все это еще принадлежит Савелию, на свой лад лепит художественный и мифологический образ. И, наконец, имеется «философия от автора». Кто же этот автор? Кто начинает роман восклицанием Исайи: «Увы! Шум народов многих! Шумят они, как шумит море. Рев племен!..» Кому принадлежат вступления к притчам?

Кто рассуждает о нищенстве, целую теорию развивает о том, почему в стране, официально упразднившей Христа, по-прежнему просят подаяние Христовым именем, а не именем Совета Народных Комиссаров? Неужели девочка Мария? Кто размышляет об отличии «трамвайно-троллейбусного» антисемитизма от «антисемитизма железнодорожного транспорта»: искусствовед Алексей Иосифович Иволгин? Или сам автор? Кому принадлежит гротескный юмор, почти идиотический сарказм, неожиданно прорывающийся там и сям на страницах горестного романа, — что-то вроде обретшего голос коллективного сознания всех героев? И чьи это разглагольствования насчет того, что «подлинная родина человека... не земля, на которой он живет, а нация, к которой он принадлежит. Нет ни русской, ни еврейской, ни английской, ни турецкой, ни иной какой-либо земли. Вся земля Господня... и подлинное право на тот или иной кусок земли дают не исторические завоевания, не исторические перемещения, не факт многовекового владения», — заметьте, с вами уже говорят чуть ли не слогом историсофского трактата, — «...а то, сделала ли нация кусок Господней земли плодотворным и порядки на нем справедливыми или... гноит нация обширные пространства Господни, попавшие к ней в руки»? Это ведь уже совсем не о героях, а о нас, о нас! С кого мы должны

спросить за эти отважные декларации, кому приписать сентенции вроде следующей: «Много грехов на душе у России, ибо таков ее удел; нации, завладевшей таким пространством, нельзя обойтись без своих и чужих мучений»? Наконец, кому принадлежит чрезвычайно важное, на мой взгляд, изречение, выражающее весь дух этого демократического, но не либерального, пронзительно-человеческого, но совсем не гуманистического творчества:

«Гуманисты учили, что нет дурных народов... Моисеево же библейское учение, если вдуматься... говорило, что хороших народов нет вовсе». Нет хороших народов! Есть хорошие люди. Не вернее ли будет сказать, что это вещает уже не Савелий, не Андрей Копосов, сын Веры и Дана-Антихриста, лицо, наиболее близкое автору, — а сам автор — проповедник? Но опять-таки: кто этот автор?

Очевидно, что нам придется провести дополнительную границу между безымянным условным автором и собственно писателем, который «говорит его устами» (так Антихрист в романе часто говорит устами библейских пророков). Можно заметить, что уста эти порой говорят свое: автор отталкивает писателя; в свою очередь, писатель как бы теряет самообладание и, задыхаясь от волнения, нарушая правила игры, начинает говорить вместо автора. Вообще все эти границы зыбки, гораздо более зыбки, чем, например, у западных романистов, чем границы между «пародией» и собственно авторским голосом у Томаса Манна (хотя и там отношения между героем, условным автором и самим писателем носят чрезвычайно деликатный характер). Важно, что все такие градации ограничивают абсолютный смысл высказываний, переводят их в художественную сферу и по крайней мере отчасти снимают ответственность с настоящего автора: искусство, как уже сказано, безответственно... Но особая зыбкость, неопределенность границ — характерная черта Горенштейна; можете назвать ее недисциплинированностью. С ней встречаешься то и дело. Начинает говорить как будто персонаж, а на другой странице вы догадываетесь, что это уже не персонаж, а сам автор. Двумя абзацами ниже — уже не «автор», а сам писатель. Литература незаметно перелилась в мутную, путаную, излучающую какое-то тусклое сияние, полугениальную, но и увечную философию — философию не как художественную прозу, а как нечто самодовлеющее. В голосе автора появляются доктринерские ноты. Можете считать это художественным дефектом. Однако у сильного и самобытного писателя то, что выглядит как просчет, одновременно и признак силы. Такие писатели склонны на ходу взламывать собственную эстетическую систему.

«Ничего... Твое горе с полгоря. Жизнь долгая, — будет еще и хорошего, и дурного, всего будет. Велика матушка Россия!» Это из повести Чехова «В овраге». Липа с мертвым ребенком на руках едет на подводе, и эти слова, в сущности бессмысленные, но которые невозможно забыть, говорит старик-попутчик. Чувство огромной бесприютной страны и обостряет горе, и странным образом утешает его. Чувство огромной страны присутствует в книге Горенштейна. Удивительное дело: иные из тех, кто будет читать ее (если будут читать), закричат о ненависти к России, но создать эту книгу мог только русский писатель. Чувство страны насыщает ее ужасом, веет вечностью. Эта книга — не о коммунизме, не о советской власти; они, конечно, здесь присутствуют, как же иначе, вне советского строя невозможно представить себе жизнь ее героев, — но присутствуют как часть чего-то бесконечно более глубокого, обширного и долговечного. Разоблачать советскую власть и коммунизм не стоит труда, не дело писателя. «Роман-размышление» (подзаголовок книги), перегруженный странноватым философствованием, менее всего дает основание считать автора публицистом. Фридрих Горенштейн — один из немногих зарубежных русских писателей, не имеющих отношения к оттепели. Он сложился вне оттепели и даже вопреки ей. Это надолго обеспечило ему невнимание читателей. Но, быть может, все, что мы тут пишем, все творения знаменитых и незнаменитых писателей исчезнут без следа. Эта книга останется.

Борис ХАЗАНОВ

Наталья СУХАНОВА

## В о д а в о з ь м е т

РАССКАЗ

Н ила уже вошла в дедов холодный, оставленный впопыхах дом, где посредине стоял стол с мертвой мамой на нем. Прежде чем собрать вещи, за которыми послал ее дед, она постояла возле мамы. Холодно было в простывшем насквозь доме, но лишь тут, возле мертвой мамы, ей становилось легче. Только вот окоченевшие мамины ноги были некрасиво растопырены. Нила попробовала стянуть веревкой ноги, но они не поддавались. Живая мама была податливой и мягкой, мертвое ее тело стало упрямым. Легкие мамины волосы казались живыми, и Нила подержала возле них руку. Потом она медленно — не хотелось двигаться — слезила в подпол, раскрыла припрятанную картошку, достала из печи чугунок, уложила все в мешок, разделив надвое, чтобы через плечо нести.

Совсем близко на улице раздался взрыв, и Нила спряталась под кровать. Взрыв, еще взрыв и резкий крик на крыльце. Распахнулась со стуком дверь, и по избе, как волчок, завертелся окровавленный боец. Он уже не кричал, но за все хватался, стянул холстину с мамы и упал на кровать, под которой лежала Нила. Пружины под ним прогнулись, он совсем придавил ее. Она думала, он уже умер, но он вскочил и снова за метался, громко, хрипло, со свистом дыша. Он казался не умирающим, а сумасшедшим. Нила на него, когда он поворачивался к ней лицом, не смотрела, чтобы он не почувствовал, не увидел ее. Он был еще сильный — опрокинул стул и лавку, стукнулся о дверь и вышиб ее. Никогда больше не видела Нила, чтобы так со смертью боролись. И когда рассказывала, не верили ей: не может быть, чтобы раненный насмерть имел столько сил: падал и вновь поднимался. Он крутился еще во дворе, обхватил дерево и только тут сполз по нему, дернулся и затих. Нила заперла дверь в избу на крюк, села на пол, подождала немного, ноги уже болели от холода. Тот, во дворе, больше не шевелился, подбородок его был задран вверх. Нила взвалила мешок на плечо, вышла, закрыла дверь на замок и торопливо, не глядя в его сторону, прошла мимо мертвого. Она и не глядя знала, что он мертв — уже был наметан глаз.

В деревне стреляли. Но она шла спокойно. Ничего она не чувствовала, ей сильно хотелось спать.

До войны был магазин «на углу». «На углу» и «на углу». Мама говорила: «Сбегай на угол, купи подушечек», «Возьми на углу масла». Днем Нила магазин не любила — днем возле магазина мальчишки могли ее обстрелять снежками, или липучками, или комками грязи — смотря по времени года. Иногда и больно бывало, но главное — унижительно. До войны Нила была очень впечатлительна и обидчива — после таких обстрелов или даже тычков Нила долго переживала. Зато вечером она шла в магазин с папой. Вечером все было совсем другим. Магазин светился, и светился фонарь возле магазина. А вокруг, на бульваре и в небе, была нежная душистая темнота. Говор и смех долетали из темноты с бульвара, и оттого казалось: Нила и папа видны всем вокруг. Папа был в гимнастерке, и ремни на нем скрипели. Он был похож на песню: «В далекий край товарищ улетает». Поселок, в котором они жили, на песню не походил. Но песня больше, чем поселок, запомнилась как довоенная жизнь.

Любимый город, знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд—все это так и осталось там, в довойне.

До войны еще была кинокартина, на которую два раза водил ее Сережа. Картина называлась «Маленькая мама» — потому что девушка небольшого росточку еще училась в школе и мамой не была: ей просто дали подержать ребенка и не вернулись за ним. Девушка пошла в самую роскошную гостиницу и плюхнула ребенка прямо на широченную шелковую кровать. «Клеенку, клеенку-то подстели», — шептала, мучаясь ее легкомыслием, Нила. Девушка забавлялась ребенком, как игрушкой. Да он и был, будто игрушка, этот ребеночек: не орал, не выгибался на руках, как их Вовка год назад. Было понятно, что у девушки нет младших сестры и брата, оттого ей все легко и весело. И, конечно, девушку с позором выгнали из гостиницы. И все время, везде девушка врала — Нила болезненно переживала, что девушка такая брехливая.

Ниле казалось, что она осуждает, а оказалось, она влюбилась в маленькую маму. И когда второй раз—сам-то Сережа ходил на эту картину раз десять, наверное, — повел он ее в кино, Нила, хоть все и помнила, боялась еще больше: и когда девушка кривлялась за спиной учительницы, и когда притворялась серьезной, а всем остальным попало от учительницы, и когда забрала и понесла ребенка в роскошную гостиницу, из которой их с позором выгонят. Вот ведь что было удивительно: она совсем не боялась позора, эта девушка. Нила смотрела и вспоминала, как сестра Вера дразнила Сережу: «Да твоя «маленькая мама» такая же наглая, как я. Я вообще на нее похожая». «Ничуть, ничуть не похожая», — шептала Нила. Больше же всего боялась она за девушку, когда и та уже боялась, и притворялась, будто у нее никакого ребенка нет, и миллионер еще больше мог принять ее за нечестную.

До самого конца картины Ниле было страшно.

А в войну страшно не было. В войну было тоскливо.

Не сразу. В первый день они вообще не знали, что война. Когда раздался взрывы, отец крикнул: «Провокация!» — и побежал в дом за формой. И мама побежала в дом — за Вовчиком, который один в это летнее время еще оставался в доме. Потом уже все время грохотало, и земля тряслась, и они втроем: Нила, пятилетняя Ленка и собака Найда — сидели в дворовом погребе. Бревна в стене погреба шевелились и выпячивались, собака быстро-быстро лизала Ниле руку, а Ленка пыталась лезть вверх по лестнице из погреба. При каждом взрыве на них сыпалась земля. Нила сдергивала Ленку назад в погреб, уши болели от взрывов, но Нила гордилась собой, какая она мужественная пионерка.

Отца Нила больше не видела. Их и в эшелон сажал не отец, а красноармейцы из его части. Они посадили в крытый пассажирский вагон маму, Нилу, Ленку и Вовчика. Старших брата и сестры с ними не было — еще прошлым летом они уехали: брат поступать в летное училище, а сестра к тетке в город учиться и работать. На вокзале многие плакали, кричали, бежали в панике и толчее, но Нила тайно радовалась, что наконец наступила настоящая жизнь, как в книжках, и все она делала четко и быстро, так что мама не могла на нее нарадоваться.

В забитом узлами и чемоданами вагоне Нила запомнила толстую старую женщину, с которой больше всего разговаривала мама.

— Мы не знали, что война, — говорила мама. — Радио было испорчено в нашем поселке.

— Это вредительство, поверьте мне.

— Я испугалась только, что ребенок испугается. Думала, не то учения, не то чепуха какая-то. Как бросили первые бомбы, я старших в погреб столкнула, а сама к меньшому бросилась.

— В такое время — и трое детей.

— У меня и еще двое кроме.

— Пять детей — вы же еще молодая.

— У меня молодости не было — это одна внешность. Считайте, девчонкой замуж выскочила. Кому гульки, а мне люльки. Можно сказать, жизни-то и не видела.

— Спешили, думали, на вас не останется?



— Да и вовсе не думала. И за меня подумать некому было. Муж хороший — это я ничего не скажу. Да и дети.

— Для детей и живем. О себе уж не думаем. В муках рождаем.

— Когдаabei не война. А то думаешь: что их еще ждет? Эти хоть под рукой. А старшие—где, что? Сын—в летном. А аэродромы-то как бомбят. Да и этих трое, на троих даже и рук не хватит. А каждого накормить надо.

— Нила у вас уже помощница.

— Это радость моя.

Маленькая жесткая мамина рука быстро гладит Нилу по волосам, перебирает волосы за ухом, оглаживает, как причесывает.

— Такой уж золотой ребенок Нила моя. Скажите же, какие дети разные. Старшая-то моя Вера—только бы здорова и жива осталась— вот уже на нервах моих поиграла. Пошла с ведрами за водой, так она ведра за воротами побросает, сама—на танцуйки. А утром еле-еле растолкаешь, портфель ей в руки—а она влезет в окно сарая и там спит. Сколь раз говорила мужу: «Хоть бы ты ее посек!» Так нет же—он красный командир. Он такой красный командир, что у курицы голову не отрубит. Так уж я сама когда венником ее достану, Верку мою. А сынок Сережа—этот у меня умный, ему бы не летчиком, а профессором быть, мне их учительница так говорила. Нет же, свое: «Песню о соколе, мама, слышала?» Где-то они теперь, соколики мои?

Старуху Нила недолюбливала—за великую скуку их разговоров с мамой, за вечный зуд ее голоса, за то, что во время бомбежки, когда забивала их мама под скамейку, лежала рядом с ними не мама, а эта старуха. Она и тут причитала, болтливая, толстая женщина:

— О, господи-господи, что они творят—гражданское же население! О, господи-господи, спаси нас и помилуй!

Как-то старуха сказала убежденно, что в их поезд не попадают бомбы, потому что она молитву такую знает, которую читает про себя. И теперь во время бомбежки сердилась на нее Нила уже за то, что вместо того, чтобы читать про себя свою сильную молитву, она опять бормочет о гражданском населении и охает. Нила и раздражалась, и боялась злиться, чтобы не испортить молитвы старухи.

Но это раздражение—та тоска еще не наступила. Еще гладит ее волосы мамина рука, еще мечтает Нила, как приедут они к тетке в деревню. Еще каждый раз, как засыпает, словно ступает на мягкую глинистую дорогу, по которой бежит меж колосьев и трав за старшим братом к озеру.

Это тоже было до войны—узкая тропка с высокими травами и колосьями по сторонам. И по этой тропке бежала Нила вслед за Сережей, теряя его за воротами. «Дурак, подожди!»—кричала Нила брату, злясь, что не хочет он понять—ведь она может отстать, пропасть, потеряться. «Дурак, подожди!» Но он не ждал: то показывался, то пропадал на петляющей тропке. И Нила ревела в голос и все бежала-бежала, пока не выбежала к огромному озеру, так что и берегов дальних не было видно. А у воды стояли брат и отец и ждали ее, улыбаясь. Когда потом хотелось ей вспомнить отца и брата, она вспоминала их на берегу озера, потому что они именно здесь так отпечатались в памяти: тонкий, высокий отец, и брат—еще тоньше и моложе. В далекий край товарищ улетает—родные ветры вслед за ним летят...

Когда отец и брат уплыли, Нила сидела на берегу, взглядывая то в одну, то в другую сторону. Отец с братом были уже далеко—две черные точки на белой воде. Еще прошло немного времени—и Нила уже не увидела их. Жутко ей стало, что они не вернуться. Ей не нравилось это озеро, эта наглая, движущаяся, неуловимая глазом вода. Нила сделала запруду, чтобы иметь свое маленькое, хорошее, послушное озеро, поискала лист, чтобы пустить в своем озерце. А потом услышала голоса отца и брата. Они возвращались. Ей стало дремотно. Она о чем-то задумалась, слушая и не слушая маленький, резкий всплеск волны, чувствуя, как греет солнце волосы и шею, и поворотом головы смещая это тепло. Дул ветер, шелестела осока, булькало что-то в камышах, плескалась маленькая волна, но больше всего было озеро, лежащее на половину земли.

О войне Нила Петровна картин не смотрела — уходила с них. И книг о войне не читала — бросала. Когда она лежала в гинекологическом отделении, соседка, молоденькая журналистка, расспрашивала ее, что и как было в войну, когда и откуда они эвакуировались, что следом за чем случалось, когда вошли наши и когда немцы, но Нила Петровна скоро запуталась. И то сказать: и немцы у них были два раза, и наши только во второй раз утвердились и тронулись дальше. А между нашими и немцами на ничейной земле существовали люди неделями: и в домах, и в пещерах под берегом. Да и соображать с войны Нила стала хуже. В первых-то классах отец гордился ею — и читала бойко, и писала красиво, и считала быстро. А в детском доме уже плохо училась, запутывалась в вопросах и ответах, не угадывала частей речи и членов предложения.

«В лесу затрубил пионерский горн». Кто затрубил? Пионерский. С красным галстуком. Ты понимаешь: горн? Да, или кузнецкий, или пионерский. Где затрубил? До войны, наверное. Кто затрубил? Пионеры в лесу. В далекий край товарищ улетает. Папа — красный командир, а Сережа — комсомолец. Лучше не отвечать, чтобы не позориться. В лесу затрубил пионерский горн. «Что сделал?» — говорила сердито учительница, и, наверное, она сердилась на пионера, который затрубил, но Ниле казалось, что во всем виновата она и на нее, а не на пионера сердится учительница. Нила не понимала, зачем для одних и тех же слов есть части речи и члены предложения.

Муж Нилы был ранен на фронте, и только его о войне она слушала — его единственный длинный день на самой войне. До этого пять месяцев был Толя на фронте, но не в деле. А на самом переднем крае — одни длинные сутки. Она и о пяти месяцах до боя слушала внимательно — понимая сравнением. Месяца три на фронте они почти голодали — одна буханка хлеба на три человека на три дня. Конину убитую ели. Конячий ячмень ели, если коней убивало. Коровью шкуру на чердаке резали, жарили, сосали. А ведь в войну какими немисливо богатыми казались им, голодным ребятишкам, военные!

А потом, вспоминал Толя, дороги стали и снабжение получше о солдат: когда и без масла, синяя, а все же перловка, каша.

За несколько дней до наступления был уже слух, что армия стронется, и шли по буграм, невзирая на обстрел, женщины к мужикам-солдатам. И это, оказывается, было понятно Ниле. У них в деревне долго фронт стоял, и были тут, хотя казалось, до того ли было девочке Ниле, и выпивки, и любовь, и даже просто что-то семейное: обогривала, обшивала деревня солдатиков, а те кормили, по хозяйству помогали.

И вот дали, говорил Толя, приказ передвигаться, как стемнеет. Артиллеристом был Толя в войну, и находилось их шесть или семь человек при пушке-сорокапятке. Как свечерело, перекатили пушку в глубокую балку. Ночью выдали им полведра каши и бутылку водки.

Луна была, продвигались недалеко наши танки: дзяк-дзяк-дзяк. Уже поуехали пушечники вокруг еды. Толя как раз собирался отмерить каждому водки — только раз тогда и выдали им «боевые сто грамм». И тут накрыло их снарядами. Под бомбежками они уже бывали, а вот артобстрел впервые довелось испытать. Страшно ли было, спрашивала Нила, вспоминая, как она сама ходила под обстрелом в холодный дедов дом. Не то, что страшно, припоминал Толя, а нервная дрожь какая-то, вроде даже возбуждение. Все упали наземь, и Анатолий тоже, но не забыл он и в эту минуту заткнуть бутылку водки пальцем, раз уж ничего другого подходящего под рукой не было. Всю жизнь он гордился, вспоминая, что и в эту минуту — падая, — не забыл о бутылке. Конечно, знобило и помимо обстрела — все же наутро в дело идти, а не растерялся — значит, всегда хват-парень был. Кончился обстрел, у них все целые, только одного ранило в ягодицу. Несильное ранение, чиркнуло. Перевязали, еще и смеялись, и поздравили: в одного два раза подряд пуля не попадает, завтра цел будешь. А вот же назавтра этого парня убило. И тогда уж другое говорили. И что подрань его посильнее, был бы в госпитале и, может, жив бы остался. И еще, что это знак такой бывает: вот, споткнешься, чиркнет тебя пулей, с печи свалишься, головой стукнешься или на ноги тяжелое уронишь — значит, в твоей судьбе что-то ослабло, соберись, наготове будь, вышел ты на голое пустое место и беда сторожит тебя.

Тут отвлекалось Нилено внимание, потому что вспоминала она боязливым сердцем, как уронила в тот день мама чугунок с кипятком, и немного ошпарилась даже брызгами, и стеснялась своей неловкости, и оправдывалась, что это на радостях, ведь только что, ночью вошли в деревню наши: открыла мама дверь на стук, а они в маскхалатах, и звездочки на шапках. Плакали и целовались. У них на постой солдаты с командирами определились, только что отужинали, кто спал, кто дремал, изба маленькая, две кровати углом, на одной Нила с Ленкой и Вовчиком, на другой трое поперек, подставив стулья, мама на маленькой табуретке у кровати сидела, еще четверо на полу спали, дед на печке, маленькая коптилка горела на столе. А потом сразу темно и глухо, и она лезет на пол и вопит, и не слышит своего вопля. И вдруг прорезался слух, и она услышала, как страшно, истошно кричит солдат возле мамы: «Ой, дочка, осторожно! Ой, дочка, не трогай!». Это он ей, а она шарит по полу, и — «Мама! Мама-а!», и надрывно плачет Вовчик, и визжит Ленка. Вбежали два санитары, светя фонариком. Нила увидела маму ничком на полу, в голове у мамы дырка и что-то белое на полпальца из дырки, и много крови на полу. И она поняла, что мамы уже нет. Раненый кричал: «Предайте меня смерти!» У него весь живот разворочен был. Двое возле него убежали в соседнюю комнату — они тоже были ранены, но легко. Санитары уговаривали: «Потерпи, ты ведь солдат». Но он все кричал: «Не трогайте! Убейте! Христом-богом молно!» Кое-как позапихали ему кишки в живот, унесли кричащего на носилках. Прибежала соседка, положили маму на стол, прикрыли холстиной. Собрали кое-что, подевали детей — и в пещеры.

Но потом надо было то за одним, то за другим ходить в брошенный дом. И Нила ходила. Пули посвистывали, ухали снаряды, но она шла спокойно, не плакала. Закаменела. Не было страха — была тоска.

Никак не различить издали, где в войну еще нет этой тоски, а где уже она сплошняком.

В том первом составе, что увозил их в деревню, к маминой сестре, этой тоски еще нет. А ведь уже бомбили, и в духоте и стиснутости под полкой от воя самолетов схватывало живот. Но тоски еще нет. Может, она наступила, когда мыкались они по вокзалам. Или после того сна об озере?

Нила бежала по влажной, спрессованной мягкости глинистой, прохладной земли меж теплых колосьев и сочной травы, в воздухе пахло близким озером. Брат и папа ждали ее там, у еще невидимого озера. И вот она вышла к этому озеру и стояла, как не во сне, а в действительности. Но пусто было. Большое, белое, плоское вдаль, — вблизи озеро было мелким, жидким, и Нила напрягала глаза, сясь совместить это мелкое, жидкое и то — плоское, большое. Но не совмещалось это в одном взгляде. Не было и перехода от близкого, пронизываемого, плескливо-го — к тому, уходящему за горизонт. Этот переход невозможно было уловить, он прятался, как прятала сестра Вера переходы от своего лица к новогодней маске: только что ее кривляющееся и все-таки ее лицо — и вот уже издевательски неподвижная ухмылка краснощекого уroda. Но одинаково было тоскливо: и это мелкое, жидкое, суетливое озеро вблизи, и то — белое, плотное, тусклое.

Наверное, во сне тогда и обозначилась эта тоска, которую еще не умела она осознать наяву.

Как ни вглядывайся в то время, никак не различить, где тоски еще нет, а где уже все заполнено ею. Не то чтобы Нила сидела и цепенела от тоски. Они и бегали и играли во время спокойных остановок. Но тоска была уже в самом воздухе, которым дышали, сквозь который смотрели на все вокруг, и, словно оттого, что густо насыщен воздух тоской, все вокруг такое выцветшее, словно они на другой земле. Это тоже не различить: подвижное, сиюминутное и то — плотное, безрадостное, в которое неведомо в каком месте непременно переходило сиюминутное. Ни чувством, ни взглядом не уловишь.

А было ведь лето. И чуть подальше, за путями леса и деревья казались нетронутыми войной. Вовчик плакал: «Домой! Домой!» и тянул ручку к домам, мимо которых они проезжали. Нила одергивала его: не

сейчас, не здесь, вот когда они доедут до тети Гани, тогда всё: и воздух станет легким, и они станут свободными и легкими.

Потом вагоны и вокзалы были вперемежку. На вокзалах сидели подолгу. Вокзалы и площади возле вокзалов были забиты людьми. И поезда тоже. В вагонах, на платформах, на крышах и буферах — повсюду цеплялись, висели люди. И было уже голодно. И все вокруг было грязным и тусклым. И плакала в голос мама, когда украли у них мешок с крупой. И стояла пораженная ужасом Нила, потому что это она не уследила за мешком, пока мама бегала в эвакуационный пункт.

Тогда, в дороге, Ниле приснился еще один сон про озеро. Она опять бежала по глинистой, мягкой дорожке среди колосьев, цветов и трав. «Дурак, подожди!» — кричала она брату. Но она только притворялась, что боится и сердится на него. Она знала, что за поворотом они ее ждут — отец и брат. И правда, едва ее нога ступила в теплый песок, она увидела тонкого, молодого своего отца и брата — еще тоньше и моложе. И вот отец и брат вошли в озеро и поплыли. И хотя она стояла на берегу, она знала, какая нежная и сладостная вода, в которой плыли, смеясь, брат и отец. А потом папа и брат вдруг приподнялись над водой — отдельно прекрасное папино и отдельно радостное лицо брата — и помахали ей рукой. И несколько раз приподнимались они над водой и махали ей. Только все туманнее становились. И когда пропали совсем — острая сладкая тоска пронзила ей сердце, и она вся облилась слезами. И в этих слезах, в этой острой сладкой тоске проснулась.

И незаметно было, когда эта острая сладостная тоска перешла в привычную серую.

В первую оттепель похоронили они маму, и дед отвел их на станцию.

Дед был чужой. Это только дом был мамин, и в нем жили этот дед и тетка Ганя, пока ее не убили. Дед вообще говорил, когда пришли немцы, что это дом не мамин, а его. «Вот скажу фрицам, где мой сын Мишка, а где твой муж теперешний — от тебя с твоими отростками один пшик останется». Но не говорил. Хоть и не любил их всех с первого дня.

К тетке от поезда они добирались и пешком, и на грузовике, и на лошадах. Мама тащила вещи, а Нила Вовчика. Ленка тоже несла какой-то мешок. Тетка сразу же увела их купаться в темную сажистую баню. Дед кричал тетке вслед: «Шпарь вещи кипятком — вшей не оберешься. Завшивленные». Из бани они шли кто в чем — все их вшивое белье тетка что прокипятила, а что и выбросила. Соседи приходили, чтобы посмотреть на них, но не спрашивали, а молча сидели и, посидев, уходили. Вечером был стол — с картошкой и свининой.

— Ешьте, сколько хотите, — шепнула им мама.

И они ели и ели, и тут же за столом заснули, даже Нила. Ночью проснулись от крика брата. Он корчился, держась за живот. И тут же почувствовала резь в животе и Нила. Вскричала и Ленка. Дед, косившийся на них за столом, говорил осуждающе:

— Рази ж можно столько исть — бог жадности не любить.

— Да молчите вы больше, деда! — отмахивалась тетка Ганя. — Они не жадные, а голодные. Жадному все вокруг жадные!

Нила удивлялась, как можно о чем-нибудь разговаривать, когда они умирают. Но они не умерли — тетка Ганя их выходила.

Так Нила узнала, что и еда в войну мучение: мучение безрадостного, безнадежного хотения, но и мучение неспособного осилить работу освоения наголодавшегося тела. Даже и насыщение, знала теперь Нила, обманное и коварное.

Ходили они иногда к железной дороге с деревенскими ребятами. Далеко было, а зачем-то ходили. Здесь и поезда не останавливались, но они ходили посмотреть на проходящие составы: на те, что шли к фронту, и те, что шли, минуя их, в какой-то тыл. Странно, теперь уже в деревне была тоска, глухота и пыль, а там, куда ехали эти поезда, казалось, еще осталась довоенная живая жизнь. Война была, как корь: окна завешены красным — «открой, открой!»; открыли — безжалостно бьет яркий жестокий свет — «закрой, закрой!». «Открой, открой!», и тут же «Закрой, закрой!». Много знала уже Нила, но и она обманывалась: думала, что

все же где-то есть невойна. Она не знала еще, что в войну ничего не бывает невойной, как в голод ничего, даже сытость не бывает неголодом.

Тетку Ганю убили еще до немцев. По одну сторону речки стояли наши, по другую — немцы. Но женщины ходили к речке за водой, и в них не стреляли ни фрицы, ни наши. Спускались женщины к речке по траншее и по траншее же уходили с водой.

Тетка Ганя плавать не умела и воды боялась. А на этот раз уперлась: надо вымыть полы, и все тут. С утра убирала, пела. Тетка Ганя и в войну была такая, будто войны нет: веселая, красивая. И много лет спустя помнилась Нила тетка Ганя ослепительно красивой, красивее даже «маленькой мамы». «Тебя, Ганька, и война не берет, — говорили бабы. — Ой, смотри, Ганька, пригаси огонек-то». И осуждали — за улыбочку — при таком-то горе. И Нила тоже — и ластилась, а вроде боялась, что нарушает Ганя какой-то сильный закон.

Когда пошла тетка к речке, за ней и Нила увязалась. Тетка Ганя оставила Нилу в траншее, а сама зачерпывала воду. И вдруг ведро тонко звякнуло и тихо ахнула, как прерывисто вздохнула, Ганя. Выглянула Нила — тут же цвикнуло пулями по краю траншеи. Лежала тетка ничком на берегу, только на ступни ног накатывало маленькой волной.

— Ганя! Ганя! — звала плача Нила, но ничто не откликалось ей, тихий день, даже перестрелки не слышно было.

Бежала она бегом по траншее, бросились мать с дедом за теткой Ганей, но ее уже не было и на берегу. Волна ли ее смыла, сама ли она пошевелилась и сползла — не было Гани. Ведра лежали опрокинутые, а Гани не было. Когда стемнело, обходили все вокруг — не было Гани ни живой, ни мертвой.

Дня два, наверное, ходили деревенские за водой только потемну. Потом снова осмелели — ходили и днем. Никого больше не стреляли.

Несколько дней приходили к ним в дом люди, словно тут стоял Ганин гроб, и говорили, толковали:

- Воды всю жизнь боялась — никогда в реке не купалась.
- Река ее и взяла.
- Кто чего боится — от того и смерть примет.
- Кому суждено быть утоплену — от огня не умрет.
- Всю жизнь воды боялась, за водой и то кого другого посылала.

А тут удержаться невозможно: вот, нужно именно сейчас мыть, ничего слышать не хотела.

- Сама пошла.
- Пойдешь, коли смерть позовет.
- Кому же так она глянулась, что пулю послал.
- В бинокль, поди, смотрел.
- Оно и так видно.
- Скажи же, никогда не стреляли, а тут сердце загорелось.
- Красивая — увидели и пульнули.
- Чтобы никому не досталась.
- Чтобы не надругались над ее красотой.
- Повязалась бы пониже, пригнулась пониже — жила бы и до се.
- Не ко времени расцвела.

В детдоме читала учительница про богиню красоты, что из моря вышла. А тетку Ганю вода взяла обратно в море. Война убила ее, потому что она была красивая.

Когда лежала Нила в роддоме, в томительные часы между кормлениями рассказывали женщины анекдоты, прочитанные книги или случаи из жизни. Хотела и Нила рассказать что-нибудь, например, картину «Маленькая мама», но рассказывала плохо, многого не помнила, хорошо запомнилось только, как девушка кривляется за спиной учительницы, да огромная кровать в гостинице, да широкие брюки миллионера, который полюбил девушку несмотря на ребенка. Кто-то вспомнил войну, и тогда она рассказала, как убили тетку Ганю, потому что она была красивая. В палате заспорили, могли ли убить из-за этого. Красоту и в войну любят, сказала интеллигентная женщина, вот был случай... Нила не спори-

ла, у нее не было слов, но она знала тем своим детским страхом, что война серая, и больно, и страшно в войну от красоты.

Еще раз вмешалась в разговор Нила, когда заговорили об оккупации. Ей хотелось рассказать, как Вовчик отломил у постояльцев-немцев надрезанный кусочек от хлеба и как самый шумный и самый злой из постояльцев Рыжий взял ружье, взгромоздился на лавку и наставил дуло на Вовчика.

— Киндер партизан, — кричал он, и еще что-то по-своему.

Нила хотела крикнуть: «Дяденька, не надо», но голоса не было. «Нихт, — шептала она. — Нихт».

Дед сидел у стола, не глядя на них, два другие немца смеялись и что-то говорили Рыжему. Мама вбежала, упала на колени и от двери поползла к немцу.

— Киндер партизан! — крикнул ей Рыжий, тыча дулом в брата, стащил его с печки и вышвырнул раздетого на улицу в снег.

Мама бросилась следом, унесла Вовчика к соседям и привела его обратно только через несколько дней.

— Что ж вы, дедушка, не вступились за дитя? — корила она деда.

— У них поря-адок, — бормотал дед. — У них замков не надо, своровал — сразу секир-башка. Хоть собака, хоть дитя — чтобы порядок знали и жить не хотели.

И непонятно было, за немцев дед или против них. Да он и сам, наверное, не знал, за что и за кого он.

Женщины в палате отзывались на ее рассказ:

— Представляю, что вы пережили в эту минуту!

— Я бы от разрыва сердца умерла! Ужас!

— Дитя на мороз — это же какое зверство!

Нила молчала в сомнении — и сердце не разрывалось, и сознания там, в запечье, под дулом она не теряла. И было это не ужасом, а тоской — до сильной тошноты. Ее там же, в запечье, и вырвало. И все — отпустило, только двинуть рукой, ногой нет сил. И не ревет, замер там в снегу раздетый трехлетний Вовка, и выскальзывает, боясь окрика и ружья, за дверь мама. Но их Рыжий, пожалуй, еще и добр. Двух мальчишек с края деревни за воровство повесили. А Рыжий попугал, поучил киндер-партизана, и теперь великодушно не замечает, как выскальзывает за дверь сарая серая, старая, как все в этой деревне, хозяйка.

И еще рассказала Нила, как во время бомбежек прыгала она с детьми из вагона в сторону, подгробала их под себя: Вовку и Ленку, и они лежали под ней тихие, как птенцы. А потом протягивали им руки раненые, втягивали в эшелон. А одна медсестра от бомбежки в лес побежала и там подорвалась на mine — ноги ей оторвало — и она просила, как тот боец в избе: «Убейте меня». Кому, мол, безногая баба нужна. После войны Нила много видела безногих мужчин и женщин, а потом их стало меньше, — может, на протезах ходить научились.

И еще помнилось, как во время бомбежки оторвался их вагон и пошел под наклон, сначала тише, потом все быстрее. В вагоне были тяжело-раненые: лежали молча. И сидела, не трогаясь с места, медсестра. И сидели, ухватившись за руки, Нила и младшие. А вагон пошел медленнее, медленнее. И остановился.

Ей бы и еще хотелось пересказать о пережитом, о погибших у нее на глазах, но прибавляя факты к фактам, она не наращивала ужас, она вроде бы подтверждала: да, так бывает, так может быть — и не ужасом, а духотой и тоской отзывалось это в палате. А ей бы хотелось, чтобы у ж а с о м.

В ту ночь перед наступлением, вспоминал Толя, после артобстрела, когда уже поперевязали легкораненых, отвезли тяжелых, распили они бутылку водки, которую во время обстрела затыкал он пальцем. Его единственные за всю войну «боевые сто грамм». Расслабились, отошло напряжение.

А у нее, вспомнила Нила, напряжение отходило, расслаблялась она только возле мертвой мамы. Мама была как бы рядом — через эти ледяные, маленькие, почти как Нилины, руки. А потом, когда уже и ледяных ее ручек рядом не было, Ниле все равно казалось иногда, что мама ря-

дом — не может ничего им сказать, но охраняет их. Иногда в полусне Нила ощущала даже, как мама прикасается к ее голове...

Была луна, вспоминал Толя. Они сидели и говорили. Где-то невдалеке все шли наши танки — шум, лязг, никакой военной тайны. Но это уже было неважно — до наступления всего ничего оставалось.

С утра артподготовка прошла, и покати́л их расчет свою сорокапятку. Противогазы выбросили. Пушку тащить — тут уж все лишнее брось. Главное, считай, — полотенца — перевязаться. Снаряды рвутся, гранаты, грохот — а уже не до того: Толя у лафета, тянут пушечку вверх, а это на весу, по ногам — глаза на лоб лезут. Вкати́ли. Послали их с Иваном Коробочкиным — высоченный детина был — назад, за снарядами. На каждого по ящику. Тащут. Ядра — фар-фар-фар, — а ни остановиться, ни спрятаться. Торопятся. Переправа — ад крошечный. Не все и помнится, временами что-то в мозгу замыкалось. Кусками запомнилось, а не связать эти куски. Но переправились. За переправой берег крутой. По нему и без снарядов нелегко влезть — до полной осклизлости обкатали его мокрыми ботинками, сапогами, техникой, которую тянули вверх. Скользее ледяной горки. Хоть зубами ступени выедай — руки-то заняты. Вдолбишься ботинком в проклятую стенку, ящик на плече, распластался, уже не до смерти, ни до чего. Следующую выбоину ботинком бьешь, пот с грязью по глазам, по лицу течет. Иван поехал назад, перехватывая головой, плечами, руками ящик неподъемный. Мат-перемат. Долбишь и лезешь, в глазах багровые круги, сердце выскакивает, руки-ноги дрожат. Вылезли и, шатаясь под ящиками, к своим. Пехота уже из окопов выбила немцев. Потасили пушку по окопам. «К бою выкатить пушку», — кричит сержант, а тут не сразу и поймешь, чего от тебя требуется. Стреляли. Снова в окопы с пушкой. Впереди Толи Иван шел — большой, по грудь только в окопе. «Иван, чего ты выставил голову?» — вот эти свои слова только и помнит Толя. Шарахнуло прямо по ним, Ивану голову снесло, Толю в живот толкнуло. «Все, это мое», — мысль — тоже, как толкнула, и он почему-то не в окопе, а на бруствере. И запах — пахнет тол и пахнет кровь. Свежая кровь, оказывается, сильно пахнет. Этого не помнила Нила. А Толе в ноздри шибануло. И горячо под ремнем стало, и ноги ослабли. Сел, а расстегнуть ремень боится: не вывалятся ли кишки. Попробовал мышцами — вроде цел живот. Но мокро от крови уже и в сапогах. А локоть не сразу заметил — снесло осколком с локтя мяso до самой кости. По животу — борозда. Видно, боком к mine стоял, встань он чуть прямее — и живот бы вспорол.

Поперевязались раненые в землянке, тронулись, кто мог пешком, в тыл. Где только что брали окопы, уже одни трупы да ботинки. Снаряды на поле ложатся: то там ляпнет, то там — не добавило бы, думаешь. Вышел Толя на взгорок — широко открылось перед ним пространство: шли, извиваясь, по всем дорогам колонны людей, ползли танки, машины двигались. Как в преисподнюю тянулись. А оттуда, из боя — только гул. И как писк — человеческий крик. Взрывы по всему полю. Лежит мертвый грузин — череп срезан. Две фигурки бегут-бегут, вдруг — пах! — на мину, что ли, наскочили: поднялся столб земли, и люди еще летели в этом столбе, взвивались вверх. Были — и нет. Шли колонны людей и техники от горизонта до горизонта, подтягиваясь к бою и сражению. И от широты и ясности дня звук оттуда, из боя, и от тех, что втягивались в него, отделялся от земли и людей и стоял высоко в воздухе, как звон или как стон.

Все живущие живут, сохранились благодаря кому-нибудь. Каждый день жизни человеческой оплачен другими. Долгов не спрашивают. И оплачивать другие жизни добротой, риском или жизнью никто принудить не может.

Сестра Вера хотела жить только для себя.

Когда повел их дед на станцию, зашил он каждому в карман записку с их именем, фамилией, с адресом и фамилиями городской тетки и сестры Веры.

— Деда, как же я одна с ними? — заплакала Нила.

— Ничего, ничего, — сказал дед. — Ты — что? — ты, главное, упрись. Ты упрись — и одолеешь.

Долго они с дедом бегали меж составов — никто не хотел их брать.

— Не положено, дед, — здесь раненые.  
— Что ж, мне их самому подранить, штоб узяли? Или же сразу придушить, чтобы не мучились? Немца перетерпели — своим не нужны.  
— Что же ты от собственных внуков отказываешься?  
— Да не мои оне. Мать их вбило. Сам, того гляди, перекинусь — а энтих куды?

— В детский дом сдай.  
— Иде он, детский дом? У нас сколько месяцев фронт проходил, не сегодня-завтра опять под немца или бомбу. Хату уже продырявили — самому жить негде. А у них тетка, сестра в городе — адрес записан. В мирное время всего и дороги-то — с полсутки. Тут им недолго — с вами доедут.

— А убьют — кто отвечать будет?  
— Бог войны, — такой это был дед — любил красоты речи.  
Не брали их. И опять они бежали к новому составу. Как никуда и не уходили от железной дороги и станций: то же нетерпение, словно это последний поезд в жизни, та же готовность лезть и в двери, и в окна, на платформу, на крышу, таща за собой, впихивая детей. Но еще и мороз, и разбомбленный вокзал, и надвигающаяся ночь, и невозможность вернуться назад, к неродному деду, в продырявленный дом, и где-то ведь там сестра Вера и тетка.

Все же пристроил их в ту ночь дед. Сколько-то дней ехали, но заехали не туда. Снова бегали, просились. Пожалела их медсестра из санитарного вагона, пустила — в иждивенцы и помощники. И когда наконец доехали до теткинго города, страшно было уйти от своего поезда в разбитый бомбежками город. Хныкали брат и сестра, такие тихие и послушные всю дорогу. Страшно и им было — в неведомое. Но и дом оказался цел, и открыла им дверь Вера. Тетки-то не было — как ушла однажды на менку, так и пропала. Как они плакали с Верой в ту встречу и как казалась Ниле, что самое трудное уже позади: все она будет делать — в очередях стоять, убирать, готовить, стирать, воду и помой носить — только, чтобы уже не одна с младшими, а со старшей сестрой.

Это было уже самое последнее ее заблуждение в войну — что где-то ей может стать легче. У нее судьба была — все снести. Почти всему ее роду была судьба погибнуть, а ей — стерпеть и снести.

Еще раз плакали они с Веркой, когда нашли-таки их извещения, что брат погиб и отец пропал без вести. Но это и все их совместное горе. Дальше Верка отгородилась, отъединилась от них: продавала, променивала теткин вещи, продала их тайком от младших. Соседи давно говорили Ниле, да все было стыдно поверить. Но вот как-то вошла Нила в чулан, а там сестра торопливо пышку с салом доедает. Пристали у Нилы ноги к порогу, не может стронуться, не может глаз опустить или слово сказать. Сестра закричала бешено:

— Убирайся! Чего смотришь! Навязались на мою шею! Когда я уже сдыхаю вас!

Потом только и заходила из своей казармы — собрать еще непроданное. Уже стали соседи припрятывать от нее теткин вещи — для Нилы и малых. В одном только и помогла им сестра — питание ей оформили для них на аэродроме. Ходить далеко было, а обувь у Нилы уже на обувь не была похожа. Сшила она сама себе матерчатые тапки, понаподшила, понаподшила их. Приморозит — ничего чуни. А как тает — мокрая Нила по колени. Пока дойдет до аэродрома да обратно — вымокнет, когда и поскользнется — разольет похлебку. А дома голодные дети. Вовка уже совсем плохонький стал, изголодался — даже тельце на задике, как у старика, провисло.

Опять помогла соседка — определила Вовку с Ленкой в детприемник. Собираясь к ним, Нила положила в гостинец отварных картошин, немного хлеба, лепешку кукурузную. А уж и сама изголодалась — ослабла, поташнивало, сердце стучало сильно, голова кружилась. Ждала Веру — обещала сестра с нею сходить к младшим. Не дождалась — одна побежала. Вышел к ней Вовчик, а Леночки уже не было — отправили куда-то. Спросила Нила братика, чем его кормили, он рассказал, поняла Нила, что лучше ему здесь. А собралась уходить, вцепился он в нее:



— Не оставляй меня, мамка! С тобой хочу! Меня тоже, как Леночку, увезут!

Пришли его забирать, не могут оторвать от нее. Нила бежала домой и плакала. И домой прибежала — плакала. Верка застала ее в слезах, накричала: при детских домах Вовка с Ленкой живы останутся, здесь сдохнут, сгинут, ее вон на фронт забирают, а что они, три малолетки, без отца-матери станут делать! Заикнулась Нила: может, оставят Веру из-за сирот, не возьмут на фронт?

— С голоду с вами тут дохнуть? На фронте хоть сыта буду! — кричала Верка.

Ночью надумала Нила с младшими в один детдом проситься, хоть бы и в няньки. С тем и бежала на другой день в детприемник. А прибежала — уже и Вовочки нет, отправили, а куда, неизвестно — напишут.

Скоро Вера на фронт отбыла. Перед отъездом просила у нее прощения, а Нила закаменела, простить не смогла.

Много мук ей в войну выпало, много и вины.

Когда мама без сил уже была с ними, накричала и даже ударила однажды Нилу. Нила ушла за вокзал, спряталась. Она хотела потеряться. Ненавидела в ту минуту маму. Зло в ней давно уже нарастало. От духоты, от вшей, от недоедания, от тяжелого воздуха. От того, что мать старается ей дать поменьше, чем Ленке и Вовочке.

Нила видела, что мать ищет ее.

— Женщина! — кричали маме. — У вас же так вещи покрадут, разве же можно на маленьких детей оставлять?

— У меня девочка пропала, — твердила, как помешанная, мама.

— Девочка не мешок — найдется, — засмеялся кто-то.

— Не скажите, — откликнулся другой голос. — Сейчас дети очень часто теряются.

— Нила! — кричала мама, и голос ее обрывался.

И потом вспоминать это было мучительно. Голод делал злой, равнодушной даже к самым близким.

И стыдно было вспоминать, что она не простила уезжавшую на войну Веру. Как же Ниле тяжело было, когда она вспоминала, как открыла дверь в чулан, а Вера там поедает кусок хлеба с салом! Господи, дети были голодные, а Верка ела и давилась! Тайком! Каким голосом она кричала на Нилу — от стыда и бесстыдства, от страха за кусок сала. Она убить была готова Нилу! Бедная, наглая Верка! Жадная, жалкая!

Ярко так вспоминался Ниле Веркин рассказ о другой, русской картинке про девушку с ребенком. Девушка поет и дружит с красивым парнем. Но потом привозит ребенка своей сестры, а ребенок ее называет «мама», и тогда парень не хочет с ней дружить, потому что думает, что она нечестная: у нее ребенок, а она притворяется девушкой. «Значит, ты ушла, моя любовь», — поет тогда девушка. А другому было все равно, хоть она и с ребенком, и она сначала была с ним, чтобы позлить того, первого, а потом его полюбила, и на того, первого, и смотреть не хотела. «Значит, ты пришла моя любовь». И белые волосы Веркины, и ясный, здоровый блеск ее светлых глаз, и беспричинный, радостный смех — не черты лица, а именно блеск глаз, и сморщенный нос, и смех Веркин ощущала, видела Нила и мерзостна становилась себе за узкую злость справедливости. Вот она жива, а Веры нет, но у Веры была радость жизни, а она, Нила, так и не знала другой радости, как две детские ручки, вцепившиеся в нее, да и их она потеряла, а нашла другими.

И этот солдат, что кружился по избе, не желая умереть. Он ведь думал, что он один в эти последние минуты. Каждый раз, как, кружась по избе, поворачивался он к ней лицом, она отводила глаза, боясь не смерти человека — боясь того, как долго, как долго, бешено жив он. Тоска делает равнодушной и жестокой. Как голод.

За все время скитаний в деревне, в дороге не болело так Нилино сердце за детей, как теперь, когда были они неведомо где, вдалеке от нее. Потеряв маму, была она, как замороженная. Теперь надсадно боляли жалостью, любовью, виною сердце ее и душа — так болят размораживаемые руки, ноги. Чувство ее всегда как бы опаздывало, но, обнаружи-

ваясь, оказывалось давним, хотя и невидимым до времени. Это тоже было в ней как бы ее глупостью, отсутствием ума — неумение вовремя ощутить силу чувства, узнать, угадать его. И даже не так. Иногда ведь она знала, но не верила знанию. Знала же, знала она, что мама умерла, но не верила, лезла к ней в темноте, крича и не слыша себя. И так же знала, что младших увезут от нее, но не хотела знать, хотела отдохнуть, освободиться: иначе бы в первый же день бросилась, просилась бы с ними. Усталая, надорванная была и прятала от себя знание, как будет надрываться сердцем по ним, оторванным от нее.

После отъезда Веры взяли и Нилу в детский дом и почти сразу же эвакуировали. Только не поездом — они шли пешком. Им повезло — кто-то их вел такими дорогами, что они только раз — на переправе, попали в бомбежку. И еще: в дороге к ним пристала беременная женщина-врач. Она сделала для детдомовцев самое большое, что можно было для них сделать, — спасла их от эпидемий: обстригла всех наголо, в один день перекупала, прокипятила одежду. Не было ни одного смертного случая за весь их многодневный переход. И после. Эту женщину они боялись и обожали. Она никогда не улыбалась и, несмотря на свой громадный живот, была худой. Она была больше, чем худой и не улыбочивой, — она была как бы злой, как бы все время накапливающей в себе злость. И когда она смотрела, потому, например, что ты медлил что-то нужно сделать, казалось, злость быстро-быстро копится в ней, и когда она, даже тише обычного, повторяла свое распоряжение, каждый спешил его выполнить, не дожидаясь, когда она взорвется. А ведь она ни разу, никогда не взрывалась, и все-таки все они свято верили, что взрыв может быть ужасен. Глаза у женщины были небольшие, почти белые, рот длинный, и пятна веснушек на лице, шее, руках, ногах. И, однако, они считали ее красивой, и, возможно, красивой она и была. Ребенку женщины посчастливилось родиться в том первом городе, где они остановились жить. Но прожили они здесь совсем недолго и снова эвакуировались — на этот раз пароходом. Опять обскребала их наголо врачиха, опять в один день купала их и выжаривала одежду, опять глаз с них не спускала. А собственное ее дитя чуть не погибло. Таскались с ним добровольные няньки, совали ему в рот тряпочки с мякишем, поили подслащенной водичкой, пока мать с неродными детьми управлялась. И дотаскались до поноса зловонного, хорошо подоспела мать врачихи, выходила внучонка.

Настоящих подружек у Нилы в детском доме не было. Когда детей много, замечала Нила, каждый хранит свое, оберегает его. А ненадолго подружки бывали: обычно после хорошего, по секрету разговора. Несколько дней, а иногда и на недели девочка, с которой случился такой разговор, ощущалась подругой. Но дальше у Нилы не получалось. Девочки были переменчивы, многое проявлялось в таких мимолетных дружбах: властность, капризность, ревность, пренебрежение, измены, оговариванье, обиды. Сама Нила почти никогда не отходила от приблизившейся девочки. Довольно быстро отходили от нее — неинтересная, наверное, она была.

Задушевные разговоры возникали о разном: о родителях, о воспитателях, о мальчиках, о других девочках, о странных случаях или загробной жизни. «Ты веришь в загробную жизнь?» — это был разговор тайный, доверительный, но совсем не редкий. Почти все страшные разговоры были либо о предсказаниях, либо о загробной жизни. К страшному вообще тянулись с ужасом. В простынях, в одеялах, на ходулях, в масках из бумаги появлялись «привидения» ночью в спальнях. И страшные истории рассказывались: о качающихся крестах на кладбищах, о синих огнях, зажигающихся на могилах. О том, как женщина, проходя по кладбищу, увидела на памятнике фамилию, имя и отчество своего живого мужа, только дата смерти была не прошедшего, а еще не наступившего года. И месяц значился — февраль. А на следующий год в феврале муж ее и умер.

А в другой семье одной женщине время от времени во сне являлся старик в старинном платье и говорил, кто следующий среди ее родственников должен умереть. А перед самой войной старик явился и сказал, что скоро будет война и из всей семьи останется в живых только младшая девочка. Когда началась война, они собрались в эвакуацию. Жен-

щина перебирала старые письма и альбомы. И нашла фотографию этого старика, только уже неизвестно, кто он ей был: прадедушка или же он любил ее прабабушку и прабабушка его любила. И в эвакуацию поезд, в котором ехали эти люди, весь разбомбило — только младшая их девочка и осталась в живых.

И Нила вспоминала, как она приходила в промерзший дом, в котором лежала мертвая мама, и как крутился умирающий боец и стянул с мамы холстину, и подумал, наверное, — вот моя невеста — смерть. Но об этом она не хотела рассказывать. Когда Нила везла Лену и Вовика в эшелонах, она как бы знала, что мама поручила ей довести детей, а сама охраняет их. Об этом никому нельзя было говорить. Она могла рассказать только о тетке Гане, как ее позвала на реку смерть.

В детдоме был мальчик, который знал, как станут оживать умерших людей — по науке, а не по Богу. Это тоже рассказывали друг другу по секрету. Ниле рассказала об этом мальчике хорошенькая подружка. Она же и привела ее к мальчику — он не вставал, потому что у него после контузии не действовали ноги.

— Расскажи ей, — сказала, излишне смеясь, хорошенькая подружка, — как будут оживать мертвых.

— Не оживать, а восстанавливать, — поправил мальчик. — Если, конечно, хоть что-нибудь от мертвых останется.

Нила хихикнула — ей показалось, что мальчик шутит, но он строго посмотрел на нее. Он вытащил из-под матраса лупу и подозвал Нилу:

— Подойди, не бойся, девочка.

И показал ей через лупу на коже руки как бы продолговатые зерна.

— Это клетки, — сказал он.

Выходило, что из любой клетки тела, даже от давно умершего человека, — пусть от него одни кости остались, все равно и в костях есть клетки — можно вырастить точно такого человека, каким он уже был. Сейчас пока не умеют, умеют только жениться (в голосе мальчика проступило презрение, а Нила испуганно смутилась), но жениться — это совсем другое дело, от того, что клетки двух людей перемешаны, получается уже другой человек. Чтобы тот же самый человек получился, нужна именно одна, именно его клетка. В будущем научатся выращивать из их же клеток прошлых людей, сколько бы лет ни прошло, хоть тысячи. Потому что кости-то всегда остаются. И зубы. И волосы. В сказках живая вода, а в жизни это будет наука. Так ему папа рассказывал, а папа у него был профессор. Воскрешение из мертвых — это по религии. По-научному называется: восстановление, реставрация.

— А страшно, правда? — спрашивала Нилу потом о «восстановлении умерших» подружка.

Ниле не было страшно — ей было сладостно. На долгие месяцы в ней остался тайный восторг: оттого, что никто не умер навсегда. А может, оттого, что так необычен и прекрасен был больной мальчик.

Мальчика вскоре от них увезли. Может быть, на следующую операцию — ему их уже делали несколько. А может быть, нашлись его родные, Или госпиталь для маленьких инвалидов организовали.

Много лет спустя приехала Нила в ту деревню, где жили они в первый год войны, где весной похоронили они маму. Нила не надеялась найти надпись на могиле, но хотела хотя бы побывать на том кладбище. Кладбища не было — его разбомбили в сорок втором. А потом застроили. У Нилы не было могил близких. Никто не знал, где их останки. Возможно, не было и останков.

Из детского дома Нила ушла работать на фабрику. Здесь на проходной заметил ее Толя.

— Эта девушка, — сказал он громко своему товарищу, — будет моей женой.

— Вот еще! — сказала за Нилу ее товарка.

Через несколько дней она увидела Толю в клубе на танцах. Он улыбался ей несколько раз издали, хотя она отворачивалась. Но не подошел и не пригласил. Он приглашал других девушек и вертелся с ними напротив Нилы.

Пригласил он ее на следующий раз. Танцевал с ней невнимательно — кому-то махал рукой, улыбался то в одну, то в другую сторону. Он думал, наверное, она от радости танцевать с ним сбивается с ноги, а она сбивалась от злости.

— Немного потренироваться надо, — распорядился он, подводя ее к месту.

— Вот еще! — сказала на этот раз уже она сама, и он кивнул одобрительно, словно именно он научил ее держаться независимо.

Следующие танцы его в клубе не было. А еще на следующие он пошел к ней и спросил будто бы строго:

— Потренировалась?

— Вот еще! — откликнулась она уже привычно.

— Правильно, — сказал он, — но однообразно.

В этот раз он пошел ее провожать, хотя Нила заявила: не требуется. Он на ее слова вообще не обращал внимания. Да и провожал он ее не серьезно: шел рядом, а трепался с другими девчонками и, смеясь, обнимал их. Она перешла на другую сторону, подальше от него. Он вроде и не заметил, а потом завертелся, как бы разыскивая ее:

— А где такая тихонькая? Нилой зовут. Она моей женой будет.

— Не ходи за мной! — крикнула она, сворачивая к общежитию. — С тобой ходить — только позориться.

— Вот те на! А как же ты моей женой станешь?

— А вот фиг! — крикнула она, уже совсем обозлившись.

И опять он смеялся, чему-то радый:

— Не стыдно так выражаться? Это мне с тобой ходить стыдно!

— И не приглашай меня больше!

— Сколько?

— Чего сколько?

— Сколько не приглашать?

— Никогда.

— Ладно, — сказал он, — даю тебе две недели отдохнуть от меня.

И не подходил. Когда он являлся на танцы, девчонки толкали Нилу:

— Смотри, твой идет.

И когда он останавливал взгляд на ней:

— Проверяет, нет ли парня возле тебя.

— Нашелся проверяльщик! Нужен он мне!

Но уже не злилась на него по-настоящему, уже и для нее становилось это игрой.

А когда через две недели пошел он ее провожать, у стены общежития сказал он ей:

— Ну что ж, пора мне, наверное, тебя поцеловать.

— Только попробуй!

— А не заржавеет!

Целоваться ей понравилось. Была она те недели перед регистрацией, когда всем общежитием подрубили они платочки на их свадьбу, как в тумане. Боялась, как бы что-нибудь не помешало их женитьбе. По вечерам они с Толей подолгу разговаривали — тогда он был самым родным человеком. И о родных, и все о своей жизни рассказывали они друг другу. И жалел он ее — не трогал. Даже и после свадьбы не сразу тронул. Все носил ей что-нибудь повкуснее — сам не съест, а ей принесет. И ни на кого, кроме нее, внимания не обращал. Даже подшучивать перестал — так хорошо им было.

А спать с мужем ей не понравилось. Все время было больно, а ей говорили, что больно бывает только вначале. И стыдилась она людей: ведь каждый знал, чем она теперь занимается.

И ребеночка у них не зарождалось. Сходила Нила к врачу — оказалось, она давно застуженная, еще, наверное, с войны, с детства. Врач сказал: надо ей во что бы то ни стало забеременеть, родить. Лечили ее и в больницу клали. И наконец, понесла она. И Толя, уехавший в командировку, писал ей: «Гуляй и ешь. И оставь писанину. Ребенка не замордуй своими письмами».

Когда она рассказывала Толе, как убили у нее всех старших, как потеряла она младших в эвакуациях, он сочувствовал ей и советовал, куда еще написать в поисках Лены и Вовчика.

А потом стал злиться.

Нила верила в сны. И вот никогда никому о снах не рассказывала, а ему, мужу своему, доверяла вначале.

— Опять озеро приснилось, — говорила она ему. — Не знаю, с чего это. Может, что о детях узнаю.

Или:

— Знаешь, тетка Ганя приснилась мне. Как цветок, красивая. Господи, наверное, уже и косточки в воде сгнили.

Ее не настораживало, что Толя не откликается или заводит речь о чем другом — она и вообще-то с ним говорила, как с собой, — не ожидая ответа.

Однажды она так же сказала:

— Сегодня старуха из поезда приснилась — что заговор от бомб знала. Никогда не снилась, а тут вдруг приснилась.

— Ты и сама-то как старуха! — вдруг крикнул муж.

И она поняла, что снова одна.

На людях они никогда не ссорились. Но раздражение их друг на друга росло. Она всегда стеснялась соседей за тонкой перегородкой, долго ладила кровать, чтобы она не брнчала по ночам, зажимала Толе рот, торопилась управиться с его желанием, как торопилась перед тем перемыть посуду и полы...

— Хоть бы рубашку сняла! — сказал он ей как-то с сердцем и громко. И она долго не спала потом, переживая, что вышла за развратника, которому никого не стыдно — а надо было ей еще вначале видеть его обхождение с девчонками и женщинами, да и ему не надо было жениться на ней, если он такой распутный.

Нила уже родила, когда приехала разысканная ею Ленка. Не сразу поверила Нила, что эта грудастая, краснощекая девушка и есть ее тощенькая верткая сестра, которая на военных вокзалах, взяв косолапого еще Вовчика за руку, подходила к жующим людям и молча стояла возле — мама втихомолку плакала, а Нила злилась: не то на то, что мать не ругает младших за попрошайничество, не то за то, что младшие не делаются с Нилой, все выпрошенное съедают сами. Но, конечно, это было еще до того, как Нила с ними осталась сама, и уже ее они звали мамкой, и уже ей и самой не лез кусок в горло, когда были голодны они. А тут перед ней стояла крепкая, хорошенькая девушка, и ножки у нее были теперь не палочки, и ручки — не паучьи лапки. И Нила утонула в ее руках.

Но это оказался суший бес, и, пожалуй, именно в этом узнавала в ней Нила прежнюю Ленку. Как быстро определялась сестра в своем отношении, как твердо отстаивала себя! На грудную племянницу внимания не обращала. В ее отчужденном взгляде явственно проступало: «Ребенок — это ваше личное дело, меня не касается». Не только мужа, Нилу тоже обижало это. Ни разу по своей воле Ленка не сменила ребенка пеленки, не улыбнулась девочке, не покачала ее. Лишь о Ниле заботилась — могла ей подать чай, лекарства, платок, отодвинуть Нилу от корыта, сама взяться за стирку — при этом Толины трусы и рубашку откидывала в сторону. Толю Лена откровенно невзлюбила. Если тот ложился после смены отдохнуть, говорила громко, двигала стульями, хлопала дверью, с шумом собирала тарелки.

— Могла бы себе найти и получше, — сказала она как-то с осуждением Ниле.

Но хуже всего были ночи. В крохотной их комнатухе все стояло впритык. Лена спала на полу рядом с люлькой. Стоило Ниле с Толей шевельнуться, слышалось досадливое, бессонное ворчание сестры. Если ребенок ночью плакал, Ленка уходила на кухню, хлопнув дверью.

И однажды, вернувшись с работы, Нила нашла записку от мужа: «Живите в своем сумасшедшем доме сами **своею** семьей. А дочку — подрастет — заберу».

— Заберет он! Его одного дочка! — говорила, едва справляясь со слезами, Нила.

— Да пусть заберет, — откликнулась Ленка. — Она вся в него, пусть сам с ней мается!

Нила терялась, не знала, как объяснить сестре, что так не говорят, что стыдно так говорить. Ленка ожила: таскала в дом продукты, мыла полы, посуду, стирала. Только готовить да нянчиться не умела и не хотела.

— Помнишь, мамка, — говорила она счастливо Ниле, — как ты нам с Вовкой толковала, что до войны всего в магазинах было навалом, и, сколько ни покупали, все много же и оставалось. Я-то помнила яичницу с колбасой, но все равно не верила тебе. А вот же, дожили! Хорошо-то, мамка, правда?

А Нила страдала, раздражалась на Ленку, едва сдерживалась, плакала втихомолку.

Общежитие для Ленки устроил начальник цеха — сам, Нила его не просила. Ленка молча собралась, молча ушла в общежитие, молча сидела, когда Нила навещала ее. К Толе Нила не пошла звать его обратно — он сам вернулся, старался для дома и для нее, но Ниле и это в радость не было. Сестра, жаловались ей, чудит в общежитии, выпивает и с парнями гуляет по-черному.

А через год сестра вышла замуж. Как откупное, собрали они с Толей все, что могли, дали молодым на обзаведение.

Семья получилась у Ленки не очень дружная, но крепкая, домовитая.

— А помнишь, — сказала как-то с улыбкой Нила, — как ты нас с Толей разводила?

— Дурная была, — сказала равнодушно Ленка.

И улыбка сползла с лица Нилы.

И брата Нила разыскала, хотя уже не надеялась: сохранились ли документы на Вовчика, помнил ли он что-нибудь, часто думала она. Но вот нашелся, приехал. Как он был похож на Сережу и папу — такой же тонкий, светлый весы! Уже была у них с Толей своя квартирка, не лежал он в ногах у них, как Ленка, да и был он совсем другой — охотный на всякое поручение, веселый, ласковый, к Ниле, как котенок, ластился, с племянницей на четвереньках по полу бегал. Работал тоже легко — со всеми ладил. Завелась у него и девушка, Зоя, еще год ему до армии оставался. Как Вовкина тень, была Зоя. И славненькая, и любящая — за Вовкой следом ходила, в глаза заглядывала. Вовке иногда вроде уже и надоедало это.

А однажды Нила едва домой дозвонилась — открыл Вовка, пряча глаза, а через минуту и Зоя показалась из дальней комнатки — тоже глаза прятала. Нашла Нила простыню, спрятанную за шифоньер — мерзко ей стало. Сидела она в тоске, как в войну — дочка дозваться ее не могла. А потом смирилась — что ж, мужчина это, и рос он в детском доме, теперь уж что, надо терпеть да к женитьбе выводить. И стала потихоньку: что да как Зоя? Почему долго не видно? Вовка сердился: что Зоя, у нее своя жизнь, у него своя. А Зойка приходила к Ниле, плакала, что нечестно с нею Вовка поступает. Нила уже и Толю просила поговорить, и сама говорила ему: как же так, испортил девушку, а теперь в сторону, как людям в глаза смотреть, девушка-то хорошая, любит, потому и не сберегла себя, чего еще искать, на чужих слезах своего счастья не построишь, не для того она его в войну спасала, чтобы он людям несчастье приносил. И скандалил Вовка, и даже заплакал однажды — все в Ниле оборвалось, уже и Зою готова она была невзлюбить за Вовкины слезы, но скрепилась, сказала последнее слово: вместе с Зоей оставит он и их.

На свадьбе Зоя сидела сама по себе, а Вовка как присосался к бутылке, так и держал ее в обнимку, бутылку эту. Гости разошлись судить да рядить, как женился молоденький мальчишка, как не он невесту обнимал, а невеста его, как и на «горько» было не дозваться счастливого жениха. Нила заплакала, но Вовку не разжалобила:

— Ты же хотела, чтобы я женился — вот я и женился.

В обнимку с бутылкой и в комнатку свою ушел, где молодая жена, тихая и безропотная, стелила им кровать.

Росли дети у сестры и брата. Росла девочка и у нее.

Нила работала все на той же фабрике. Толя давно уже нашел себе место получше, позарботнее, а Нила никуда и не мыслила уйти. Особой

чести ей на фабрике не было — работала хорошо, но на глаза не лезла. И вздорить не вздорила. Один только раз не стерпела — подала на местном заявлении за грубость технолога. Ее уж и парторг вызывала, уговаривала забрать заявление:

— Сами же понимаете, какая работа у технолога, какие нервы надо иметь!

— У нее нервы, а у нас канаты, — непримиримо сказала Нила. — Молодая еще, жареный петух ее не клевал — нервы распускать. Мы по-старше, а не «тыкаем» ей, не орем.

Ну и что? Сделали замечание технологу на профкоме да Нила наблевшее высказала:

— Кто много выступает да подарки таскает, тот и в передовых ходит, и на Доске почета. Посмотришь, какие на Доску почета попадают, да так и смолчишь. И работаешь не хуже, и делаешь не меньше, а глотку не дерешь, да не бегаешь по начальству, не подхалимничаешь — значит, и сидишь себе в теньку.

— Это кого же вы имеете в виду конкретно? — спросила ее парторг, словно хуже Нилы весь этот порядок знала, но директорша эту тему развивать не стала, «успокойся, дорогая», — сказала мягко и не обидно.

После того и Нила какое-то время на Доске почета повисела, и на том спасибо, да что технолог извинения попросила и больше не тыкала и не орала.

Но бог с ним, с почетом — а заработок у Нилы был ровный, и в садик дочка ходила, и квартиру производство ей дало.

Даже в Америку съездила Нила. Тетка, что пропала в войну на мекке, разыскала ее и прислала вызов. И Нила, не всегда и в отпуск-то выезжавшая, тут вдруг быстренько собралась и полетела. Уже в самолете, казалось ей, она гложет от чужой, непонятной речи. Но страшиться — нет, не страшилась она. Тетку, думалось ей, она узнает сразу: если не по родным чертам лица, то по тому, как будет та бегать, суетиться, по фигуре, по одежде, по тому, что отличает русских от всех остальных. Но стояла за оградой для встречающих сухая, старая женщина, так же, как все тут, ярко и странно одетая, в очках, и, не колготаясь, держала на палочке плакат: «Жду племянницу Нилу Волошину из России» — по-русски и по-английски. Они даже и не поцеловались. Внимательно оглядев Нилу, тетка повела ее к машине. Если это, конечно, была тетка. Нила так же не угадывала в ней родню, несмотря на русскую — ведь и то с каким-то акцентом — речь, как тетка, видимо, не угадывала в ней племянницы. К окончательной неуверенности Нилы в маленькой машинке на стоянке не оказалось теткин муж, она сама села за руль — русская тетка за рулем на заморской земле! И ехали-то они не по-русски: без улыбок, без разговоров вперевив друг друга, без расспросов и рассказов. На пороге их встречал теткин муж — этот хоть поцеловался. Стол был уже накрыт — на них троих. Нила думала, что тетка позовет к праздничному столу каких-нибудь соседей, друзей. Но ничего такого не было. Как не было и праздничного стола — обыкновенный обед. «В России, — сказал дядька, тоже русский, найденный теткой в скитаниях по чужим землям, — любят выпить». А принес несколько капель на дне графина — Нила выпивки не уважала, но даже ей стало смешно. Нила писала уже тетке о том, что с кем из родных стало. Однако за столом тетка снова расспрашивала ее обо всех и при этом они о чем-то переговаривались с дядькой не по-русски, ей казалось. спрашивают друг друга: «врет — не врет?» О себе говорили мало, неохотно. За таким обедом и такими разговорами не ездят за тридевять земель. Легла спать Нила грустная, а проснулась от какого-то шепота и узкого света. Дядька держал фонарик, а тетка, наклонившись над ней, рассматривала ее шею: искала, знать, приметку племянницы — родинку под ухом, думала, что ей подослали кого-то другого, шпионку-резидента.

Вот такая была у Нилы поездка в Америку. Звала Нила тетку с ее мужем на родину, к себе, но те объяснили ей, что у них уже и место на кладбище куплено, и памятник оплачен по хорошей цене.

Вернулась Нила, раздала подарки, купленные ею же самой, — теткам только старые платья с себя и подарила ей — и покатила жизнь куда как быстро: за работою, заботами, праздниками то у нее, то у сестры, то

у брата. Иногда, задумавшись, вглядывалась Нила удивленно в лица сестры и брата: уже вошли они в возраст, округляющий и стирающий черты лица, но, казалось ей, так и должна была остаться в их лицах та преданность ей, та невозможность жить без нее, которая и ей не дала без них ни быть юной счастливой невестой, ни преданной, любящей женой. Отдаленные были теперь лица, хоть и дружны они оставались, не забывали друг друга. Что ж, они все искали и нашли друг друга, но нашла она их уже другими, и в сердце их уже сместился и заместился образ той детской, преданной и охватной любви.

Брат часто выпивал, и не в радость Ниле была его пьяная ласковость, это назойливое:

— Сестра, а сестра! Сестрица моя, мамка! Она же нас выходила, от смерти отвела!

А однажды сказал он ей—видно, не пьян, а похмелен был:

— Эх, мамка, всю-то жизнь ты хочешь всем хорошего, только не выходит у тебя. Ни себе, ни другим не удалось у тебя.

Это же правдой было: никому от нее хорошо в жизни не получилось.

Когда заболел Толя раком—на старом шве от раны распустился рак—сначала и надежды еще были, и операция, а потом уже надежд не было, а только муки и торопление смерти, даже и ею. И думала она иногда, зная уже по опыту жизни, что потом всплывет неожиданное чувство, что это, может быть, окажется любовь. А это оказалась жалость, но такая острая и большая, что куда уж даже и любви.

За годы, прошедшие с Толей, она и злилась на него, и обижалась, и правой чувствовала себя, а его виноватым. Она ведь была чистотка и честная. Ни разу не только не изменила ему, но даже ни на одного мужчину не посмотрела с вождением. Что толку. Она и его не вождела. Ни разу в жизни не легла она, пока не приготовит еду на завтра, пока все не уберет, иногда и за полночь ложилась, а вставала до свету. Но ему другое было надо. Живой ведь он был—не то что она, отмороженная со всех сторон. Одну только девочку и родила. А и после этого болела по-женски. Вечно ныло в низу живота. Сколько ведь тогда зимой жили они в землянке, сколько ехали потом на промерзлых платформах. Врачи говорили, одно спасение—рожать. Но детям негде было закрепиться в остывшем ее нутре. Муж еще терпеливый был—вроде и не гулял от нее. Или возле нее и сам остывший стал. Или откормила она его, обленила, к дочке прилепила. Да и не отказывала она ему—терпя его досадную мужичью склонность. Даже притворялась другой раз. Долго она думала, что и все-то женщины притворяются.

Все у нее было не вовремя. Вышла замуж—тосковала по братику и сестре. Приехала сестра—металась меж нею и Толей, готова была выгнать сестру, чтобы свою семью сохранить. Ушла сестра, вернулся муж—его же винила, что сестру оттолкнула. Что уж говорить, даже собственное дитя не любила она так, как потерявшихся сестру и братика—своего ребенка носила, а вспоминала те, судорожные ладошки в своих руках, стук их сердечек под собою, прикрывшей их. Где уж ей было мужа любить, когда не только нутром, всюю душою выболела она в войну, если и жила-то она, как потерявшая что-то, чего и не знала.

Только однажды... Дали им с Толей в тот раз в один и тот же дом отдыха, на один и тот же срок путевки. Но комнат на двоих в доме отдыха не было—старой постройки был дом. Поселили их: ее—в женскую, его—в мужскую палату. У нее было три соседки, у него—два. В первые дни только за столом и встречались они с Толей—уставшая она была до дурноты, спала сутками. Осень была, дождало—а ей и ладно. Лишь бы спать. Толя не скучал—пропадал в бильярдной. И вот на какие-то сутки, выспавшись досыта, проснулась она ночью, и хоть песни пой—такая свежая и веселая. Тихонько оделась и мимо спящей дежурной—на воздух. Было, наверное, мглисто—ни луна, ни звезды не просвечивали. Но, верно, сильно потеплело—воздух был ласково-нежен и душист. Никак она не могла понять, почему душист, ведь поздняя уже осень, что же пахнет? Пока сидела она на скамейке, пока ходила по аллеям, добровольно сопровождаемая приветливой, бодрой дворняжкой, просветлела полоса над горизонтом, но как-то еще темней обозначилась мгла над нею. Глаз было



не отвести от этой полосы — словно в уставшую ночь вливался обещани-ем радости самый первый, еще неопределившийся источником и цветом, свет. Резкий наезжающий и убывающий шум машин доносился все чаще от дороги. Полоса за полосой восходил свет. Сначала снизу полоса зарозовела, а сверху черней закосматилась тьма. Потом внизу проступило золото, и загорелись над ним розовым продолговатые облака. Лимонно-желтое, зеленовато-голубое переходило в ясную голубизну, и обозначились прощально на западе не видные ночью звезда и месяц — пепельно-белые. И проступили под синеем небом в три яруса горы — рыжие, синие и кипенно-белые. И пели птицы, попирая Нилино представление о безгласной осени.

Еще до завтрака постучался к ним в палату Толя. «Вам кого?» — крикнула еще не одетая соседка. «Мне девушку, — Нилой зовут, тихонькая такая, все спит». «Вас?» — спросила одними губами удивленная соседка. «Муж. Чудит», — успокоила ее Нила. «Я насчет абажуров, там абажуры в море плавают — двухцветные». «Почем?» — подыграли женщины. «Если поймаете, совсем недорого. Дешевле браков».

А в море, в самом деле, плавали двойные абажуры — плыли куполом вперед, проветываясь и шевеля истончающимися краями, зеленоватые, желтоватые, голубые, розовые, фиолетовые огромные медузы. Плыли небыстро, но неуклонно и пропадали в глубокой, ямистой полосе недалеко от берега. «Профсоюзное собрание у них», — говорил, весело ее обнимая, Толя. Нила смотрела на этот парад медуз и оглядывалась на горы: тут ли они еще — неужели всё сразу? Но все было именно сразу в эту осень на берегу южного моря: неопавшие листья на деревьях, нервно перебирающие пальцами-листьями пальмы, павлины с роскошными веерами хвостов, плавали в озерце узкоглазые, длинноносые лебеди, отгребая воду в мглистой глубине простежки-красными лапами, плескало море, скрипели чайки, пели птицы, оранжевыми шарами висела на голых ветках хурма, светились меж порыжевших листьев мандарины.

На смену сну в Нилиной жизни пришло сладостное дыхание. «Подожди», — говорила она первое время Толе, когда он хотел обнять ее. Но шелковые, нежные ночи тревожили ее. И уже не он, а она в темной аллее, куда сворачивали они от людей, обнимала его и горячело его тело в ее объятиях, и не было сил оторваться друг от друга.

Предлагали им соседи по палате оставить их одних на условленные час-два, но они стеснялись. И — не вытерпели, на неделю раньше вырвались домой и, не сообщив никому о раннем своем приезде, не забрав у свекрови дочь, заперлись на несколько дней, не откликаясь на звонки. Была, была и в их жизни медовая неделя! А потом сгладилось, затянулось. Вернулись заботы, болезни. А там и Толи не стало. Что ж теперь локти кусать!

Дочь жила с семьей отдельно. Сказала: «Дальше живем — ближе будем. Тем более с твоими нервами, мама». Нила тосковала, потом привыкла.

Прошла в ней нужда, необходимость — значит, это уже старость подходила, полагала она. И вот все больше хотелось ей побывать в том поселке, где прошло довоенное детство, побывать на озере, долгие годы снившемся ей. Казалось, там она встретится с теми, кто навсегда ушел, уплыл от нее, и вернется домой просветленная и спокойная — доживать: кому счастливые детство и молодость, кому спокойная, ровная старость. Раньше-то и думать не смела: всегда на что-нибудь не хватало денег, всегда кто-нибудь — семья, профсоюз, дочь или сад — распоряжались ее отпуском. А тут подюпила деньжонок и, никому не сказав, — говорить о том не хотелось, как о поездках на кладбище к Толе, — оставив на всякий случай в двери записку, что будет через неделю, уехала.

Она не узнала того поселка, в котором ходила в магазин «на углу» за руку с отцом. «В далекий край товарищ улетает». Не нашла она и самой улицы, на которой жили они. Поселок в войну сильно порушили, а потом он отстроился заново, не щадя заскорузлых домишек и запущенных бульваров, — «любимый город в синей дымке тает: знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд». Но озеро — озеро не могли ни разбомбить, ни застроить. Она спросила, как пройти к озеру.

Не было лугов по дороге к озеру, не было полей, не было глинистой тропинки. Сплошь тянулись дома и заборы, да палисадники меж проезжей улицей и тротуарами. Дома были богатые, кирпичные, с тюлями на окнах, с люстрами в глубине. И у нее, и у дочери, и у брата с сестрою были тюли и люстры. Совсем к озеру дома, правда, не подступали, какой-то чахлый, молодой лесок отделял городок от пляжа с уже мокрыми от ранней непогоды лежаками и грибочками. Но дети, не так много, но все же бегали у воды, надсадно, как чайки, кричали о чем-то своем. Не сразу взглянула внимательно Нила на озеро — все словно боялась, ленилась сердцем, хотя уже знала, что озеро не то. Может, неправильное время года для поездки выбрала, а может, раньше не жили озеро поля и травы. Теперь же и яркие грибки не красили его. Раньше озеро как бы охватывало землю. Теперь земля и заводы теснили озеро. Оно и обмелело, наверное. Не могло быть, чтобы в детстве края его по бокам не проглядывались, а теперь оглядны оказались. Дальний край озера и сейчас уходил в горизонт, но простора уже как бы и не было.

А воздух возле озера все равно был хороший. По воде капал редкий дождь, но Ниле не хотелось торопиться. За тучами далеко, не просвечивая, обозначало свое место солнце. Уже и радуга как бы дрожала, проступала в воздухе. Хорошо, хоть и ничего не хотело напоминать ей озеро.

Не об отце и брате, не о маме и тетке Гане — думалось почему-то о мальчике из детского дома, который сказал ей, что если от мертвых сохранятся хотя бы косточки, наука со временем сможет воскресить этих давно умерших людей. Ни от кого из близких Нилы, кроме Толи, не сохранились могилы — река взяла тетку Ганю, в неизвестных местах погибли брат, отец и сестра, даже и деревенское кладбище, на котором похоронили маму и деда, разбомбило в войну. Не было могил, а может быть, не было и косточек. Но сладостно помнился безногий мальчик из детского дома — потому ли, что подарил он ей сказочную надежду на воскрешение из мертвых мамы, или же так чудесна казалась ей сама надежда, потому что любила она этого мальчика. «Никогда не бегай за мальчишками, — сказал он ей, — хоть ты и некрасивая». «Я не потому, — тихо и хрипло отозвалась она. — Я потому, что ты калечный». Он не ее, он хорошенькую ее подружку любил. Нила знала по давней детдомовской фотографии, как были они все безобразны — бритые наголо, в мешковатой одежде и одинаковых ботинках. Ботинки полагалось по детдомовской моде до блеска начищать и тщательно шнуровать, даже если шнурки были в узлах и мохрах. Сняли, как ни ругались воспитатели, обязательно в штанишках, хоть и были у них отдельные с мальчиками спальни, а днем эти рейтузы подкатывались до самого паха. Такая тщетная мода. И все-таки были одни некрасивые, а другие хорошенькие.

Так ярко представился Ниле и запах их сырой спальни, и запах ваксы, которой начищали они ботинки, и мудрые, пристальные глаза безногого мальчика, и, как награда, начало болеть ее сердце. Вспомнился ей и боец, что кружился по избе, стягивая холстину с мертвой мамы, не крича, а только дыша со свистом и хрипом, — такими надсадными, словно бы это не он, а над ним надрывно дышало, свистело, хрипело. Почему она не взглянула в его лицо? Кто теперь вспомнит его лицо в его последний на земле час?

Все сильнее и сильнее болело сердце. Забытым прикосновением дотронулась до ее волос мама. Почему, для чего так болело, так помнило ее сердце? Зачем, почему все это жило в ней, умирало и снова оживало? Кто, кто была она сама? Неужто только эта память? Вот прошла жизнь, ушла сквозь пальцы — и что? Что осталось после того, как почти прошла жизнь? Только гордость, что уперлась и выдержала. Сердце болит — не сбереженное, надсаженное. А душа? Разве душа ее в ней? Не в этом ли дне, не в этом ли озере была ее душа — и не угадать было, где это мелкое, жидкое, серое переходило в широкое, светлое зеркало, все отражающее. Душа ее, казалось ей, только сейчас вызрела, сомкнулась со всем, что было и прошло, что есть. Зачем, почему? Чтобы умереть? Но ведь зубы вырастают, чтобы жевать. Ноги крепнут, чтобы ходить. Только душа вызревает, чтобы умереть. Странно ей это было. Но не жалко. Может, и небо вызрело до души, но вот — широко и безгласно.

Легкий шелест вернувшегося дождя прошел по воде.

# Лев Троцкий

## ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ

### *Трагедия семьи*

Над семьей Троцкого висел рок того времени, в котором он жил. Николай Бердяев однажды сказал: «Семья есть школа жертвенности». Жестокую «школу жертвенности» для Троцкого устроили другие, ибо ненавидело его значительно больше людей, чем любило. Это сегодня, говоря о нем, люди не испытывают ни любви, ни ненависти, но почти все — неостывающий интерес. То, что быть родственником Троцкого — опасно, узнала его многочисленная родня уже в годы гражданской войны. В феврале 1920 года в поезде Троцкого приняли шифротелеграмму из Одессы: «По приказу Деникина в ноябре 1919 года была арестована семья тов. Троцкого, состоящая из дяди Герша Леонтьевича Бронштейна, его жены Рахили, арестованных в Бобринце, и двоюродного брата Льва Абрамовича Бронштейна — коммуниста. Отправлены в Новороссийск в качестве заложников. По некоторым сведениям, выдадут их за племянника Колчака. Родственники арестованных просят принять срочные меры к их освобождению путем обмена заложников.

Ревком Одессы Павел Ингулов»<sup>1</sup>.

Телеграмма до Троцкого не дошла, он был в войсках, и принятием возможных мер занялся Бутов.

Высокий взлет Троцкого ближайšie члены семьи встретили восторженно. Дочери от первого брака Нина и Зина стали пламенными «троцкистками», самоотверженно защищали отца, когда началась его критика и поношение. Они редко докучали ему просьбами, хотя все время жили в материально стесненных условиях.

Отец изредка посылал дочерям поздравления ко дню рождения, но практически не мог принять участия в их воспитании. Дочери выросли болезненными, с обостренным чувством гордости за великого отца и обиды за незаслуженную, по их мнению, удаленность от него из-за второго брака Троцкого.

Младшая, Нина, умерла в 1928 году, когда Троцкий находился в ссылке в Алма-Ате. Ей было всего 26 лет... Ее муж Невельсон уже был к тому времени арестован, а впоследствии расстрелян. Думаю, что смерть от туберкулеза «спасла» Нину от лагерей и ссылок. Ее дочь Волья, родившаяся в 1925 году, по некоторым данным, жила у Соколовской, но затем, когда первую жену Троцкого арестовали и сослали, следы внучки затерялись. Судьба ее неизвестна.

Старшая дочь Троцкого — Зина тоже была надломлена трагической переменой в судьбе семьи: ссылкой отца, арестом мужа — Платона Волкова, смертью сестры, болезнью сынишки, беспросветной нуждой и положением отверженной. После долгих мытарств и унижений ей удалось добиться разрешения на выезд к отцу, и в январе 1931 года она вместе с сыном добралась до Принкипо. К ее туберкулезу присоединилась психическая неуравновешенность. Больная тосковала по дочери, оставленной в Москве, ничего не знала о судьбе мужа. Ей казалось, что отец тяготеет ее присутствием. Зина прожила на острове отцом десять месяцев, и хотя Троцкий старался создать хоть какое-то тепло в отношениях второй жены и дочери от первого брака, — отчужденность в их отношениях не исчезала. Болезнь лишь была заглушена. И тогда на семейном совете решили отправить дочь в Берлин для лечения с последующим возвращением на родину. В амстердамском архиве, где также хранятся бумаги Троцкого, есть несколько писем, приоткрывающих причины трагедии Зины.

Вскоре после ее приезда в Берлин Троцкий получил письмо от Александры Ромм, которая взяла многие заботы о молодой женщине на себя. В нем говорится, что «состояние Зины осложняется не только из-за болезни легких, а прежде всего душевного состояния... Заболевание произошло бесспорно в Константинополе. Она приехала туда полная самых больших ожиданий к своему знаменитому отцу и т. д., но скоро пережила большое разочарование. Вылилось это в форму: меня не любят. Кто виноват? Мать,

<sup>1</sup> Окончание. Начало см. «Октябрь» № 1 с. 7.  
ЦГАСА, ф 33987. оп. 2, д. 113, л. 39.

тем более не родная... Помимо того, она чувствует себя одинокой, она больна. Сестра умерла. Постоянная боязнь...»

Берлинская знакомая продолжала: «Дорогой Лев Давидович, не хочу от Вас скрыть мои личные наблюдения. В известном смысле ее и здесь встретило разочарование. Она думала, что здесь она войдет в жизнь Левы и Жанны. Этого не случилось и не могло случиться... Однажды она мне сказала: нет ли у Вас какой-нибудь бездельницы или бездельника, которые бы ко мне приходили, мне так трудно быть одной...» Увы, нигде в архивах я не обнаружил писем отца к своей старшей дочери. Существовали они, судьба Зинаиды, возможно, не завершилась бы столь трагично.

По приезду в Берлин ее постигает страшный удар: 20 февраля 1932 года правительство СССР лишает советского гражданства не только изгнанника и его жену, но и всех их родственников, бывших в то время за границей... В своем письме Елене Васильевне Крыленко 26 февраля 1932 года Троцкий интересовался судьбой статьи о Сталине, переданной им в газету «Форум». «Статья неожиданно стала злободневной ввиду нового декрета, лишившего меня и моих права гражданства. Думаю, что любезнейший Николай Васильевич, в качестве юриста, к этому делу руку приложил»<sup>2</sup>. Речь шла о брате Елены Васильевны Н. В. Крыленко, нарком юстиции РСФСР, а с 1936 года и СССР. Правда, в этой должности брат Елены Васильевны пробыл до расстрела всего лишь два года...

Зина стала вратьясь домой, надеясь на встречу со ссыльным мужем и дочерью Александрой. Несмотря на то, что Троцкий смог организовать отправку к дочери ее сынишки Севы, по которому она сильно тосковала, ее душевная депрессия усилилась. К тому же по настоянию советского посольства Зину и прожившего с ней всего неделю сына немецкая полиция постановила выслать из Берлина. Куда? У потрясенной женщины теперь не было не только паспорта, но и денег... 5 января 1933 года, отведя Севу к соседям, Зина открыла газовый кран... Ей было чуть больше тридцати. Ее сына Всеволода Волкова (сейчас Эстебан) усыновил старший сын Троцкого.

Седов описал через неделю отцу подробности случившегося: «Накануне утром Зина мне звонила по телефону: она хотела меня видеть, просила сейчас же приехать (с приездом Севушки некоторое отчуждение наше исчезло). В это утро я никак, никак не мог. Я очень просил ее приехать вечером, днем или на другое утро; очень настаивал, — она отвечала немного уклончиво, но обещала. Больше я ее не видел... Надо написать Платону (мужу Зины. — Д. В.) — он очень любил Зину. Если это выше папиных сил — я напишу, но дайте мне хоть совет...»<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> Архив КГБ. Ф. 17548, д. 0292, т. 1, л. 208  
<sup>3</sup> Int Instituut Soc Geschiedenis Amsterdam, № 111, 322/1, 2(2).

Далее сын сообщал, что «вся мировая печать уже сообщила о гибели и второй дочери Троцкого».

Как только Троцкий узнал о трагической смерти второй дочери, он немедленно сел за стол и написал гневное, полное неизбывной печали письмо:

Всем членам ЦК ВКП(б)  
Всем членам ЦК ВКП(б)  
Президиуму ЦК СССР

...Преследование дочери моей лишено было и тени политического смысла. Лишение ее гражданства, отнятие у нее единственной оставшейся надежды: вернуться в нормальную обстановку и поправиться, наконец, высылка ее из Берлина (несомненная услуга немецкой полиции Сталину) представляют политически бесцельные акты обнаженной мести — и только. Дочь отдавала себе ясный отчет в своем состоянии. Она понимала, что в руках европейской полиции, травящей ее в угоду Сталина, ей спасения нет... Я ограничиваюсь этим сообщением, без дальнейших выводов. Для выводов время наступит...<sup>4</sup>.

Со смертью Зины у Александры Львовны Соколовской мир сузился до заботы о внуках. Ей было уже под шестьдесят, но выглядела она глубокой старухой. Она не могла забыть одно из последних писем Зинаиды, в котором та больно упрекала мать, что она не смогла сохранить семью и сделала всех несчастными. Подобные полные глубокой боли упреки от старшей дочери довели ее до слез. Она выслушала и самому Троцкому. Права была Ольга Эдуардовна Гребнер, жена младшего сына Троцкого, Сергея, когда она мне говорила: «Троцкий всем своим родным и близким, независимо от его желаний, приносил горе». Читатель имеет возможность судить о правомерности или неосновательности такого умозаключения женщины, жизнь которой была вся изломана сталинским режимом.

К концу пребывания на Принкипо у Троцкого уже не было дочерей. От них у него остались две внучки и внук. Как заложник семьи в Москве жил его младший сын Сергей, который не хотел быть политическим скитальцем. В отношении его в Кремле было принято решение — из Союза не выпускать.

У Троцкого были две сестры и брат. Участь их тоже горька. Одна из сестер — Елизавета Давидовна Мельман — умерла своей смертью в 1924 году в Крыму, когда Троцкий еще находился в высших эшелонах власти Другая — Ольга Давидовна Каменева (была первой женой Л. Б. Каменева) — вынесла все тяготы родственницы Троцкого. Ссылка, арест в 1935 году, лагеря и тюрьмы закончились осенью 1941 года расстрелом. В том году, вскоре после начала войны, Сталин распорядился еще раз «почистить» тюрьмы — многие тысячи «политических», ставших, по мнению НКВД, «опас-

<sup>4</sup> Бюллетень оппозиции, № 33, март 1933 г., с. 30.

ной обузой» в столь грозную пору, были без всякого суда расстреляны.

Старший брат Троцкого — Александр Давидович Бронштейн — в двадцатые и тридцатые годы работал в Воронежской области на Новокисляевском сахарном заводе агрономом. Как мне рассказывал житель тех мест А. К. Миронов, агроном Бронштейн был хорошим специалистом, пользовался уважением у сельчан. Рассказчику почему-то запомнилось, что Бронштейн ездил в красивом фаэтоне, запряженном парой хороших лошадей. Когда на его знаменитого брата начались гонения, агронома заставили публично отказаться от родственника. Он сразу как-то изменился, осунулся, похудел. Но отречение не спасло. В 1936 году летом Александр Бронштейн был арестован, а в следующем году расстрелян в Курской тюрьме как «активный, неразоружившийся троцкист». Сталинская беспощадная рука доставала всех.

После смерти Зинаиды Троцкого и Наталью Ивановну уже не отпускал постоянный страх за сыновей, особенно за младшего, Сергея. С отцом он выехать за рубеж в 1929 году не захотел, решив целиком посвятить себя науке. В юности хотел стать артистом цирка, но затем увлекся техникой, закончил технический факультет, стал преподавателем вуза. Когда ему еще не было и тридцати, Сергей Львович Седов был уже профессором.

Арестовали Сергея 4 марта 1935 года, приписав ему и шпионаж, и пособничество отцу, и вредительство... Сослали в Сибирь... Он был обречен...

В январе 1937 года в «Правде» появилась статья «Сын Троцкого Сергей Седов пытался отравить рабочих генераторным газом». На митинге в кузнечном цехе машиностроительного завода мастер Лебедев говорил: «У нас в качестве инженера подвизался сын Троцкого — Сергей Седов. Этот достойный отпрыск продавшегося фашизму отца пытался отравить газом большую группу рабочих завода». Говорили на митинге и о племяннике Зиновьева Заксе, их «покровителе», директоре завода Субботине... Судьба этих людей была предreshена. 29 октября 1937 года младшего сына Троцкого расстреляли.

Родители были в долгом неведении о судьбе младшего сына. В последнем письме, которое Наталья Ивановна получила от Сергея (отец ему не писал, чтобы не усугубить положение), он «как бы вскользь сообщал: общая ситуация оказывается крайне тяжелой, значительно более тяжелой, чем можно себе представить...»<sup>5</sup>. А вот июньская 1935 года запись в дневнике Троцкого: «Сережа сидит в тюрьме, теперь это уже не догадка, почти достоверная, а прямое сообщение из Москвы. Он был арестован, очевидно, около того времени, когда прекратилась переписка... Бедный мальчик...

И бедная, бедная моя Наташа...»<sup>6</sup>. Получив это сообщение, Наталья Ивановна с помощью мужа написала письмо, обращенное к общественности, деятелям культуры, московскому режиму с призывом «...создать интернациональную комиссию из авторитетных и добросовестных людей, разумеется, заведомых друзей СССР. Такая комиссия должна была бы проверить все репрессии, связанные с убийством Кирова; попутно она внесла бы необходимый свет и в дело нашего сына Сергея». Далее Седова продолжает: «Неужели же Ромен Роллан, Андре Жид, Бернард Шоу и другие друзья Советского Союза не могли бы взять на себя инициативу такой комиссии?»

Но все было тщетно. Сергей сгинул, как растаял, навсегда... Чудовищная машина репрессий бросала в свою толпу все новые и новые жизни. До самой смерти у отца теплилась надежда, что сын находится в далеком лагере, «без права переписки». Были минуты, когда Троцкий говорил жене: «Может быть, моя смерть спасет ему жизнь?»<sup>7</sup>.

Арест младшего сына еще более обостренно заставил думать супругов о судьбе и старшего сына, который стал настоящим эмиссаром отца. На его плечах лежал выпуск «Бюллетеня», участие по решению отца в двух международных органах, созданных троцкистами: Международном Секретариате и Международном Бюро. Эти два центра «марксистов-ленинцев», по мысли Троцкого, должны были сплотить разрозненные группки его сторонников в монолитную партию «Мировой социальной революции».

А в Москве уже начались чудовищные процессы, отправлявшие на смерть невинных людей. Сталин решил провести генеральную чистку и устранить всех потенциально опасных. В Европе все прогрессивно мыслящие люди были потрясены. Даже некоторые функционеры советской разведки оказались в замешательстве и были готовы порвать с преступной политикой. Первым это сделал видный советский разведчик Игнатий Райс. Через знакомого сторонника Троцкого он передал ему предупреждение: за ним и его сыном идет смертельная охота, а затем направил в Москву телеграмму о том, что порывает со сталинским режимом. Вслед за телеграммой Райс отправил в Москву и «Письмо в ЦК ВКП(б)», где писал: «Я шел вместе с вами до сих пор, но — ни шагу дальше. Наши дороги расходятся! Кто теперь молчит, становится сообщником Сталина и предателем дела рабочего класса и социализма... В 1928 году я был награжден орденом Красного Знамени за мои заслуги перед пролетарской революцией. При сем возвращаю вам этот орден. Носить его одновременно с палачами лучших представителей русского рабочего

<sup>5</sup> Там же, с. 122.

<sup>7</sup> V. Serge, Vie et le mort de Leon Trotsky. Paris, 1954. P. 266.

<sup>6</sup> Лев Троцкий. Дневники и письма. Эриштаж. 1986, с. 114.

класса — ниже моего достоинства»<sup>8</sup>.

Это произвело на Лубянке, а затем и в Кремле переполох. Райс слишком много знает. Такие, как он, руководили «чистой» за рубежом и должны были нутем террора против отдельных противников режима парализовать оппозицию, сковать ее страхом и неуверенностью, заставить замолчать политических оппонентов. Доклад Сталину на февральско-мартовском Пленуме ЦК (1937 г.) явился, по сути, изложением методологии террора, репрессий, ужесточения «классовой хватки» в отношении внутренних и внешних врагов.

Через полтора месяца после своего мужественного шага Игнатий Райс был убит вблизи Лозанны. В его теле было обнаружено семь пулевых ранений. Чтобы замести следы, убийцы засунули в карман жертвы паспорт на другое имя, но погибший был опознан. Лев Седов (под псевдонимом Н. Маркин) поместил в «Бюллетене оппозиции» некролог. Убийство это стало еще одним напоминанием Троцкому и его семье: охота на них продолжается.

Троцкий, находившийся к тому времени уже в Мексике, в письмах настойчиво предупреждает сына об опасности. Некоторые из друзей Льва Седова советуют хотя бы временно покинуть Европу и уехать к отцу. После долгих колебаний Седов написал отцу о своих подозрениях, о том, как он заметил слежку за собой, что в его окружении, как он подозревает, есть «чужой». В заключение сын спрашивал, что в такой ситуации посоветует делать отец.

Троцкий успокаивал сына, но в то же время выговаривал ему за неудовлетворительное содержание «Бюллетеня». Что касается поездки в Мексику, отец не поддерживал эту идею: «Уехав из Франции, Лев ничего не выиграет: едва ли Соединенные Штаты разрешат ему въезд; в Мексике он будет в меньшей безопасности, чем во Франции». Отец явно не хотел, чтобы сын также стал затворником Койоакана<sup>9</sup>.

Как казнил себя Троцкий за эти слова через два месяца! Какие муки запоздального раскаяния он испытывал!

8 февраля 1938 года у Седова началась сильная приступ аппендицита. Пока Этьен, его помощник, обзванивал частные клиники, Лев написал последнее письмо, которое просил вскрыть лишь в «крайнем случае». Операцию сделали в клинике русских эмигрантов. Все прошло благополучно, дело быстро шло на поправку. Седов уже ходил и готовился выписаться из больницы. Однако через четыре дня вдруг наступило резкое ухудшение. После страшной агонии старший сын Троцкого, последний из четырех его детей, — скончался. Ему было только 32 года...

Конечно, о заболевании Седова Зборовский немедленно сообщил своему «покровителю». В тот же день Москва знала о случившемся. Но в оперативных документах, сохранившихся в архивах КГБ, нет данных о прямых распоряжениях воспользоваться случаем и убрать «Сынна». Нет по двум причинам. Многие подобные распоряжения, чтобы не оставлять следов, обычно отдавали условно, условленным знаком, сигналом. Кроме того, значительная часть документов уничтожалась по «закрытии дела».

Едва оправившись от страшного известия, Троцкий потребовал быстрого расследования обстоятельств смерти Седова. Почти ни у кого не было сомнений, что его сын отравлен. Но, как и ожидалось, улики не нашлось — убийство было совершено профессионально, без явных следов преступления.

Последний из четырех детей был отнят у изгнанника.

Троцкий не знал судьбы своих внуков в Союзе после ареста Соколовской, а за рубежом остался только один отпрыск его фамильного древа — внук Сева. Подсудно чувствуя вину за гибель детей, Троцкий хотел взять заботы о нем на себя.

Но с внуком все оказалось непросто. Жанна, подруга Седова, отказалась ехать с Севой в Мексику. Началась письменная «война», принимавшая порой неприличные, оскорбительные формы. С большим трудом Троцкому удалось вернуть часть своих архивов, находившихся у сына, но изгнанник потерял покой, постоянно думая о внуке. Он даже обратился в суд, желая законно получить внука. Дело тянулось целый год, но Жанна не уступала мальчику.

И лишь в октябре 1939 года, после «похищения» Росмерами Севы, его смогли привезти к деду в Мексику. С дедом внук проживет меньше года...

Трагедия семьи Троцкого стала лишь отражением трагедии советского народа. Правда, как справедливо пишет И. Хоу в своей книге «Леон Троцкий», изгнанник не мог не чувствовать своей вины по отношению ко всем детям, жизни которых так или иначе были принесены в жертву его политической борьбе<sup>10</sup>. Но все это является производным от тирании системы, тех обстоятельств, в которые он был поставлен революционными императивами. Троцкий, пытаясь ускорить путем мировой революции прорыв к «лучезарному будущему», был одним из главных творцов огромного зла, сопутствовавшего утопии. Это зло поглотило его семью, а затем и его самого.

### Московские процессы

Вглядываясь в морские дали с заброшенного островка в Мраморном море, вслушиваясь в мировой нескладный хор

<sup>8</sup> Бюллетень оппозиции, № 58—59, сентябрь—октябрь 1937 г., с. 23.

<sup>9</sup> Исаак Дейчер. Изгнанный пророк. Лондон, 1963, с. 629.

<sup>10</sup> Irving Howe. Leon Trotsky. N. Y. 1978: P. 135.

политических страстей, Троцкий рвался в эпицентр классовых схваток, надеясь, что он сможет там заявить о себе громче и увереннее. Все долгие четыре года на Принкипо он не оставлял попыток получить разрешение выехать в одну из европейских столиц. С приходом Гитлера к власти Берлин однозначно отпал.

Наконец, после изнурительной переписки и дипломатических проволочек Троцкий получил «добро» на переезд во Францию. Во второй половине июля на стареньком итальянском пароходе «Вольфганг» Троцкий вместе с Натальей Ивановной и двумя секретарями отплыл из Константинополя в Марсель. Он еще не знал, что его ждет во Франции, но надеялся, что появление на Западе лидера левой оппозиции активизирует ее сторонников.

В августе 1933 года Троцкий воочию убедился, сколь малочисленны силы, которые его поддерживают, — лишь три партии приняли резолюцию о необходимости продолжать работу по созданию IV Интернационала и готовить его хартию (программу). Троцкому ничего не оставалось, кроме как вести пропаганду среди своих сторонников и заниматься литературным трудом. Он возобновил работу над книгой о Ленине, но она продвигалась трудно, и он никогда ее так и не закончил. Хотя изгнанник настойчиво пытался внушать своим сторонникам мысль о неизбежном приближении нового революционного подъема, в это верили немногие. Обстановка в мире была уже иной, нежели накануне русской революции.

Да и сам Троцкий почувствовал: больше феерического взлета не будет. Ни революционного, ни личного. Главное в жизни осталось в прошлом. И это прошлое река времени уносит все дальше и дальше в глубь вечности... Его сентябрьские письма 1933 года Наталье Ивановне (жена лечилась в Париже) грустны и печальны:

«...Милая, милая моя, спокойнее было бы на Принкипо, сейчас уже недавнее прошлое кажется лучше, чем было, а ведь мы так надеялись на Францию... Окончательная ли это старость или только временный чересчур крутой спуск, после которого еще будет подъем (некоторый)... Посмотрим...»<sup>11</sup> Письма к жене нежны как всегда. Подписывается в них Троцкий кратко: «Твой».

Обстановка вокруг его пребывания во Франции все больше накалялась. Весной 1934 года ему предложили покинуть Барбизон (городок в часе езды от Парижа), так как полиция не ручалась за безопасность изгнанника. После поспешной ретирады из Барбизона Троцкий пробыл во Франции чуть больше года, но нигде не мог найти ни безопасности,

ни покоя. Порой бегство его носило уничижительный характер; он сбрасывал бородку, однажды пришлось несколько дней прятаться на чердаке у знакомого. Ему угрожали как местные нацисты, так и коммунисты. За ним охотилось и ОГПУ. Он был между нескольких огней. В этот период большую помощь ему оказали брат Молинье и верный секретарь Хейенурт, своей преданностью напоминавший навсегда исчезнувших в советских застенках Сермукса и Познанского.

В довершение ко всему Троцкий скоро стал испытывать серьезные денежные затруднения. Писать теперь он стал значительно меньше; сплошные переезды, отели, конспиративные квартиры, попытки вдохнуть жизнь в десятки крохотных троцкистских групп, насчитывавших, может быть, несколько сотен сторонников.

Каждый день он нетерпеливо ждал, когда секретарь принесет свежие газеты: после убийства Кирова в СССР надвигались грозные времена. Буржуазная пресса (московские газеты удавалось читать довольно редко) каждый день сообщала о все новых арестах, о поиске заговорщиков по всему Союзу, в окружении Политбюро, о каких-то непонятных, но трагических событиях за стенами этого гигантского государства.

Иногда в течение месяца Троцкий менял пять-шесть мест жительства. Но везде за ним следовали полицейские, какие-то молчаливые, загадочные личности. Троцкий потерял покой.

Вечерами он принимал к радиоприемнику, с трудом улавливая сквозь треск эфира далекую Москву. Иногда удавалось слышать бой курантов, и воспоминания вновь уносили его в Кремль... А в Москве без конца говорили о преступной деятельности Зиновьева и Каменева, «ответственных» за убийство Кирова, и всех этих недобитых врагов, утверждало радио, вдохновлял и направлял фашистский наймит Троцкий. Изгнанник был потрясен глубиной перерождения системы, которую он сам помогал создавать. Вскоре Троцкий узнает, что после смерти Кирова была арестована и сослана далеко на север Александра Львовна Соколовская, лишившаяся двух своих дочерей и вынужденная отдать внучку тете на Украину.

Оба зятя Троцкого, Волков и Невельсон, ожидавшие окончания срока ссылки, теперь были арестованы и направлены в лагерь, где вскоре бесследно исчезнут.

...Длительные, но осторожные хлопоты Троцкого достигли, наконец, желаемого результата: норвежское правительство выдало разрешение на въезд в страну. 15 июня революционный пилот-гим оказался в стране фьордов. Его немногочисленные друзья подобрали семье скромный отель в двух часах езды от Осло. Два года «французской жизни», когда Троцкий больше занимался вопросом, как и где укрыться,

<sup>11</sup> Trotskii coll. The Houghton Library. bMS Russ. 13.1 (10598—10631), folder 1 of 10. P. 2.

чем работал, увы, быстро съели небольшие сбережения, которые образовались в результате напряженной литературной деятельности.

Наконец скитальцам удалось найти подходящее жилище севернее столицы, где супруги поселились в семье социал-демократа Нудсена. Теперь они не могли иметь рядом охранников или помощников, а должны были полагаться лишь на самих себя. Поскольку министр юстиции Трюеве Ли (будущий Генеральный секретарь ООН) официально запретил Троцкому заниматься политической деятельностью на территории Норвегии, изгнанник решил полностью посвятить себя литературной работе, внимательно следя за событиями в Европе и особенно на своей родине.

Процесс Зиновьева, Каменева и их подельщиков представил Троцкого дирижером террористических «банд». А дирижировал он, по утверждению Вьшинского, из Норвегии. Репортеры кинулись к Троцкому. Тот с присущим ему красноречием заявил: все, что говорится о нем в Москве, есть «ложь века».

Тут же советский посол в соответствии с инструкциями из Москвы потребовал от норвежского правительства высылки Троцкого из страны.<sup>12</sup> Но правительство уже приняло меры: изгнанник был взят под стражу. От потрясений, вызванных чудовищными мистификациями московского процесса, он даже заболел. Зборовский, прочитав письмо, отправленное Натальей Ивановной Седову, и узнав о болезни, сообщал в Москву: «Старик» очень болен, совершенно не выходит, все время лежит, по ночам очень высокая температура, сильно потеет, что его чрезвычайно ослабляет. Необходим санаторий, но норвежские власти еще ухудшают его положение»<sup>13</sup>. Однако радостное для Москвы сообщение не получило развития. Организм Троцкого был крепок, и изгнанник вскоре поправился.

Однако Троцкий оказался в политическом карантине; к нему не пускали журналистов, просматривали его почту, не разрешали выходить на улицу. В таком полуарестованном состоянии Троцкий пробыл до середины декабря, когда, наконец, стало известно, что Мексика согласна принять изгнанника. Норвежское правительство зафрахтовало танкер «Рут», который 19 декабря покинул негостеприимную для Троцкого страну и вышел в океан. Троцкий очень боялся, что корабль могут потопить, и на всякий случай отправил сыну в Париж письмо-завещание. Но все обошлось, и в первые дни января 1937 года он был доставлен в последнюю в его жизни страну. Через три дня после отплытия Троцкого из Норвегии «Мак» сообщал в Москву: «Сынок» получил телеграмму от Хельды 23 декабря в 8.30 следующего содержания: «Дядя и тетя отправлены». «Сынок»

был очень взволнован этим фактом, так как по его расчетам «Старик» должен был отправиться в Мексику через Францию и здесь встретиться с ним и своими друзьями. Виза для проезда через Францию уже была получена... Немедленно «Сынок» решил отправить в Мексику Вана и Яна Френкеля, как людей совершенно верных...» Далее «Мак» сообщал, что вся почта для «Старика» идет пока по адресу Вана в Мексику на Пост Рестант (до востребования. — Ред.). В будущем важные письма предполагается посылать на адрес Диего Ривера, а менее важные на адрес какого-нибудь серьезного американца-троцкиста»<sup>14</sup>.

НКВД по-прежнему знал о каждом шаге изгнанника.

На всех московских процессах в качестве обвинений постоянно звучало: «терроризм», замыслы покушений на руководителей партии и правительства», намерения «убить Сталина», но ни разу не приводились конкретные факты, вещественные доказательства этих намерений. Нас сегодня интересует, были ли в действительности какие-то документальные свидетельства этого и насколько они правдоподобны. Нам придется сделать некоторые отступления, чтобы коснуться этих вопросов.

В Советском Союзе ни печать, ни радио в июне 1938 года не упоминали имя Генриха Самойловича Люшкова, в то время начальника Управления НКВД по Дальневосточному краю. 13 июня 1938 года, прихватив с собой шифры радиосвязи, некоторые списки и оперативные документы, ранним утром Люшков перешел советско-маньчжурскую границу и обратился за политическим убежищем к японцам. Опытный чекист пользовался доверием самого Сталина, не без ведома которого был избран депутатом Верховного Совета СССР. Этот высокопоставленный работник НКВД активно участвовал в чистке государственного, партийного и военного аппаратов и вовремя понял, что и над ним занесен нож гильотины, когда на Дальний Восток прибыли по указанию Сталина Мехлис и Фриновский, два близких доверенных лица советского диктатора с директивой «разобраться с Блюхером»<sup>15</sup>. Люшков, не подавший сигнала в Москву о «вредительской деятельности» маршала, понял, что он теперь обречен. Уж он-то знал, что подобные «промахи» системой не прощаются. Перебежчик активно сотрудничал с японской разведкой в надежде за услуги выехать в третью страну, чего ему, однако, так и не удалось сделать. Из ряда источников, о которых сообщает книга Е. Хияма «Планы покушения на Сталина», других материалов можно сделать вывод, что в Японии накануне войны рассматривался план ликвидации советского лидера с помощью Люшкова<sup>16</sup>.

<sup>14</sup> Там же, л. 88—89.

<sup>15</sup> ИГАСА, ф. 33987, оп. 3, д. 1084, л. 38.

<sup>16</sup> Kikuoka M. The changkuifeng Incident. A Study in Soviet-Japanese conflict, 1938. N. Y. 1988. P. 50:

<sup>12</sup> Известия, 1936, 30 августа.

<sup>13</sup> Архив КГБ, ф. 31660, д. 9067, т. 1, л. 81—82



Подтвердить или опровергнуть эту версию автор настоящей книги не в состоянии.

Напомню еще об одном факте. В первой половине февраля 1937 года перед группой своих сторонников в Париже меньшевик Дан прочел доклад, который, по сути, повторил его статьи в «Социалистическом вестнике», озаглавленные: «Смертный приговор большевизму» и «Кризис политики Советского Союза». В докладе он вскользь упомянул о том, что «среди меньшевиков имеются и такие, которые готовы признать в терроре положительную сторону». После доклада начались прения. Слово взял С. М. Шварц, в выступлении которого прозвучало: «Он, Шварц, вообще против террора, но, однако, считает, что при известных условиях террор может сыграть и положительную роль. Убийство Сталина привело бы в движение широчайшие массы, совладать с которыми не смог бы ни Ворошилов, ни Каганович, ни кто-либо другой, кто заменит Сталина»<sup>17</sup>.

Так докладывал в Москву присутствовавший на этом собрании агент НКВД. Умозрительные рассуждения некоторых меньшевиков, не имевших абсолютно никакого влияния на процессы в СССР, могли быть использованы подозрительным Сталиным для выводов на печально известном февральско-мартовском пленуме ЦК ВКП(б).

Но есть еще одно свидетельство, говорящее о намерениях «убрать» Сталина, связанное теперь уже с Троцким. Так вот, в архиве КГБ среди множества донесений Зборовского в Москву есть два любопытных документа. Приведу их с некоторыми сокращениями.

«22 января Л. Седов у него (Зборовского.— Д. В.) на квартире, по вопросу о 2-м московском процессе и роли в нем отдельных подсудимых (Радека, Пятакова и других) заявил: «Теперь колебаться больше нечего, Сталина нужно убить».

Для меня это было столь неожиданным, что я не успел на него никак реагировать. Л. Седов тут же перевел разговор на другие вопросы.

23 января Л. Седов в присутствии моем, а также Л. Эстриной бросил фразу такого же содержания, как и 22-го. В ответ на это заявление Л. Эстрина сказала: «Держи язык за зубами». Больше к этому вопросу не возвращались»<sup>18</sup>.

Донесение написано рукой Зборовского. Как отнестись к этому? Влеф? Миф? «Запрограммированное» донесение накануне очередного московского процесса? Но почему его не использовали ни Вышинский, ни Ульрих? Побоялись разоблачить тайного сотрудника в Париже? Вопросов больше, чем ответов. Приведенный документ значит с 8 февраля 1937 года в деле «Мака», или «Тюльпана», или «Канта», то есть М. Г. Зборовского. В конце концов Седов мог сказать

слова «Сталина нужно убить» просто в приступе бессильной ненависти к диктатору, сделавшему его семью глубоко несчастной и фактически обреченной. А может быть, он просто выдал конкретное намерение?

Правда, стоит напомнить, что за несколько месяцев до этого разговора начальник иностранного отдела ГУГБ НКВД комиссар государственной безопасности 2-го ранга Слуцкий докладывал Ежову:

«21 июля с. г. (1936-го) сын Троцкого Лев Седов предложил нашему источнику («Маку») поехать на нелегальную работу в СССР. Л. Седов сказал источнику буквально следующее: «Мы Вам дадим поручения, деньги и паспорт. Вы поедете на два-три месяца, объедете несколько местностей по адресам, которые я Вам дам. Работа нелегкая. Там, к сожалению, нет центра, куда Вы могли бы заехать. Люди изолированы, и их нужно искать...» Сроки возможного отъезда в СССР — Седов не определил»<sup>19</sup>. Через месяц на донесении появилась пометка: «Не пошло». То ли Зборовский не выразил желания ехать, то ли, что более вероятно, Седов и его отец изменили решение. Во всяком случае, «поездка» не состоялась.

Другой документ, поступивший от того же Зборовского уже в феврале 1938 года, более пространен. Вот некоторые фрагменты этого донесения в Москву. «С 1936 г. «Сынок» не вел со мной разговоров о терроре. Он начал издавать: «терроризм не противоречит марксизму. Бывают такие положения, в которых терроризм необходим...» Во время чтения газеты он сказал: «весь режим в СССР держится на Сталине, и достаточно его убить, чтобы все развалилось». Он неоднократно возвращался и подчеркивал необходимость убийства тов. Сталина.

В связи с этим разговором «Сынок» спросил меня: боюсь ли я смерти вообще и способен ли я был бы совершить террористический акт? На мой ответ, что все это зависит от необходимости и целесообразности, «Сынок» ответил: все дело зависит от человека, спо обного к смерти. Как народовольцы. А мне еще сказал, что я человек слишком мягкий для такого рода дел.

Разговор на этом внезапно был прерван появлением «Соседки» (Л. Эстриной.— Д. В.) и после не возобновлялся»<sup>20</sup>.

Был ли это зондаж по поручению Троцкого или личная инициатива Л. Седова — сказать сегодня чрезвычайно трудно. Думаю, в объяснении этого документа могут быть разные мотивы и соображения. Как и в первом случае, не исключено, что НКВД готовил разоблачительный документ, который можно было бы использовать на судебном процессе, в пропаганде, но лишь в случае отзыва или ликвидации Зборовского.

<sup>17</sup> Архив ИНО ОГПУ — НКВД. дело арх № 22918. л. 26—28.

<sup>18</sup> Архив КГБ, ф. 31660, д. 9067, т. I, л. 98.

<sup>19</sup> Там же, л. 42.

<sup>20</sup> Там же, л. 140а—140в.

Далее, разговор мог состояться просто в русле убеждений и настроений Седова, который, будучи весьма неуравновешенной, эмоциональной личностью, мог сам прийти к этой навязчивой идее: «убрать Сталина». Нельзя исключать (если это не «проделка» НКВД) и «прощупывания почвы» по поручению самого Троцкого: кто способен на террористический акт во имя идеи, во имя очищения от съевшего сталинизма.

Мы знаем, как сам Троцкий относился к террору и репрессиям, совершаемым во имя революции. Его работа «Терроризм и коммунизм» весьма красноречива. Так что исключать полностью зондаж в целях поиска террориста-смертника, видимо, нельзя. Все это, конечно, лишь версии, навеянные двумя реальными документами, пролежавшими более полувека в совершенно секретных архивах НКВД — КГБ. Ясно лишь одно: в действительности неизвестно ни одного реального факта, когда бы «троцкисты» совершили громкий теракт или были разоблачены в процессе его подготовки. Поэтому исключать мистификаторского характера донесений Зборовского тоже нельзя.

Все, кто был как-нибудь связан с Троцким, брались под наблюдение, арестовывались, ссылались, уничтожались. Одной из опасностей для людей становились... архивы, в которых люди из НКВД тщательно просматривали директивы, приказы, переписку Троцкого. Подавляющее большинство лиц, обнаруживаемых в архивных делах, обрекалось на преследования, часто с самым трагическим концом.

Одна из величайших в истории мистификаций захватила своим дурманом десятки миллионов людей. Колоссальная несчастная, обманутая страна судила лжеврагов. В центре гигантской скамьи подсудимых виднелась тень изгнанника. «Хотя Троцкий находился за тысячи километров от зала суда, — писал Александр Орлов, один из высокопоставленных советских разведчиков, порвавший с режимом в конце тридцатых годов, — все знали, что именно он, как и на предыдущих процессах, был здесь главным подсудимым. Именно ради него вновь пришла в действие гигантская машина сталинских фальсификаций, и каждый из подсудимых отчетливо чувствовал, как пульсируют здесь сталинская ненависть и сталинская жажда мщения, нацеленные на далекого Троцкого»<sup>21</sup>.

### **Одиночество в Койоакане**

Троцкий никогда не был отшельником. До последнего дня вокруг него было много людей. Но остаток жизни сопровождался для него нарастающим внутренним одиночеством. Не раз возвращался Троцкий и к мысли о самоубийстве, однако не хотел, чтобы такой трагический

исход бросил тень на его биографию борца и революционера.

...Вопреки ожиданиям изгнанника Мексика встретила его тепло.

Власти даже предоставили ему личный вагон. Фактически Троцкий оказался в стране как гость президента Карденаса и выдающегося художника Диего Риверы. По настоянию Риверы семья Троцкого остановилась в его пригородном доме. Великий художник и архитектор оборудовал свой дом как пристанище Искусства, Вдохновения и Творчества. Троцкий и его жена были в восторге от своего нового местопребывания. В своем первом письме в Париж Седову путешественник сообщал о своем желании организовать встречный контрпроцесс, на котором можно было бы разоблачить ложь, клевету и инсинуации московских процессов против него, Троцкого. Засев за подготовку контрпроцесса, он надеялся, что с его помощью сможет поднять мировую общественность против сталинской тирании. По каждому пункту обвинений, выдвинутых против него на московских процессах, Троцкий скрупулезно готовил документальное или логическое опровержение. Этим же были заняты два его секретаря и техническая сотрудница. Эта женщина, по документам и рассказам, была связана с НКВД и играла роль информатора о происходящем в окружении Троцкого<sup>22</sup>.

В результате инициативы ряда общественных организаций была создана Международная комиссия по расследованию обоснованности обвинений, выдвинутых на московских процессах против Троцкого. В состав комиссии вошли крупный американский философ и педагог Джон Дьюи, писательница Сюзан Лафолет, публицист левой ориентации Венъямин Стольберг, германский марксист Отто Рюм, теоретик анархистского движения Карло Треска, крупный американский социолог Эдвард Росси, равнин Эдвард Израэль и другие лица. Представители сопосольства и компартии ответили на приглашение в комиссию красноречивым молчанием.

Первое заседание комиссии шло с 10-го по 17 апреля в Голубом Доме Диего Риверы, в зале, вмещающем около 50 человек (второе состоялось в сентябре того же 1937 года). Провести процесс в Нью-Йорке, Париже или сходном месте оказалось сложно не только из-за финансовых трудностей, но и по соображениям безопасности. Троцкий догадывался, что в Мексике уже находятся люди НКВД.

Открывая заседание, профессор Дьюи заявил: «Если Лев Троцкий виновен во вменяемых ему действиях, никакая кара не может быть слишком суровой... Тот факт, что г. Троцкий лично отвергает эти обвинения, сам по себе не может иметь веса в глазах комиссии. Но тот

<sup>21</sup> Александр Орлов. Тайная история сталинских преступлений. Нью-Йорк, 1983, с. 279.

<sup>22</sup> The Gelfand Case. Vol. I, II, Labor Publications, London, 1985.

факт, что он был осужден без предоставления ему возможности быть выслушанным, имеет величайший вес перед лицом совести всего мира»<sup>23</sup>.

Находясь под перекрестным допросом, Троцкий одно за другим отвергал обвинения политического, уголовного, идеологического характера. Предоставление им документальных материалов в свою защиту (квитанций, проездных билетов, нотариально заверенных свидетельств) опровергло лжедоказательства московских процессов.

Особое впечатление на собравшихся произвело следующее мужественное заявление Троцкого: «Если комиссия решит, что я хоть в малейшей степени виновен в преступлениях, которые Сталин приписывает мне, я заранее обязываюсь добровольно сдать в руки палачей ГПУ...» Троцкий просил опубликовать эти слова во всех газетах, заявив в то же время, что если обвинения Сталина не подтвердятся, то это «будет вечным проклятием в адрес кремлевских руководителей».

12 декабря 1937 года на митинге в Нью-Йорке Джон Дьюи огласил вердикт комиссии, гласивший, что «московские процессы являются подлогами, а Троцкий и Седов невиновны»<sup>24</sup>. Полный текст заключения комиссии содержал 617 страниц. Троцкий очень надеялся, что издатели заинтересуются таким богатым материалом, разоблачающим Сталина и сталинизм. Увы, многие крупнейшие газеты Европы и Америки ни одним словом не обмолвились о контрпроцессе, не считая нужным из-за Троцкого ухудшать отношения со Сталиным.

Изгнанник, переживший большой моральный подъем, рассчитывал, что эхо контрпроцесса будет услышано во всем мире, однако для того времени значение его оказалось локальным. Даже такие выдающиеся деятели мировой культуры, как Бернард Шоу, отнеслись к нему с большой долей скептицизма.

После этой оправдательно-разоблачительной эпопеи Троцкий почувствовал не только опустошенность, но и глубокое одиночество. Кроме небольшой группки его сторонников да отдельных деятелей культуры, мир проявил равнодушие, более того — безразличие к судьбе изгнанника. И не Сталин, а именно это безразличие надломало Троцкого. Так много сил было отдано утверждению правды, но пока она ни на дюйм не потеснила злую волю.

...Почти два года, что Троцкий с женой жили у Диего Риверы, казались им в бытовом плане просто идиллическими. Но неожиданно наступил разрыв. Яблоком раздора стал президент Мексики Карденас. Троцкий относился к нему с подчеркнутым уважением, ведь именно он смело приютил революционного пили-

грима у себя в стране. И вдруг Ривера обрушивается в печати на президента как на «пособника режима Москвы». Троцкий пробовал объясниться с художником, но разногласия углублялись. Тогда изгнанник заявил, что не может больше пользоваться гостеприимством великого мастера.

Почти в это же время произошли еще некоторые события в семье Троцкого, о которых его биографы, за исключением И. Дейчера, ничего не говорят.

По прибытии Троцкого в Мексику его встречала и невысокая, хрупкая, милостивая женщина — Фрида Кало. Она была близким другом и секретарем Диего Риверы. Живя в Голубом доме, Троцкий часто виделся с Фридой. Неожиданно у 56-летнего Троцкого возникло сильное влечение к этой умной и обаятельной женщине. Это было необычно, потому что Троцкий по своей натуре был почти пуританином и придерживался весьма строгих взглядов на семейные отношения. Он искренне любил Наталью Ивановну, но здесь чуть не потерял голову — стал публично проявлять повышенные знаки внимания к Фриде, восхищаться ее умом и талантами. В июле Троцкий по предложению Диего выехал на три недели в поместье Гомеса Ландеро, где отдыхал, ездил верхом, занимался рыбалкой и немного писал. Через несколько дней к Троцкому приехала на один день Фрида. Никто не знает характера и глубины личных отношений двух этих людей: молодого, изломанного жизнью революционера и молодой красивой женщины. Об их отношениях становится известно Наталье Ивановне и Диего. Последовали трудные объяснения. У Троцкого хватило рассудка не доводить личные отношения до разрыва с женой. Отряхнув с себя магические чары мексиканки, Троцкий все откровенно поведал Наталье.

С Диего Риверой, несмотря на все старания, отношения наладить не удалось. В своей последней записке Фриде Кало Троцкий пишет: «Я надеюсь, что можно еще восстановить с ним дружбу политическую и личную, и я искренне надеюсь, что ты будешь моим сторонником в этом мнении. Я и Наталья желаем тебе отличного здоровья и подлинного артистического успеха и обнимаем тебя как нашего доброго и искреннего друга. Твой, как всегда, Л. Троцкий».

С помощью американских сторонников весной 1939 года Троцкий приобрел большой, но неудобный дом на окраине Койоакана, предместья Мехико. Покупка эта сразу поставила его в тяжелейшее финансовое положение. Он, где мог, публиковался, в нескольких издательствах получил авансы за незавершенную книгу «Сталин», пытался переиздать свои старые книги. А ведь, кроме семьи, нужно было содержать еще двух-трех секретарей, телохранителя, экономку, машинистку. В такой ситуации Троцкий был вы-

<sup>23</sup> Бюллетень оппозиции, № 56—57, июль — август 1937 г., с. 17.

<sup>24</sup> Бюллетень оппозиции, № 62—63, февраль 1938 г., с. 2.

нужден продать Гарвардскому университету (Хотонская библиотека, бумагами которой пользовался и автор этой книги) любезного разрешения ее директора) свой архив за поразительно малую цену в 15 тысяч долларов! Как и раньше в критический момент, помогли друзья вроде Альберта Голдмана, благодаря которому изгнанник смог более или менее наладить быт в своем последнем на этой грешной земле пристанище.

Прежде всего его друзья и охрана занялись укреплением высокого забора, дверей и ворот. Затем соорудили специальную башню с прожектором, установили сигнализацию. Дом стал похож на крепость. Двери в кабинете и спальне Троцкого обили листовым железом. Несколько полицейских круглосуточно охраняли здание снаружи; секретари и телохранитель — внутри. Наладили контролируемый порядок посещения. Незнакомые люди допускались к Троцкому без вещей и только в сопровождении его телохранителя. По-прежнему к нему шли журналисты, ехали сторонники из разных стран. Революционера навещали издатели, деятели троцкистских организаций. Через Вана Зборовский узнал, что Троцкий «падок на приезжих из Союза и Испании»<sup>26</sup>. Эту особенность пытались учесть в Москве.

Маленькая крепость жила своей напряженной и тревожной жизнью. Шла борьба за выживание. Окружение Троцкого давно заметило, что вокруг убежища изгнанника все чаще стали появляться незнакомые люди. Одно время по соседству возник даже настоящий наблюдательный пункт.

Троцкого страшно сковывали стены двора и дома. Выходя обычно вечером из кабинета во двор, он, погрузившись в раздумья, мерял три десятка шагов в одну сторону, затем в другую. Мысль о «кремлевском горце» все чаще витала в этом каменном дворике. Последние год-полтора жизни Троцкий отдал созданию политической биографии своего смертельного противника.

В мартовском (1938 года) письме в редакцию «Бюллетеня», он, в частности, пишет: «Я обязался в течение ближайших 18 месяцев написать книгу о Сталине и завершить книгу о Ленине. Все мое время, по крайней мере, в течение ближайших месяцев, будет посвящено этой работе... Для книги о Сталине мне нужна будет Ваша помощь. Послезавтра я вышлю Вам список всей литературы по Сталину, какая у меня имеется. Уже сейчас могу сказать, что у меня нет книги Барбюса. Не знаю, не было ли в архиве Льва специальных папок, касающихся Сталина...»<sup>27</sup>.

Троцкий еще не знает, что Марк Зборовский, оставшийся в «Бюллетене» после смерти Льва Седова, передаст содер-

жание этого письма своему резиденту и через некоторое время его прочтет сам Сталин. Нетрудно представить, какое впечатление оно произвело на диктатора. Именно в конце 1938 — начале 1939 годов последовали энергичные устные указания Сталина по ликвидации человека, которого он давно поставил вне закона.

А Троцкий продолжал писать своим сторонникам о необходимости поиска дополнительных материалов о Сталине. В письме к Коган в мае 1938 года он, в частности, пишет: «...было бы хорошо, если бы Вы просмотрели комплект «Красной Нови» с точки зрения политической эволюции Сталина, вернее, его зигзагов и методов борьбы с оппозицией. За всякую справку такого рода буду Вам очень благодарен, т. к. у меня здесь очень мало литературы, а книгу о Сталине я должен закончить в течение ближайших пяти месяцев...»<sup>28</sup>.

Презрев опасность, Троцкий иногда рано утром с одним-двумя сопровождающими, забывшись в угол кабины, изменив внешность, покидал свою крепость. Выезжали за 20—30 километров в горы, на поля. Бродили, искали оригинальные сорта кактусов, заходили в какую-нибудь деревню, обедали и с наступлением темноты возвращались домой. Каждая такая «экспедиция», как эти выезды называл Троцкий, была сопряжена с риском.

Несколько раз, когда по некоторым наблюдениям «гарнизон» мог ожидать прямого нападения, Троцкий выезжал на две-три недели в отдаленные села, где для него тайно снимали крестьянский домик, и где он, замаскировавшись и под другой фамилией, проводил с двумя сопровождающими эти дни.

Во время одного из таких выездов Троцкий писал жене: «... Читая твое письмо, я поплакал... Все, что ты говорила мне о нашем прошлом, правильно, и я сам сотни и сотни раз говорил это себе. Не чудовищно ли теперь мучиться над тем, что и как было свыше 20 лет назад? Над деталями? И тем не менее какой-нибудь ничтожный вопрос встает передо мной с такой силой, как если бы от ответа на него зависела вся наша жизнь... И я бегу к бумаге — записать вопрос...»<sup>29</sup>. После смерти последнего сына пустыня простерлась в душе изгнанника. Все в ней отзывалось болью и неизбежной печалью. Эфемерность своих нынешних усилий он, по-видимому, сознавал, но у него осталась в жизни лишь одна реальная цель — сохранить реноме революционера.

Одиночество несчастных супругов красили их последние настоящие друзья — Альфред и Маргарита Росмеры. Они приехали в Койоакан в октябре 1939 года и прожили в угрюмом доме-крепости

<sup>26</sup> Архив КГБ, ф. 31660, д. 9067, т. I, л. 163  
<sup>27</sup> Trotskii coll. The Houghton Library. BMS Russ 13.1. (7710—7740), folder 1 of 4. P. 2.

<sup>28</sup> Там же (8699—8702). P. 1.

<sup>29</sup> Там же (10598—10631), folder 1 of 10. P. 2.

восемь месяцев. Но самое главное, они, наконец, привезли, с собой внука Севу.

Мальчик, меченный роком судьбы Троцкого, скрасил одиночество мятежно-го изгнанника.

Троцкий был равнодушен к религии. Но Бердяев ошибается, утверждая, что он «ограничивается плоским замечанием, что не может найти психологического соприкосновения с людьми, которые умудряются одновременно признавать Дарвина и Троицу»<sup>30</sup>. Нет, революционер говорил, и не раз, в своих речах и статьях о религии, но его никогда не интересовали великие библейские пророки. Эти пророки были провозвестниками, объявляющими волю Бога. Правда, Всевышний обезопасил себя в Священном Писании: «Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил сие слово, но говорил сие пророк по дерзости своей».

Троцкий вещал от имени революции, и его «дерзость» могла рассчитывать только на марксистские индугленции.

Он всегда мысленно пытался поднять завесу над грядущим и заглянуть за линию горизонта. Касалось ли это перспектив русской революции, гражданской войны, мирового пожара, сроков и характера приближающейся войны. Для него это было способом «раздвинуть» рамки мышления, методом предвосхищения результатов своей деятельности, приемом увлечь своих сторонников реальностью цели. Суждения его были безапелляционны, категоричны, жестки.

Больше всего Троцкий пророчествовал в отношении судеб своей родины, социализма в СССР, будущности Сталина. Нужно сразу сказать, что в этой области его прогнозы в значительной мере оказались верными, а что касается исторической судьбы советского диктатора, глубоко провидческими.

Наиболее смелые и глубокие прогнозы развития процессов на своей родине Троцкий осуществил в книге «Что такое СССР и куда он идет?», или в ее переработанном варианте — «Преданная революция». В своих рассуждениях изгнанник делает ряд парадоксальных выводов: «Подавление советской демократии всеильной бюрократией, как и разгром буржуазной демократии фашизмом, вызваны одной и той же причиной: промедлением мирового пролетариата в разрешении поставленной перед ним исторической задачи. Сталинизм и фашизм, несмотря на глубокое различие социальных основ, представляют собою симметричные явления. Многими чертами своими они убийственно похожи друг на друга»<sup>31</sup>.

Нынешний режим в СССР, многократно повторяет Троцкий, не имеет будущего. «Чиновник ли съест рабочее государство или же рабочий класс справится с

чиновником? Так стоит сейчас вопрос, от решения которого зависит судьба СССР»<sup>32</sup>. Он полагает, что в СССР «неизбежна политическая революция» (не социальная), которая изменит форму правления, устранив партийную и государственную бюрократию. Нужно «восстановить право критики и действительной свободы выборов», нужна «свобода советских партий», следует потеснить «дорогие игрушки» (строительство престижных дворцов) «в пользу рабочих жилищ»<sup>33</sup>; «чины будут немедленно отменены, побрякушки орденов поступят в тигель»<sup>34</sup>. «Молодежь получит возможность свободно дышать, критиковать, ошибаться и мучать. Наука и искусство освободятся от оков. Наконец, внешняя политика вернется к традициям революционного интернационализма»<sup>35</sup>.

Многое из этого прогноза, особенно связанное с устранением бюрократического абсолютизма, свободным волеизъявлением народа, гласности (по Троцкому, «свободы критики»), через десятилетия стало программными линиями трудового обновления российского государства. Троцкий, поднявшись над священным мифом мировой революции, ясно, осязаемо увидел, что то общество, которое строилось под руководством Сталина и его окружения, нигде не могло прийти, кроме как в тупик. Чувство исторической перспективы, социальной интуиции на сей раз ему не изменило. «Главная опасность для СССР — сталинизм»<sup>36</sup>. В своей статье «Пора перейти в международное наступление против сталинизма» Троцкий убежденно пророчествует: «Мы уверенно бросаем вызов сталинской банде перед лицом всего человечества... Отдельные из нас могут еще пасть в этой борьбе. Но общий исход ее предопределен. Сталинизм будет раздавлен, разгромлен и покрыт бесчестием навсегда...»<sup>37</sup>.

Думаю, пророчество Троцкого в отношении Сталина и сталинизма — одна из его главных заслуг перед историей. Хотя сам он никогда не упоминал о своем вкладе в бетон тоталитаризма системы. А он, этот вклад, значителен.

Но Троцкий стал разоблачителем... Когда казалось, что монолитная империя непоколебима, а положение ее лидера в высшей степени прочно, далекий изгнанник не переставал будоражить мировое общественное мнение, привлекал внимание к опасности диктаторства Сталина, предрекал ему неминуемый внутренний крах. Говорили ли здесь только личная неприязнь и даже ненависть? Отрицать

<sup>32</sup> Там же, с. 243.

<sup>33</sup> Там же, с. 245.

<sup>34</sup> К учреждению и созданию ордена Красного Знамени Троцкий имеет прямое отношение (см. ЦГАСА, ф. 33987, оп. 2, д. 86, л. 92).

<sup>35</sup> Что такое СССР и куда он идет? Париж, 1936, с. 236—237.

<sup>36</sup> Бюллетень оппозиции, № 42, февраль 1935 г., с. 4.

<sup>37</sup> Бюллетень оппозиции, № 60—61, декабрь 1937 г., с. 4.

<sup>30</sup> Новый град. Париж, 1931, № I, с. 93.

<sup>31</sup> Л. Троцкий. Что такое СССР и куда он идет? Париж, 1936, с. 229.

этого нельзя. Но главное все же заключается в анализе советской действительности, который непрерывно вел Троцкий, внутренних и международных дел СССР, глубоких противоречий, связанных с перерождением партии и государства.

Троцкий где рациональным, а где и интуитивным путем укрепился в выводе о временном волевом, силовом укреплении системы «бюрократического абсолютизма». В таком «сжатом», затянутом ремнями военной опасности и «карательных органов» режиме система долго существовать не может. А любое ослабление этой «хватки», этого диктаторского обруча с неизбежностью приведет общество, народ, партию к осознанию непреходящего значения тех ценностей, которые в Советском Союзе давно утрачены: свободы, народовластия, уважения разномыслия. Пророчество, обращенное к судьбе Сталина и сталинизма, поразительно не только по своему содержанию, категоричности выводов, но и по времени их оглашения. Уже с 1926 года Троцкий не устал говорить об обреченности сталинизма.

Будучи одним из создателей Красной Армии и ее революционным строителем, затворник из Койоакана пристально следил за политическими маневрами государств накануне войны. Еще в начале тридцатых годов он предсказал неизбежность второй мировой войны. Пожалуй, наиболее поразительный прогноз грядущей войны, различных ее параметров, содержится в статье Троцкого «Сталин — интендант Гитлера».

В ней он пишет, что «имеет право сослаться на непрерывный ряд собственных заявлений в мировой печати, начиная с 1933 года, на ту тему, что основной задачей внешней политики Сталина является достижение соглашения с Гитлером... Общие причины войны, — справедливо отмечает автор статьи, — заложены в непримиримых противоречиях мирового империализма. Однако непосредственным толчком к открытию военных действий явилось заключение советско-германского пакта... Сталин боится Гитлера. И боится не случайно. Армия обезглавлена. Это не фраза, а трагический факт. Ворошилов есть фикция. Его авторитет искусственно создан тоталитарной агитацией. На головокружительной высоте он остался тем, чем был всегда: ограниченным провинциалом, без кругозора, без образования, без военных способностей и даже без способностей администратора». Троцкий беспощадно пишет, что Пакт «обеспечивает Гитлеру возможности пользоваться советским сырьем». Получается, ядовито констатирует Троцкий, что «Гитлер ведет военные операции, Сталин выступает в качестве интенданта...»

Троцкий, ссылаясь на раннее заявление Димитрова о планировании в Берлине наступательных операций, заявляет: «Осенью 1941 года Германия должна открыть наступление против Совет-

ского Союза». Весьма вероятно, что через пару лет после оккупации Польши «Германия нападет на Советский Союз...» «В обмен за Польшу Гитлер предоставил Москве свободу действий в отношении балтийских лимитрофов. Как ни велики, однако, эти «выгоды», они имеют в лучшем случае конъюнктурный характер, и их единственной гарантией является подпись Риббентропа под «клочком бумаги»<sup>38</sup>.

Как бы мы ни относились к Троцкому, нельзя не отметить: его прогнозы были сделаны летом 1939 года!

Троцкий в ряде своих статей о предвоенных годах, но особенно в материале «Двойная звезда: Гитлер — Сталин», написанном в декабре 1939 года, но опубликованном только после его смерти, верно подметил маневры по линии большого треугольника: СССР — Германия — западные демократии. Каждая из сторон пытается обеспечить собственную безопасность ценою другой. Циничные торги, освященный декларациями обмен, дележ на «зоны интересов», умалчивание и сокрытие истинных целей — все это с избытком присутствовало в дипломатической практике прошлых лет. Пророчества Троцкого предвоенных лет очень похожи на аналитические обзоры историков и политологов наших дней, обращающихся ныне к тем далеким уже, предвоенным годам. Но их разделяют десятилетия!

Судьба Троцкого была тесно связана после революции с армией, военной машиной. Поэтому не случайно, что он довольно часто обращается к теме военной организации, военной политики, конкретных военных... Оценка Троцким состояния Красной Армии была верной. Разве военная система могла быть прочной, если, допустим, было достаточно телеграммы начальника 3-го отдела ГУГБ НКВД Миронова, командированного на Дальний Восток, чтобы указанные в ней Пупна, Карпель, Кашеев, Вольский, Коммандантов, Ефремов, Фрумкин, Максимов, Тулько, Горшков, Атто, Ионов были арестованы? Телеграмма Миронова заканчивалась зловещими словами: «Арест остальных подготавливаем»<sup>39</sup>.

Троцкий, даже не зная всех этих и иных подробностей будней страны, партии, армии, по отрывочным данным прессы весьма верно представлял картину происходящего в СССР. Если его «глобальное» мышление в вопросах мировой революции здорово его подвело и он тут оказался лишь «дерзким пророком», то в отношении собственной родины его прогноз и пророчества по главным пунктам оказались верны: сталинизм не имеет будущего, от войны с Гитлером стране не уйти, низвержение Сталина с исторического пьедестала будет страшным.

...Изгнанник, меряя быстрыми шагами небольшой двор своего унылого убежи-

<sup>38</sup> Бюллетень оппозиции. № 79—80. август — октябрь 1939 г., с. 14—16.

<sup>39</sup> ЦГАСА, ф. 33987, оп. 3, д. 1006, л. 30.

ща, лихорадочно думал о судьбе своих пророчеств. Сбудутся ли они? Ведь от того, насколько близки они к грядущей реальности, зависит уже и день нынешний, его день...

### **Сорок три месяца**

Троцкий был обречен. Вместе с депортацией в Мексику он получил «отсрочку» в сорок три месяца. Ибо в Кремле судьба его была давно решена. Троцкий официально к смертной казни сталинским судом не приговоривался, ведь вся семья изгнанника была лишена советского гражданства, а судить негражданина СССР — на это даже Сталин не решился.

Правда, один документ, который не оставляет сомнений в намерениях советского руководства в отношении Троцкого, все же имеется. В материалах дела по так называемому «антисоветскому троцкистскому центру», проходившего 23—30 января 1937 года, Троцкий не только множество раз упоминается в ходе процесса как законченный преступник, но ему посвящен и заключительный фрагмент приговора. Его тень витала в зале судилища. В обвинительном заключении, которое зачитал секретарь суда Костюшко, в речах председателя Военной коллегии Верховного Суда Ульриха, союзного прокурора Вышинского в адрес Троцкого и его «банды» было произнесено так много хулы и обвинений, что их хватило бы на десятки процессов самых закоренелых преступников.

В 19 часов 15 минут суд удалился на совещание, хотя приговор, разумеется, уже был согласован со Сталиным и предрешен. Но тем не менее пока Вышинский с Ульрихом докладывали вождю об окончании процесса, пили за кулисами чай, зал не расхохотился. Обреченные ждали долгие восемь часов, сохраняя где-то в глубине души крохотную искру надежды. Но лишь четверым будет сохранена на какое-то время жизнь. Завершая чтение приговора, армвоенирист Ульрих произнес:

«...Высланные в 1929 году за пределы СССР и лишённые постановлением ЦИК СССР от 20 февраля 1932 года права гражданства СССР враги народа Троцкий Лев Давыдович (так в тексте. — Д. В.) и его сын Седов Лев Львович, изблеченные показаниями подсудимых Ю. Л. Пятакова, К. Б. Радека, А. А. Шестова и Н. И. Муралова, а также показаниями допрошенных на судебном заседании в качестве свидетелей В. Г. Ромма и Д. П. Бухарцева и материалами настоящего дела в непосредственном руководстве изменнической деятельностью троцкистского антисоветского центра, в случае их обнаружения на территории Союза ССР — подлежат немедленному аресту и преданию суду Военной коллегии Верховного суда Союза ССР»<sup>40</sup>.

<sup>40</sup> Процесс антисоветского троцкистского центра. Юридическое издательство. М., 1937, с. 258.

Ульрих мог и не знать, что приказ о физической ликвидации Троцкого был отдан Сталиным уже давно.

Автор настоящей книги уже писал раньше, что первые два-три года изгнанник еще сохранял какие-то эфемерные надежды на возвращение домой. Он понимал, что это может произойти лишь в случае отстранения Сталина от руководства или в связи с какими-то драматическими изменениями курса внутренней и внешней политики. Так или иначе Троцкий дважды подавал сигналы из Койоакана о возможности примирения без каких-либо предварительных условий. Основой для такого примирения, по мысли Троцкого, могло бы стать международное революционное движение. Изгнанник не терял надежды на его подъем, что не только соответствовало убеждениям революционера, но и подтвердило бы в глазах московского руководства его историческую правоту.

Каждый день Троцкий занимался анализом почты. Его сторонники в Испании в 1931 году настойчиво сообщали своему патрону: революция в стране «на подходе», но в рабочем и коммунистическом движении нет единства. Коминтерновцы же отвергают какое-либо сотрудничество с подлинными «марксистами-ленинцами».

После долгих размышлений Троцкий в феврале 1931 года засел за письмо в Москву. Им двигало желание убедить сталинское руководство в необходимости способствовать объединению усилий всех революционных сил в Испании. Тогда за Пиренеями мог бы вспыхнуть европейский факел, который не удалось зажечь в Германии. В глубине души Троцкий надеялся, что на это его письмо может последовать осторожное предложение к «мировой», хотя бы в вопросах международных. Но, будучи убежденным антисталинцем, Троцкий знал, что все будет решать один человек, а он не хотел, не мог и чего у него просить. После многократных зачеркиваний очередной лист бумаги, скомканный, летел в корзину. Наконец изгнанник набело написал:

«В Политбюро ВКП(б)

Дальнейшая судьба испанской революции полностью или целиком зависит от того, сложится ли в ближайшие месяцы в Испании боеспособная коммунистическая партия. При системе искусственных, навязываемых движению извне расколов это неосуществимо...»

Ссылаясь далее на опыт русской революции и призывая к единству, Троцкий пророчески предостерегает: «...Поражение испанской революции почти автоматически приведет к установлению в Испании настоящего фашизма, в стиле Муссолини. Незачем и говорить о том, какие последствия это имело бы для всей Европы и для СССР».

Троцкий задолго до победы Гитлера в Германии видит глубину опасности фашизма для цивилизации. Но тут же пытается повернуть внимание далекого Политбюро (хотя обращался фактически к

Сталину) к новому историческому шансу для пока не свершившейся мировой революции.

«...С другой стороны, успешное развитие испанской революции в условиях еще далеко не завершившегося мирового кризиса открывало бы гигантские возможности. Глубокие разногласия по ряду вопросов, касающихся СССР и мирового рабочего движения, не должны помешать сделать честную попытку единого фронта на арене испанской революции. Еще не поздно!»

Троцкий с трудом, видимо, выдавливает слова — «честную попытку...». Он-то знает, что ничего честного от Сталина ждать нельзя. Вся его судьба последних пяти — семи лет тому свидетельство. Троцкий делает «серьезную попытку объединения коммунистических рядов», ибо разногласия «на 9/10 лежат вне условий испанской революции». Далее Троцкий предлагает и предостерегает:

«Чтобы не создавать даже и внешних затруднений, я делаю это свое предложение не в печати, а в настоящем письме. Ход событий в Испании, — в этом сомневаться нельзя, — будет каждый день подтверждать необходимое единство коммунистических рядов. Ответственность за раскол явится в данном случае грандиозной исторической ответственностью.

15 февраля 1931 г.

Л. Троцкий»<sup>41</sup>.

Написав обращение к высшему партийному ареопагу, Троцкий, по-видимому, задумался. Не будет ли расценено это письмо как сигнал к капитуляции или предложение политической сделки? Подобная мысль могла быть мучительной. Письмо легло в ящик стола.

Но в конце апреля Троцкий извлек обращение в Москву и, дописав: «Тем обязательнее, тем неотложнее принятие всех тех мер, о которых говорило мое письмо.

27 апреля 1931 г. Кадикей. Л. Тр.»<sup>42</sup>, — запечатал в простой конверт и надписал латинскими буквами: «В Политбюро ВКП(б). СССР, Москва».

С тех пор письмо и покоится в партийном архиве.

Троцкий не дождался, естественно, ответа и опубликовал через месяц свое письмо в «Бюллетене оппозиции», но без добавления и изменив почему-то дату написания на 24 апреля<sup>43</sup>.

Затворник из Кадикей не знал, что с его письмом, действительно ознакомились члены Политбюро, и первым — Сталин. Резолюция генсека весьма красноречива и не носит частного характера. По существу, еще в мае 1931 года Сталин дал понять: Троцкий должен быть полностью устранен с арены политической борьбы. Обычно свои предписания на документах, которые со временем станут основным

законом государства, писались им синим, реже красным карандашом. Иногда карандашом простым, совсем редко — чернилами. Эта резолюция написана красными чернилами:

«Молотову, Кагановичу, Постышеву, Серго, Андрееву, Куйбышеву, Калинин, Ворошилову, Рудзутак».

Думаю, что господина Троцкого, этого пахана и меньшевистского шарлатана, следовало бы огреть по голове (выделено мной. — Д. В.) через ИККИ. Пусть знает свое место.

И. Сталин»<sup>44</sup>.

Здесь же подобострастные меты членов Политбюро: «Правильно. Ордж.», «Ворошилов», «В. Куйбышев». Молотов более многословен: «Предлагаю не отвечать. Если Троцкий выступит в печати, то отвечать в духе предложения т. Сталина».

Стоит подумать, что имел в виду Молотов, предлагая: «отвечать в духе предложения т. Сталина»? Ведь Сталин ничего не предлагал, кроме как «огреть по голове...». Обращает на себя внимание, что генсек адресовал документ не всем членам Политбюро: нет фамилии С. М. Кирова. Не всем кандидатам в члены — отсутствуют фамилии А. И. Микояна, Г. И. Петровского, В. Я. Чубаря, но адресует А. А. Андрееву, который уже освобожден от обязанностей кандидата, став Председателем ЦКК ВКП(б). Ход мыслей Сталина не всегда можно проследить. Но в целом столь откровенно указующая резолюция однозначно определила отношение генсека к дальнейшей судьбе изгнанника.

Зная вес Сталина к тому времени в партии и стране, можно с уверенностью считать, что это было фактическое указание на физическое устранение Троцкого. Сталин приказы на расправу отдавал обычно иносказательно: «осудить по первой категории» (т. е. к расстрелу). Здесь «осудить» к чему-либо нельзя, и генсек распоряжается совершенно откровенно: нужно нанести физический удар — «огреть по голове». Я долго писал политический портрет Сталина и с абсолютной уверенностью говорю: резолюция дала сигнал к физическому устранению Троцкого. Такое уж получилось и буквально-историческое совпадение: «огреть по голове». Спустя девять лет (раньше просто не удалось) «огреют» Троцкого в прямом смысле этого слова.

Еще в конце двадцатых годов при Председателе ОГПУ Межжизинском была создана специальная группа для осуществления особых операций за рубежом в отношении российской контрреволюции и в том числе для ликвидации политических противников нового режима. Ее действия, связанные с организацией террористических актов за рубежом, рассматривались руководством как особо патриотические, выражающие высшее классовое возмездие врагам социализма. Участники террористических операций

<sup>41</sup> ЦПА ИМЛ, ф. 558, оп. 2, д. 6118, л. 35—36.

<sup>42</sup> Там же, л. 36.

<sup>43</sup> Бюллетень оппозиции, № 21—22, май — июнь 1931 г., с. 17.

<sup>44</sup> ЦПА ИМЛ, ф. 558, оп. 2, д. 6118, л. 35.



удостаивались высоких наград и быстро продвигались по службе. В последующем были созданы Иностранный и Секретно-политический отделы ГУГБ НКВД. Для работы в них привлекались крупные советские разведчики, добывавшие важную информацию для советского руководства. В их числе следует прежде всего назвать Зубова, Серебрянского, Судоплатова, Слуцкого, Колесникова, Эйтингона, Шпигельглаза, Фитина и других.

В раскрытии существа всей этой работы неопределимое значение имеют личные свидетельства крупного советского разведчика, бывшего генерал-лейтенанта Павла Анатольевича Судоплатова. 27 июня 1989 года Судоплатов писал Генеральному прокурору СССР: «За тридцать с лишним лет работы в разведке все операции, в которых я участвовал, исходили не от Берии, а от ЦК партии... Разведывательно-диверсионные операции за рубежом и в тылу германо-фашистских войск проводились по прямому указанию ЦК партии. (Естественно, не только получали задания от соответствующего отдела в ЦК, но и докладывали ему)<sup>45</sup>. Все отчеты по проведенным мною специальным операциям хранятся в общем отделе ЦК КПСС, а один из них написан от руки на одной странице мною...»<sup>46</sup> (Скажем сразу — это отчет о завершении операции в Мексике по ликвидации Троцкого. — Д. В.)

В другом письме Судоплатова в адрес Политбюро ЦК КПСС с просьбой о реабилитации говорится, что наряду с советскими разведчиками в составе Иностранного отдела НКВД были «политэмигранты из Коминтерна, направленные в Особую группу Димитровым, Мануильским, Долорес Ибаррури»<sup>47</sup>. В письме бывшего работника этой группы Д. П. Колесникова в ЦК КПСС также отмечается, что в Особую группу входили видные работники Коминтерна...»<sup>48</sup>.

Иностранный отдел, как явствует из воспоминаний Судоплатова, Колесникова, а также Эйтингона, состоял не только из советских разведчиков-нелегалов, но и лиц, эмигрировавших в СССР по политическим и идейным мотивам, рекомендованных для разведывательной работы руководителями Коминтерна. С иностранным отделом сотрудничало (в плане добывания информации) немало крупных деятелей Коминтерна и даже иностранных дипломатов. Например, как рассказывал Павел Анатольевич, с советской разведкой активно сотрудничал болгарский посол в Москве Стаменов Иван Тодоров.

В июле 1935 года известный советский разведчик С. М. Шпигельглаз получает устное задание от Ягоды, поставленное тому хозяином Кремля: «ускорить ликвидацию Троцкого». Шпигельглаз привел в действие всю агентуру во Франции с целью исполнения «высочайшего повеления», но Троцкий был очень осторожен. Есть основания предполагать, что его своевременно предупредил об организованной «охоте» Игнатий Райс, польский коммунист, работавший на советскую разведку с 1925-го по 1937 год.

Люди Шпигельглаза несколько раз нападают на след Троцкого, устанавливая за ним наблюдение, выбирая подходящее время для акции, но... Троцкий исчезает вновь. В Москве нервничают, торопят, выражают резкое недовольство. Когда же в июне 1935 года становится известно, что изгнанник перебрался в Норвегию, заместителя начальника седьмого отдела ГУГБ НКВД Шпигельглаза вызывают в Москву. В это время там была уже совсем иная обстановка, нежели та, которую он оставил, отправляясь на задание во Францию. Шпигельглаз попал под подозрение.

На февральско-мартовском Пленуме ЦК ВКП(б) 1937 года Сталин заявил: «У нас не хватает одного: готовности ликвидировать свою собственную беспечность, свое собственное благодушие, свою собственную близорукость...» Вождь призвал и в будущем врагов «разбивать так же, как разбиваем их в настоящем, как разбивали их в прошлом»<sup>49</sup>. Сталин обвинил спецслужбу в нерешительности и мягкости. Не случайно, что в резолюции по докладу Ежова, уже сменившего Ягду, утверждалось, что ГУГБ НКВД имело возможности еще в 1932—33 годах вскрыть заговор троцкистов и покончить с ними. В резолюции упоминаются непресеченные связи некоторых должностных советских лиц в Берлине с Л. Седовым, о «преступных» отношениях начальника Секретно-политического отдела ГУГБ НКВД Молчанова с троцкистом Фурером и т. д. По существу, выясняется, что работники Ягоды, а затем и Ежова следили за поездками всех высокопоставленных деятелей Советского государства за границу. Об этом можно судить по докладам агентов НКВД из Парижа<sup>50</sup>.

В постановляющей части Пленума ЦК Наркомвнуделу предписано «довести дело разоблачения и разгрома троцкистских и иных агентов до конца, с тем чтобы подавить малейшее проявление их антисоветской деятельности». Предлагалось «укрепить кадры ГУГБ НКВД новыми людьми». Ягода, не исполнивший воли вождя по устранению Троцкого, был обречен. Его расстреляют через год. Для всех это станет сигналом: Сталин не мо-

<sup>45</sup> Архив КГБ, ф. 31660, д. 9067, т. I, л. 141.

<sup>46</sup> Копия заявления П. А. Судоплатова от 27 июня 1989 года Генеральному прокурору Союза ССР Сухареву А. Я.

<sup>47</sup> Копия письма П. А. Судоплатова в Комиссию Политбюро ЦК КПСС по рассмотрению заявлений о необоснованных репрессиях от 17 февраля 1987 года.

<sup>48</sup> Письмо Д. П. Колесникова в Комиссию ЦК КПСС от 1 июня 1988 года.

<sup>49</sup> ЦПА ИМЛ. ф. 17. оп. 2, дело 612, вып. III, л. 10.

<sup>50</sup> Архив КГБ, ф. 31660, д. 9067, т. I, л. 79, 83.

жет держать руководителей, которые не в состоянии выполнять его поручения. Вскоре был арестован и через какое-то время расстрелян и Шпигельглаз.

Павел Анатольевич Судоплатов, хорошо знавший Шпигельглаза, так прокомментировал его судьбу: «Он не выполнил задания по ликвидации Троцкого. Тогда такого простить не могли».

В составе Иностранного отдела Судоплатов выполнял ряд важных заданий руководства. Как он напишет в Политбюро из Владимирской тюрьмы: «Я не щадил себя в этой работе, когда в интересах дела, будучи еще молодым советским разведчиком, нелегально переходил границы враждебных нам государств с паспортами и без документов, через леса и болота Финляндии, и когда, в течение полутора лет, проникнув в логово врага, возвращаясь и жил в штаб-квартирах и квартирах руководящих кругов германо-фашистской террористической организации в Берлине, Вене, Брюсселе, Париже, Хельсинки, Эстонии, Голландии. Так было и тогда, когда партия утвердила меня в должности организатора разведывательно-диверсионной работы против гитлеризма и военно-стратегических баз США вокруг СССР... Потерпел полный крах и так называемый IV троцкистский Интернационал»<sup>51</sup>. После XVIII съезда партии Иностранный отдел был преобразован в 1-е управление, которое возглавил Фитин, а Судоплатов был назначен его заместителем. Но в составе управления продолжала существовать и Особая группа, которую возглавлял известный разведчик, бывший эсер Яков Исакович Серебрянский. Позже, после июня 1941 года, Особая группа была выделена в крупное самостоятельное подразделение.

С началом войны создали специальную группу для диверсионной работы в тылу врага. В приказе Наркома внутренних дел № 00882 от 5 июля 1941 года говорилось:

«1. Для выполнения специальных заданий создать Особую группу НКВД.

2. Особую группу подчинить непосредственно народному комиссару...»<sup>52</sup>.

Расширение масштабов диверсионной деятельности на оккупированной противником территории привело к преобразованию Особой группы при наркоме в самостоятельный 2-й отдел НКВД. Но и здесь преобразования не прекратились. Приказом Наркома внутренних дел за номером 00145 от 18 января 1942 года этот отдел был преобразован в Четвертое управление НКВД СССР<sup>53</sup>. Начальником этих подразделений был Судоплатов, ставший 9 июля 1945 года генерал-лейтенантом, а его заместителем — Эйтингон, которому тем же постановлением правительства было присвое-

но звание генерал-майора. Кстати, оба к своим орденам добавили и по полковническому ордену Суворова.

Из рядов Особой группы и подразделений, которые были под руководством 2-го отдела, а затем и 4-го Управления НКВД, вышло 22 Героя Советского Союза, многие из которых известны всей стране: Д. Н. Медведев, Н. А. Прокопюк, С. Ваунашасов, К. Орловский, Н. И. Кузнецов, В. А. Карасев, А. Н. Шихов, Е. И. Мирковский и другие. Люди Судоплатова активизировали партизанское движение на оккупированных территориях, организовывали террористические операции по уничтожению предателей, немецких руководителей и т. д. При непосредственном участии офицеров 4-го Управления были уничтожены нацистский генерал Ильген, гитлеровский судья Функ, гауляйтер Кубе и т. д.

Судоплатов в своем письме в Политбюро сообщает о фактах, которые до недавнего времени были тайной за семью печатями, но о которых по прошествии почти полувека стали говорить. В частности, разведчик, обращаясь из советской тюрьмы к высшему руководству, напоминал: «В 1944—46 годах мы по совместительству возглавляли разведывательное бюро Спецкомитета при Совнаркоме СССР по атомной проблеме. Активно использовался важный канал информации о научно-технических разработках атомного оружия. Материал этот был использован академиком Курчатовым, Кикоиным, Алихановым, Александровым, Ванниковым и Завенягиным. В системе НКВД — НКГБ это возглавляемое мною подразделение носило название «Отдел С». О результатах нашей работы регулярно посылались соответствующие отчеты в ЦК»<sup>54</sup>. Так что глadiаторы Системы занимались широким спектром проблем...

После неудач с попыткой ликвидации Троцкого в Турции, а затем во Франции (в Норвегии ввиду кратковременности пребывания изгнанника даже не успели развернуть серьезную подготовительную работу) Сталин не оставил мысли устранить своего непреклонного обличителя. Это намерение окрепло после того, как вождь советского народа в конце 1936 года получил известие из Франции о подготовке к изданию книги Троцкого «Преданная революция». Более того, до Сталина дошли сведения, что о нем готовится и специальная работа. Сама мысль об этом для кремлевского руководителя была невыносимой.

После смерти Седова Секретно-политическому отделу было нужно определить дальнейшую судьбу «Тюльпана» — Зборовского. В апреле 1938 года в Париж прибывает специальный представитель Центра (разумеется, с дипломатическим паспортом), чтобы на месте ре-

<sup>51</sup> Письмо П. А. Судоплатова в Комиссию Политбюро ЦК КПСС по рассмотрению заявлений о необоснованных репрессиях, с. 1.

<sup>52</sup> ЦОА КГБ, ф. 6, оп. 1-Т, д. 161, л. 88.

<sup>53</sup> Там же, л. 105.

<sup>54</sup> В Комиссию Политбюро ЦК КПСС по рассмотрению заявлений о необоснованных репрессиях, с. 2.

шить, как использовать «Тюльпана» дальше.

Московский «инспектор» под кличкой «Вест» отмечает, что после смерти «Сынка» положение «Тюльпана» стало трудным. В шифровке говорится, что наибольшая опасность агенту исходит со стороны Л. Эстрин («Соседки»), но что «Тюльпан» эту угрозу совершенно недооценивает. Ко всему прочему он очень ленив по природе. Москвич спрашивает разрешение Центра на то, чтобы Зборовский сосредоточился на получении троцкистской информации, продолжении «работы» с «Бюллетенем оппозиции», на влиянии в «русской секции IV Интернационала». Но главное, Секретно-политический отдел пытается использовать своего оставшегося без работы агента для проникновения к Троцкому.

В этом плане предлагалось «внедриться в охрану «Старика», но Ван (секретарь Троцкого.— Д. В.) не ответил на письмо «Тюльпана». Очередным парходом будет снова послано письмо Вану... Далее «Вест» говорит о необходимости — в случае, если не удастся ввести в охрану «Старика» Зборовского, — направить через Международный Секретариат «нужных пару-тройку немцев-троцкистов», которые могут оказаться очень ценными в будущем и в ином отношении»<sup>55</sup>.

Предложения «Веста» принимаются, и из Испании, Советского Союза в Мексику потянулись новые люди — «троцкисты», готовые к исполнению любых приказов.

Вскоре приходит еще одна шифровка: «Нужно продвигать «Тюльпана» к «Старику». Вышлите проект письма «Тюльпана» к «Старику», и только после получения нашей санкции — письмо должно быть отправлено»<sup>56</sup>. Как видим, в Центре рассматривали несколько вариантов проникновения в окружение Троцкого.

А тем временем Троцкий, осев в Мексике, не ослабил своей идейной борьбы с диктатором. В начале 1939 года, как мне удалось установить, Сталин провел узкое совещание с единственным вопросом в повестке: о необходимости ускорения ликвидации Троцкого. В Европе пахло войной, страна была к ней не готова, а на стол к вождю почти ежедневно ложились донесения из-за рубежа от дипломатов и разведки о новых и новых разоблачениях, заявлениях, пророчествах и призывах Троцкого. Чего только стоит его недавняя статья «Тоталитарные поражения!» Троцкий в ней пишет о разгроме армии мексиканцами и ежовыми, что может привести страну в надвигающейся войне к поражению. Какое заключительный абзац статьи: «Пораженчество, саботаж и измена гнездятся в опрочинне Сталина. Обер-пораженцем является «отец народов». Он же их палач. Обеспе-

чить оборону страны нельзя иначе, как разгромив самодержавную клику саботажников и пораженцев. Лозунг советского патриотизма звучит так: долой тоталитарных пораженцев! Вон Сталина и его опрочинну!»<sup>57</sup>

Кремлевский руководитель не хотел больше разоблачений и ядовитых укулов. Сталин устал ждать, пока его скуратовы, вначале Менжинский, затем Ягода, а потом и Ежов, устранят Троцкого с политической сцены. Отдав необходимые распоряжения новому главе ведомства Берии, вождь решил лично поставить задачи исполнителям.

К слову, в своем обращении к Н. С. Хрущеву, отправленном из знаменитой Владимирской тюрьмы в сентябре 1963 года, Эйтингтон писал: «С 1925 года, после окончания Академии имени Фрунзе до начала Отечественной войны находился за пределами страны на работе в качестве...» (там, где Эйтингтон не хотел писать лишнего в письме, он ставил многоточие.— Д. В.). Далее в письме осужденный на 12 лет разведчик перечисляет исполненные в разное время задания и в том числе говорит о «работе», сделанной в Америке. Этой работой ЦК был доволен. «Мне было официально объявлено от имени Инстанции, что проведенной мною работой довольны, что меня никогда не забудут, равно как и людей, участвовавших в этом деле. Меня наградили тогда орденом Ленина... Но это только часть работы, которая делалась по указанию партии. В письме подчеркивается, что «личных заданий б. наркома никогда и ни в одном случае не выполняли...»<sup>58</sup>

Об Эйтингтоне следует еще сказать, что и он вместе с другими разведчиками серьезно помог нашим физикам-атомщикам в ускорении решения, как тогда говорилось в секретных бумагах, «проблемы № 1». В частности, с помощью разведки удалось не повторять некоторых ошибок американцев в процессе работы над атомным проектом...

Впрочем, если бы Троцкий знал о полученном сотрудниками НКВД задании, он мог бы вспомнить, что устранение неудобных политических лиц практиковалось уже в то время, когда он входил в высшее руководство государства и партии. В германских архивах удалось обнаружить любопытные документы, свидетельствующие, что Иностранный отдел ОГПУ занимался этими делами давно. Вот выдержка из копии документа, адресованного, по-видимому, одному из своих агентов в Германии начальником Иностранного отдела ОГПУ М. Трилессером.

«Москва. 19.20/5.24

Сов. секретно

Уважаемый товарищ!

1. Артур Кох, Винклер, Кусфельд, Бенцманн, Шпанге, Эльза Штюнц, Ма-

<sup>55</sup> Архив КГБ, ф. 31660, д. 9067, т. I, л. 163—164.

<sup>56</sup> Там же, л. 216.

<sup>57</sup> Бюллетень оппозиции №№ 68—69, август — сентябрь 1938 г., с. 4.

<sup>58</sup> Письмо Н. И. Эйтингтона Н. С. Хрущеву.

деркрес и Зенгер в достаточном количестве были снабжены инструкциями по пользованию инъекциями и должны были освоить их полностью.

2. В любом случае должны быть устранены Сан. Кайзер, Штюттер и Нойманн.

3. С арестованными в любом случае должен быть установлен контакт или связь и надо передать директивы, как им вести себя...

7. ...Ссылки на нас абсолютно недопустимы...»<sup>59</sup>

О собственном участии в операции по ликвидации Троцкого Судоплатов в своем ходатайстве о реабилитации пишет так:

«В конце 1938 года усилиями Деканозова, назначенного новым начальником Иностранного отдела, и Берни я был обвинен «в преступных связях с Шпигель-глазом». Мне грозит арест. Да и Эйтингому тоже. В подвешенном состоянии я находился до марта — апреля 1939 года. К этому подоспело возложенное на меня и Эйтингона новое боевое поручение ЦК КПСС: все вокруг нас утихомирилось, и мы начали активно готовиться к проведению операции в Мексике. И провели ее в августе 1940 года»<sup>60</sup>.

Судоплатов остался в Москве обеспечивать и координировать готовящуюся операцию, а Эйтингон и большая группа разведчиков, главным образом прошедших Испанию, отправилась в Мексику. Должен был подключиться к новой мексиканской «команде» и «Тюльпан», но он оказался на американском континенте, когда изгнанник был уже мертв. Его непосредственная помощь в «ликвидации» Троцкого уже не потребовалась<sup>61</sup>. Зборовский в дальнейшем попытался выйти из игры, занялся наукой и смог даже вместе с Маргарет Мид выпустить в 1952 году книгу «Жизнь остается людям», посвященную антропологии евреев в Восточной Европе. Заподозренный в шпионаже, в 1956 году был арестован, но затем освобожден. В 1962 году арестован вновь и приговорен к четырем годам тюрьмы. Смог написать еще одну книгу по антропологии «Люди в страданиях», но к своей разведывательной деятельности в качестве агента НКВД в литературной практике не обращался<sup>62</sup>. А ему было что сказать.

Под видом беженцев из Испании в мексиканской столице все оседали и оседали лица, которые могли быть использованы для операции. Но вначале на основании указаний коминтерновского руководства, которое уже давно действовало только по указке Кремля, в Мехико была организована шумная кампания

с требованием выслать Троцкого из страны.

Мексиканская компартия публиковала многочисленные материалы о «предательстве дела рабочего класса» Троцким, его связях с немецкой и английской разведками, причастности изгнанника к подготовке террористических акций против советских руководителей. Улицы столицы были заклеены листовками, из которых явствовало, что Троцкий «готовит революцию» в Мексике с целью установления фашистской диктатуры... По сути, здесь перепевались интерпретации, московских материалов чудовищных политических судилищ.

Одновременно НКВД в Москве искало дополнительные «аргументы» в подтверждение «шпионской деятельности» Троцкого. В конце 1938 года в Политбюро за подписью Ежова (это был, кажется, последний документ кровавого наркома) и начальника ГУГБ НКВД Берни в Политбюро пришло совершенно секретное донесение, в котором говорилось, что найдены дополнительные доказательства того, что Троцкий еще до Октябрьской революции сотрудничал с немецкой разведкой<sup>63</sup>. Но это была столь явная фальшивка, что ею не заинтересовались.

Троцкий чувствовал, как сжимается кольцо вокруг его последнего прибежища. Однажды он получил письмо от неизвестного доброжелателя, предупреждавшего о надвигающейся опасности. Теперь мы знаем, что это предостережение направил в Койоакан Фельдбин, бывший высокопоставленный сотрудник ОГПУ, работавший одно время вместе с Эйтингоном в Испании. Поводом для невозвращения Фельдбина в Москву явился арест его родственника Кацнельсона в Киеве. Он понял, что тень неустрашимого подопрежения пала и на него. Фельдбин вместе с женой и дочерью, прихватив 60 тысяч долларов казенных денег, бежал за океан.

Но Троцкий с недоверием относился к конкретным предостережениям. Изгнаннику везде чудились провокации. Не сыграло той роли, на которую рассчитывал бывший советский резидент в Испании, и предостережение Фельдбина. Нужно сказать, что находились под наблюдением секретных агентов, вербуемых часто из сотрудников Коминтерна, и многие его самые близкие сторонники. Узнать их адреса помог все тот же «Тюльпан». В августе 1937 года агент сообщал в Москву, что «Сынок» уехал из Парижа и поручил ему вести все дела: переписку, издательские дела, пересылку почты и документов «Старику» и т. д. Далее в донесении говорится, что для того, чтобы «Мак» мог вести всю корреспонденцию самостоятельно, «Сынок» передал ему свой маленький блокнот с адресами. «Как известно, об этом блокноте и его обладании мы мечтали в течение

<sup>59</sup> Politisches Archiv. Geheim Akten. R-31514. Russland. Pol. 2, adh 11.

<sup>60</sup> Письмо П. А. Судоплатова в Комиссию Политбюро ЦК КПСС по рассмотрению заявлений о необоснованных репрессиях.

<sup>61</sup> См.: Архив КГБ, ф. 31660, д. 9067, т. I, л. 312.

<sup>62</sup> «Нью-Йорк Таймс» 6 и 21 ноября 1958 г., 30 ноября и 14 декабря 1962 г.

<sup>63</sup> ЦГАСА, ф. 33987, оп. 3, д. 1103, л. 149.

целого года, но нам никак не удавалось его заполнить ввиду того, что «Сынок» никому его на руки не давал и всегда хранил при себе. Мы Вам присылаем этой почтой фото этих адресов. В ближайшее время мы их подробно разрабатываем и пришлем. Имеется целый ряд интересных адресов...»<sup>64</sup>

НКВД знал о Троцком слишком много, чтобы у него остались шансы уцелеть.

По указанию лидера IV Интернационала в печати была помещена небольшая статья «Жизнь Л. Д. Троцкого в опасности», в которой общественность ставилась в известность о готовящемся покушении. Публикация ясно говорила и об источнике угрозы: Сталин, Москва, НКВД. В ней подчеркивалось: «Пока жив Л. Д. Троцкий, роль Сталина, как истребителя старой гвардии большевиков, не выполнена. Недостаточно приговорить тов. Троцкого, вместе с Зиновьевым, Каменевым, Бухариным и др. жертвами террора, к смерти. Нужно приговор привести в исполнение». В статье также говорилось, что в Койоакане уже «была произведена попытка покушения на тов. Троцкого. Под видом посыльного, принесшего подарок, в дом пытался проникнуть подозрительного вида человек. Попытка эта сорвалась, так как поведение его показалось подозрительным. Воспользовавшись случаем, он скрылся, оставив поблизости пакет с взрывчатим веществом...»<sup>65</sup> В статье указывались фамилии сталинских агентов, прибывших в Мексику из Испании. Некоторые имена были верны, но в этом списке не оказалось ни Судоплатова, ни Эйтингона, ни Меркадера, ни Григулевича, ни других основных лиц, входивших в группу по проведению операции.

Непосредственно возглавивший операцию Эйтингон стал ее готовить, как было решено в Москве, в двух вариантах: силами мексиканской компартии и одиночного боевика.

Знаменитый мексиканский художник Давид Альфаро Сикейрос довольно подробно описывает мотивы и намерения своих сообщников, решивших, что «штаб-квартира Троцкого в Мексике должна быть уничтожена, даже если бы пришлось прибегнуть к насилию»<sup>66</sup>. Но Сикейрос ничего не говорит об участии в операции компартии Мексики, умалчивает он и об иностранцах, планировавших ее. Сикейрос пытается свалить все на недовольство мексиканцев-интернационалистов действиями троцкистов в Испании. Его рассуждения о «предательстве» троцкистов в гражданской войне, мягко говоря, натянуты и исторически некорректны. Невозможно поверить словам о намерениях группы: «Наша главная цель, или гло-

бальная задача всей операции, состояла в следующем: захватить по возможности все документы, но любой ценой избежать кровопролития»<sup>67</sup>. Может быть, для этого и прихватили пулемет?

В общем, если верить книге художника, то дело сводилось просто к революционному возмездию. Сикейрос, командовавший в Испании в чине подполковника 82-й бригадой, особенно отличившейся под Теруэлем, сколотил боевую группу для террористической операции.

Под руководством Эйтингона, который в группе, однако, не появлялся, шла интенсивная подготовка к операции. Казало, предусмотрено было все: способы нейтрализации полицейских, охранявших особняк по периметру, обезоруживание внутренней охраны, нарушение телефонной связи, порядок действий групп прикрытия и захвата, поджог и уничтожение архива и т. д.

Но, как часто бывает, в события вмешался случай. В ту теплую майскую ночь, когда часовая стрелка уже показывала наступление нового дня — 24 числа, Троцкий еще работал. Наталья Ивановна давно спала, внук Сева в соседней комнате — тоже. Из окна кабинета с полуприкрытой бронированной ставней свет пробивался до половины третьего ночи. Троцкий долго не мог уснуть, ворочался, затем принял снотворное.

О дальнейшем, по моему мнению, лучше всего рассказала Наталья Ивановна в своей малоизвестной работе «Жизнь и смерть Льва Троцкого». Где-то около четырех часов ночи спавших разбудила ожесточенная беспорядочная пальба вокруг дома. К этому моменту все полицейские были обезоружены подхваченной большой группой вооруженных людей под командой плотного «майора». Мы почувствовали, вспоминала Наталья Ивановна еще не осознавая, что произошло, как от стен брызжут осколки бетона. Комната наполнилась пороховой гарью. В открытое окно непрерывно изрыгался поток пуль. Столкнув Троцкого в угол за кроватью, Седова прикрыла его своим телом. Стрельба продолжалась минут двадцать. Из-за стены донесся пронзительный, страшный крик перепуганного внука: «Деда! Деда!». Супруги обмерли: неужели погиб и Сева? «Крик ребенка, — вспоминал позже Троцкий, — это самый тяжелый момент той ночи». В наступившей тишине был слышен шепот изгоя:

— Они похитили его... Они его похитили... Похитили...

Пахло гарью, внутри дома что-то горело. Но все стихло так же внезапно, как и началось. Троцкий с женой кинулись разыскивать внука. К счастью, он оказался почти невредимым, если не считать царапины, полученной от отскокившей рикошетом пули.

Возбужденные охранники, среди которых тоже никто не пострадал, наперебой рассказывали Троцкому, как все проис-

<sup>64</sup> Архив КГБ, ф. 31660, ф. 9067, т. I, л. 128—129

<sup>65</sup> Бюллетень оппозиции, № 66—67, май — июнь 1938 г., с. 32.

<sup>66</sup> Давид Альфаро Сикейрос. Меня называли лихим полковником. Воспоминания. М., 1988. с. 220.

<sup>67</sup> Там же, с. 223.

ходило. Здесь же стояли перепуганные Маргарита и Альфред Росмеры. Они, кстати, прожили много недель у четы Троцких, скрашивая их печальную и тревожную жизнь.

Сообща, еще не остыв от возбуждения, восстановили картину ночного нападения.

Более двух десятков человек в полицейской и армейской форме, с оружием внезапно подъехали и мгновенно разоружили охрану. Роберт Шелдон Харт, стоявший у ворот, по требованию «майора» тут же открыл ворота. Нападавшие обезоружили и внутреннюю охрану, открыв при этом яростную стрельбу по окнам и дверям кабинета и спальни Троцкого. Пулемет бил длинными очередями прямо в окно спальни. Казалось, ничто живое не может остаться в комнатах. Просто невероятно, что чета Троцких осталась жива. Уцелеть у них, возможно, был один шанс из ста. Дело в том, что небольшое мертвое пространство, образовавшееся в углу, ниже окна, спасло супругов. А многочисленные пулевые рикошеты поглощала прикрывшая их кровать. Они оказались в единственном месте, где можно было выжить в этом ливне свинцового дождя. Судьба снова благоволила к изгнаннику.

Угон двух машин Троцкого, «Форда» и «Доджа», казался пустяком по сравнению со спасенными жизнями. Пожар удалось быстро потушить; архивы уцелели. Бомба, брошенная напоследок в дом, к счастью, не взорвалась.

В то утро условный телефонный звонок из Мехико был принят в Нью-Йорке. В тот же день он был расшифрован в Москве и доложен Сталину: «Операция проведена. Результаты будут ясны позже».

Прибывшая тайная полиция во главе с ее шефом полковником Салазаром судивлением констатировала: по спальне выпущено более двухсот пуль, но обитатели дома не пострадали. Это обстоятельство вскоре дало основание для появления в печати версии: Троцкий организовал самопокушение, чтобы таким образом скомпрометировать Сталина в глазах мировой общественности. Тем более что журналистам стали известны слова чудом уцелевшего изгнанника, сказанные им в то утро Салазару:

— Нападение совершил Иосиф Сталин с помощью ГПУ... Именно — Сталин!

Троцкий, неожиданно столкнувшись с попытками обвинить его в мистификации, направил письмо президенту Карденасу. В нем он утверждал, что «дом подвергся атаке банды ГПУ». Однако, писал Троцкий, «следствие вступило на ложный путь. Я не боюсь сделать это заявление, ибо каждый новый день будет опровергать постыдную гипотезу самопокушения и компрометировать ее прямых и косвенных защитников»<sup>68</sup>. Письмо возымело свое действие. Тем более что вско-

ре неподалеку от дома был обнаружен труп охранника Шелдона Харта. Троцкому это дало основание утверждать, что попытки представить дело с покушением как мистификацию опровергает сам факт убийства, хотя по прошествии лет дело не кажется столь однозначным. Может быть, нападавшие устранили Харта по указанию Эйттингона; ведь тот без сопротивления открыл ворота и ушел с ними. Возможно, боевики боялись, что Шелдон может испортить все дело при расследовании? Но Троцкий настаивал: его помощник — честный человек, и он стал жертвой сталинского покушения. Хозяин крепости распорядился на стене дома прибить металлическую табличку с фамилией погибшего.

Здесь стоит сказать еще вот о чем. Как мне рассказывали в Англии современные сторонники Троцкого, в деле убийства изгнанника замешана была и американская спецслужба — ФБР. В двухтомнике «Дело Гелфанда» (в котором содержится большая подборка судебных материалов, писем, стенограмм допросов и показаний свидетелей) утверждается, что НКВД был косвенным образом связан с ФБР. Во всяком случае, некоторые советские агенты участвовавшие в операции по ликвидации Троцкого, были «двойными». Анализ документов и опрос очевидцев событий 30-х годов позволил выдвинуть предположение об этой связи. Международный комитет IV Интернационала в мае 1975 года начал расследование этого обстоятельства. В частности, Гелфанд обвиняет бывшего личного секретаря Троцкого Джозефа Хансена, возглавившего затем социалистическую рабочую партию, в том, что он защищал Сильвию Франклин, агента НКВД, сотрудничавшую и с ФБР<sup>69</sup>.

Трудно сегодня делать однозначные выводы из этой истории. То, что главные исполнители — люди из опричнины Сталина, ясно. Но не исключено, что американские спецслужбы следили, а возможно, и влияли каким-то образом на драматические процессы в далеком Койоакане.

После того как улеглась суматоха в крепости Троцкого, все в Койоакане остро почувствовали: Троцкий обречен. Сталин не остановится. Он доведет дело до страшного конца. Но окружение, соратники лидера IV Интернационала попытались сделать все возможное, чтобы уберечь своего вождя. Ему предлагалось уехать в другую страну и перейти на нелегальное положение. Назывались Франция, некоторые столицы латиноамериканских стран. Троцкий, выслушав предложения, тут же отверг эту идею. Он стар и устал скитаться, а главное, не сможет молчать. А если же он будет по-прежнему избличать Сталина, то его быстро обнаружат. Везде. Нет, он скрываться не будет. Это решено...

<sup>68</sup> Лев Троцкий. Дневники и письма, 1988, с. 163, 164.

<sup>69</sup> The Gelfand Case. Labor Publications. London, 1985. Vol. 11, P. 256.

Как говорил позже Джордж Каннон, руководитель ряда троцкистских организаций посетили Койоакан. «Это оказалось нашей последней поездкой. После совещания с Львом Давидовичем было решено предпринять новую кампанию по усилению охраны. Мы собрали несколько тысяч долларов для обороны дома; все члены партии и сочувствующие щедро и самоотверженно отозвались на призыв»<sup>70</sup>.

Сообщение о неудаче, поступившее в Москву, вызвало гнев Сталина. Берни пришлось выслушать немало яростных слов, а практических организаторов могла ждать судьба Шпигельглаза. Теперь ставка была сделана на действия боевика-одиночки, который уже давно находился в Мексике и готовился к исполнению своей страшной миссии.

Через три с половиной месяца, когда случится неизбежное, Наталья Ивановна Седова, потерявшая всех близких на этой земле напишет генералу Ласаро Карденасу, президенту республики: «...Вы пролили жизнь Льва Троцкого на 43 месяца. В моем сердце останется благодарность Вам за эти 43 месяца...»

### 20 августа 1940 года

Каждое утро Троцкий, покормив своих кроликов, еще до завтрака садился за письменный стол. Книга о Сталине шла трудно. Он так много написал статей об этом человеке за последнее десятилетие, что чувствовал какую-то творческую опустошенность. Троцкий понимал: это его самая слабая книга. Ненависть сковывала интеллект, как только он садился за работу. Но он должен ее закончить, ведь издатели устали напоминать и грозилась востребовать авансы.

Порой могло показаться, что Троцкий смаковал самые непривлекательные черты Сталина подобно Гаю Светонию, описывавшему жизнь Тиберия. «Перечислять его злодеяния по отдельности слишком долго: довольно будет показать примеры его свирепости на самых общих случаях, — писал Светоний. — Дня не проходило без казни, будь то праздник или заповедный день: даже в Новый год был казнен человек. Со многими вместе обвинялись и осуждались их дети и дети их детей. Родственникам казненных запрещено было их оплакивать. Обвинителям, а часто и свидетелям назначались любые награды. Никакому доносу не отказывали в доверии. Всякое преступление считалось уголовным, даже несколько невинных слов. Поэта судили за то, что он в трагедии посмел порицать Агамемнона, историка судили за то, что он назвал Брута и Кассия последними из римлян: оба были тотчас казнены, а сочинения их уничтожены...»<sup>71</sup> В середине

XX века еще один одержимый Тиберий сделал правилом, чтобы «дня не проходило без казни».

Сталин торопил Берни с исполнением его указания. Он не хотел больше ждать.

После провала операции под руководством Сикейроса было неразумно вновь обращаться к коммунистам. Самому Сикейросу пришлось после этого покушения долго скрываться, сидеть в тюрьме, быть в изгнании. Но у него хватило мужества сказать спустя годы: «Мое участие в нападении на дом Троцкого 24 мая 1940 года является преступлением»<sup>72</sup>. Этого, разумеется, никогда не смогли признать те, кто унаследовал дела ОГПУ — НКВД, выполнявшего волю ЦК партийного ордена. До последнего момента руководители этого ордена делали вид, что они ничего не знают об этом деле и у них нет о нем никаких документов. О том, как я доставал материалы, связанные с «делом» Троцкого, можно написать целую повесть. До недавнего времени эти силы считали себя вправе обладать монополией на исторические свидетельства. Этим они, хотя бы того или нет, защищают преступления прошлых лет. Чтобы сказать то, что я говорю, мне пришлось приложить поистине огромные усилия и в ряде случаев приводить данные без ссылок на источники, ибо получил их я неофициально.

В глазах советского партийного руководства Сикейрос был не просто выдающимся художником, автором знаменитых мозаик «Забастовка», «Полифорум», а прежде всего ортодоксальным коммунистом, способным на «революционные действия». Не это ли явилось одной из причин для присуждения ему в 1966 году Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами»? А может быть, учли его самоотверженность в мае 1940 года?..

Пока Эйтингон после майской неудачи переносил усилия на реализацию запасного варианта плана, связанного с акцией одного боевика, жизнь в маленькой крепости постепенно входила в привычное русло. Когда полиция наконец оставила в покое сотрудников Троцкого, подозреваемых в мистификации нападения, хозяин дома с помощью приехавших друзей укрепил стены, возвел кирпичные ограждения на веранде, соорудил башенку для охраны, провел дополнительную сигнализацию и освещение подходов. Хотя эти хлопоты отнимали много сил, Троцкий с женой испытывали новый приступ одиночества. Уехала в Париж, чтобы больше никогда с ними не встретиться, милая чета Росмеров. Стало пусто не только в соседней комнате, но и в душе Троцкого.

К новым предупреждениям друзей о необходимости повышенной бдительности и исключении каких-либо случайных контактов с незнакомыми людьми Троц-

<sup>70</sup> Бюллетень оппозиции, № 84, август — сентябрь — октябрь 1940 г., с. 8.

<sup>71</sup> Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей. Правда, 1988, с. 132.

<sup>72</sup> Д. А. Сикейрос. Меня называли лихим полковником. М., 1986, с. 225.

кий отнесся внешне равнодушно. Ведь не оправдалось предостережение «доброжелателя» (коим был Лев Фельдбин) о том, что в его окружении притаился убийца. Нападение было совершено целым подразделением террористов извне, а не изнутри.

В общем, нужда в предупреждениях отпала. Все ясно понимали, что дамочков меч сталинской расправы навис над домом Троцкого. Но каков будет этот удар? Взрыв? Пулеметная очередь? Дар данайцев? Никто не мог знать. Даже сам Сталин. Его не интересовали криминальные детали. Ему был нужен конечный результат.

Как нам известно, Сталин весной 1939 года высказался предельно откровенно и ясно:

— Война надвигается. Троцкизм стал пособником фашизма. Нужно нанести удар по IV Интернационалу. Как? Обезглавить его...

Будущий палач Троцкого Рамон Меркадер объявился на американском континенте в середине 1939 года под именем Фрэнка Джексона. Чуть раньше, когда Меркадер перебрался из Испании во Францию, у него был бельгийский паспорт на имя Жака Морнара. Именно там Морнар с помощью Зборовского познакомился с Сильвией Агелоф-Маслов — активной троцкисткой из американской организации «марксистов-ленинцев». Сильвия имела русскую мать, кроме родного языка знала и английский, французский, испанский. В сентябре 1938 года она участвовала в Учредительном конгрессе IV Интернационала. Именно накануне этого события она познакомилась с Жаком Морнарсом.

Между молодыми людьми возникла бурная любовная связь. Морнар возил молодую 28-летнюю женщину по ресторанам, театрам, предлагал жениться. Они провели три счастливых, беззаботных месяца, ибо Жак был не только красив и внимателен, но и не беден. После возвращения Сильвии в феврале 1939 года на родину, в США, через три-четыре месяца Морнар тоже появился там, объясняя свой приезд интересами коммерции. Метаморфозу с именем он объяснил необходимостью избежать призыва на военную службу. Именно с помощью Сильвии, чуть ли не потерявшей голову от счастья, Ж. Морнар — Ф. Джексон в конце концов проник в дом Троцкого.

О судьбе Меркадера-Морнара-Джексона написана не одна книга. Но все же самая ценная информация о жертве сталинской машины и убийце Троцкого была получена мною от Судоплатова.

Старый разведчик характеризовал Меркадера как очень умного и волевого человека, фанатично убежденного в исторической справедливости дела, которому он посвятил жизнь. Агент НКВД — выходец из знатной семьи. Как рассказывал Павел Анатольевич, прадед Рамона был послом Испании в

Петербурге, а отец его матери занимал пост губернатора Кубы. Мать Рамона — Эустасия Мария Кариад дель Рио — была энергичной импульсивной женщиной. Имела пятерых сыновей: Хорхе, Пабло, Рамона, Монсеррата и Луиса — Кариад во время гражданской войны порвала с набожным мужем, вступила в коммунистическую партию и стала тесно сотрудничать с агентурой НКВД. Руководителем этой службы в то время в Испании был Орлов (Л. Фельдбин), а заместителем у него Н. Эйтингон. Именно с тех пор Эйтингон оказался тесно связанным с матерью и сыном Меркадерами.

Луис Меркадер, профессор Мадридского университета и младший брат Рамона, связывает трагическую судьбу брата с характером своей матери — красивой, обаятельной женщины, готовой на приключения и резкие повороты судьбы. Рамон находился под большим влиянием матери. Именно с этими главными действующими лицами приближающейся трагедии готовился разыграть последнюю сцену в жизни Троцкого Наум Исаакович Эйтингон.

Руководитель операции в Мексике не жалел денег на завершение акции. Возвращаться с пустыми руками в Москву для него было равносильно смерти. Скрыться не позволяли убеждения. Поэтому он твердо сказал Рамону: «Ты должен исполнить приговор».

Обосновавшийся в Мехико Меркадер вызвал к себе Сильвию, и она в начале 1940 года быстро устроилась у Троцкого в качестве секретаря. Быстро потому, что раньше у него работала ее родная сестра Рут Агелоф. Ему понравилась скромная, малозаметная и непривлекательная молодая женщина, готовая во всем помогать ему: стенографировать, печатать, подбирать материалы, делать вырезки из газет, выполнять многие мелкие поручения.

Поскольку Сильвия жила в гостинице «Монтехо» вместе с Рамоном, он вскоре стал «подбрасывать» ее на работу в своем элегантном «бьюике». Коммерсант выходил из машины, открывал дверцу, помогал Сильвии выйти, целовал ее в щечку и махал на прощание рукой. Часто он и приезжал за ней. Охранники, сменявшие друг друга у ворот «крепости» Троцкого, постеленно призывали к красивому, высокому, улыбающемуся «жениху» Сильвии. Незаметно для всех он становился для охраны своим.

Больше всех рисковал пока Эйтингон; еще одна неудача — и вызов в Москву будет означать его неизбежный конец. Но сильнее всех мучился Рамон: он уже видел Троцкого, говорил с ним, познакомился с Росмерами, Натальей Ивановой, и все к нему отнеслись тепло, дружески, с симпатией. А как он должен ответить на это...

Троцкого в последний год его жизни часто посещали мысли о приближении



конца. Еще до налета в конце мая Троцкий решил составить завещание. Им скорее всего двигало желание не просто высказать своим сторонникам и друзьям посмертные напутствия, но и напомнить будущему, что он остался верен Идее до конца. Половина завещания посвящена жене, Наталье Ивановне, нежные чувства к которой он пронес через всю жизнь. Но в последней воле не упоминаются ни родина, ни «свой» Интернационал, ни оставшийся рядом внук Сева... В завещании есть только два конкретных человека: Сталин и его, Троцкого, жена, Наталья Ивановна Седова.

Завещание Троцкого — документ, свидетельствующий, что на излете жизни в душе революционера доминировали две идеи. Во-первых, изгнанник боялся признаться себе, что исторически он «промахнулся», и в то же время уверял себя в неизбежности «торжества коммунистического будущего». Иначе жизнь оказалась бы полностью бессмысленной. А именно этого страшатся все люди.

Другая идея связана с самым близким человеком — Натальей Ивановной Седовой. Будучи лишенным родины, без надежды ее обретения вновь, утратив почти всех близких, Троцкий в душе понимал, что причина всех несчастий для жены — он сам. Ее стоицизм, мужество, поразительная твердость в перенесении бесконечных невзгод буквально потрясали его. Наталья Ивановна никогда не винила мужа за горькую свою судьбу — «декабристское» начало есть в каждой русской женщине. Недаром Троцкий несколькими годами раньше записал в своем дневнике: «Никогда Наташа не пеняла на меня, никогда, в самые трудные часы, не пеняет и теперь, в тягчайшие дни нашей жизни, когда все сговорилось против нас...»<sup>73</sup>.

Завещание лежало в письменном столе. Жизнь текла по заведенному руслу. И после майского покушения Троцкий пристально вглядывался в многоцветный мир через «амбразуры» своего дома-крепости. Последние месяцы он много писал о надвигающейся войне. Гитлер, построивший свое государство на расовой основе, и Сталин — на классовой, должны были с неизбежностью схватиться между собой.

О чем думал Троцкий в последний год своей жизни? Теперь этого никто не скажет. Если и были у него сомнения в верности пройденного пути, то он их тщательно скрывал. Внешне сохранялось все как прежде. Троцкий писал, «наговаривал» на диктофон, с тем чтобы после перепечатки часами править, редактировать, переписывать. Именно в

это время, в апреле 1940 года, Троцкий написал свое известное обращение «К рабочим Советского Союза», в котором заявил, что «прежняя большевистская партия стала послушным орудием московской олигархии». В этом своем, пожалуй, самом радикально-антисоветском обращении Троцкий заявил как о насущной задаче о свержении клики Сталина, его бюрократической камарильи. Для этого призвал создавать нелегальные «спаянные надежные революционные кружки», способные «распространить Октябрьскую революцию на весь мир и одновременно регенерировать советский строй...»<sup>74</sup>. Троцкий был отрезан от многого, что творилось на родине, и не мог не понимать, что одни заклинания, сентенции и гневные филиппики не сделают дела. Изгнанник нервничал, рылся в газетах, просил сторонников присылать фактические материалы о сталинском режиме.

Во всяком случае, в канун роковых событий у Троцкого было мало причин для оптимизма как в личном, так и партийном плане. Пока лидер IV Интернационала пытался консолидировать свое движение и канализировать его в нужном направлении, московская группа чекистов в Мехико не теряла зря времени.

Рассказы Судоплатова, данные процесса над Морнармом-Джексон-Меркадером, воспоминания Седовой «Так это было», показания полковника мексиканской полиции Л. Салазара, секретаря Троцкого Ж. Хансена, книга брата Рамона Меркадера — Луиса, публикации И. Дейчера, И. Левина, Д. Кармайкла, Ю. Палорова и других, в том числе из закрытых пока источников, позволяют проследить хронику «внедрения» Р. Меркадера в число «своих» людей Троцкого. Это было главной задачей, которую должен был решить Эйттингон. Ликвидация же человека, ставшего объектом страшной ненависти кремлевского руководителя, представлялась делом криминальной техники. Вот перечень-хроника посещений Р. Меркадером, как говорил ему Эйттингон, — «объекта». Составлена она на основе многочисленных документов.

Впервые Джексон переступил порог дома Троцкого где-то в конце апреля, когда помог супругам Росмерам съездить в город по какому-то делу. Он помог занести саквояж Маргариты в их комнату и тут же вернулся к машине.

28 мая накануне отъезда супругов Росмеров Р. Меркадер был приглашен к обеду в дом Троцкого. Его представили как «друга Сильвии», который ответит на своей машине Маргариту и Альфреда в порт Тампико. По просьбе Росмеров и распоряжению Троцкого ввел в столовую Меркадера начальник охраны дома Робинс.

<sup>73</sup> Лев Троцкий. Дневники и письма. Эрмитаж, Гарвард, 1988, с. 124.

<sup>74</sup> The Houghton Library. Trotskii coll. bMS Russ 13.1. (10790).

12 июня Меркадер, перед тем как выехать по «вызову шефа фирмы» в Нью-Йорк, зашел в дом, чтобы попросить разрешения Троцкого оставить свой «бюнк» во дворе дома на время его отсутствия.

29 июля Наталья Ивановна пригласила Сильвию и Рамона на чашку чая. Разговор в основном шел о будущем «молодых». Наталья Ивановна была уверена, что у них будет свадьба и в тактичной манере с юмором говорила о семейной жизни и ее превратностях.

1 августа Рамон ездил с Сильвией и Натальей Ивановной за хозяйственными покупками в центральные магазины. Он сосредоточенно переносил пакеты и свертки в дом на место, которое ему указала Седова. После этого Джексон сразу же уехал, сославшись на неотложные дела.

8 августа Меркадер появился в доме с букетом цветов и коробкой сладостей без видимых причин для этого визита. В беседе с Троцким он, однако, заметил, что готов сопроводить хозяйна дома во время его экскурсий в горы. Троцкий поблагодарил за готовность, но не дал утвердительного ответа.

11 августа, приехав после обеда за Сильвией, не стал ее дожидаться на улице у машины, а вошел в дом. Охрана восприняла это как должное; он уже примелькался. Вскоре привлекательный «коммерсант» вышел с «невестой» и они уехали.

17 августа новый «друг дома» приехал без приглашения и попросил, чтобы Троцкий уделил ему несколько минут. Джексон хотел, чтобы писатель посмотрел его статью, в которой он критикует тех, кто нападает на троцкизм и прежде всего Барнхема. Беседа была недолгой, и Джексон-Меркадер уехал. Почему-то на этот раз он был одет в темный костюм и на руке его несмотря на жару висел плащ.

Всего, как мне удалось установить, Джексон-Меркадер побывал в здании около десятка раз, видимо, присматриваясь к внутреннему расположению комнат (хотя оно уже было известно из сообщений «испанки», которая, как мы знаем сегодня, работала на операцию), не имея пока с Эйтингом четкого плана акции.

Будет и еще одно посещение, роковое... Оно состоялось 20 августа 1940 года, в 17 часов. Лучшее всего об этом рассказала Наталья Ивановна Седова в своей потрясающей и краткой, как мартиролог, статье «Так это было»<sup>76</sup>. Опираясь на это самое главное свидетельство, а также показания на суде обвиняемого и рассказы брата Меркадера Луиса, Джозефа Хансена и полковника полиции Л. Салазара, реставрируем последние часы жизни Троцкого. Эти материалы позволяют расставить точные, как

мне кажется, акценты в финале операции.

Просыпаясь утром, вспоминала позже Наталья Ивановна, Троцкий после 24 мая несколько раз говорил:

— Ну вот, нам судьба подарила еще один день. Они не пришли...

Эта навязчивая мысль его больше не покидала. Незадолго до того самого страшного дня Троцкий вновь негромко произнес:

— Да, Наташа, мы получили отсрочку...

Так жили эти люди, находясь в своем доме как в камере смертников, в душе не желая верить, что, как и в тюрьме, когда-нибудь обязательно загрохочет засов и за ними придут, чтобы увести навсегда...

Наталья Ивановна, восстанавливая последний роковой день в жизни Троцкого, почему-то запомнила больше всего то, что он был тихим и солнечным. «Ничто не говорило о зловещности. Солнце светило ярко с утра, как всегда здесь. Цвели цветы, блестела трава, как лакированная... Никто, никто из нас ни он сам не догадывались о предстоящей гибели». В утренней почте наконец пришло сообщение о том, что Хотонгская библиотека Гарвардского университета в Бостоне получила рукописи Троцкого для хранения и использования.

Обычно утром, в начале восьмого, Троцкий кормил кроликов и кур. Наталья Ивановна, занимаясь своими делами, поглядывала в окно, наблюдая за мужем.

Покормив кроликов и кур, Троцкий сел за письменный стол. В тот день он намеревался ответить «Эль Популар» и продолжить работу над очередной главой о Сталине. После обеда «Л. Д., — вспоминает Наталья Ивановна, — продиктовал несколько «кусков» своей статьи в связи с войной и, как всегда, в половине шестого вечера вышел опять к кроликам». В это время «я вышла на балкон и увидела, что рядом с Л. Д. стоял кто-то посторонний, которого я узнала не сразу, только после того, как он снял шляпу и стал подходить к балкону». Это был «Жансон» (так называли Троцкие Фрэнк Джексона).

— У меня ужасная жажда, я хотел бы стакан воды, — произнес «Жансон», здороваясь со мной.

— Может быть, вы хотите чашку чаю?

— Нет, нет, я слишком поздно обедал и чувствую пищу здесь. — Он указал на горло. — Она меня душит...

«Цвет лица у него был серо-зеленый». После репетиции 17 августа, когда «Жансон» приходил с плащом на руке и оставался несколько минут наедине с Троцким, сегодня ему предстояло совершить ужасное: убить человека, который относился к нему доброжелательно и не подозревал такого вероломства. Как и в последний раз, «Жансон» был с плащом на руке и в шляпе.

<sup>76</sup> Бюллетень оппозиции, № 85, март 1941 г., с. 1—5.

— Почему вы в шляпе и с плащом? Погода такая солнечная...

— Да, но вы знаете, это ненадолго, может пойти дождь...

«Жансон» после моего вопроса, — вспоминала Наталья Ивановна, — как-то ступевался и направился к кроличьим домикам, где находился Л. Д.

— А статья ваша готова? — успела спросить Наталья Ивановна.

— Да, готова. — И «Жансон» стесненным движением, не отрывая руки от корпуса и прижимая плащ, в котором, как позже установили, были защиты топор и кинжал (так в тексте. — Д. В.), вынул бумаги.<sup>76</sup>

Троцкому не хотелось возвращаться в свою комнату, но, закрыв дверцы домика и сняв рабочие перчатки, он бросил:

— Ну что же, хотите прочесть вашу статью? — После чего, отряхнув сиңюю блузу, медленно, молча пошел с «Ж» к дверям своего рабочего кабинета.

Дальше рассказывает сам исполнитель уже на суде в Мехико:

«Я положил свой плащ на стол таким образом, чтобы иметь возможность выпнуть оттуда ледоруб, который находился в кармане. Я решил не упускать замечательный случай, который представился мне. В тот момент, когда Троцкий начал читать статью, послужившую мне предлогом, я вытащил ледоруб из моего плаща, сжал его в руке и, закрыв глаза, нанес им страшный удар по голове...

Троцкий издал такой крик, который я никогда не забуду в жизни. Это было очень долгое «А-а-а...», бесконечно долгое, и мне кажется, что этот крик до сих пор пронзает мой мозг. Троцкий порывисто вскочил, бросился на меня и укусил мне руку. Посмотрите: еще можно увидеть следы его зубов. Я его оттолкнул, он упал на пол. Затем поднялся и, спотыкаясь, выбежал из комнаты...»<sup>77</sup>

Наталья Ивановна так зафиксировала в памяти кульминацию трагедии:

«...Едва истекло 3—4 минуты, я услышала ужасный, потрясающий крик... Не отдавая себе отчета, чей это крик, я бросилась на него... Между столовой и балконом, на пороге, у косяка двери, опираясь на него... стоял Лев Давидович... с окровавленным лицом и ярко выделяющейся голубизной глаз без очков и опущенными руками...»<sup>78</sup>

В любом деле неизбежны случайности. Проявила себя она и здесь. Как мог сохранить силы Троцкий для борьбы и нечеловеческого крика после такого сокрушительного удара, который нанес альпенштоком физически очень сильный Меркадер? Если бы он погиб сразу, Меркадеру удалось бы, видимо, скрыться.

В доме уже началась суматоха. Джексона-Меркадера тут же схватили охран-

ники и стали избивать. «Мы слышали какое-то жалкое завывание...» — вспоминала Наталья Ивановна.

— Что делать с этим? Они его убьют...

— Нет... убивать нельзя, надо его заставить говорить, — с трудом, медленно произнося слова, ответил Л. Д.

Охранники во главе с Робинсом колотили слабо защищавшегося Джексона кулаками, рукоятками револьверов. Наконец тот прервал свое молчание и закричал:

— Я был должен это сделать! Они держат мою мать! Я был вынужден! Убейте сразу или прекратите бить!

Это была единственная слабость агента. Затем, в долгие месяцы следствия и суда Меркадер никогда больше не вспоминает об этих словах. Он все решил сам и все сделал сам. Никакого ГПУ, никаких соучастников и помощников он не знает. Это его решение... Только его.

Как рассказывал Судоплатов, после приговора (20 лет тюрьмы — высшая мера наказания по мексиканским законам), первые полтора года заключения Меркадера часто били, пытаясь узнать, кто же он в действительности. Целых пять лет держали в одиночной камере без окна, но боевик Эйттингона взял себя в руки и долго не отказывался от своих первых показаний, хотя еще на суде был документально уличен, что выдает себя не за того, кем является. Как говорит Луис, брат Рамона, «после первого шока он пришел в себя и всегда думал, что сделал нужное дело». Приехав через 20 лет в СССР, Рамон, комментируя какие-то события в Латинской Америке, сказал: «Терроризм необходим в борьбе за коммунизм»<sup>79</sup>. Но он фактически повторил слова Троцкого из работы «Терроризм и коммунизм»! Убитый Р. Меркадером революционер писал: «...террор может быть очень действенен против реакционного класса, который не хочет сойти со сцены»<sup>80</sup>. В этих высказываниях неожиданно прослеживается родство убитого и убийц. Идеи большевистского яacobинства, так насаждавшиеся Троцким в русской революции, вернулись бумерангом политического насилия к нему самому.

Письмо, которое обнаружили у Джексона в кармане, извещало, что он разочаровался в троцкизме и Троцком. Толчком к шагу, на который он решил, явились якобы сделанные ему Троцким предложение поехать в СССР, чтобы совершить революционный акт ликвидации Сталина. Письмо явно было написано и отпечатано другими. Суд также установил, что Троцкий с Джексоном оставались один на один всего лишь раз 17 августа, на пять — семь минут да в день убийства на еще меньшее время. Так что Троцкий не мог сделать подобного предложения малознакомому человеку.

Но мы забежали вперед. Похоже, те, кто организовал это убийство, не очень-

<sup>76</sup> Там же

<sup>77</sup> Isaac Don Levin. L'homme qui a tue Trotsky. Gallimard, Paris, 1960. P. 10.

<sup>78</sup> Буллетень оппозиции, № 85, март 1941 г., с. 4.

<sup>79</sup> El Mundo. Martes 31 de julio de 1990.

<sup>80</sup> Л. Троцкий. Соч., т. XII. М.—Л., 1925, с. 59.

то и заботились об историческом алиби. Ибо публикация «Правды» 24 августа 1940 года с головой выдавала организаторов покушения. Еще мир многого не знал, а партийная газета писала, что «в больнице умер Троцкий от пролома черепа, полученного во время покушения одним из лиц его ближайшего окружения»<sup>81</sup>. Письмо в кармане Джексона-Меркадера и информационное сообщение появились из одного источника... Впрочем, мировая печать ни на минуту не заблуждалась в том, кто является главным убийцей. Всем исполнителям жестокой акции, кроме Морнара-Джексона-Меркадера, удалось скрыться. Машина с работающим двигателем, стоявшая поодаль от дома Троцкого, как только началась беготня возле ворот и заревела сигнализация, рванулась с места и мгновенно исчезла за ближайшим поворотом. Эйтингон, мать Меркадера — Кариада — и еще несколько обеспечивавших операцию лиц в тот же день разными способами выбрались из столицы и растворились в человеческом муравейнике. Эйтингон и Кариада, добравшись до Калифорнии, ждали распоряжений из Москвы.

Эйтингон боялся, чтобы импульсивная Кариада, потерявшая сына, не сорвалась, не наделала «глупостей». Через месяц Москва по своим специальным каналам поблагодарила за выполнение задания и просила через оставшихся в Мехико установить состояние «пациента» и способы оказания ему возможной помощи. После решения этой вспомогательной задачи им разрешалось вернуться. В мае 1941 года, за месяц до начала войны, Эйтингон и Кариада вернулись в Москву через Китай. Дорога домой заняла больше месяца.

Троцкий, потерявший гражданство СССР еще в 1932 году, тем не менее подпал под кару своего отечества. Изгнанник после покушения прожил еще 26 часов. В городской больнице старались сделать невозможное, хотя было ясно, что удар убийцы поразил жизненные центры мозга. Через два часа после покушения, — вспоминала Наталья Ивановна, — Троцкий впал в кому.

Незадолго до того, как навсегда угасло сознание одного из вождей русской революции, он еще мог печально и отчетливо сказать:

— Я чувствую здесь... что это конец, на этот раз они имели успех...

Перед операцией сестры стали его раздевать, разрезая ножницами окровавленную одежду. Собравшись с силами, он с трудом прошептал нагнувшейся Наталье:

— Я не хочу, чтоб они меня раздевали... Я хочу, чтобы ты меня раздела...

То были последние слова, произнесенные оракулом русской революции, чьи зажигательные речи могли делать чудеса, поднимая огромные массы людей на «штурм неба». Троцкий так и не мог или не захотел никогда понять, что этот не

завершенный «штурм» преследовал великую, но глубоко утопическую цель.

Заканчивая свое горестное эссе «Так это было», Седова напишет, что после операции «его приподняли. Голова склонилась на плечо. Руки упали, как после распятия у Тициана на его «Снятии с креста». Терновый венец умирающему заменила повязка. Черты лица его сохранили свою чистоту и гордость. Казалось, вот он выпрямится и сам распорядится собой. Но глубина пораженного мозга была слишком велика... Все было кончено. Его больше нет на свете»<sup>82</sup>.

### Обелиск на чужбине

После гигантской антисталинской манифестации, в которую превратились похороны Троцкого в Мехико, его прах остался в последней каменной обители на тихой и узкой улочке Койоакана.

Вскоре после похорон на совещании руководителей американских секций IV Интернационала было решено поставить на могиле Троцкого обелиск и рассмотреть возможность создания в будущем музея. Обелиск соорудили быстро, а музей был открыт лишь через пятьдесят лет после смерти изгнанника. Памятник получился примитивным. На бетонной плите в полтора человеческого роста выдавили большие серп и молот, позже с тыльной стороны установили флагшток с приспущенным красным флагом. Наталья Ивановна, пока была жива, следила за тем, чтобы вокруг монумента всегда было много живых цветов. И по сей день в тени южных деревьев стоит этот, насколько нам известно, единственный уцелевший памятник русскому революционеру.

В гигантских ячеях сети, раскинутой над пропастью истории, задерживаются лишь крупные фигуры. Троцкий — из таких. В памяти советских людей он остается пока главным образом негативной личностью, принесшей народу, как принято считать, только страдания, террор и междоусобицу. Не все понимают, что Троцкий был лишь одним из российских яacobинцев, радикальных вождей, считавших, что совершенствование диктатуры пролетариата может разрешить все вопросы социального бытия. Например, еще будучи членом Центрального Комитета партии, в июне 1927 года он в своих не увидевших свет заметках по национальному вопросу писал, что «сожительство и сотрудничество разных национальных групп, выравнивание хозяйственного и культурного уровня развития сдерживается пережитками насилие центра» (выделено мной. — Д. В.). Может случиться, провидчески писал Троцкий, «что именно в национальном вопросе основные наши противоречия могут получить наиболее резкое выражение». Трудно не согласиться с замечаниями опального ли-

<sup>81</sup> Правда, 1940. 24 августа.

<sup>82</sup> Бюллетень оппозиции, № 85, март 1941 г., с. 5.

дера. Сегодня мы непосредственно столкнулись с этими национальными противоречиями. Но что он предлагает? «Все эти вопросы могут решаться только под углом зрения сохранения и упрочения пролетарской диктатуры централизованного рабочего государства и планового хозяйства»<sup>83</sup>. Опять эта диктатура...

Троцкий видел глубже и дальше, чем Сталин и его соратники, но методы решения возникающих проблем, по сути, у них были одни и те же. Революционера, как и миллионы других людей, не смущало, что приверженность насилию оставляет за собой пустыню истории. Но русские яkobинцы спешили только вперед, к «лучезарному будущему», к «неизбежной мировой революции», «всемирному торжеству коммунистических идеалов»... Воинственная непримиримость ко всему некоммунистическому, духовная агрессивность, безапелляционная уверенность в своей правоте была присуща всем большевистским руководителям. Троцкий не был исключением. Коммунизм этих людей подобен величественной башне, если на нее смотреть снаружи. Но внутри этот «храм» похож на казарму.

Обелиск на чужбине напоминает, что именно Троцкий первым рассмотрел Сталина и сталинизм изнутри, первым увидел контуры термидора, первым заметил вырождение большевизма. Горькая и трагичная судьба провидца делает в глазах людей жизнь Троцкого достойной «календаря вечности». Ведь давно замечено, что ординарное имеет мало шансов сохраниться в человеческой памяти.

Силуэт Сталина всегда был кровав, как бы его ни камуфлировали. Эта личность стала синонимом политической жестокости и коварства. Ленин пострадал от одеяний сусальности, в которые всегда кутала вождя официальная пропаганда вкупе с инерцией мышления российского сознания, желавшей иметь только «доброе царя». А Ленин не был ни богом, ни безгрешным человеком. Как пишет Н. В. Валентинов, он, «очертив вокруг себя круг, все, что вне его, топчет ногами, рубит топором». Валентинов, проведя долгие часы в дискуссиях с Лениным, с удивлением обнаружил в этом человеке «слепую нетерпимость», «ярость», когда тот наградил его «потоком ругательств, как только узнал, что собеседник не придерживается его взглядов»<sup>84</sup>.

О Ленине все мы долгие десятилетия знали лишь то, что полагается знать о сусальном гении. Эта безбрежная апология искажила образ революционера, которому, однако, были присущи многие заблуждения, ошибки теоретического и политического характера, имевшие тяжелые последствия для нашей истории.

Обелиск в Койоакане напоминает нам не об ужасном тиране или «непревзойденном гении», а о певце революции,

который стал ее жертвой и мучеником и одновременно носителем уродств насилия, которые были порождены этой революцией. Бердяев, рисуя портрет Троцкого, замечает, что «именно он, организатор Красной Армии, сторонник мировой революции, совсем не вызывает того жуткого чувства, которое вызывает настоящий коммунист, у которого окончательно погасло личное сознание, личная мысль, личная совесть и произошло окончательное вращение в коллектив...»<sup>85</sup>.

Обелиск напоминает нам и о том движении, той международной организации, у истоков которой стоял Троцкий. В троцкизме в наиболее рафинированной форме были выражены марксистские постулаты. Но в противовес Сталину теория Троцкого формально отвергает тоталитарность режима, хотя совсем неясно, как тогда «применять» диктатуру пролетариата, на которую всю жизнь молился изгнанный революционер. Таким образом, троцкизм являл собой утопическую попытку синтеза диктатуры и демократии, единовластия одной партии и уважения политического плюрализма. Троцкизм в действительности предстал как отражение утопии радикального марксизма в России. Казалось, что монумент в мексиканской столице — это финальная точка в драме движения, у истоков которой стоял Троцкий. Но нет. Не все так просто. Троцкизм жив.

Почему? Что питает надежды его сторонников? Разве историческая неудача социализма в СССР и восточноевропейских странах не дала им новой пищи для разочарований и размышлений?

Сегодняшние троцкисты по-прежнему считают, что революционное обновление мира не только необходимо, но и возможно. Достаточно пролистать подшивку «Журнала интернационального марксизма», который и сейчас издается Интернациональным Комитетом IV Интернационала.

В связи с пятидесятой годовщиной образования IV Интернационала его Комитет принял резолюцию, в которой утверждается, что мир на пороге новых революционных потрясений, а теория перманентной революции Троцкого «подтверждена всей жизнью». В условиях, когда «Горбачев пресмыкается перед Уолл-Стритом», сообщает журнал, идет быстрая реставрация капитализма внутри СССР. Комитет IV Интернационала подтверждает, что «защита завоеваний Октября требует, как историческую необходимость, свержения бюрократии путем политической революции». Поразительно, но время для троцкистов как будто остановилось; то, что Троцкий требовал в 1936 году в своей «Преданной революции» по отношению к Сталину и сталинизму, спустя полвека повторяют его последователи в отношении Горбачева! В этом пережевывании уцененного историей и перетряхивании ветоши пер-

<sup>83</sup> ЦГАСА. ф. 33987. оп. I. д. 467. л. 156.

<sup>84</sup> Н. Валентинов. Встречи с Лениным. Нью-Йорк, 1981, с. 313.

<sup>85</sup> Новый град. Париж, 1931, № 1, с. 93—94.

манентной революции тем не менее видна живучесть левого радикализма, по-прежнему полагающего, что мир можно перестроить в результате глобальной кавалерийской атаки пролетариата.

Чтение троцкистского журнала создает иллюзию мысленного погружения в глубь десятилетий. Судите сами:

«Великая историческая цель — объединить разнообразие национальные отряды международного пролетариата в одну армию — сейчас может быть достигнута. Боевой клич революционного марксизма — «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — станет основой классовой борьбы в каждой стране. Старые сталинские и социал-демократические партии, гнилые остатки давно мертвых Второго и Третьего Интернационалов со все большим отчаянием цепляются к отжившей национально-государственной системе и капиталистическим господам. Итак, пришла эпоха Четвертого Интернационала. Задачи Интернационального комитета — это собрать кадры, готовые решительно действовать согласно этим перспективам, сплотить рабочий класс под знаменем Четвертого Интернационала и готовиться к победе предстоящей мировой социалистической революции»<sup>86</sup>. Пусть читатель не думает, что эта пространная цитата взята из тридцатых годов. Нет. Это фрагмент резолюции Интернационального комитета Четвертого Интернационала, принятой в канун пятидесятилетия основания троцкистской организации, в августе 1988 года.

За истекшие со дня основания IV Интернационала полвека исчезли из политической жизни многие организации, партии и даже целые государства, а международная партия троцкистов жива. Думаю, что одна из причин этого — устойчивый исторический авторитет ее основателя.

Обелиск на чужбине, таким образом, не только свидетельство гибели лидера Партии Мировой Социальной революции, но и показатель живучести «классических» форм исторического революционаризма.

После «ликвидации» Троцкого Секретно-политический и Иностраный отделы НКВД быстро потеряли интерес и к троцкизму вообще. Без своего лидера IV Интернационал уже не представлял опасности. В этом видно парадоксальное несоответствие между глыбой личности,

известной всему миру, и ее хилым идейным детищем. Это быстро заметили (а может быть, и раньше других) в НКВД. Первого июля 1941 года сотрудники 4-го отдела НКГБ СССР Агоянц и Клыков подготовили проект «постановления о прекращении агентурного дела», связанного с Троцким и троцкистскими изданиями за рубежом. В утвержденном затем документе говорилось, что «весь этот материал уже никакого оперативного интереса не представляет»<sup>87</sup>.

Портрет Троцкого никогда не удастся написать одной краской. Он сочетал в себе мятежность духа русских революционеров, их радикализм и подвижность с крайним якобинством и готовностью фанатично служить идее. Приведем оценку Н. Бердяева, данную им Троцкому. Мне представляется, она наносит еще один, возможно, заключительный штрих на тот портрет, который автор пытался написать. Русский мыслитель пронизательно замечает: «Троцкий очень типичный революционер, революционер большого стиля, но не типичный коммунист. Он не понимает самого главного, того, что я назвал бы мистикой коллектива... Коллектив, генеральная линия коммунистической партии — это ведь аналогично церковным соборам, и всякий, желающий остаться ортодоксальным, должен подчиняться совести и сознанию коллектива... Троцкий придает еще значение индивидуальности, он думает, что возможно индивидуальное мнение, индивидуальная критика, индивидуальная инициатива, он верит в роль героических, революционных личностей, он презирует посредственность и бездарность»<sup>88</sup>.

Эта индивидуальность личности Троцкого прежде всего заключается в его одержимости идеей. Она для него подобна философскому храму, где все созданное им принадлежит вечности. Революционер считал великой духовной роскошью способность свободно мыслить. Хотя этот пир интеллекта эфемерен и мимолетен, он способен создавать в безбрежности космоса сознания полотно давно ушедшего. Мы никогда не узнаем всего об этом человеке, ибо чем необычнее личность, тем она загадочнее.

Жизнь подобна мерцанию огня во времени. Последние ее блики на серой плите мексиканского обелиска навсегда поглотил поток вечности.

<sup>86</sup> Четвертый Интернационал. Журнал интернационального марксизма. 1989, с. 1—63.

<sup>87</sup> Архив КГБ, ф. 17548, д. 0292, т. II, л. 468.

<sup>88</sup> Новый град, Париж, 1931, № 1, с. 93.

Мария ШКАПСКАЯ

## Черная пчела

*Мы к этой крови не причастны,  
Как не причастны были — к той.*

Сейчас, когда новая русская революция пересматривает дела прежних русских революций, когда одни требуют причислить расстрелянного царя с его семейством к лицу мучеников, а другие робко полагают, что это все-таки слишком, мне все чаще вспоминается одно стихотворение, написанное через считанные два года после этого расстрела и посвященное одной из самых трагических жертв расправы — наследнику престола, 14-летнему Алексею Николаевичу. Это стихотворение Марии Шкапской из книги «Барабан Строгого Господина», вышедшей в 1922 г. Для отвода глаз там был цикл из двух стихотворений «Людовику XVII». Первое стихотворение было действительно об этом нецарствовавшем сыне казненного французского короля: тюрьма, лохмотья, объедки, плач и сиротство. А второе читалось так:

Народной ярости не вновь  
Смиряться страшною игрой,  
Тебе, Семнадцатый Людовик,  
Стал братом Алексей Второй.

И он принес свой выкуп древний  
За горевых пожаров чад,  
За то, что мерли по деревне  
Миллионы каждый год ребят,

За их отцов разгул кабацкий  
И за покрытый кровью шлях,  
За хруст костей в могилах братских  
В маньчжурских и иных полях

За матерей сухие спины,  
За ранний горький блеск седин,  
За Геси Гельфман в час родин  
Насильно отнятого сына,

За братьев всех своих опальных,  
За все могилы без отмет,  
Что Русь в синодик поминальный  
Записывала триста лет,

За жаркий юг, за север гиблый  
Исполнен над тобой и им,  
Неукоснительно чиним,  
Закон неумолимых библий.

Но помню горестно и ясно —  
Я — мать, и наш закон — простой:  
Мы к этой крови не причастны,  
Как не причастны были — к той.

Мария Шкапская не была репрессирована, имя ее не было под запретом, книжка ее, хоть и малотиражная, не изымалась из библиотек. Всякий, кто занимался русской поэзией начала XX века, знает ее стихи. Начиная с 1987 г. стали появляться редкие их перепечатки в журналах, газетах, антологиях. Но именно этого стихотворения среди них не было ни разу. Почему? У меня на это только один ответ: в наше обозленное время, когда всем хочется мстить друг другу за старые обиды, мысль и чувство этого стихотворения не пришлись по душе ни той, ни другой стороне. Одним не хотелось вспоминать о крови наследника, другим — о той крови трехсот лет, которую он искупил. А Шкапская говорила: без крови нет истории, но в этой крови виноваты одинаково все. Кро-

ме матерей. Подняться до высоты этого взгляда нам до сих пор оказывается трудно. Жаль<sup>1</sup>.

«Кровь-руда» — называлась одна из книжек Шкапской; кровь — сквозной образ всей ее поэзии. Не только кровь, проливаемая в войнах и революциях, но и та кровь, в которой женщины рожают детей, передавая им неумирающую наследственность единого во веки веков человечества. Современников эти стихи шокировали: любую эротику, казалось бы, русская поэзия уже освоила, однако дефлорация, роды, абортывы оказывались ее ценителям непривычны и непонятны. «Гинекологическая поэзия», — говорили о стихах; «Василиса Розанова», — называли поэтессу. Такие ярлыки удобно отвлекали внимание от ее трагической темы — темы, в которой были и Россия, и человечество, и Бог.

У стихотворения «Россия», которым начинается наша подборка, есть вариант, тоже опубликованный поэтессой; при нем эпиграф — из жития св. Варвары Великомученицы: «Радуйся, яко крови твоея капли сладчайшаго паче меда быша пресладкому Иисусу». А затем стихи:

Лай собак из поникнувших хижин,  
Да вороний немолкнущий крик.  
И высоко взнесен и недвижен  
Твой иконный неписанный лик.

Ты идешь луговиной степною,  
Несносим одичалый твой взгляд,  
И под жаркой твоею ступнею  
Опаленные травы горят.

С непокрытым челом инокиня  
Невозможных отступных церквей,  
Как на смуглых руках твоих стынет  
Рудолипкая кровь сыновей.

Потряся кандалные ковы,  
В озареньи вечерних надил,  
Ты влачишь свои вдовьи покровы  
Над грядями их тихих могил.

Но Христос Невечерия Славы  
Пречестных твоих мук причащен,  
И краев твоей ризы кровавой  
Поцелуем касается Он.

И преслаще сладкого дара  
Для ноздрей Его неодолим  
Поминальных твоих пожаров  
Терпкий запах и горький дым.

Отношения с Богом у Шкапской были сложные и недоговоренные. Это к нему относятся слова, давшие заглавие ее книге: «Мы танцуем под барабан Строгого Господина» (из Елены Гуро). Читатель, который будет судить об этом, пусть помнит, что к стихам Шкапской, наперекор общим мнениям, очень серьезно относились такие противоположные друг другу люди, как Максим Горький и Павел Флоренский. Б. Филиппов, автор предисловия к лондонскому переизданию стихов Шкапской, пишет (по-видимому, со слов брата поэтессы, прошедшего Соловки), что Флоренский предпочитал Шкапскую Ахматовой и Цветаевой — «по силе и эмоциональной насыщенности — при предельной краткости». А Горький с его невнятным культом Матери писал Шкапской о ее стихах (из Германии, 7 января 1923 г.): «тут говорится о Судьбах, о «Матерях» Гете, о той глубине, которую скорее чувствуешь, чем понимаешь. Бог — тоже из этой глубины». И потом, 24 мая 1924 г.: «Там, где правит голод, — мы имеем «цивилизацию», там, где творит любовь, — культуру... Несправедливо, что человечеством командуют «цивилизаторы», — отсюда именно трагическая путаница жизненных отношений. И не о «смягчающем влиянии женщины» речь веду, а о необходимости для нее понять свою роль в мире — свою владычность, культурную — и духовную, тем самым — значительность. Об этом женщины никогда еще не говорили. Мне кажется, что Вы вполне вооружены именно для того, чтобы говорить об этом. Эта тема — если Вам угодно — в самом сердце со-

<sup>1</sup> Прежде чем появиться в «Октябре», эти стихи были предложены другому московскому толстому журналу. Первым требованием редакции было: снять стихотворение о наследнике и снять «Еще висел на ближнем фонаре...»: «Сейчас, когда Россия так истерзана, такие жестокие слова...» и т. д.



временной действительности, которая вновь жаждет крови — Вашей крови, принимаете?»

Пожелания Горького были несвоевременны: прошел год, и Шкапская перестала писать стихи. Резко, как отрубила. Письмо Горького было откликом на ее поэму «Человек идет на Памир», поэма посвящалась «Заводу Сименса-Шуккерта в Берлине». Завод этот в поэме не присутствует, Памир — тоже: и то и другое — символы. Памир — это природа, которую подчиняет человек, а завод — это общество, железное и жестокое, которое нужно человеку, чтобы подчинить природу. Из двух целей, о которых пишет Горький, Шкапская выбрала не культуру, а цивилизацию, из двух побуждений откликнулась на голод, а не на любовь. Что такое голод, Шкапская знала лучше многих.

«Выросла я в большой нищете в тех петербургских трущобах, о которых часто не знают многие называющие себя петербуржцами — в районе Колтовских и Сурских, в непосредственной близости к общественной свалке городского мусора, которая для меня и для других детишек местной бедноты была источником существования... Выбраться из рядов люмпен-пролетариата гораздо труднее, чем откуда». Может быть, краски здесь и сгущены, но так они сгустились в памяти Шкапской. Отец ее был мелкий чиновник на грошовой пенсии, душевнобольной, мать — в параличе, с 11 лет она должна была зарабатывать на семью в семь человек: собирала кости и тряпки, мыла полы и окна, стирала, надписывала адреса на почте, дежурила в психбольнице, выступала статисткой по рублю за вечер, «зубами выгрызала» (по словам автобиографии) каждую полугодовую плату в училище, но училась так, что кончала гимназию на казенный счет как лучшая ученица. Потом поступила на медицинский факультет, дважды арестовывалась, по смягченному приговору («дело витмеровцев») была с мужем выслана вместо Олонечкой губернии за границу. Первое время получала (с другими высланными) стипендию от московского купца-филантропа; потом — война 1914 г., стипендия оборвалась, зарабатывала в госпиталях и эвакуационных пунктах, летом — на виноградниках и рыбных промыслах, потом продавала киноафиши на бульварах; окончила курс в Тулузе с дипломом преподавателя словесности. Поэтесса Е. Полонская, тоже учившаяся во Франции, вспоминала, как Шкапская читала странные стихи — «смесь сентиментальности с жестокостью»:

Гроб хочу с паровым отоплением,  
На парче золотые отливы,  
Жидкость ждановскую против тления  
И шопеновские к ней мотивы.

Гроб хочу с паровым вентилятором,  
И для мертвых удобства комфорта!  
Кликнем клич по мазилкам-новаторам:  
Пусть в гробу разрисуют офорты.

Скажут: мертвые им не ценители,  
Что живые больше бы ценили.  
Ах, живую оценку мы видели,  
А про мертвую скажем в могиле.

Калорифер от топки нагреется —  
И в гробу отворяется дверца!  
Пусть хоть кости в могиле согреются,  
Если в холоде умерло сердце.

Во Франции ее толкнули в литературу два очень непохожих писателя: старший В. Г. Короленко и сверстник И. Эренбург; ее очерки, описывавшие французскую жизнь с непривычных сторон, стали печататься в русских газетах; вернувшись в 1916 г., она стала разъездным корреспондентом петроградского «Дня» — «та же скитальческая жизнь, вызванная вечным внутренним беспокойством» (автобиография). В 1918 г. «День» был закрыт, 1919 г. застал ее на Украине с двумя детьми, грудным и двухлетним, за год в Новочеркасске они пережили и белый террор, и красный террор. «Барабан Строгого Господина» кончается маленькой поэмой «Явь» — о том, как вешают человека, а жена и дети на это смотрят («И как качался, и как по ногам нагайкой, — и как вот эти смеялись, и как вот те на цыпочки подымались, и как кресты на церкви не зашатались»). В 1920 г. по рукописи еще не изданных стихов ее принимают в петроградский Союз поэтов; на одном из вечеров Блок заставил ее прочесть сти-

хи о Людовике XVII и Алексее II, после этого Гумилев перестал подавать ей руку. За два года вышли четыре ее маленьких сборника: в 1921 г. — «Mater dolorosa», в 1922 г. — «Час вечерний», «Барабан Строгого Господина», «Кровь-руда»; критика отнеслась к ним неприязненно, а читатели — внимательно, два из них были переизданы. Она — в гуще петроградской литературной жизни, в 1923—1925 гг. квартира Шкапских на Петроградской стороне — вроде литературного клуба, куда можно прийти даже без знакомства с хозяевами; ее альбомы тех лет с записями, выписками и вырезками — драгоценность для историков. В 1925 г. — последняя книжка, «Земные ремесла», в ней — «Человек идет на Памир»; и на этом поэзии конец. Шестая книжка осталась в рукописи; из множества ненапечатанных стихов в архиве Шкапской — ни одного после 1925 г. Почему? Потому что проза нужнее голодным людям. «Стихов сейчас больше не пишу — поэт я лирический, а нашей эпохе нужны иные, более суровые ноты. И потом кажется мне, что поэт я не настоящий и в литературе такой же случайный странник, как и во всех других областях жизни», — кончается уже цитированная нами автобиография.

Шкапская уходит в очерк: туда, где нужен точный факт и трезвая мысль. Казалось, что этот жанр — последняя возможность видеть жизнь такой, какова она есть, а не такой, какой должна быть. Некоторое время ей и ее товарищам по культуре это удавалось: ее три сборника очерков — «Пятнадцать и один» (1930), «Вода и ветер» (1931), «Сама по себе» (1932) — это талантливые книги, о которых еще вспомнят. Надлом пришел потом: в 1932—1936 гг. она пишет для «Истории фабрик и заводов» книгу о петербургском заводе Лесснера (имени Карла Маркса), писать год от года все труднее, каждая собственная мысль осуждается редакцией как предвзятая литературная вольность, а потом умирает Горький, и «История» оказывается как бы совсем никому не нужной. Шкапская продолжает писать, ясно видя, как ее очерки выцветают неотличимо от чужих. Она напоминает себе в дневнике, что Советский Союз нужен миру, а ее работа — Советскому Союзу. Но хранит и не выбрасывает написанный в горькую минуту опасный набросок в духе Свифта о некоторой пещерной стране, плавающей в океане под засекреченными градусами: «Дисциплина в этой стране настолько жестка, что язык фактически упразднен. Тирания находит вполне достаточным одно слово «есть!», с помощью которого передаются самые разнообразные чувства, отношения, понятия и целые философские системы. Эта реформа языка вполне устраивает население и даже писателей как представителей художественного слова...»

Оставалось заглушать себя работой. Всю войну она — в литературной группе при Информбюро, больше ста очерков и брошюр. Но слабеет здоровье, отнимается нога, две ужасные катастрофы — обе с сотрясением мозга, сердечная недостаточность, целые месяцы в больнице или в постели. Муж — инвалид после инсульта, один из сыновей после плена — в лагерях, и неизвестно, жив ли: «Это, конечно, самое большое горе моей жизни, и мне очень горько, что я не умерла немного раньше». (Сын выжил, но она об этом уже не узнала.) Она торопится доделать последнюю большую книгу очерков — «подвести как-то итоги». Книга так и не вышла. В старой автобиографии она писала о своей семье: «Очень тяжелая наследственность по мужской линии в смысле душевных заболеваний, обуславливающих большое внутреннее горение в первой половине жизни и мучительную и трагическую гибель — в конце». Душевные заболевания миновали ее, но трагедия миновать не могла.

Мария Михайловна Шкапская, урожденная Андреевская, родилась в 1891 г. и умерла в 1952 г. Столетие ее рождения и сорокалетие ее смерти было мало кем замечено. Она не искала славы. Даже громкое звучание стихов было ей всегда неприятно, и сочиняла она их — в отличие от многих поэтов — никогда не вслух, только про себя. Отсюда и ее манера писать стихи в строку, как прозу, — для передачи неторжественной, интимной, скороговорочной интонации.

Из цикла «Россия»<sup>1</sup>

По степному цветному раздолью,  
Пригибая зацветшую рожь,  
На какие идешь богомолья,  
На какие успенья идешь?

Ты проходишь — и молкнут народы  
Перед ликом страданий твоих,  
И Христос с опаленного свода  
Возникает целебен и тих.

Но к Его умиляющей длани  
Не склонив непокорных седин,  
О кровавых своих взысканьях  
Говоришь ты один на один.

15 сентября 1920

\* \* \*

## I

Еще висел на ближнем фонаре  
Последний жид, и ветер, озверев  
От горечи, от дыму и от сраму,  
Еще срывал с заборов телеграмму  
О том, что красные далеко от Ростова  
И нечего метаться по-пустому.  
А между тем, в предчувствии римских ласк,  
Свои расчеты меркантильно снизив,  
Как женщина, дрожал Новочеркасск  
От поступи деникинских дивизий.  
Они текли с обозом на восток,  
Созвездиями новый путь измерив,  
Предчувствуя, но все еще не веря,  
Что это в самом деле эпилог,  
Что некому наследственные иски  
Теперь чинить и что вот в этот год  
Пошел ко дну тяжелый пакетбот,  
Что звали мы империей российской.

## II

«Глоток воды». — «Нельзя, закрыта будка».  
«Глоток воды». — «Нам на семью ведро,  
Да очередь с утра по первопутку». —  
«А наша очередь — вот в этот черный ров».  
«Глоток воды. А за него возьмите  
Вот эту шаль — теперь уж все равно».  
И черпает, пока не глянет дно,  
И все не может жажды утолить.  
А после, уходя в глухую ночь,  
Не поглядит умышленно назад,  
Но щупают его через цепочку  
Опасливые серые глаза.  
Два слова вскользь, о гуннах и Аттиле —  
(На ставнях болт, а на дверях замок)  
И — жадно мерит шаль перед трюмо  
При тусклом свете маленьких коптилок.

<sup>1</sup> Из стихов, публикуемых здесь, второе (в трех частях), четвертое, пятое и предпоследнее печатаются впервые, третье — с восстановлением цензурного пропуска. Даты проставлены по рукописям, хранящимся в ЦГАЛИ; где неизвестны даты написания — в скобках указаны даты публикаций.

О, обыватель, в полушубке вошь,  
 Как о тебе страшна доньне повесть —  
 Ты за жилетку жизнь отдашь,  
 За соль выменивая совесть.  
 Так вымерены торные тропинки,  
 Так дорого яйцо к Христову дню,  
 Гусь к Рождеству, да к Троице ботинки,  
 Да то, что хата встала на краю.  
 Пусть под окном идет, шатаясь, время,  
 И пусть лежит в обломках старый мир —  
 Грызаясь за них и с этими и с теми,  
 Используешь ты их на свой сортир.

## III

Где же, матери, ваши дети?  
 Руки слабы, ветер силен.  
 Видно, сдул их веселый ветер,  
 Скифский ветер с семи сторон.  
 Как он свищет и как он воет  
 В этот страшный меченый год, —  
 Было двое их, помнишь, двое,  
 А не стало ни одного.  
 В полушубке и в куртке новой  
 Синеглазый мальчик кадет  
 Уложил во рву под Ростовом  
 За царя свои девять лет.  
 Ветер путал волосы ночью  
 И какие-то нес слова,  
 Полотняным его платочком  
 Утирала глаза трава.  
 И пока искали в мертвецкой  
 Между штабелей синих тел —  
 В промежутки от смерти к детской  
 Скифский ветер, смеясь, летел.  
 А другой — ты припоминаешь —  
 Шрам над бровью наискосок,  
 И в глазах синева такая ж,  
 И такой же сухой песок.  
 Как неведеньем мы богаты —  
 Это матери невдомек.  
 Может быть, это он для брата  
 У винтовки спустил курок.  
 А теперь в городской больнице  
 Грудь, проколота штыком, —  
 И ему ничего не снится  
 Про тебя, про отца и дом.  
 Как стояла она над этим  
 Под покровом из кумачу —  
 Был к ней добрым веселый ветер —  
 Загасил ее, как свечу.  
 И над сердцем ее тяжелым  
 Так мягка и легка земля.  
 Ветер, ветер такой веселый,  
 Так просторны твои поля.

1924?

\* \* \*

## I

Как в темный улей черная пчела,  
 Сбираю мед отстойной печали,  
 И с лука каждого летящая стрела  
 Меня неуклонимо жалит.

Был горек мне к помазанью елей,  
И вот — цветы моих земных полей:

У нищей девочки, стоящей на ветру,  
Два пальца в варежке вспухающих и синих,  
У старой девушки, озябшей поутру,  
Кровати узенькой холодные простыни,  
И взгляд потерянный, невидящий и белый,  
Тех, что ведут поутру на расстрелы.

## II

Нет, на путях моих не мне даю  
Испить искристое хиосское вино.  
В моих путях запомнить мне велели  
Лишь строгие печали Октября  
Да маленькие горечи апреля,  
И вот — Страстной мне каждая неделя  
И омраченной каждая заря.

22 ноября 1921

\* \* \*

О современности, нам милой,  
Мы никогда не говорим,  
А между тем в славянских жилах  
Пружинит кровь Четвертый Рим.

С ним едем запросто в трамвае  
И ходим в очередь в ЛЕПО,

Но как горим мы, не стораю,  
На перекрестке двух эпох.

Как непривычен и как жесток  
Нам этот новый римский стаж,  
И как он темен, этот наш  
Унылый русский перекресток.

1924?

## Брату

Боже духов и всякия плоти, был мой милый, как агнец, прост; в немудреной земной работе иго сладчайше нес.

Ни на чьи человечьи плечи новой ноши не возлагал. Безымянным Твоим предтечей у источников трудных алкал.

Не примял цветка полевого, не задул печного огня. Но сказал Ты черное слово и взял его у меня.

Боже, милый и трудный, внемлю! Но внемлешь ли нам и Ты? Иль только готовишь землю под белые эти кресты?

5 февраля 1922

\* \* \*

Господи, разве не встала я, егда Ты ко мне воззвах? Ведь я только петелька малая в тугих Твоих кружевах.

Ведь мы только ягоды спелые в Твоем лесном туеске, цветы Твои белые в соблюденном Тобой леске.

Твоими ржаными колосьями всходим из влажной земли в полях нашей скудной родины, в ее дорожной пыли.

Но зреть под лучами теплыми дай нам время и срок, чтоб цветы встали в поле копнами, чтоб колос налиться мог.

До срока к нам не протягивай тонких пальцев своих, не рви зеленые ягоды, не тронь колосьев пустых, ткани тугие, нестканые, с кросен в ночь не снимай.

— Детям, Тобою мне данным, вырасти дай.

15 августа 1921

\* \* \*

Небо Твое придавило, множества давят Твои, кровь оскудела в жилах, тоскота иссякла в крови.

Осенний конец не страшен, — надо — склонюсь, паду, — колос с июльской пашни, плод в сентябрьском саду.

Но жизнь отнимая в Мае, Садовник и Жнец, скажи: свет Твой непотушаем до земной ли только межн?

(1922)

\* \* \*

Катящая в упругих жилах волны, замкнувшая тягчайшие ключи, — не любит наша кровь дневного солнца, и по ночам вздымаем мы мечи и любим жен своих — в ночи.

Бог всех кровей — и темных и червонных, — страшнейшую из кар своих готовь, — отступники древнейшего закона, — мы по земле ступали непреклонно и многую явили свету кровь.

(1922)

\* \* \*

Всё течет — от праматери Евы к отягченным вещами дням, через каждое новое чрево, приобщаясь все к новым нам.

Проливаем в любви и сечах, зачиная, родя, творя, нашей кровью заалели реки и цветут земные моря.

Но течет угрюмо и красно единая с первого дня, всем дням и векам участна, и нас со всеми родня.

(1922)

\* \* \*

Петербурженке и северянке люб мне ветер с гривой седой, тот, что узкое горло Фонтанки заливают невиской водой.

Знаю — будут любить мои дети невиский седобородый вал, оттого что был западный ветер, когда ты меня целовал,

21 ноября 1921

\* \* \*

Всё помним о древнем рае,  
И в память Закрытых Врат  
Так крепко мы запираем  
Наш храм, наш дом и наш сад.

В плену, но наш плен нам сладок,  
Как чайке простор морей.  
На лестнице пять площадок,  
На каждую семь дверей.

За каждой дверью цепочка,  
Французский замок и крюк,

И дверь не отворим ночью  
На самый поспешный стук.

И если приходит милый —  
Так долго глядим мы в щель,  
Что часто теряют силы  
Дафнис, Тристан или Лель.

А после мы ловим тщетно  
Любви легкокрылый луч  
И тщетно ломаем в клетке  
Цепочку и крюк и ключ.

7 октября 1921

\* \* \*

Было тело мое без входа, и палил его черный дым. Черный враг человеческого рода наклонялся хищно над ним.

И ему, позабыв гордыню, отдала я кровь до конца за одну надежду о сыне с дорогими чертами лица.

(1921)

**Канон богородичен**

Все мы Ей дети, все мы Ей дочери, танцующие в балете, стоящие в очереди.

И для всех Она равно светла, Матерь Скорбящая, Светило незаходящее, девственная похвала и мост, в небе висящий.

Все мы Ей дети, все мы Ей дочери, все, кем на этом свете слезы источены.

И у Ней, Невестной Невесты, Жены Неискусобрачной, просим посева значный, завтрашний день удачный и благие с дороги вести.

Все мы Ей дети, все мы Ей дочери, все, чьи усталые веки слезами смочены.

И у Ней, благодатной Жертвы, Матери Восставшего из мертвых, — просим для своего ребенка волос тонкий, голосок звонкий и доброе к матери сердце.

1919

\* \* \*

Под шагами тяжкими и важными, как былинки, впутались они в наши жесткие, многоэтажные, в городские наши дни.

Забываем мы о них неделями и с утра отводим в детский сад, их — не воплощенных Рафаэлями, не таких, что пел Рабиндранат.

Нет у нас чудесных и особенных, и они — такие же, как мы, дети той же скудной родины, узники одной тюрьмы.

Как же сделать их могли бы мы непохожими на нас, если не с кем было быть счастливыми матерям в зачатный час.

7 октября 1921

**Проводы**

В день отъезда плакал мой любимый —  
Быть печальной не сумела я,  
Ведь любви моей неукротимой  
Не страшна тяжелая земля.

Алой кровью целый мир окрашен,  
Но ведь знаем оба — я и ты,  
Что над самой страшной смерти пашней  
Брызнут к солнцу новые цветы,  
Что в других устах еще свободней  
Будут жить бессмертные слова  
И что всех цветов земле угодней  
По крови проросшая трава.

1924?

\* \* \*

Должно быть, миру уготован такой блистательный конец, что им как сказкой очарован над каждым детищем отец, —

Затем, что сыновья и внуки — для нас для всех входной билет за порцию текущей муки на зрелище грядущих лет.

1925

Публикация С. Г. ШКАПСКОЙ.  
Составление М. А. ГАСПАРОВА.

Ю. ПИВОВАРОВ

## БЫВШЕЕ, НО НЕ СБЫВШЕЕСЯ

О «РУССКОМ МАРКСИЗМЕ»  
И ЕГО УДИВИТЕЛЬНОЙ СУДЬБЕ

Известно мнение Р. Дарендорфа, знаменитого современного обществоведа, о том, что в своих лучших проявлениях XX век был социал-демократическим<sup>1</sup>. Наверное, это сказано слишком сильно. Было кое-что и другое. Но то, что картина нашего столетия писалась и социал-демократическими красками, что, несмотря на падения и неудачи, европейская социал-демократия стала одним из столпов современной западной цивилизации, — это очевидно. К сожалению, к нам слова Р. Дарендорфа не относятся. Русский XX век обошелся без социальной демократии (впрочем, он отвернулся и от многого иного). И хотя в конце 1917 года к власти у нас пришла партия, именовавшая себя «российской социал-демократической», это был лишь псевдоним или точнее — благопристойная маска, за которой скрывалась сила, по сути дела, не имевшая ничего общего с идеями социал-демократии и прежде всего — может быть, это покажется странным — именно русской социал-демократии.

Почему именно русской социал-демократии? В сущности, поискам ответа на этот вопрос и посвящена предлагаемая работа. Но прежде несколько предварительных замечаний. Во-первых, судьба отечественной социал-демократии интересует меня не сама по себе, а в контексте истории русской политической культуры и политической мысли пореформенного периода. И это вовсе не авторская прихоть; я убежден, что такой подход к теме создаст предпосылки для лучшего ее раскрытия. Во-вторых, говоря о специфике «нашенской» социал-демократии, с неизбежностью упираешься в проблематику коренного своеобразия Русской революции. А это, в свою очередь, сразу же обозначает главные направления, по которым должен вестись исследовательский поиск, — «русское просвещение», «освободительное движение» и т. д.

В-третьих, отдавая себе отчет в том, что понятия «марксизм» и «социал-демократия» даже сто лет назад не были идентичными, хотя, конечно, очень и очень близкими, я буду употреблять их как синонимы. Для России рубежа XIX—XX веков это оправдано. Все члены социал-демократических кружков, а затем и партии исповедовали марксизм, и, наоборот, — все марксисты или были членами социал-демократических организаций, или близко стояли к ним.

В истории русской предреволюционной мысли меня всегда занимал один любопытный факт. Целая плеяда ее ведущих представителей испытала в молодости сильнейшее увлечение марксизмом и активно работала в рядах социал-демократии. Это — Н. А. Бердяев (год рождения — 1874), С. Н. Булгаков (1871), А. С. Изгоев (1872), Б. А. Кистяковский (1868), П. Б. Струве (1870), С. Л. Франк (1878), Г. Г. Шпет (1879) и др. Заметим для себя, что в этом — разумеется, далеко не полном, но весьма репрезентативном — списке шесть из семи авторов «Вех», одного из значительнейших документов отечественного самосознания и самопознания, а также то, что все эти люди родились примерно в одно десятилетие — конец 60-х — конец 70-х годов. Знаменательно и то, что вся эта группа полностью и окончательно порвала с социал-демократией к революции 1905 года.

Итак, чем же можно объяснить этот факт? «Детской болезнью левизны» — кто в двадцать лет не был революционером, ниспровергателем существующих порядков, обличителем социального зла и искателем земного рая? Модой на марксизм, которая пришла в России как раз на молодость этого поколения? Новизной марксистских идей, их «научностью» и «научообразностью»? Коллективистским началом, заложенным в марксизме и нашедшим отклик в коллективистской психике русской культуры? Утопическим проективизмом марксизма, до

<sup>1</sup> Dahrendorf R. Die Chancen der Krise: Über die Zukunft des Liberalismus. Stuttgart, 1983. S. 16.



определенной степени созвучным утопической проективизму отечественной мысли? Наверное, каждое из этих объяснений в той или иной мере справедливо. Наверное, можно привести и другие причины и резоны.

Но особый интерес представляет, безусловно, саморефлексия этих людей. Что впоследствии думали они по поводу своего марксистского, социал-демократического прошлого? Как, придя уже на другие мировоззренческие и интеллектуальные позиции, объясняли случившееся с ними в начале жизни?

В «Самопознании» Бердяева мы можем прочесть: «Я не раз задавал себе вопрос, что побудило меня стать марксистом, хотя и не ортодоксальным, а свободомыслящим? Вопрос сложный. Особая чувствительность к марксизму осталась у меня и доныне. Я не мог примкнуть к социалистам-народникам и к социалистам-революционерам, как они стали именоваться. Мне был чужд психологический тип старых русских революционеров... Кроме того, меня отталкивал пункт о терроре, к которому я всегда относился отрицательно. Марксизм обозначал совершенно новую формацию, он был кризисом русской интеллигенции. В конце 90-х годов образовалось марксистское течение, которое стояло на гораздо более высоком культурном уровне, чем другие течения революционной интеллигенции. Это был тип, мало похожий на тот, из которого впоследствии вышел большевизм. Я стал критическим марксистом, и это дало мне возможность остаться идеалистом в философии. Произошла дифференциация разных сфер и освобождение сферы духовной культуры. Марксизм того времени этому способствовал. В марксизме меня более всего пленил исторический размах, широта мировых перспектив. По сравнению с марксизмом старый русский социализм представлялся явлением провинциальным. Марксизм конца 90-х годов был, несомненно, процессом европеизации русской интеллигенции, приобщением ее к западным течениям, выходом на большой простор»<sup>2</sup>.

С. Н. Булгаков же был твердо убежден в том, что «после политического удущья 80-х годов марксизм являлся источником бодрости, деятельного оптимизма, боевым кличем молодой России, как бы общественным бродилом. Он усвоил и с настойчивой энергией пропагандировал определенный, освещенный вековым опытом Запада практический способ действия, а вместе с тем он оживил упавшую было в русском обществе веру в близость национального возрождения, указывая в экономической европеизации России верный путь к этому возрождению»<sup>3</sup>.

Вдумаемся в эти слова Бердяева и Булгакова. **Первое.** Речь идет не вообще о

марксизме, не о марксизме «ортодоксальном», а о марксизме «критическом», «свободомыслящем». То есть подразумевается, что имелись различные типы марксизма. **Второе.** Именно критический, свободомыслящий марксизм выводил передовую русскую интеллигенцию на «большой простор», к «широте мировых перспектив». Выводил из провинциализма народничества, из его узкого и сектантского мышления, из кризиса отечественной социалистической идеологии. Такой марксизм был **формой европеизации русской интеллигенции.** **Третье.** Он позволял «встать на более высокий культурный уровень», «остаться идеалистом в философии»; способствовал «освобождению сферы духовной культуры» из-под ига вульгарного и наивного социологизма, характерного для традиционно-народнического менталитета.

**Четвертое.** Марксизм Бердяева, Булгакова, Струве и им подобных был одновременно и способом, формой, идейным, научным обоснованием отказа от террора, который искушал отечественную интеллигенцию на протяжении всей ее истории. Этот марксизм получил в 90-е годы название легального. И хотя тогда в понятие «легальный марксизм» вкладывался другой смысл, появление этого термина далеко не случайно. Я убежден, что и В. И. Ленин, и Г. В. Плеханов (да-да, и он тоже; но это особая тема — «неленинский, меньшевистский марксизм и террор»), и ряд других русских социал-демократов, пусти в публицистический оборот — с целью размежевания со своими оппонентами и дискредитации их — словосочетание «легальный марксизм», не осознавали того, что попали в точку. Хотели сказать одно, а сказали совсем иное. Тот марксизм действительно был **легальным**, в самом прямом смысле. Он основывался на принципах права и законности, легальности и легитимности и потому органически отвергал террор.

**Пятое.** В последнее десятилетие XIX века для многих представителей нового поколения отечественной интеллигенции марксизм стал «общественным бродилом», «источником бодрости и деятельного оптимизма... молодой России», вселяющим веру и указывавшим пути национального возрождения. Парадоксальным образом это космополитическое, интернациональное учение оказалось для русского ума школой практического патриотизма. Не казенного и пошлого, не шовинистического и мечтательного, коего на Руси всегда и по сей день переизбыток, а живого, деятельного, здорового, культурного. А от такого патриотизма было уже рукой подать до государственной идеи...

Но не будем спешить. Ибо здесь мы подступаем к крайне важной теме — о том, как критический марксизм подготовил русскую интеллигенцию к восприятию государственной идеи. Которая, в

<sup>2</sup> Бердяев Н. А. Самопознание. (Опыт философской автобиографии). Париж, 1949, с. 125

<sup>3</sup> Булгаков С. Н. От марксизма к идеализму. СПб, 1903, с. VII.

свою очередь, стала новой для России государственной идеей.

В основном эта тема разрабатывалась двумя замечательными мыслителями — П. Б. Струве и А. С. Изгоевым. Но интересны они, разумеется, не только как теоретики новой государственной идеи. Более того, саму эту идею целесообразно рассмотреть в таком контексте — «А. С. Изгоев о марксизме» и «П. Б. Струве и марксизм».

Сначала об А. С. Изгоеве. В августе 1909 года, когда нападки (со всех сторон) на «Вехи» достигли апогея, он пишет статью, в которой пытается объяснить с социал-демократической интеллигенцией и прояснить свою позицию. Работа так и называется: «Интеллигенция и «Вехи»<sup>4</sup>. Помимо прочего, эта статья является глубокой рефлексией по поводу социал-демократического и марксистского прошлого автора. Мне трудно назвать другой источник, в котором бы столь же ярко говорилось о роли и значении марксизма для отечественной мысли, культуры, истории.

По мнению Изгоева, «русский марксизм... сыграл огромную и очень благотворную роль в истории общественного развития... В России марксизм был воспринят преимущественно интеллигенцией и явился для нее незаменимой школой политического и социального реализма. В тесные кружки интеллигентской молодежи, жившей где-то на седьмом небе от грешной земли, в своем воображении создавшей фантастические миры, фантастический народ, брошен был действительно луч света, зерно настоящей науки. В то время, как эта молодежь фантазировала на все лады о превращении страны с тысячелетней историей, с многочисленными народами в социалистический рай, ей указали, что европейский социализм является продуктом многовекового экономического развития, следующего своим законам, не особенно считающимся с желаниями и фантазиями кучки интеллигентов.

Интеллигенцию приглашали отречься от чрезмерной субъективности, изучать явления жизни не сквозь призму их желательности или нежелательности, а разыскивать подлинные социальные силы, те, которые на самом деле приводят в движение народы и государства и влекут за собой социальные и политические перевороты. Эти силы интеллигенции предлагалось искать в ходе экономического развития страны»<sup>5</sup>.

Конечно, сегодняшнего, посткоммунистического, читателя может несколько смутить экономическо-детерминистическая риторика А. С. Изгоева. Но не в ней дело; это скорее дань времени и языку эпохи. Существенно другое. В этом отрывке русскому марксизму 90-х годов дается чуть ли не наиболее значимая ха-

рактеристика — **«незаменимая школа политического и социального реализма»** для интеллигенции. Да, школа политического и социального реализма, в которую пошла культура, насквозь пропитанная мифологием и утопизмом. «Ну, какой там реализм, какая незаменимая школа?! — могут возразить мне. — Ведь марксизм и есть самая натуральная мифология, принарядившаяся в наукообразные одежды. И в этом своем качестве давно уже развенчан».

Действительно, подобная оценка марксизма широко известна, а в нашей стране постепенно становится господствующей. Кроме того, именно марксизм и марксистов винят во всех бедствиях, обрушившихся на Россию в XX столетии. Мне не хотелось бы спорить на эту тему, в особенности потому, что в роли наиболее грозных обвинителей и ниспровергателей марксизма большей частью выступают его вчерашние «теоретики» и пещеры. Или же — люди, «втайне» не любившие марксизм, но игравшие по правилам предписанной игры; когда пошла новая игра, эти самые люди с наслаждением стали пинать предмет былой своей нелюбви. И все бы ничего, но вот только смущает: ведь поношение марксизма — это правила новой игры.

Однако не могу отрицать, что советские люди имеют право с недоверием (в лучшем случае) относиться к марксизму. И к тем авторам, которые хотели бы спокойно и объективно анализировать его. А в особенности к тем, кто смеет предположить (я-то просто утверждаю), что марксизм в истории русской культуры и мысли был не одним лишь проклятием и несчастьем (хотя и этим тоже), но и очень важным, плодотворным «моментом» развития. Более того, «моментом» во многих отношениях поворотным; причем не в сторону семидесятилетнего нашего рейха, а как раз в противоположную.

Понимаю: трудно в это сейчас поверить. Об этом трудно даже думать. Вот почему: помимо ценности саморефлексии как таковой, я зову читателя прислушаться к голосам мыслителей, сказавших об этом учении немало разоблачающего, но сумевших — в общем и целом — остаться свободными, как будущи марксистами, так и переставши ими быть. Я зову прислушаться к их голосам, потому что все мы, за ничтожным исключением, в своем самоопределении, в своем выборе, в поиске новой самоидентичности слишком несвободны, слишком повязаны не теорией даже (какая там теория!), скорее практикой того, что победительно вошло в нашу жизнь в Октябре семнадцатого, что стало нашей жизнью и что принято называть «марксизмом-ленинизмом». И несвободны, к сожалению, не только мы, покорные и трусливые рабы, лишь начинающие (начинающие ли?) распрямляться, но и мужественные борцы с ним. Пока и их свобода носит по преимуществу негатив-

<sup>4</sup> Изгоев А. С. Интеллигенция и «Вехи». Русское общество и революция. М., 1910, с. 3—11.

<sup>5</sup> Изгоев А. С. Указ. соч., с. 4.

ный характер. Примеры позволю себе не приводить...

В 1912 году, давно уже перестав быть марксистом, Б. А. Кистяковский, один из крупнейших отечественных юристов начала века, так оценивал эту доктрину: «попытка научно-систематического объяснения социальных явлений»<sup>6</sup>. «В методологическом отношении, — писал он, — экономический материализм (т. е. марксизм. — Ю. П.) стоит несравненно выше натуралистического направления в исследовании социальных явлений (т. е. органической теории общества, в различных своих версиях господствовавшей в XIX в. — Ю. П.). Он стремится из недр социально-научного знания конструировать объяснение социального процесса и социального развития. Свои основные понятия экономический материализм берет из политической экономии и таким образом оперирует по преимуществу с социально-научными понятиями. В общем он представляет из себя чисто социально-научное построение. Только в немногих случаях естественно-научные понятия играют в нем недолжную, методологически неправильную роль. Эти формально-логические и методологические достоинства экономического материализма дополняются и достоинствами предметного характера. Он впервые обратил внимание на многие социальные явления и отношения (подчеркнуто мною. — Ю. П.); им раньше не придавали значения и потому не замечали их. Благодаря его освещению эти явления предстали перед взором научных исследователей как настоящие открытия»<sup>7</sup>.

Мне кажется, что в этих словах Кистяковского очень точно «схвачено» то качество, то свойство марксизма, которое мы сегодня — по вполне, впрочем, повторяю, понятным причинам — упускаем из виду и о котором забываем. Марксизм действительно первым и «впервые обратил внимание на многие социальные явления и отношения»; до него им действительно «не придавали значения и потому не замечали их». Иначе говоря, главная — и непреходящая, несмотря ни на что! — заслуга марксистской (и марксовой) мысли заключается в постановке принципиально новых вопросов и формулировании принципиально новой проблематики. Другое дело — те ответы, которые были даны на эти вопросы, и те способы решения проблем, которые были предложены. Хотя и здесь все не так просто и однозначно, как это видится в наши

дни. Что же касается вопросов и проблематики, то они сохранили свое значение и для мировой культуры XX столетия. Подтверждение этому мы можем найти не только в весьма влиятельных социал-демократических и неомарксистских концепциях, но и в интеллектуальных построениях, далеких от марксизма, однако постоянно занятых разрешением этих вопросов и этой проблематики.

И еще одно немаловажное обстоятельство для понимания уникальной и специфической роли «русского марксизма». Его верно подметил Изгоев: «Русский марксизм во многом отличался от западно-европейского и во многих отношениях предвосхитил его развитие. Для сведущих в этой области людей не подлежит, например, сомнению, что П. Б. Струве раньше и во многих отношениях ярче развил ревизионистские идеи, чем Эд. Бернштейн»<sup>8</sup>.

Ключевое слово произнесено: «ревизионизм». «Критический», «свободомыслящий», «легальный» марксизм был марксизмом «ревизионистским». Этот и только этот марксизм оказался для русской интеллигенции «незаменимой школой политического и социального реализма» и всем тем, о чем уже было и будет сказано в этой работе. Этот и только этот марксизм подразумевается, когда я говорю: «русский марксизм». То есть «частичный», редуцированный, лишенный ореола всеобъемлющего и единственно верного объяснения истории, экономики, политики, вообще мироустройства, сведенный до уровня эвристической общественно-экономической модели, дополненный достижениями различных социальных наук, соединенный с современной философией, «очищенный» религиозными ценностями.

Однако возникают вопросы: каким образом марксизм Маркса и Энгельса превратился у нас в «русский марксизм» (повторяю — критический, свободомыслящий, «легальный»)? И почему мы опередили европейских социал-демократов в возведении здания ревизионизма? Ненамного, но опередили.

Прежде чем отвечать на эти, как мне кажется, серьезнейшие для понимания русской истории пореформенного периода и Русской революции вопросы, я хотел бы сказать несколько слов в защиту ревизионизма как фундаментального принципа демократического открытого общества. В советском политическом словаре этот термин обладал негативными коннотациями, был чуть ли не бранным. И это не случайно. Русская послеоктябрьская культура, в которой мы прожили наши жизни, на дух не принимала идею ревизии, пересмотра, идею постоянной фальсификации (в смысле К. Поппера<sup>9</sup>) тех «ценностей», на которых она покои-

<sup>6</sup> Кистяковский Б. А. Проблема и задача социально-научного познания. Социальные науки и право: Очерки по методологии социальных наук и общей теории права. М., 1916, с. 15. Цитируемая статья написана автором в 1912 г. и впервые опубликована в «Вопросах философии и психологии», М., 1912, кн. 112. Затем через 4 года включена в этот итоговый сборник статей.

<sup>7</sup> Кистяковский Б. А. Указ. соч., с. 15—16.

<sup>8</sup> Изгоев А. С. Указ. соч., с. 4.

<sup>9</sup> Карл Поппер — философ, социолог, логик. Один из наиболее выдающихся теоретиков либеральной демократии. Книга К. Поппера «Открытое общество и его вра-

лась. Если что и генерировалось этой культурой, то принципы верности и неизблемости «первооснов». Все остальное было факультативным, побочным, прикладным. С точки зрения исторической перспективности подобный социальный тип обречен, поскольку в нем не заложен механизм саморазвития, как раз и предполагающий всеобъемлющую ревизию и беспощадную рефлексию по поводу «первооснов». Такая культура крайне неустойчива, нежизнеспособна, не имеет пространства для социального маневра. Стоило ревизионисту М. С. Горбачеву и его соратникам усомниться лишь в нескольких «священных» постулатах — и все завалилось, рухнуло, бесповоротно ушло.

Напротив, «открытое общество» (опять же по К. Попперу) витально и перспективно потому, что базируется на принципе постоянного пересмотра своих «первооснов». Но ревизия в нем означает не беспринципный релятивизм, не абсолютизацию относительного, а неуклонную поверку «вечных ценностей» жизнью и поиск равновесия, синтеза этих ценностей и потребностей времени. Причем формула синтеза меняется в каждую эпоху.

Но вернемся к русскому марксизму, который, как говорил Изгоев, «отличался от западноевропейского и во многих отношениях предвосхитил его развитие». В марксизм у нас пришла наиболее внутренне свободная, ориентированная на «широкие мировые перспективы», открытая для новых идей и ценностей молодежь, которая, помимо прочего, не была связана, как, к примеру, немецкие ревизионисты, узами весьма жесткой партийной дисциплины. Зарубежные ревнители чистоты марксистской догмы были от них далеко, свои еще не оперились, и сама обстановка как бы способствовала свободному и творческому восприятию марксизма (единственное ограничение — начавшаяся война с народниками). Ведущий представитель отечественного ревизионизма Струве в статье в характерном названии «Против ортодоксальной нетерпимости» признавался: «Я не боюсь быть диким и брать то, что мне нужно, и у Канта, и у Фихте, и у Маркса, и у Брентано, и у Родбертуса, и у Бем-Баверка, и у Лассалья»<sup>10</sup>. Или вот другое не

менее характерное его же заявление: «Когда от меня требуют указать, интересы какого класса выражает философия Фихте, я чувствую, что от этого вопроса глупею»<sup>11</sup>.

Хочу подчеркнуть: эти слова П. Б. Струве не есть свидетельство творческой всеядности, идейных «шатаний» и т. п. Нет, это голос свободного человека, не боявшегося говорить по-своему и, будучи крупнейшим теоретиком марксизма, ставить под вопрос даже принципиальные положения этого учения. Тот же П. Б. Струве совершенно справедливо отмечал, что «в «Критических заметках»<sup>12</sup> была сделана первая в литературе марксизма попытка привлечь к развитию и обоснованию марксизма критическую философию; в них же были развиты взгляды, заключающие в себе отрицание Zusammenbruchstheorie und Verelendungstheorie (теории неизбежного краха капитализма и теории обнищания, — Ю. П.). Таким образом, основные мотивы критического поворота в марксизме были предвосхищены, правда, в очень несовершенной и рудиментарной, но все-таки довольно явственной форме в моей книге 1894 года»<sup>13</sup>.

Надо сказать, что Бердяев очень точно охарактеризовал себя как свободомыслящего марксиста. Русские марксисты (ревизионисты, разумеется) сразу же разошлись с «классическим» марксизмом в понимании феномена свободы. Энгельсово определение свободы как осознанной необходимости в этой среде принято не было. Свобода, по утверждению Струве, «беззаконна... Другого философского смысла, кроме отрицания необходимости и закономерности, слово «свобода» не имеет»<sup>14</sup>. И от несогласия с традиционными марксистскими представлениями по важнейшей мировоззренческой проблеме он шел к выводу, что «метафизическая часть марксизма должна разделить судьбу диалектики и материализма, оказавшихся одинаково несостоятельными перед судом философской критики»<sup>15</sup>. Струве предлагал отбросить весь этот фило-

<sup>10</sup> Там же.

<sup>11</sup> Полное название книги П. Б. Струве — «Критические заметки к вопросу об экономическом развитии России». Эта работа — выдающееся явление в истории русского марксизма. Она стала знаменем, с которым марксисты шли в бой с народниками. К тому же, как писал впоследствии авторитетный экономист В. Бруцкус в этой монографии молодой ученый с «действительной прозорливостью сумел верно определить сущность русского аграрного кризиса». (О природе русского аграрного кризиса. Сборник статей, посвященных П. Б. Струве. Прага, 1925, с. 63.) А это делало книгу событием национального масштаба, выводя ее из «пределов» марксистской субкультуры. Ведь аграрный кризис имел ключевое значение для пореформенной истории.

<sup>12</sup> Струве П. Б. Против ортодоксальной нетерпимости, с. 300—301.

<sup>13</sup> Струве П. Б. Свобода и историческая необходимость. «Вопросы философии и психологии». СПб. 1897, № 1, кн. 36, с. 125.

<sup>14</sup> Струве П. Б. Предисловие к книге Бердяева. Субъективизм и индивидуализм в общественной философии. Критический этюд о Н. К. Михайловском. СПб., 1901, с. VII.

ги давно уже стала классикой современной демократической культуры. Попперовское «открытое общество» есть, по сути дела, синоним западного плюралистического социума, построенного на принципиальной перманентности конфликтных ситуаций как основе консенсуса и на принципиальном отказе от конструирования действительности согласно тому или иному «умозрительному» идеалу. Одним из характернейших признаков «открытого общества» является его способность к эмпирической проверке теоретических суждений. «Если результат проверки показывает несоответствие теоретического суждения реальности, гипотеза или теория, из которой суждение дедуцировано, считается «фальсифицированной» и отбрасывается...» (История буржуазной социологии первой половины XX века. М. Наука, 1979, с. 268—269).

<sup>15</sup> Струве П. Б. Против ортодоксальной нетерпимости. Pro domo Sua. На разные темы. СПб., 1902, с. 302.

софский «хлам» — наивную метафизику, поверхностную диалектику, плоский материализм — и обратиться к Канту. С. Л. Франк в 1910 году, когда тема о необходимости «дополнения» Маркса Кантом вновь вспыхнула в российской социал-демократии, отмечал: «Вопрос об отношении между кантианством и марксизмом в России не нов; в некотором смысле он прямо исходит из России. По крайней мере впервые о нем заговорил Струве во вступительных главах своих «Критических заметок» (1894), и он первый среди марксистов призвал обновить философскую основу марксизма путем замены материализма критицизмом»<sup>16</sup>.

Об этом же пишет крупнейший американский историк-россиевед Р. Пайпс: «...В своих попытках заменить гегельянские элементы в марксизме неокантианской философией Струве оказался пионером. Еще в студенческие годы он пытался сделать то, что в конце этого десятилетия (90-е годы. — Ю. П.) превратилось в значительное теоретическое течение европейской социалистической мысли, а именно «критический», или кантианский марксизм»<sup>17</sup>. Но Р. Пайпс не совсем прав, когда утверждает, что в «классическом» марксизме П. Б. Струве обнаруживал лишь один дефект — «диалектику как чужеродный метафизический элемент»<sup>18</sup>. Неудовлетворенность философской стороной марксова учения вела его дальше: к критике и переосмыслению экономических, социальных, политических и правовых компонентов. Хотя, конечно, исходной позицией ревизионизма П. Б. Струве была философская «фальсификация» марксизма.

Вслед за неокантианцем А. Рилем, чья книга «Философский критицизм и его значение для позитивной науки» оказала огромное воздействие на молодого русского социал-демократа, он утверждал, что гегелевская диалектика нарушает закон тождества и что этот закон, будучи переведенным на язык социологии, гласит: причина и следствие должны быть тождественными по содержанию и различны по форме. Таким образом, социализм как следствие развитого капитализма должен содержать его в себе. Струве, «используя рилевскую логику, с самого начала целиком и полностью отверг концепцию социальной революции как утопическую и усвоил идею эволюционного социализма, близкую фабианской. Критику доктрины социальной революции, с которой Бернштейн, основываясь на эмпирических фактах, выступил в конце 1890-х годов, Струве начал несколькими годами раньше, используя при этом логический анализ»<sup>19</sup>.

Можно сказать, что в форме критики «классического» марксизма и народни-

чества со стороны нарождающегося ревизионизма шел процесс освобождения русской мысли от социального утопизма и мифологизма, шел процесс ее «взросления» (по Канту). Струве подчеркивал, что «под социализмом мы можем разуметь только идеальный строй, тогда как «мирской уклад» выдвигается с претензией на полную реальность. Социализм реален лишь постольку, поскольку он в отрицательных терминах воспроизводит капитализм»<sup>20</sup>. Т. е. в определенном смысле социализм, по П. Б. Струве, есть высшая стадия капитализма. Поэтому и движение к нему должно быть постепенным, эволюционным. «Социальные реформы, — говорил он, — составляют звенья, связывающие капитализм с тем строем, который его сменит, и — каков бы ни был политический характер того заключительного звена, которое явится гранью между двумя общественно-экономическими формами, — одна форма исторически вырастает из другой»<sup>21</sup>.

Знаменитый призыв П. Б. Струве — «пойдем на выучку к капитализму» — также диктовался логикой социально-экономического и политико-правового реализма. По его словам, «капитализму принадлежит та историческая заслуга, что он на фундаменте неравномерного распределения создал производство, не мирящееся с этой неравномерностью и во имя своего существования ее отрицающее»<sup>22</sup>. Мне хотелось бы, чтобы читатель обратил особое внимание на эту мысль Струве. Молодой русский ученый (написано им в 24 года) понял в капитализме, который есть не что иное, как хозяйственное измерение современного западного открытого общества, главную его черту — наличие механизма саморегулирования и саморазвития, «настраивающего» социум на постоянный поиск новой формулы синтеза фундаментальных принципов и потребностей времени. Этим и объясняется то, почему Струве стал столь яростным сторонником капитализма и «капитализации» России. У Р. Пайпса мы читаем: «Капитализм... должен принести с собой свободу»<sup>23</sup> и культуру. Ни один из русских мыслителей ни до, ни после Струве не возлагал таких надежд на капиталистический способ производства как на средство спасения страны от всех бедствий и болезней»<sup>24</sup>.

Предпринятое нами рассмотрение особенностей русского ревизионизма было необходимо само по себе и имело сво-

<sup>20</sup> Струве П. Б. Критические заметки к вопросу об экономическом развитии России, с. 32.

<sup>21</sup> Там же, с. 130—131.

<sup>22</sup> Там же, с. 116.

<sup>23</sup> Тот же Р. Пайпс очень точно устанавливает различие в понимании свободы «ортодоксальными» марксистами и ревизионистами: «Для Плеханова или Аксельрода политическая свобода представляла собой стадию на пути к классовой войне, для Струве же классовая война в лучшем случае была промежуточной станцией на пути к политической свободе» (Op. cit., p. 59—60).

<sup>24</sup> Pipes R. Op. cit., p. 64.

<sup>16</sup> Франк С. Л. Философия и жизнь. Этюды и наброски по философии культуры. СПб., 1910, с. 348.

<sup>17</sup> Pipes R. Struve: Liberal on the Left, 1870—1905, Cambridge, 1970, p. 57.

<sup>18</sup> Pipes R. Op. cit.

<sup>19</sup> Ibid., p. 59.

ей целью подготовить читателя к теме о том, как критический марксизм сформулировал для России новую государственную идею. И здесь нам вновь придется обратиться к замечательной работе А. С. Изгоева «Интеллигенция и «Вехи». «Русский марксизм (т. е. ревизионизм.— Ю. П.),— пишет он,— был несомненно отцом русского демократического конституционализма (подчеркнуто мною.— Ю. П.). Внешним образом это выразилось в том, что значительная часть марксистов отдала свои силы теоретической и практической пропаганде конституционных идей в России. Внутренне это сказалось тем, что только марксизму удалось теоретически обосновать необходимость для России конституционного строя (подчеркнуто мною.— Ю. П.), и это обоснование было так блестяще, так оправдывалось событиями жизни, что очень скоро от старых народнических антиконституционных иллюзий не осталось и следа. Эти иллюзии потом возродились — такова ирония судьбы — в лагере «твердокаменных» социал-демократов из интеллигенции<sup>25</sup>. Марксисты доказали, что конституция требует ход экономического развития, что переход к правовому строю от феодально-самодержавного обусловливается переходом от натурального, преимущественно земледельческого, быта к современному меновому индустриальному денежному хозяйству (подчеркнуто мною.— Ю. П.). Жизнь блестяще оправдала их теории»<sup>26</sup>.

Но одно дело — теоретическое обоснование, пусть и блестящее, необходимости перехода к конституционному строю, демократическому правовому государству, а другое — практическое осуществление этих идей. Где тот исторический субъект, который сможет взяться и решить эту задачу? Поэтому-то «неортодоксальные марксисты не делали себе кумира из пролетариата, а добросовестно искали те социальные силы, которые способны были... перевести Россию в разряд

правовых государств...<sup>27</sup>. В этих поисках неортодоксальные марксисты и пришли к интеллигенции»<sup>28</sup>. Земледельческое дворянство было отвергнуто как разрушающийся и реакционный класс, буржуазия как еще слабое, малоразвитое и малокультурное сословие, к тому же никогда и нигде непосредственно, прямо не управляющее государством. И получалось, что «силой для конституционной реформы», «опорой конституционного строя» может быть «только интеллигенция, лица свободных профессий, педагоги, так называемый «третий» элемент», земский и городской, всякого рода технические работники, близко стоящие к населению...»<sup>29</sup>.

Таким образом, необходимый исторический субъект был найден. Однако интеллигенция, по убеждению Изгоева, была тоже не совсем готова к великой роли. 1905 год убедительно показал это. Следовательно, интеллигенция предстояло «переродиться и возродиться». «Из антигосударственной, антипатриотической — интеллигенция должна стать творческой, созидательно-государственной, по своим идеям, силой, не теряя в то же время своего духа, не сквернясь холопством, в котором морально и умственно погибло наше нынешнее служебное сословие. Из антирелигиозной, фанатически атеистичной интеллигенция должна превратиться в группу людей действительно культурных. Она должна научиться ценить силу и значение для жизни подлинных религиозных идей, разделяемых сотнями миллионов, но в то же время не унижаться до лицемерного ханжества, убивающего человеческий дух. Из духовно-высокомерной и нетерпимой она должна сделаться истинно гуманной, отвергающей всякий террор, как физический, так и моральный. Из замкнутой в себе узкой группы теоретиков-фантазеров интеллигенция должна превратиться в широкое, открытое национальное общество умственно развитых людей, смотрящих на жизнь открытыми глазами...»<sup>30</sup>.

Понятно, что эта программа-максимум для интеллигенции звучала как-то нереалистично, уж слишком многое в себе должна была она изменить. Но А. С. Изгоев знал, о чем говорил и «что ныне лежит на весах». «Скажут, что поставленная задача неразрешима, что она утопична. На это могу дать только один ответ: разрешение ее необходимо. Если не удастся создать в России государственную интеллигенцию сознательными усилиями, она в ней народится как результат целого ряда катастроф, если только за это время не погибнет и не расчле-

<sup>25</sup> А. С. Изгоев интересно трактует как раскол среди марксистов, так и идеологию «твердокаменных». По его мнению, распадение социал-демократии на большевиков и меньшевиков было «маловажным фракционным делением», «коренным» же он полагал «откол марксистов неортодоксальных от марксистов ортодоксальных». А. С. Изгоев отмечал, что «в восприятии большинства русской интеллигенции элементы подлинного марксизма уступили место фантастическому пророчеству о «прыжке из царства необходимости в царство свободы... С русскими «ортодоксальными», «революционными» марксистами — социал-демократами повторилась та же история, что с народниками-утопистами. Уроки политического реализма пропали даром. Существующее вновь стали подменять желаемым, и вместо серьезного изучения реальных общественных сил опять люди предались приятному, но обманчивому фантазированию о грядущих социалистических переворотах. Создалась рабочая социал-демократическая партия, сплошь состоящая из интеллигенции. Во времена общественного возбуждения она поддерживала свое звание «рабочей»... только тем, что демагогически плелась в хвосте рабочей толпы...» (Указ. соч., с. 6).

<sup>26</sup> Изгоев А. С. Указ. соч., с. 4—5.

<sup>27</sup> И здесь же Изгоев мрачно роняет: «Если этот переход не удастся, если Россия не сможет превратиться в свободное правовое государство, гибель неизбежна» (Указ. соч., с. 7).

<sup>28</sup> Изгоев А. С. Указ. соч., с. 7.

<sup>29</sup> Там же, с. 8.

<sup>30</sup> Изгоев А. С. Указ. соч., с. 10—11.

нится само государство<sup>31</sup>. Пока мы живы, наша задача предупреждать эти катастрофы и готовить людей, способных к творческой работе»<sup>32</sup>.

В сущности, на эту тему шесть бывших ревизионистов и «примкнувший к ним» М. О. Гершензон и написали «Вехи». А тот скандал, который разразился вокруг «отважной семерки» («клевета», «пасквиль», «рenegатство»; да ленинская злоба, да миллюковская тупость), лишь свидетельствовал об оправданности их опасений. Не понял «третий элемент», либерал-социал-демократ, что «резкость и сконцентрированность... нападков на интеллигенцию тем и вызвана, что они (авторы «Вех»). — Ю. П.) слишком ясно видят огромную роль, предстоящую русской интеллигенции, и сознают, как много надо сделать, чтобы она стала достойной этой роли...»<sup>33</sup>.

Но в чем все-таки принципиальная новизна государственной идеи, разработанной ревизионистами? И почему ревизионизм готовил русскую интеллигенцию к восприятию государственной идеи? Я бы ответил на эти вопросы следующим образом.

В результате петровских реформ в России возникло государство, которое можно охарактеризовать как «полицейское», как «воспитательную диктатуру» и т. п. «Полицейское государство», — говорит богослов и историк Г. В. Флоровский, — есть не только и даже не столько внешняя, сколько внутренняя реальность. Не столько строй, сколько стиль жизни. Не только политическая теория, но и религиозная установка. «Полицейзм» есть замысел построения и «регулярно сочинить» всю жизнь народа и страны, всю жизнь каждого отдельного обывателя ради его собственной и ради «общей пользы» или «общего блага». «Полицейский» пафос есть пафос учредительный и попечительный. И учредить предлагается не меньше, чем всеобщее благоденствие и благополучие, даже попросту «блаженство»...<sup>34</sup>. Если старая Московская монархия была государством с религиозной миссией, — по крайней мере так понимали ее цели и цари и «политические идеологи» Святой Руси, то в полицейско-абсолютистском государстве, замышленном Петром, в качестве некоей антитезы неудавшемуся «третьему Риму» религия и вера полагались лишь одним из условий правильной государственной жизни. «Монархия Петра вдохновлялась... светскими целями. В качестве них Петр называл «попечение о всеобщем благе подданных», «чтобы они более и более приходили в

лучшее и благополучнейшее состояние», — читаем мы в монографии правоведа, философа, историка, одного из виднейших представителей евразийства Н. Н. Алексеева «Российская империя в ее исторических истоках и идеологических предпосылках»<sup>35</sup>. И там же: «Считая, что народ нужно прежде всего учить, как ребят в школе, Петр смотрел на государство как на учреждение образовательное, просветительское и исправительное, действующее принудительными средствами даже тогда, когда речь идет о человеческой душе и ее духовных потребностях»<sup>36</sup>.

Кроме того, петровское государство было «оформлением» (в прямом смысле), формой, которая стягивала распавшуюся на две субкультуры — традиционную, старомосковскую, и европеизированную, высших классов — Русскую цивилизацию<sup>37</sup>. Такая форма неизбежно — по причине глубочайшего национального раскола — должна была быть деспотической. Но в полицейзме, воспитательном пафосе и даже деспотизме новой государственности таились и ростки просвещения и реформаторства. Поэтому на протяжении почти двух столетий наше государство проявляло себя одновременно и как сила репрессивно-подавляющая, деспотическая, и как механизм осуществления реформ и просвещения народа. В каком-то смысле все Романовы были папой и Лютером в одном лице<sup>38</sup>.

Соответственно и идеологии, с изобилием в XIX веке возникавшие в русском обществе — славянофильство, официальная народность, западничество, шестидесятничество, почвенничество, либерализм, народничество и т. д., — самоопре-

<sup>35</sup> Алексеев Н. Н. Российская империя в ее исторических истоках и идеологических предпосылках. Женева, 1958, с. 10.

<sup>36</sup> Алексеев Н. Н. Указ. соч., с. 27.

<sup>37</sup> Как писал В. О. Ключевский, «из древней (т. е. допетровской). — Ю. П.) России вышли не два смежных периода нашей истории, а два враждебных склада нашей жизни, разделившие силы русского общества и обратившие их на борьбу друг с другом вместо того, чтобы заставить их дружно бороться с трудностями своего положения». (Неопубликованные произведения. М., 1983, с. 263.) Иными словами, в результате петровских преобразований в России сложилось два типа «цивилизаций». Первый хранит в себе «заветы темной старины» и был представлен в основном многомиллионной массой крепостных; второй состоял из европеизированных верхов общества. Отличительными чертами этого второго «склада нашей жизни» были относительная неукорененность в национальных традициях и в значительной мере искусственный и насильственный характер формирования. Отсюда — определенная «поверхностность» и «неподлинность» этой субкультуры. Следует подчеркнуть, что противостояние «двух враждебных складов» двух типов «цивилизаций» ни в коей мере не есть обычное, характерное для любой национальной культуры противостояние «верхов» и «низов». Нет, это был фундаментальный конфликт мировоззренческих принципов и типов социальности, конфликт культур, имевших различные исторические корни. Здесь — глубочайшее своеобразие судьбы России.

<sup>38</sup> Недавно так же говорили о М. С. Горбачеве. Не стоит ли задуматься над этой вечной загадкой российской истории?

<sup>31</sup> А это ведь камешек в наш огород — из начала века в конце. Сегодняшние неудачи «так называемых демократов» не в последнюю очередь объясняются тем, что не «государственная интеллигенция» они. Не все, конечно, но многие.

<sup>32</sup> Там же, с. 11.

<sup>33</sup> Там же, с. 9.

<sup>34</sup> Флоровский Г. В. Пути русского богословия. Париж, 1937, с. 83.

делялись во многом в процессе выработки отношения к этому типу государственности. То есть идентичность приверженцев той или иной идеологии строилась на особом, лишь для них характерном восприятии существовавшего государства. Но при особости отношения все эти идеологии можно разделить на две группы. Те, кто относился к первой, принимали лишь одну (для нас сейчас не важно какую) «компоненту» двусложного петербургского самодержавия, ее хотели совершенствовать, а другую — отменить. Идеологии, входящие во вторую группу, вообще отрицали этот тип государственности. Оба этих «умозрения» по поводу романовской монархии нельзя квалифицировать иначе, как утопические и мифологичные. Подлинная природа российского государства понята не была. И это не случайно, это связано со спецификой «русского просвещения», с его очень сложной и неповторимой судьбой.

По моему глубокому убеждению, тема «русское просвещение» является одной из ключевых для понимания того, что с нами произошло и происходит ныне. Одновременно эта тема, как уже отмечалось, теснейшим образом связана с проблематикой статьи. И потому, несколько отвлекаясь от основного сюжета (и волей-неволей повторяя то, о чем неоднократно писал)<sup>39</sup>, скажу о ней несколько слов. «Русское просвещение» есть культурная функция, культурное измерение той русско-европейской цивилизации, которая сложилась у нас в результате реформ Петра Великого. Но — «просвещение» в кантовском смысле и ни в каком другом. Просвещение как выход человека (и человечества) из состояния «несовершеннолетия», как работа, в ходе которой происходит его взросление, превращение в «совершеннолетнюю» личность, без опосредований предстоящую перед Богом, природой, историей. Просвещение включает в себя и десакрализацию социальных отношений, и секуляризацию сознания, оно предполагает новый язык и новые формы быта, оказывает огромное воздействие на политическую и правовую культуру, видоизменяет политическую практику. Оно обязательно влечет кризис веры и самоидентификации личности. Просвещение означает грандиозный сдвиг в истории человечества.

Можно, конечно, спорить о том, каждый ли народ (социально-культурная общность, цивилизация) проходит эту фазу исторического развития. Но народы христианские проходят. Другое дело, в какой форме и насколько органично. У

нас получилось не очень органично и не очень успешно. И это, безусловно, связано с фундаментальным расколом русской послепетровской культуры на два враждебных друг другу «склада жизни», с «верхностностью» и относительной неукорененностью в исторической почве русско-европейской цивилизации.

Нет, просвещение не окончилось полным провалом. Им созданы феноменальная литература, потрясающее искусство, глубочайшая философия, эстетически совершенные формы быта (весь XX век мы проплакали по их утрате). Однако главная задача — работа по формированию и воспитанию «совершеннолетней» личности — выполнена не была. И это в значительной мере предопределило характер русской революции...

Но вернемся к вопросу о государстве, созданном Петром. К концу XIX столетия его творческая потенция начинает затухать. Нарушается и равновесие между ее «консервативной» и «прогрессивной» компонентами. Данное государство постепенно перестает соответствовать тому типу социальности, который формируется в России как результат «великих реформ». Ослабевает и витальность основной государственной силы — либерально-консервативной просвещенной бюрократии, пережившей свой звездный час в эпоху Александра II. На повестку дня встает вопрос о необходимости выработки новой государственной формулы, новой государственной идеи для России. Необходимыми условиями для решения этой задачи были трезвый анализ природы петровского самодержавия, отказ от утопических проектов его «подмораживания» или полной замены чем-то совершенно иным, из него как бы и не вырастающим, нахождение той социальной силы, того исторического субъекта, который мог взяться за реализацию новой государственной идеи.

Эта проблема и была решена группой молодых ревизионистов в период 1890—1905 годов. России была предложена новая государственная формула — демократическая, конституционная, правовая государственность. Эта формула соответствовала тому типу социальной, экономической, политико-правовой, социо-психологической эволюции, которую переживала страна в конце прошлого — начале нынешнего столетий. Был найден и исторический преемник просвещенной бюрократии — интеллигенция. Но интеллигенции еще предстояло подняться до уровня стоящих перед ней грандиозных задач. Ей предстоял труд внутреннего «перерождения» и тяжелейшая работа по организации всех творческих сил русского общества — нарождающейся в городе буржуазии, поднимающегося в деревне самостоятельного хозяина, «остатков» (впрочем, не таких уж и малых) просвещенной бюрократии. Позднее к этим силам мог присоединиться и рабочий класс, окультуренный и ведомый динамичной

<sup>39</sup> См., напр.: Заметки о русской политической культуре, ее расколах, целостности и мифах. Новое политическое мышление и процесс демократизации. М., Наука, 1990, с. 130—149; Время Карамзина и «Записка о древней и новой России». Ретроспективная и сравнительная политология. Публикации и исследования. Вып. 1. М., Наука, 1991, с. 177—185; «Вехи» как зеркало русской революции». Литературное обозрение. М., 1990, № 10, с. 97—102.



и конструктивной социал-демократией. Так складывался исторический блок, которому было вполне по плечу строительство в России общества «совершеннолетних».

И еще об одном очень важном элементе новой русской государственной идеи. Предложенная формула имела не только демократическое, конституционное, правовое измерения, но и **социальное**. Эта тематика была блестяще разработана Б. А. Кистяковским. Он полагал, что правовое государство со временем станет «социалистическим правовым государством». По его мнению, «правовой строй нельзя противопоставлять социалистическому строю. Напротив, более углубленное понимание обоих приводит к выводу, что они тесно друг с другом связаны и социалистический строй есть только более последовательно проведенный правовой строй. С другой стороны, осуществление социалистического строя возможно только тогда, когда все его учреждения получают вполне правовую формулировку»<sup>40</sup>. Термин «социалистическое правовое государство» не должен отпугивать современного читателя. Это понятие принадлежит своей эпохе. На языке сегодняшнего дня оно звучит так — «социальное правовое государство». Его мы можем обнаружить, например, в Конституции ФРГ. А смысл заключается в том, что демократические принципы распространяются не только на политико-правовую сферу жизнедеятельности общества, но и на социально-экономическую. Подразумевается необходимость дополнения демократии политической демократией социальной и экономической. Право же выступает основным инструментом реализации демократических принципов.

Следует сказать, что впервые эти идеи появляются (почти одновременно) у классика немецкого либерализма Фр. Наумана, с чьим именем связано зарождение социального либерализма (синтез принципов классического либерализма и социальной демократии), у теоретиков германской социал-демократии начала XX века в учении об этическом социализме<sup>41</sup> и у русских ревизионистов. Б. А. Кистяковский же необходимость соединения принципов социализма и правового государства обосновывал и с точки зрения

хозяйственной эффективности. Для капитализма его времени были характерны кризисы и анархия производства. Покончить с ними, считал он, можно лишь с помощью социалистических механизмов, которые упорядочат процесс производства и сделают более справедливым механизм распределения материальных благ.

Но, повторяю, не надо пугаться слова «социализм». У ревизионистов он означал наиболее справедливый и высший тип социальной политики<sup>42</sup>.

Подведем итоги. Величайшей заслугой русского ревизионистского марксизма (социал-демократии) явилось то, что он был формой, в которой с 1890 года по 1905 год происходила сущностная трансформация отечественной мысли. От различных типов утопизма и мифологизма к современному типу мышления. Пришедшая в марксизм и создавшая ревизионизм группа замечательных молодых философов, социологов, экономистов, правоведов, историков сделала для русской культуры то, что не получилось у нашего Просвещения. В сфере социальных, политических и юридических идей это переход от «гетерономистского» сознания к «автономистскому». Здесь я пользуюсь кантовой терминологией и поэтому напомню читателю, что, согласно Канту, человек находится перед альтернативой: автономия или гетерономия (подчинение извне приходящим нормам). Автономии соответствует правовое государство, гетерономии — патерналистское. У Канта модель правового государства, граждане которого — «совершеннолетние» и ответственные личности, противопоставляется патерналистскому строю, где власть «отечески» заботится о благе подданных. Патерналистское государство Кант обозначает термином «государство благосостояния» (Wohlfahrtsstaat)<sup>43</sup>, эксплицитная цель такого государства — счастье людей. Эта принципиальная установка на счастье обязательно приводит к государственному деспотизму, поскольку лишь властителям дано знать, в чем состоит истинное благо подданных.

Так вот, в рамках ревизионизма русская мысль сделала выбор в пользу «автономии». Ведь и реакционеры, и революционеры, и славянофилы, и даже либералы («дворянский конституционализм», К. Д. Кавелин, Б. Н. Чичерин) — все были в плену у «гетерономистского»

<sup>40</sup> Кистяковский Б. А. В защиту права. Интеллигенция и правосознание. Литературное обозрение. М., 1990, № 10, с. 92.

<sup>41</sup> В комментариях к книге С. Н. Булгакова «Философия хозяйства» (М., Наука, 1990) В. В. Сапов пишет: «На рубеже веков внутри неокантианства возникла теория «этического социализма», разработанная в трудах К. Форлендера, Л. Вольгмана, К. Шмидта и др. Исходя из тезиса, что «в марксизме нет собственной этической теории», представители этического социализма доказывали, что такой теорией, совпадающей с этическим и моральным духом марксизма, является этика И. Канта. Эту точку зрения разделяли с ними Э. Бернштейн и К. Каутский. Идея неокантианства, особенно этического социализма, были очень популярны в России в начале XX в...» (Указ. соч., с. 386).

<sup>42</sup> Кстати, Б. А. Кистяковский спустя несколько лет (в 1916 году) после написания цитированной выше работы (1909 год), готовя ее к переизданию в сборнике статей «Социальные науки и право» (М., 1916 год), термин «социалистический строй» заменил термином «социально-справедливый строй» (Указ. соч., с. 627). Показательная эволюция.

<sup>43</sup> Кантову концепцию «Wohlfahrtsstaat» не следует путать или отождествлять с современной концепцией «государства благосостояния». С помощью последней описывается современное либеральное (социальное и правовое) государство, по сути дела близкое «автономистскому» идеалу Канта.

сознания (конечно, в разной степени и очень по-разному).

В сфере религиозных исканий ревизионизм способствовал формированию «нового религиозного сознания», той религиозной философии, которая стала бессмертной славой русской культуры. Разумеется, не один лишь ревизионизм был повивальной бабкой этой философии; здесь у нас имелись мощные традиции. Однако я не сомневаюсь в том, что экзистенциалистско-персоналистское направление отечественной мысли, как бы пропущенное через фильтр ревизионистского реализма, обрело новые черты и краски, словно получило дополнительный импульс, и ему открылись новые горизонты. Н. А. Бердяев уже в эмиграции с некоторым даже удивлением констатировал: «Как это ни странно с первого взгляда, но именно из недр марксизма — скорее, впрочем, критического, чем ортодоксального (это точно, ортодоксальный никакого отношения к данной теме не имеет — Ю. П.), вышло у нас идеалистическое, а потом религиозное течение. К нему принадлежали С. Булгаков, ныне священник и профессор догматического богословия, а также пишущий эти строки»<sup>44</sup>. Да еще — С. Л. Франк, Г. Г. Шпет, П. Б. Струве... А Булгаков признавался: «Мое теперешнее идеалистическое мировоззрение складывалось в атмосфере социальных идей марксизма, и уже потому оно не есть, не может быть и не должно быть сплошным его отрицанием, напротив, оно стремится к углублению и обоснованию именно того общественного идеала, который начертан на знамени марксизма и составляет его душу»<sup>45</sup>.

Ревизионизм оказался также формой перехода «левой» русской интеллигенции от «безрелигиозного отщепенства от государства». от ее утопически-социалистического менталитета к созидательной, творческой деятельности, к строительству новой России.

Однако начатое ревизионистами дело до конца доведено не было. Причин здесь много, но одна из них — и далеко не последняя — состоит в том, что к началу нового столетия наиболее выдающиеся умы из числа русских марксистов «переболели» этим учением, «переросли» его и заняли по отношению к нему твердые критические позиции. Но эти позиции располагались уже не в рамках марксизма, как это было в предыдущие годы, а за его пределами. Такая их эволюция вполне закономерна и понятна. Им все-таки никогда не хватало в марксизме воздуха, и, сохранив ему верность, они бы

попросту задохнулись. Перестав же быть марксистами<sup>46</sup>, эти люди серьезно обескровили поднимавшуюся социал-демократию. Во всяком случае, проделанная ими творческая работа по преобразованию самого марксизма (а не использование его в качестве некоей формы, в которой происходила эволюция русской мысли) как бы провалилась в пустоту.

«Твердокаменные» марксисты (в том числе и многие меньшевики) узурпировали право именоваться российской социал-демократией. Оба ее отряда — РСДРП(б) и РСДРП (м) — в основном объединяли людей сектантского, узкого склада, без особого иммунитета к террору, со склонностью к нелегалышине и т. п. Таким образом, социал-демократическая компонента освободительного движения была донельзя ослаблена. Это проявилось в 1917 году, когда социал-демократы — большевики, поставив на мощную разрушительную стихию, вырвавшуюся из глубинных недр народной жизни, выступили в роли расстрельщиков русской свободы, а социал-демократы — меньшевики, поначалу не сумев стать достойными партнерами в рамках либерально-социалистической коалиции (правда, и либералы, и эсеры показали себя не лучшим образом), затем просто рассыпались, не проявив мужества, воли и умения в борьбе с террористическим режимом Ленина — Троцкого.

«Бывшее, но не сбывшееся» — так, слегка перифразируя название изумительных мемуаров философа и культуролога Федора Степуна, можно сказать о русском ревизионизме, его трагической и до конца не исполненной судьбе.

Но не будем грустить. «В противоположность туманно-трепетным воспоминаниям светлая память чтит и любит в прошлом не то, что в нем было и умерло, а лишь то бессмертное, что не сбылось, не ожило: его завещание грядущим дням и поколениям»<sup>47</sup>. Это все тот же Федор Степун, представитель следующего за ревизионистами поколения, человек, усвоивший — хотя и не полностью — их уроки.

Наиболее ценное из наработанного русскими критическими, свободомыслящими, легальными марксистами, социал-демократами еще ждет своего часа. Оно должно быть освоено и усвоено нами.

<sup>44</sup> Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990. с. 90.

<sup>45</sup> Булгаков С. Н. От марксизма к идеализму, с. VII. Вне всякого сомнения, автор говорит здесь о критическом, ревизионистском марксизме.

<sup>46</sup> Хотя в каком-то смысле они навсегда остались марксистами. В этом отношении весьма характерно признание А. С. Изгоева, сделанное им в 1909 году: «Что же касается «марксизма», то я как был, так и остаюсь марксистом. Но я никогда не считал себя ортодоксальным «марксистом» и в первой же моей журнальной статье мною высказан ряд мыслей совершенно еретических с точки зрения правоверного догматика» (Указ. соч., с. 3).

<sup>47</sup> Степун Ф. А. Бывшее и несбывшееся. 1990. с. 8.

Михаил ЗОЛОТНОСОВ

## Картезианский колодец

ЗАМЕТКИ ИЗ ЦИКЛА «ЗАСАДА ГЕНИЕВ»

НЕСКОЛЬКИМИ крупнейшими библиотеками (страны и мира) приобретена книжка Николая Кононова «Маленький пловец» (Л., 1989): ее тираж составил 32 экземпляра. «Своею собственной рукой» поэт начертал прямо на камне «иероглифы» — восемь философских стихотворений, а художник Михаил Карасик их литографировал. Стихотворения не похожи ни на что знакомое; и хочется поближе рассмотреть «поэтическое устройство» акцентного стиха с чередующимися рифмами и аномальной (до 25 стоп) длиной.

Можно пофантазировать о происхождении литографской техники, соединяющей древнюю надгробную (в единственном числе!) надпись с феноменом «размножающего» книгопечатания. В случае же с Н. Кононовым эта фантазия имеет вполне реальную подоплеку: его поэтика — это именно поэтика эпитафии и всему существу: стихи Н. Кононова торжественны по интонации, уводят в отсутствие времени, неразделимы с темой смерти:

Ты летунья робкая, ты в комнату случайно, невзначай запущена,  
Девочка-капустница, ночница. К легкой смерти льнули  
Многие, но, Боже мой, через валки они пропущены.  
Смяты заживо. Тебе жизнь лишь задули..

Описанию подвергается то, что уже мертво (хотя бы в поэтическом воображении), что лишилось жизни, потенции к развитию и теперь может быть спокойно «съедено», описано, исследовано, бесцеремонно осмотрено со всех сторон помимо воли самого объекта. Лишение собственной воли, «вихря» — главная процедура, предшествующая поэтическому описанию. Вот «репортаж» из столовой, представленной неким «нарядным моргом»:

Хорошо как, хорошо как, Господи, как славно по талонам профсоюзным  
Фудзияму оснеженную салатика птичьей вилкой ковчарять!  
Здравствуй, милая калмычка желтоокая, в глазунье стильной узанная,  
Фрикаделька, легонькой кибиточкой сгинувшая без поводья.  
Вот и вы в кипящих Фермопилах совершенно обнаженные, сгрудившись погибли  
Дюжие сардельки храбрые..

Смерть — вот условие, которое должно быть выполнено, прежде чем что-то может предстать поэту как предмет описания и познания. Не случайно новобранцы, встреченные в метро, в стихотворении уже мертвы: они оторваны от родины, «кюри и коклюша», они «тростник солоноватый»; поэт провидит, как они ложатся под «общим серпом»...

Жизнь моя, за то тебя люблю, что мреешь, словно подлый чемодан.  
Песенки: листва и щебет, дрянь мушиная, мусор, барахло.  
Вот в конце концов пересыхает все, как Иордан,  
«Ну и что», — я говорю на это, так как все бесслезно кончилось,

сломалось, истекло.

Это утверждение может показаться странным и позерским. Но здесь точно выражены гносеологические условия кононовской поэзии и его собственная психологическая природа интроверта, всегда бессознательно боящегося живого объекта, его влияния (см. у К. Г. Юнга в «Психологических типах», гл. С, § 1). Отсюда и берется некий инфантильный архаизм, нечто «кюхельбекерное», в «высоком стиле» описывающее неподвижный мир. Возникает ассоциация с первыми фотографиями: «Бог весть чьи лица нагромождены друг на друга, разложены по ящикам, будто в гробах, и всюду мертвая плоть и глаза, лишенные цвета и выражения. Погребальный портрет жизни!» (Тэн И. Бальзан).

«Ни ноябрьским флажком...» — тяжеловесная эпитафия-описание дебиля-идиота, замкнутого в себе, отдельного от всех, живого и в то же время мертвого. У него есть некое прошлое (точнее, миг, когда «заспешила-заспешила хромоножка-хромосома»), но нет будущего, ибо временная координата вообще отсутствует. И тем-то этот «предмет» для Н. Кононова и ценен. Отсюда и особая будто «надчеловеческая» точка зрения (из «нездешнего комитета»), позволяющая разглядывать любопытный экземпляр и размышлять над живописностью его уродства:

А всего-то винтик мелкий второпях забыла закрутить в мозгу его природа миленькая,  
 Заспешила-заспешила хромоножка-хромосома: тоненькие ручки-плети...  
 Белым шампильноном вырастает идиот, мохноногая судьба его поддлинная  
 Галочкой помечена, подчеркнута волнистой линией в нездешнем комитете...  
 Кроме мамы с бабушкой кому он нужен, сидень, жуткая небритая кровиночка?  
 На кого же, на кого ж так омерзительно похож он?  
 Бровь косматой совкою взметнулась, и глазка обжигенного крыжовник рыночный  
 Зеленеет хорошо так, масляно, легко, пустопорожно...<sup>1</sup>

В. В. Розанов, размышляя когда-то о Декарте, романском духе и свойственном ему стремлении к универсальности («Философия Декарта, единственная великая у романских рас, так же пытается свести все разнообразие живой природы к двум великим типам существования — протяжению и мышлению...»), замечал в итоге анализа: «С этим стремлением к универсальному неотделимо слилось у романских рас непонимание индивидуального, как бы слепота к нему, неспособность всмотреться в его природу или пожалеть его страдания» (Розанов В. В. «Легенда о Великом Инквизиторе» Ф. М. Достоевского).

У Н. Кононова — именно такое романское стремление, прочно покоящееся на картезианском фундаменте, и характерно, что в описании (см. последнюю читату) избраны уровни генетического и «внешне-живописный», уровни, позволяющие избежать необходимости понять именно индивидуальное.

Излюбленная поэтическая техника Н. Кононова, в той же степени деиндивидуализированная по отношению к различным темам и объектам, вполне соответствует поэтике эпифагии; длинная, как растительный орнамент, строка напоминает о вечности и природе, о том, что цикл замкнут, а торопиться некуда. Так, видимо, должны объясняться друг с другом залетейские тени: это не лаконичный и быстрый говорок рая, а перегруженная знанием и смыслом задумчивая речь «диалогов в аду», не страшась и косноязычия:

Порыжевший библейский навоз, липкая тишина садов придурковатых,  
 Как люблю я эти оперные яблоны, известью столь тщательно припудренные,  
 У колодца на щитке фанерном длинный список виноватых  
 Неплательщиков за свет! О, как жалко души их погубенные!

Кстати, подсчитаем: первая строка — 22 слога, вторая — 25, третья — 18, четвертая — 19 слогов. Чуть дольше, чуть протяженнее, протяжнее — и строчки начнут обламываться о край страницы, утратится зрительное впечатление поэзии, стихи перейдут в прозу, рифмы перестанут «знакомить слова друг с другом». Форма — максимально свободная — акцентный стих, в котором единицей ритма выступает эммансипировавшееся слово, являющееся сразу и смысловой, и ритмической единицей.

Эта строка, отдающая трудолюбием, архаизмом и тугодумием, — изобретение Н. Кононова, и, надо сказать, изобретение весьма любопытное, собственно, и конституирующее отдельный «поэтический мир Николая Кононова». Характерно, кстати, что уже есть и подражатели, эксплуатирующие чужое изобретение и, конечно, разжижающие, ослабляющие смысловую и фоническую плотность первоисточника (см., например, стихи Елены Ушаковой из Ленинграда, опубликованные в «Знамени», 1991, № 3).

Вернусь, однако, к своему герою. Вполне, мне кажется, можно говорить о его безразличии к читателю. Ибо Н. Кононов демонстративно не заботится о надежности «канала связи», о том, услышан он или нет: стих выпущен в мир и должен жить самостоятельной жизнью. У автора нет желания быть пророком, завлекать читателя, завладевать его вниманием с помощью, скажем, общедоступных размеров.

Правда, в связи со сверхдлинной, «кононовской», строкой возникает одно соображение, о котором когда-то остроумно написал Жан-Поль в «Приготовительной школе эстетики»: «Если кому есть что сказать, то нет более подходящего способа сделать это, чем своя собственная манера, — если нечего сказать, такая манера еще более уместна».

Но длина строки соответствует ритму спокойного философствования и дает возможность стиху выдерживать смысловую нагрузку. Задачи при этом ставятся и решаются не политические, а философские и литературные, главное, я думаю, это ощущение многозначности открываемого поэтом мира, но открываемого в первую очередь для себя.

Оттого-то стихотворное произведение не навязывается читателю, а как бы осторожно преподносится с признанием права отвергнуть, не воспользоваться. За этим скрыта, как мне кажется, суровая самодостаточность духа поэта — своеобразная транскрипция того, что сам Н. Кононов именует «картезианством». Собственно, для него, моего героя, «картезианец» есть синоним не просто «рационалиста», а включает и понятие «хороший человек» (простая толковость осмыслена ценностью). И если Николай Михайлович пишет, скажем, о покойном Мерабе Ма-

<sup>1</sup> Здесь явный отголосок эстетики «черного юмора» («Человек несет ребенка по лестнице за ножки, голова стучается о ступени.

— Что ты, ирод, делаешь? — кричит жена. — Шалочку потеряешь!

— Не бойся, — успокаивает он, — я ее гвоздем прибил». И другие).

мардашвили, которого уважает и высоко ценит, то, естественно, именуется «последовательным картезианцем» (см.: Кононов Н. «Философия — это сознание вслух»: О последней книге М. К. Мамардашвили — Русская мысль (Париж), 1990, 21 дек.), хотя и не разъясняет этого феномена. Не исключено, что подразумевается экзистенциалистское толкование, восходящее к «Европейскому нигилизму» М. Хайдеггера и касающееся металогики учения Декарта.

Как я понимаю, картезианство Н. Кононова (к концу статьи станет ясно, что это картезианство содержит внутри себя существенный момент самоотрицания, и в таком внутреннем споре есть дополнительная доза «поэтической» субъективности) заключается также и в том, что для него «поэт» — это не социальная роль (что автоматически влекло бы за собой нужду в признании, погружение в «литературную среду»), а напряженное внутреннее состояние, которое могло бы реализоваться даже на необитаемом острове. Н. Кононову для того, чтобы быть поэтом, кажется, вполне хватает самого себя и своей убежденности. Точнее даже, «самого себя» оказывается чересчур много, так сказать, «я для меня мало» — и возникает потребность в поэзии, причем в форме, тут же и создаваемой, — одновременно с содержанием.

В одном стихотворении, из числа самых поэтических (в традиционном понимании этого слова), у Н. Кононова возник образ, как мне кажется, выражающий то, о чем пытаюсь сказать я:

Ранит больно, уязвляет звук хрищей растущих, одуряет запах;  
Говорит росток, к росту прижавшись: о, как больно  
Даже там, в тиши крошечной, где мы пребывали в лапах  
Этой темы обоюдоострой, заставляющей работать сердце, губы, мышцы,  
мукомольни.

Я вспоминаю «Дневники» Ж. Жубера: 23 ноября 1798 года он сделал запись о «легкости, с какой мы выражаем свои мысли на уже сложившемся языке». Легкость, рассуждал всегда одинокий Жозеф Жубер, «пагубно сказывается на уме, ибо никакие преграды не останавливают, не сдерживают, не настораживают его и не принуждают его отбирать мысли, между тем как, изъясняясь на языке молодом, ум неминуемо выбирает слова и медленно и старательно ищет их в памяти».

Н. Кононов пишет именно на «м о л о д о м я з ы к е».

Остро ощущая свою самодостаточность, поэт сам делит — по плану Картезиуса — сотворенное бытие на «протяженное» и «мыслящее». Удивительно ли, что «мыслящим» оказывается он сам, поэт, а все остальное — «протяженным», лишенным дара разума, машинно мертвым. Ахматовские: «...Я ведаю, что Боги превращали // Людей в предметы, не убив сознанья...» — для понимания законов художественного мира Н. Кононова совершенно не годится: есть лишь подобия, отдельные признаки сходства с «мыслящим», но не более того.

Эта сумка женственная, жуткая, откуда смотрит жалобно, понуро  
Моложавая бутылка, мертвым мрамором сняет колбаса «отдельная».  
Ты ведь тоже тонкой пленкой, целлофановой скользкой шкуркой  
От всего отделена — легкая, запойная, многонедельная.

(«Прогулка»)

Другой важнейшей особенностью поэтического устройства под названием «Н. Кононов» является его метафоричность.

Способность к метафоре — это не просто выразительное средство, но сама плоть поэтического мышления, то есть существования. Одновременно и мир в целом проверяется на познаваемость: находить метафоры для поэта — значит мыслить; поэт не говорит ПРОСТО. С другой стороны, вечная проверка такой метафоризуемости мира — следствие картезианской (рационалистической) интенции, если не сказать претензии.

Бальмонтовское: «Мир должен быть оправдан весь, // Чтоб можно было жить!» у Н. Кононова надо исправить на: «Мир должен быть о с м ы с л е н весь...» Иными словами, метафора оказывается непременным условием существования поэта и потому делается в стихах не только постоянной, но временами и назойливой. Однако нигде — стертой, штампованной или логически бессмысленной (что выдает достаточный рационализм, отразившись на творческом процессе, нигде, кажется, не срывающегося в чистое верленовское «бормотание», «разбалтывание»).

О проститутке — выпускнице ПТУ.

Ну, отбившаяся от природы девушка, ты стершаяся двушка...  
Командант уж третье объявил тебе предупреждение!  
Тапочка растоптанная, нет! разношенная кофточка. Души твоей теплушка  
Шустрыми полна солдатами. В ватнике объятий задохнулась без предупреждений.

Кстати, великолепно это решение смертельной метаморфозы — выпадением всего одной буквы «девушка» превращается в «двушку», девственность заменяется легкой разменной монеткой. В известном смысле такие превращения и составляют главный сюжет лирики Н. Кононова. Впрочем, нет. Главный — это гармонизация картины безобразной жизни, некая эстетизация того случайного, что оказалось за окном на пустыре, на кухне, в окрестностях ближайшей помойки, раз-

метанной балтийским ветром. Свобода акцентного стиха позволяет вбирать подробности «мусорной жизни», не снимая, не трамбуя самые прихотливые узоры, вводить их в поэзию, возвышать любой сор, превращая его в эстетический предмет. Видение мира у Н. Кононова сюрреалистично, он легко смешивает изыск и грубятину, составляя из того и другого утонченные акварельные композиции. Проститутка не перестает быть проституткой, но заключается в некие «поэтические кавычки», превращающие ее в музейный экспонат. Поэт «лишь» заключает нечто в раму, подставляет пьедестал, включает искусственное освещение. Внешняя («мандельштамовская») торжественность возникает при описании ерунды, мусора. Притом кажется, что поэт описывает картины, кем-то уже созданные. Останавливает взглядом движение и рисует уже «мертвую природу». По существу, каждое стихотворение — это маленький сюрреалистический натюрморт:

Ветки клена в почках крупных не хотят — и не выблевают  
 Полоумную листву свою. Даже птички, даже птички ни одной.  
 Ни щегла, ни соловья, ни горлинка. Канарейка разлюбила рафинад и лысая.  
 Подыкает дурочкой несвежей, желтой ваткой молчаливой в клетке на окне.  
 Родина, ну как себе ты это дело жизненное представляла, мыслила...  
 Вот — без ангелов среди бела дня одне.

Последняя строчка, кстати, отсылает к известному сонету А. С. Пушкина «Мадонна»: «В простом углу моем, среди медленных трудов, // Одной картины я желал быть вечно зритель, // Одной: чтоб на меня с холста, как с облаков, // Пречистая и наш божественный спаситель — // Она с величием, он с разумом в очах — // Взирали, кроткие, во славе и в лучах, // Одни, без ангелов, под пальмою Сиона».

Где-то парит над греховной Землей мадонна с божественным младенцем, а на первом плане крупно изображен «Миша Пеночкин, десять лет тому по пьяни позвоночник повредивший...».

Новая гармония образована с использованием совсем иных предметов; «чистейшей прелести чистейший образец» сменился «чиреем розовым» и «лысой канарейкой». Любопытно, что сам Н. Кононов любит сопоставлять свою поэзию со стихами Иннокентия Анненского. Сопоставление естественно: как и И. Анненский, Н. Кононов — «поэт смерти». Но есть и другое сходство: оба так или иначе решают проблему «мира и красоты».

«Для Анненского мир — источник не только страха и сострадания, но и красоты; не узкой, эстетской красоты, но понимаемой широко (до неопределенности)...» (Гинзбург Л. Я. О лирике).

Иначе у Н. Кононова: слово поэта вносит в безобразный мир (именно вносит, а не обнаруживает внутри него) некий порядок, закономерность. Взгляд замечает лишь остановленный мир, отлично описываемый картезианской аналитической геометрией, в которой все сведено к алгебре. Пространство теряет таинственность, заменяется формулами.

По критериям машиноподобного мира закономерность и есть красота. Надо лишь остановить «броуновское движение», превратить его в натюрморт<sup>1</sup>.

У меня, читателя этой поэзии, возникает ассоциация со старинной забавной игрушкой — «картезианскими бесиками»: стеклянные фигуры с отверстием для воздуха помещались в высокий прозрачный сосуд с водой, который в основании соединялся с резиновым шаром, наполненным воздухом. На «грушу» нажимали, бесики начинали подниматься и опускаться, «цепеня вальсировать». Без внешнего усилия лежали на дне.

Однако на самом деле связь с И. Анненским имеет более сложный характер культурной, поэтической самоидентификации. Как некогда акмеисты, Н. Кононов «отсчитывает» от И. Анненского и его поэзия действительно во многих отношениях — это акмеизм конца XX века, «неоакмеизм». Главное в нем — это «романский дух» и ощущение *fin de siècle* (понимаемого, впрочем, не только как «конец века», но еще и как «смерть века»), откуда и берется, видимо, весь описанный выше «гербарий», описание мертвых (или умирающих) экспонатов, а также желание все их каталогизировать, не исключая даже «сняк под глазом, зябкой сливой созревающий, лиловоющий так мрачно, бя...» Отсюда же берется и «марафонская» стройка, тянущаяся-тянущаяся до полного выдоха, до полного иссякания воздуха...

Наверное, не случайно дефиниции Н. Гумилева из статьи о «Четках» приложимы и к стихам Н. Кононова: «... она (Ахматова. — М. З.) почти никогда не объясняет, она показывает. Достигается это и выбором образов, очень продуманным и своеобразным, но главное — их подробной разработкой. Эпитеты, определяющие ценность предмета (как то: красивый, безобразный, счастливый, несчастный и т. д.), встречаются редко. Эта ценность внушается описанием образа и взаимоотношением образов».

Как будто Н. Гумилев держал перед собой одно из лучших стихотворений

<sup>1</sup> Нечто подобное описал М. Эпштейн в статье «Искусство авангарда и религиозное сознание», сообщающая о «мусорном романе» и «мусорном человеке» Ильи Кабакова («Новый мир», 1989, № 12).

Н. Кононова — «В приемном пункте комиссионного магазина»: описание переживаний при сдаче папиного пальто, постепенно обрастающего метафорами смерти, делающими особо значительными и цвет, и материал («тяжкий драп»), и рукава, и пуговицы...

Опять Н. Гумилев: «Для ритмики Ахматовой характерна слабость и прерывистость дыхания... Причинная связь, которую она пытается заменить ритмическое единство строфы, по большей части достигает своей цели... Ахматова знает пока только последовательность логически развивающейся мысли или последовательность, в которой предметы попадают в поле зрения. Это не составляет недостатка ее стихотворений, но это закрывает перед ней путь к достижению многих достоинств».

Дело, конечно, не в совпадениях (пусть даже и неслучайных), а в общей установке на отказ от концептуализма, метаметафоризма и символизма, на «конкретный реализм», на прямые отношения между вещью и словом, на усиление словесной выразительности, на молодой язык. Только у Н. Кононова, как и положено для поэзии fin de siècle все доведено до логического конца, до абсурда, до «акмэ». «Я» почти исчезло, прячется за рамку видоискателя; лирическая концентрация достигла предела, превратившись в отчужденное от мира угрюмство, в невосприимчивость чужой интонации; отстояние от мира трансформировалось в противостояние, в нелюбовь; стихи почти избавились от ритма и почти превратились в прозу, а последовательный рационализм привел к выбору «мертвой натуры»: она лишена динамики, она не требует неадекватных импрессионистических приемов изображения, она познаваема, ибо относится уже не к частному, а ко всеобщему.

Стихи Н. Кононова идеально подходят для того, чтобы ими кончать антологию русской поэзии (один шведский составитель так и сделал уже); любители систематизации и периодизации наверняка будут помещать Н. Кононова в конце какого-нибудь периода — на месте инертного, ни с чем не соединяющегося, ни в какие реакции не вступающего газа.

Акмеизм начала века имел в виду человека, подчиняющего себе, своей воле мир цивилизации, одухотворяющего и оживляющего его.

Акмеизм конца века возникает в условиях полной растраты воли, полной растоптанности человека затыжым цивилизаторским усилием. Живое убито неживым, новый самодостаточный человек Декарта не получился, сверхчеловек оказался провокацией. А что в остатке?

...Петрик, что когда-то менингитом переболел, оплыл и вымахал.  
С портфельчиком гуляет во дворе и детской кобурой  
У пояса, небритый. Боже мой. И счастлив он без вывиха,  
И тридцать лет ему, как мне, и на сердце покой.

Персонажи с поврежденным умом для поэзии Н. Кононова не случайны: изображаемый им этап эволюции — конец «мыслящего», наступление «глухоты паучьей». Последняя строка в последней цитате явно намекает на мандельштамовское «и от нас природа отступила»; впрочем, о «Ламарке» заставляют вспомнить и другие строфы:

И во вторник не пошел, и в следующий профилонил, и еще раз, и еще  
В институт усовершенствования учителей...  
Так и останусь папоротником примитивным, рядовым хвощом,  
Трутнем румяным с рождественскими веточками бровей...

Неслучайной для логики мысли Н. Кононова кажется мне «Элегия внеустановленных отношений» — изображение армейского гомосексуализма, «неплодного брака» двух «похотинцев»:

- 1 Хлебрез
- 2 Борис
- 3 И старшина Глеб
- 4 Свидетелей без
- 5 В каптерке сплелись.

Кстати, рифмовка (1—4, 1—3, 2—5, а также смысловая рифма Борис—Глеб) и изощренные звуковые повторы (рез-рис-без в ст. 1—2—4; хлеб—Глеб в ст. 1—3, б-п-р в ст. 1—2—3—4—5) дают не образ сплетения, а само сплетение физически: сцепились-сплелись звуки и буквы. Крайне любопытна вмонтированная в ст. 1—2—3 зеркальная симметрия (хлеб-(б)-орез // Борис-(и старшина)-Глеб), подчеркивающая физическое тождество двух ипостасей плоти.

Классический порядок чередования мужских и женских окончаний безнадежно нарушился: в рациональном мире произошел сбой, что-то сломалось, ум запутался. «Мир мой ужасный», — только и может всплеснуть руками автор, оставляющий в финале лишь восклицание боли.

...Переход к прозе был для Н. Кононова закономерен, ибо поэзия его расположена на самой границе проза — поэзия, этим определяется ее своеобразие. Но удержаться на самой границе, как на проволоке, очень трудно. Однако когда этот сход в прозу совершается, выясняется, что проза не самое сильное проявление таланта Н. Кононова, что в поэзии он мощнее, своеобразнее, необычнее.

Но разговор о прозе Н. Кононова еще впереди — подождем, пока она будет опубликована. В свое время в статье «Назад — к Орфею!» (Новый мир, 1988, № 3) И. Роднянская, уделившая моему герою немало внимания, напористо и уверенно заявила, что Н. Кононов «работает со словом как прозаик, как хороший прозаик», что «поэтического сверхслова» Н. Кононов не знает. Мы уже видим, что со словом Н. Кононов работает именно как поэт, а что касается «сверхслова», то это термин, выдающий бессилие критика. Впрочем, И. Роднянская и не скрыла: «Тут я совершенно запутываюсь. «Распутывать» же — увольте!»

Попутно заметим, что за лозунгом «Назад — к Орфею!» стоит, видимо, бессознательно выраженная ностальгия по эстрадной поэзии. Поэтому-то в двадцатипятистишиях Н. Кононова И. Роднянской и не хватает доходчивости, броскости: того, что есть сверх слова, — политики, социальности, шума вокруг. И. Роднянская напомнила мне этой своей статьей Раневскую, которая отчитывала Петю Трофимова: нужно иметь любовниц, жить страстями...

Литовский погром в январе 1991 года, попытка задушить свободу, руководимая коммунистическим «доктором Мертваго», вызвали у Н. Кононова сначала оцепенение и апатию, а затем поэтическую активность. Я ждал дактилической рифмы на «Ландсбергис», но вместо этого привычный картезианский взгляд на мир как на побеждающее, распространяющееся, мертвое «протяженное» сложился с «социальностью», неизбежной в условиях постсоциализма даже для завязтых «герметических» лириков. В стихах возникла целая система «милитантных» образов страшного мира. Натюрморты пришли в движение:

И поэтому у нас кругом рукоприкладство, вострепнувшееся игриво, танцы, тряска,  
Фейерверк блевотины, астрой вспыхнувший в хмурых небесах красиво,  
Юношей военнообязанных расплывшаяся по стране ряска,  
Девушек колосющаяся допризывная нива.

Образ потревоженного болота соединен с мандельштамовскими реминисценциями: «пшеница человеческая» вновь готова к жатве, а лирический герой — к смерти:

Из жизни: чик-чик, как моллюска из двубортной крепкой курточки;  
Ах, морской воды-то брызнет две придурковатых капли.

Ощущение непрочности живого существа, доступности его уничтожающему усилию оказывается доминирующим. Состояние фрустрации достигает такой степени, что сама собой рождается потребность в Боге и уже чудится летящий над головами «лобастый ангелок невидимый, быстро-быстро растворимый...»:

...и так мне, Господи, хочу сказать, стало привольно.  
И только вымолвлю это, как понимаю, что нет мне с самим собою слада,  
И тяжело и муторно мне без тебя, — говорю, — невыносимо и больно.

А комментарием могут, мне кажется, послужить слова В. Шаламова: «Разумного основания у жизни нет — вот что доказывает наше время. То, что «Избранное» Чернышевского продают за пять копеек, спасая от освенцима макулатуры, — это символично в высшей степени. Чернышевский кончился, когда столетняя эпоха дискредитировала себя начисто. Мы не знаем, что стоит за Богом, за верой, но за безверием мы ясно видим — каждый в мире, — что стоит. Поэтому такая тяга к религии, удивительная для меня, наследника совсем других начал».

Бог оказывается альтернативой рационализму, он возникает как ЗНАК его полного провала. И не случайно среди стихов Н. Кононова появляется м о л и т в а, ибо остается лишь верить в иррациональное начало, к которому и обращена странная и суетная мольба о заступничестве:

За сверла, за дрели, за отвертки, с которыми я так груб, равнодушен,  
За слова, в которые почти не верю: Аллилуйя, Воскресе, Гряди, Сияй,  
За безразличие к вишням, все выболтавшим, зачитавшимся грушам,  
За всех загладевшихся с пернатых небес на Синай.  
За растущий этот лживый, сладкоголосый список,  
Бог знает где вычтанный, укоренившийся, уже хозяйничающий в уме,  
За флейты его и валторны, черновики, полные красноречивых описок,  
Что уже и не понимаю, кто я: муравей в смирительной курточке, шмель в  
умалишенной чалме.

Я заканчиваю статью этой рекордной по длине (29 слогов) строкой: с неприличия молитва оказалась едва ли не бормотанием и стала похожей на т о с т (впрочем, в своей праистории являющийся именно обращением ко Всевышнему), а награжденные эпитеты утратили обычную логическую ясность. Но Бог все поймет.

г. Санкт-Петербург.



# В т е н и

\* \* \*

Родина моя вот-вот комбайном всё под ноль стригущим ринется  
На меня ревниво. «Колосись себе спокойно, — цедит, — целина.  
Все твои товарищи живые, роста не набравшие — сплошная житница,  
Зреющая пажить. Яровая в чем их знаешь и озимая вина?»

В жаркий колос зерна взводом собираются  
в золотой броне и с легонькими пиками,  
Вместо сердца клейковина твердая на две трети из белка.  
Так-то, так-то, хорохорься, выражайся, ведь еще как будто  
не пропикали  
Часики всеобщие... Низко-низко батальонами блуждают облака.

Посмотри на эти тучи набухающие, тихо-лучезарные,  
К западу смещающиеся так серьезно, без толкучки, по-мужски.  
Родина, ты замусолила уставы все свои дисциплинарные,  
О, без ревности, без страха, без волнения, без тоски.

\* \* \*

Да-да! По тесным каналам, на задиристых голландских конечках  
Поспешает кровь. Здравствуй, до оскомины отмытые дали.  
Привет, снега, за горизонт в приспущенных чулках полуночных  
Уходящие. Ни грусти во мне, ни какой бы то ни было печали.

И вам, дорогие звезды, сочтенные оптом по законам коммерции,  
И тебе, месяц, вышедший побродить с суицидной думой подспудной, —  
Привет, привет. И все это берет на учет бьющееся мое сердце,  
Словно о стенку причала совсем легкое отплывающее судно.

Да и какая может быть русская элегия без холодноватых жалоб?  
Без молочного зимнего мальчишества? Бегущих санок  
Ночной музыки? К груди какая сила другую грудь прижала?  
— Почти что та же, — говорю, — что и звезды зажегшая эти спозаранок,

Ах, как все по сторонам смотрят странно, красноречивые перемены  
Отмечают: уязвлены именем своим, прошлой жизнью, видом;  
Но понимают, что свыкнутся с этим, смирятся постепенно,  
К ужасающим приготовившись карам и умиротворяющим обидам.

И более всего стоящему на дворе холоду подходит эпитет с у х о п а р ы й.  
Если этот мир варили, то в чудных морозных мензурках,  
И Бог знает кто нес дежурство со своей сменщицей на пару,  
То есть со смертью, гуляющей в кудрявой бекеше, в поскрипывающих  
бурках.

Церебральным параличом чуть задетые два придурка, два товарища  
Рожи корчат, друг на друга глядя, и портвейн пьют косоротый.  
Чем судьба женолюбивая у Канала Крюкова их одаришь еще?  
Чем обрадуешь, красивая природа?

Тихий галый вечер возле заводи укромной кожно-венерологической.  
Там больной больному руку опускает на плечо и гутарит о лекарствах:  
Политуру не мешай с денатуратом, друг, ни в каких количествах,  
Не выносят, брат, друг друга они — пятерни не подадут, не молвят:  
здравствуй.

На́ спор от тщедушной спички папиросы две подряд прикуришь ли?  
Отвратительной согнется обгорелой черной запятой.  
Мир неласковый, он тоже засмотрелся на натужный, на придурочный  
Затянувшийся закат свой розовато-золотой.

Я вчера заслушался, как мальчик весь в прыщах, горящий от смущения,  
Излагал, перевирая Рейхенбаха, всем позитивистский взгляд на вещи.  
Мне не сердца жаль обидчивого, не растравы теплой, а другого  
ощущения,  
Признака его вторичного. О, забалтывающийся ум, дурной, кромешный!

Ну же, девушка первичная, ты к лицу мне, милая материя, —  
Без истерики, лен чувственный, шурши, умственный, сминайся, штапель.  
Бледная, убитая почти, но оживающая вся. По крайней мере я  
Все еще такой тебя застал — в сыпи рассыпающейся, в крапе.

\* \* \*

Месяц из тумана вышедший нахалом с финкою поблескивающей,  
с коробкой  
Папирос; месяц, горящийся своим сдвигом, неокрепший шизой;  
Месяц милый, садящийся ужинать за один стол с Ключевской сопкой,  
Стреляющий утренних уточек за какой-то непроснувшейся эстонской  
мызой.

Месяц нежный, выдыхающий в ухо загулявшей девушке ее имя: Ула,  
Так что в сердце трепетать начинают каждый мускул и клапан;  
Месяц грозный, льющийся трикотажем со спинки стула,  
Соскользнув серебрястой вмиг все заполонившей волной на пол.

Месяц усердный, перебирающий волоски долин, гор, все шерстинки  
Пересчитывающий, отыскивающий в складках моего одеяла  
Такое наивное т и р а р а р и р а м отмежевавшегося от наших слез  
Глинки,  
Что и ты, слеза быстрая, прыснула смешком, выцвела и слиняла.

И похоже на краковяк или мазурку: панночка пошла-пошла со своим  
дебиллом  
Сыпать каблучками по болотам нашим, помойкам, моргам.  
И не затихнуть им, к Карпатам привалясь, прижавшись к Хибинам,  
Так как сердце мое лыжником вниз срывается под снежком этим  
прогорклым.

Ах, розовый месяц, снег, сумрак, смерть, встреченная смело,  
Т и р а р а р и р а м говорю этому месяцу, занятому самим собою;  
Так, единственное что и осталось — эта тема, которая не сгинела,  
Не перекрытая золотым рожком ангела и архангела дикой трубою.

\* \* \*

Если выпить, закурить, матюгнуться и вообще все-все похерить,  
Ну там спиться, скурвиться, фигурально вымараться в чем только  
можно,  
И сердцу сказать: Прощай, мой катерок, отправляющийся целовать  
в губы фьорды и шхеры,  
И нежный жар сердечный, туда же лети, и следом спеши, холодок  
подкожный.

Ну, исчезни, сгинь, смойся. Вот всему самому дорогому даю обидные  
клички,  
Вот ножичком перед самой мордой машу, валю, топчу, отбиваю память  
и заодно почки.  
И без намека на слезы проплываю твои новостройки в психически  
здоровой электричке.  
И под хилой лампочкой чищу свои перышки и подбрываю височки.

И думаю: какого фасона заказать себе в ближайшем ателье брюки  
 С хамской стрелкой такой и о другом рожне в том же роде,  
 И уж если отваливают признаки томленья, как и переполнявшие меня  
 звуки,  
 То все — сплошное буриме теперь, дебильное во саду ли  
 в огороде.

И это так по-нашему, все, что случилось, так, извини, по-русски...  
 Что на самом дне души, Бог мой? Навоз парнокопытных, помет  
 пернатых.  
 Сердце, само на себя оставленное, третий день киснет папиросой  
 в закуске.  
 А вот и оравы, стада, гурты, стаи особей во всем уличенных  
 и виноватых.

И еще философский жар, гитара, балда, прикорнувшая баллада.  
 Не люблю тебя вовсе, и так мне, Господи, хочу сказать, стало привольно,  
 И только вымолвлю это, как понимаю, что нет мне с самим собою слада  
 И тяжко и муторно мне без Тебя, — говорю, — невыносимо и больно,  
 больно.



### *На вашу книжную полку*

#### ГОТОВИТСЯ К ПЕЧАТИ

**СТЕПУН Ф. А. Бывшее и несбывшееся.** В 2-х томах. М.: 1992. 30 а. л. Серия: «Времена и нравы. Мемуары. Письма. Дневники». Ориентировочная цена — 40 руб.

В 1922 г. чекистами по инициативе В. И. Ленина была осуществлена массовая депортация из Советской России виднейших ученых — цвета российской интеллигенции. Одна из жертв этой акции — Ф. А. Степун (1884—1965). Философ по специальности (окончил Гейдельбергский университет), он оставил заметный след в гуманитарных науках, в литературе и журналистике, театральном искусстве. Участник первой мировой войны, политик в феврале — октябре 1917-го, крестьянин в годы военного коммунизма, а затем до конца дней исследователь-обществовед и профессор в немецких вузах — Ф. А. Степун оказался очевидцем и участником главных событий XX века: русской революции и двух мировых войн. Его воспоминания можно поставить в один ряд с лучшими образами отечественной мемуаристики, такими, как «Былое и думы» А. И. Герцена, «История моего современника» В. Г. Короленко, очерками А. Ф. Кони. В книге запечатлены духовные искания, напряженная нравственная жизнь автора, даны редкие по остроте восприятия и наблюдательности портреты действующих лиц эпохи — военных, политиков, ученых, писателей, художников, музыкантов, актеров, революционеров: Б. В. Савинкова, А. Ф. Керенского, Г. Г. Шпета, Н. А. Бердяева, Л. Г. Корнилова, М. Н. Ермоловой, А. Белого, А. В. Луначарского. Велико и географическое пространство мемуаров: Калужская область, Подмосковье, обе столицы, Галиция, Германия, Италия, Литва и Латвия, Нижний Новгород, Царицын, Астрахань, Кавказ, Средняя Азия, юг Украины.

Воспоминания написаны в Германии. На родине автора публикуются впервые. Заказы на книги можно направлять на почтовых открытках по адресу: 119034, Москва, Савельевский пер., 13. По выходе книг из печати они будут высланы наложенным платежом.



*Наши постоянные читатели, привыкнув к давней рубрике «Октябрь» «По страницам книг и журналов», очевидно, несколько удивятся, увидев новую — «Панорама». Что это — смена флагов, одна из тех, что за последнее время мы наблюдали не однажды? Надеемся, что нет. Новое название отражает новые задачи, поставленные перед старой рубрикой: сделав ее более динамичной, расширить тематический спектр рассматриваемых произведений, целенаправленно вводить читателя в круг проблем современного литературного процесса, объяснять значимость научных и научно-популярных изданий, дав при этом возможность критикам, авторам-рецензентам проявить не только свой аналитический, полемический, но и художественный дар, — и тем самым подтвердить, вопреки наметившемуся скепсису в отношении журнальной рецензии, жизнеспособность и перспективность этого испытанного классического жанра.*

*«Панорама» будет выходить три раза в год, планируются тематические выпуски. Станет ли новая рубрика зеркалом читательских интересов? Мы стремимся к этому.*

**П. А. СТОЛЫПИН. НАМ НУЖНА ВЕЛИКАЯ РОССИЯ...** Полное собрание речей в Государственной думе и Государственном совете. 1906—1911. М., «Молодая гвардия», 1991.

Нужно приложить определенные усилия, чтобы прочесть этот сборник, потому что перед нами не профессиональный публицист, а администратор, выдающийся, может быть, исключительный в своем роде представитель имперской государственной машины. Есть монументальная величественность, европейски окультуренная, в речах «великого реформатора», ограждающего «властным и решительным словом русские государственные начала».

Прознося эти слова, Столыпин не скрывал, что либерализм государственной власти лишь возбуждает необоснованные «иллюзии и надежды», после чего эта власть вынуждена огнем и мечом — как в Польше 1862 года — пресекать опасные для империи последствия свободололюбивых мечтаний. «Вы знаете все те ограничения,— продолжал Столыпин,— и относительно польского языка, и относительно прав службы, и относительно прав землевладения... меры, которые, по странной иронии судьбы, были результатом великодушного порыва великодушнейшего из Монархов, Царя-освободителя».

Итак, в интересах государства необходимы твердые великодержавные принципы. Подтверждение их «здесь, в этой зале, вами, господа,— обращается Столыпин к депутатам Думы,— разрушит, может быть, немало иллюзий и надежд, но предупредит немало несчастий и недоразумений, запечатлев открыто и нелицемерно, что Западный край есть и будет край русский навсегда, навеки».

Сказано и впрямь нелицемерно: ни полякам, ни прибалтам свободы не видать и равных с русскими прав — тоже. В этой откровенности есть даже что-то подкупающее. Свобода вероисповедания? Пожалуйста. Однако до известных границ. Нельзя, например, по словам Столыпина, допустить уравнивания «православных христиан с нехристианами». И даже — с христианами-сектантами. А как же иначе? Иначе рухнет такая мощная идеологическая опора великодержавия, как официальная церковь. И духоборы вынуждены были эмигрировать в Америку.

Но вместе с тем Столыпин действительно реформатор, а не держиморда. Железной рукой он направлял Россию к рынку. Создавая для него определенные социально-экономические условия — род классового мира при безусловном верховенстве самодержавия.

Вероятно, это до известной степени объясняет, почему новый виток государственного либерализма в наши дни происходит при явном тяготении к столыпинской сугубо антилиберальной идеологии и практике. И все же вопросов больше,

чем ответов. Почему наши непримиримые антагонисты, «западники» и «почвенники», в равной мере признали Столыпина «своим», причем Столыпина в целом, а не те или иные аспекты его реформы?

Ответ, наверное, нельзя найти без учета нашей парадоксальной ситуации. Режим, который необходимо реформировать в чем-то очень существенном, например, в межнациональных отношениях, представляет собой результат неожиданной победы Столыпина над революцией. Хотя все же главное дело Столыпина осталось неосуществленным, было отменено революцией. Поэтому отказ от октября возвращает к Столыпину даже тех, кто искренне хочет демократии и отвергает принципы великодержавия. И вот мы видим в руках горячих поклонников Столыпина, участников массовых демонстраций, плакаты «Руки прочь от Литвы!».

Насколько прочен и долговремен союз демократии со Столыпиным? Если в конце концов у нас все определится и возобладают реформы по-стольпински, то перестройка окажется всего лишь либеральным зигзагом на пути к Столыпину. По-своему даже необходимым зигзагом, подготовившим все необходимые условия для власти «железной руки». И аргументы Столыпина в поддержку жандармерии, охраны, в поддержку Азефа уже не покажутся странными вчерашнему демократу.

Есть ли шанс у демократии? Он кажется ничтожным, потому что общественное мнение склонилось на сторону Столыпина, а не его оппонента Л. Толстого. Но общественное мнение — это еще не все, и оно изменчиво. Столыпин хотел провести реформу, опираясь главным образом на репрессивный аппарат власти, сохраняя существующий порядок. Лев Толстой убеждал в другом. «Важно не то, — писал он в личном письме реформатору, — чтобы удержать существующий порядок. Это не только не важно, но это вредно...» Вредно, потому что эта власть никогда не пойдет на реальный компромисс с крестьянством. Столыпин был убежден в обратном, но надежды трезвого и твердого политика оказались иллюзорными. «Но времени своей трагической и безвременной кончины Петр Аркадьевич Столыпин уже не пользовался доверием свыше. В бюрократических кругах открыто говорили, что дни его премьерства сочтены», — свидетельствует Н. Тимашев в предисловии к «Воспоминаниям о моем отце», написанным дочерью Столыпина, М. Бок (Нью-Йорк, 1953).

Получится ли у нас? Впрочем, с самого начала слова о компромиссе и консенсусе у наших реформаторов не соответствовали делам. Власть, неумеренная в обещаниях, отступала всякий раз, когда требовалась твердость в защите и поддержке демократии. Вместо реального компромисса с рабочими, крестьянством, некоррупцированной интеллигенцией «реформаторы» увлеклись идеологическими кампаниями с переменной знаками, разоблачительными сенсациями, не служащими истине, а лишь возбуждающими, говоря словами М. Гефтера, «эпидемии исторической невменяемости». Чем меньше реальных реформ, тем больше государственного лицемерного либерализма, от которого до отечественного Пиночета остается только шаг.

Во всяком случае, для литературы последствия странного союза демократии со Столыпиным очевидны: произошел поворот отечественной словесности от Л. Толстого к В. Розанову. Возможно, что и другие на близкой очереди, включая Достоевского (и он, по словам Бердяева, вместе с Толстым — идейный предтеча большевизма). Как же не скинуть с парохода современности духовных виновников нашей национальной трагедии! Ведь великая страна, как сказано убежденным стольпинцем В. Розановым, погибла от великой литературы.

А может быть, мы гибнем не от О. Мандельштама и М. Булгакова, а от других, более реальных и близких причин? От подмены необходимого компромисса — широкомасштабным государственным обманом, творцом и жертвой которого в начале века оказался Столыпин?

**ВЛАДИМИР МАКАНИН. ЛАЗ.** Повесть. «Новый мир», 1991, № 5.

Рассказы и повести Владимира Маканина, напечатанные в 1991 году, особенно повести, подтверждая устойчивость интересов писателя к философским и нравственным проблемам, вместе с тем обнаруживают и некое новое качество его прозы. Стремясь к большей степени обобщения, он обращается к многослойному повествованию, различным формам условности, прибегает к помощи символа, знака, предлагает заглянуть в будущее, создавая свою антиутопию. Наиболее интересна с этой точки зрения повесть «Лаз».

Герой повести уже знаком читателю. Правда, я определила бы его как «знакомого незнакомца». В широко известном рассказе «Ключарев и Алимущкин» Ключарев в меру беспокоен своей везучестью (как бы за счет других), но уходит от боли Алимущкина, который погибает, перекладывая заботу о нем на чужие плечи. Однако, узнав о его смерти, он не способен усыпить свою совесть. В повести Ключарев — это человек, склонный к анализу и самоанализу, чувствующий свою ответственность за жизнь собрата по земному существованию, он находится в постоянном внутреннем и внешнем движении, потому что живет и действует в экстремальной, обостренной условностью ситуации, повзрослев вместе со временем и начисто утратив малейшие признаки везучести.

В повести даны два среза жизни, два мира. Они названы «верх» и «низ». Сообщение между ними, используемое Ключаревым, живущим «наверху», — узкий лаз, который он преодолевает, обдирая о камни бока, уподобляясь червю, и который заканчивается вполне реальной лестницей, ведущей в погребок (там пьют, едят, спорят, веселятся). Если «наверху» — мрак, насилие, торжество страха (люди боятся выходить на улицу, прячутся в своих квартирах, пугаются встречи с человеком, особенно же — с толпой), то «внизу» — свет, разнообразные разговоры, люди в постоянном общении друг с другом, никто не боится быть убитым.

Противопоставление «верха» и «низа» толкуется некоторыми критиками, например, так: метрополия и эмиграция, добро и зло, внутренний и внешний мир интеллигенции. Некоторые даже «узнают» некий московский ресторанчик в изображенном Маканиным. Вполне допускаю, что ресторанчик именно тот, в котором бывал и критик, что какие-то впечатления эмигрантской жизни легко узнаваемы, но повесть несводима к тому материалу, который послужил писателю лишь жизненной конкретикой для обобщения. Не считаю, что речь в «Лазе» идет и о противопоставлении добра и зла, хотя бы потому, что жизнь «низа» мы никак не можем признать воплощением добра. Благополучия — возможно, но не добра. Мысль о сопоставлении внутреннего и внешнего мира интеллигенции кажется мне наиболее близкой истине, но и она не передает всей многозначности сопоставления.

При первом чтении кажется, что «верх» и «низ» существуют в двух временных или социальных измерениях. Но вскоре убеждаешься, что это скорее две стороны нашего сегодня. Разделение миров в повести — художественная гипотеза; в действительности же здесь диалектическое единство. Ключарев, находясь «внизу», несмотря на некоторую казенность, искусственность отношения к себе, чувствует справедливость утверждения: «Мы ведь в одной стране, но, спеленатае жизнью, мы от той половины оторваны».

Зададимся вопросом: для чего понадобилось Маканину разграничивать то, что слито в реальной жизни? Ему нужны были контрастность, сгущение атмосферы. Жизнь «наверху» — это наши реальные страхи перед голодом, грабежами, убийствами, насилием. Отсюда желание спрятаться, забаррикадироваться в своей квартире, глухо задернуть плотные шторы: «Нас нет. Нас никого нет. Нас СОВСЕМ нет» — пережить лихое время в бункере. Ужас перед жизнью достигает предела. Маканин рассказывает о старичке, который выстроил бункер, побиваясь атомной войны. Писатель замечает: «...нашел чего побиваться!» Горькая ирония оправдана, так как мгновенная смерть куда легче длительной муки умирания в страхе. Маканин не верит в возможность спасения в одиночку от пугающей жизни. Все попытки спрятаться выглядят наивными, нереальными.

Что же происходит «внизу», где свет? Да ничего не происходит! Люди лишь

разговаривают, хорошо, горячо говорят высокие слова. О жизни «верха» они хотят получать информацию, но Ключарева не покидает чувство, что она им не очень-то нужна; они зачастую не знают, о чем спросить, в их страдании и сочувствии не верится. И даже страшный вопрос, не валяются ли на улицах убитые, — от неумения задать иной, предложить действенную помощь. Но Маканин не рисует жизнь «низа» враждебной жизни «верха». Более того, Ключареву она необходима; он неотделим от нее точно так же, как неотделим от своих темных улиц, редких встреч с прячущимися в страхе знакомыми, окольных и длительных путешествий по опустевшему городу, рытья пещеры... Его пугает возможность сужения лаза, могущего лишить его общения «внизу». И хотя не со всем он согласен, хотя не вступает в споры, ему дорога возможность следить за движением мыслей и слов, проглоченных «наверху» пугающим мраком пустыни. О том и речь, что интеллигентному человеку, даже если он чувствует слабость найденного Слова, совершенно необходим процесс осмысления жизни, спор с самим собой и другими, что единственно утверждает его как homo sapiens.

О чем же «внизу» ведутся разговоры? О, они легко узнаваемы. В них звучат знакомые мотивы: что представляет собою современное общество — общину или артель; со ссылкой на Достоевского — о нежелании счастья, основанного на несчастье других (вспомним рассказ «Ключарев и Алимускин»); об общей беде и т. п. Ключарев не очень доверяет разговорам политиков («слишком кричат»), но он готов и им поверить, «если они постараются для людей».

Особое внимание в повести уделено вопросу — толпа и ее лидер. Здесь Маканин однозначно предостерегает (и по этому поводу чаще всего ломаются критические копья). Жуткое впечатление производит слепой гнев толпы с необъяснимой закономерностью движения, что особенно чревато жестокими последствиями, от которых невозможно уберечься. Живущие «наверху» это уже знают (и Ключарев, и Оля, и Чурсин, и молодая женщина, подвергшаяся насилию, — «...боюсь, что люди вдруг набегут. Набегут и затопчут»). Маканин дает развернутую (и точную!) характеристику психологии толпы: «Лица толпы жестки, угрюмы. Монолита нет — внутри себя толпа разная, и все же это толпа, с ее непредсказуемой готовностью, с ее повышенной внушаемостью. Лица вдруг белы от гнева, от злобы, задеревеневшие кулаки наготове и тычки кулаком свирепы, прямо в глаз. Люди тесными, и они же — теснят. Стычки поминутны, но все их стычки отступают перед их главным: перед некоей их общей усредненностью, которой не перед кем держать ответ, кроме как перед самой собой, прежде чем растоптать всякого, кто не плечом к плечу». «Внизу» этого еще не знают, но кое-кто уже задумывается о нерассуждающей, злой силе толпы. Один из собеседников говорит: «страхись беда — толпа обезумевает вся целиком. ЭТО — охватит всех нас, вот общность». Подчеркиваю: неверно ставить знак равенства между понятиями «толпа» и «народ». Недаром писатель сказал о толпе, что ей «не перед кем держать ответ». Думаю, нет оснований, зная творчество Маканина, предполагать в нем (а это уже, к сожалению, делается) отрицательное отношение к народу или боязнь его, а вот боязнь непредсказуемого фанатизма озверевшей толпы — другое дело.

Маканинское видение современного мира не приукрашено, оно достаточно точно характеризует наши нынешние умонастроения, господствующее чувство катастрофичности в переживании жестокого времени. Писатель не дает социальных и политических рецептов для переустройства жизни, — это дело историков, экономистов, словом, специалистов, — но он как художник старается обрести нравственную устойчивость, надежду, увидеть свет на темных улицах нашего пугающего бытия. Писатель стремится подтолкнуть нас к многозначному пониманию обобщений-символов (лаз, верх, низ, костры, снег и т. д.), не идет путем прямых публицистических высказываний, приглашает к расширительному толкованию художественных структур, деталей, образов. Может нравиться или не нравиться новая манера разговора Маканина с читателем, но, несомненно, положительно следует оценить углубленность художника в решение вечных вопросов на конкретной и прямо-таки вулканической почве нашей современности.

**ВЕНИАМИН БЛАЖЕННЫХ. ВОЗВРАЩЕНИЕ К ДУШЕ.** М., Советский писатель, 1990.

Пожалуй, это даже не рецензия как таковая, а только попытка ее, первое прикосновение к феномену, которым является поэзия Вениамина Блаженных. В дальнейшем вижу его творчество благодатным полем для деятельности исследователей самого различного толка, от критиков до психологов, от лингвистов до теологов. Выход этой первой и во многом итоговой книги (при том, что автору почти семьдесят лет!), думаю, не сразу уложится в нашем сознании как безусловный факт литературы. Перед нами предстал поэт, занимающий только свою, если можно так выразиться, литературную, экологическую нишу, о существовании которой мы, может, и догадывались, но о поэтическом освоении которой и не помышляли.

Начав читать его стихи, ловишь себя на том, что непременно хочешь поставить их в некий привычный ряд, привязать к той или иной культурной традиции. о б о з н а ч и т ь их, опустив до состояния так называемой нормы, успокоить свое недоумение. Но в том и парадокс таланта, что его нельзя закрепить в определенных стереотипах. Прав Николай Панченко, назвавший стихи В. Блаженных сосредоточенностью на событиях Духа.

На рассвете мое покрывается инеем тело,  
Я, как мертвый в гробу, в неподвижном лежу серебре.  
Узнаю свою смерть по тому, как и робко и смело  
В прозябанье мое пробирается старческий бред.

Тема смерти, загробности, напрочь исключенная из нашей благополучной эрзац-культуры, тема, от которой мы столько лет стыдливо отворачивались, задействованная поэтом во всю мощь его отчаяния, стала главным вектором его стихов, его духовной биографии. И это более всего поразительно, ибо в искусственно созданной атмосфере нашего бывшего общества смерти как бы не существовало, а художник, взявший на себя смелость говорить об этой стороне жизни (это парадокс в духе самого В. Блаженных) людям, неизбежно приобретал статус инако-мыслящего или не здраво-мыслящего и тем самым попадал под надзор «здраво» и прочих «охранительных» органов. Подобной участи не избежал и В. Блаженных. Внешний мир был беспощаден к поэту и потому ненавистен ему:

Я родился изгоем и прожил по-волчьи изгоем,  
Ничего мне не надо из вашей поганой руки, —

сказано куда ясней.

Странные панорамы, скудные пейзажи и образы окружают поэта, все как-то пустыри и кладбища, где и церкви-то не видно, заснеженные овраги, мусорные свалки, все-то старухи-нищенки, бездомные собаки и кошки... Да такие ли уж странные эти панорамы и образы? Не милые ли это сердцу картины Родины? Не слишком ли долго мы отворачивались и пробегали мимо? Не слишком ли долго убеждали себя в чем-то иллюзорно-чистом, не сознавая своих гноящихся духовных язв? Но что есть — то есть, иных декораций наше общество не возвело. Так не отворачивайся же, читатель!

Слово «нищета», доминантное в книге, отнюдь не случайно. Вчерашнее табу, слово-нонсенс, архизапрещенное слово — оно буквально торчит из всех стихов. Действительно, более точного эпитета к нашему состоянию не подберешь, но все же нищета — это только фон, на котором разворачивается главный сюжет книги. «Толпа теней родных» — все монологи, диалоги обращены только к ним, только с ними. Встречи с умершими, или «мертвыми», как говорит поэт, определили все его духовное бытие. Источник скорби стал для поэта источником жизни. С отворачиванием отвернувшись от внешнего мира-мучителя, от «беспощадного племени людей», он истинно живет образами и реалиями того, что мы здесь называем смертью. Во многих стихах поэт как бы «одомашнивает» ее, стараясь сделать смерть не столь пугающей, не столь неестественной:

И мать встает из гроба на часок,  
Берет с собой иголку и моток,  
И забывает горестные даты,  
И отрывает савана кусок  
На старые домашние заплаты.



Остается только удивляться: как поэт выдерживает постоянный сквозняк «оттуда»? Может быть, ему помогает его христианское чувство, надежда на чудо, предчувствие Воскрешения? Во всяком случае, строчки: «После смерти можно молвить: Мама!/Мать придет из детства, из земли...» кажутся простыми и понятными только на первый взгляд...

Стихи его пронизывает особая религиозность, какую я не встречал ни у одного из современных поэтов. Вообще, мне кажется, вся его поэзия вытекает из религиозности, вся, не начинаясь из чисто литературных источников. Нравственность, нравственность, нравственность, ничего, кроме нравственности! И пусть в его сюжетах постоянно присутствуют элементы загробности, некой сумрачной церковности, имеющие иногда, во всяком случае, в моем восприятии, специфический пепловый привкус. Но это не сигналы умирания, а точно поставленные вопросы, обращенные за черту исчезновения, великое вслушивание в «горшки хлопья праха» — что ждет нас за этим пределом.

Так явственно со мною говорят  
Умершие, — с такою полной силой,  
Что мне нелепым кажется обряд  
Прощания с оплаканной могилой.  
Мертвец — он, как и я, уснул и встал —  
И проводил ушедших добрым взглядом...  
Пока я жив, никто не умирал.  
Умершие живут со мною рядом.

И наряду с этим такое признание:

О, как мне хочется жить! даже малым мышонком  
Жил бы я здесь...

Что ж, поэт — человек во всем. Мотивы покаяния прорываются в стихах, смягчая гордынную, а порой и кощунственную мысль. Присутствует постоянное ощущение своей греховности:

Это я и есть небесный бес,  
Это я и есть предвечный срам...

Но при этом всегда на стороне Бога, в поисках Бога. И если вдруг Бог отворачивается, то тогда не жалоба, не молитва слетают с губ, но откровенные слова отчаяния:

Не по грехам суди, Господь,  
По милости своей.  
На крюк железный вздерни плоть —  
И мертвого добей.  
Добей меня за то, что я  
Святей всех дураков...

Вениамин Блаженных — не просто поэт, но визионер, говорящий даже не столько нам, сколько самому себе о бессмертии человека в прямом смысле этого понятия, хотя и проводящий нас сквозь свои стихи, как сквозь малые инфернальные круги. Это пример жития стихом. В стихах — его дом, его прибежище. Так что же такое Слово, если ему можно так довериться, как это делает поэт, и оно выносит из смерти, из разрушения — как плот, как чудо, как крыло? «Что же такое Слово?» — задаю я себе вопрос и не могу на него ответить, на ум приходит только строчка из Евангелия: «В Начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог»...

П. КРАСНОПЕРОВ

**ЗИНАИДА ШАХОВСКАЯ. В ПОИСКАХ НАБОВОКА. ОТРАЖЕНИЯ. М., «Книга», 1991.**

О том, что успела повидать Зинаида Алексеевна Шаховская в первый революционный год, перед тем как покинула родину, повествуется в маленьком рассказе «Собачья смерть». Сюжет его незатейлив. Девочка, взятая заложницей за родителей, живет в доме, еще недавно бывшем собственностью ее семьи, живет под надзором красноармейцев, утачивших либо загадивших все, что можно. Но ужас внушают не они, а местный мужик: «В каждой деревне есть такие Осипы, гроза крестьян, те, кто может и подпалить, и ножом пырнуть». Так, без причины накормил он отравой усадебных добрых и доверчивых собак. Собаки умирали мучительно и долго. И вдруг появился матрос-охранник, пристрелил страдающих

животных и даже пробормотал что-то человеческое, утешая чужого ребенка, пленницу. Такой запомнилась новая Россия беженке.

Как судьба сложилась потом, достаточно подробно рассказано в «Отражениях», книге пестрой, неоднородной, где соединены воспоминания, портреты друзей и материалы из личного архива. Большую часть составили собранные воедино газетные и журнальные статьи — то, что имеет старое емкое название «подешщина», или по слову, более тут подходящему, «пестрый сор фламандской школы» (подобное определение имеет и дополнительный смысл, ибо З. А. Шаховская долгое время жила в Бельгии, участвовала в тамошней культурной жизни).

Занимательные, изящные по стилю зарисовки любопытны. Хороши, хотя и небесспорны, портреты Г. Адамовича и Ремизова, а также письма А. Штейгера, отмеченные точностью прозрений и трезвым самоотчетом. Но скромной задаче, поставленной себе автором, — поведать просто и непредвзято о прошедшем, вредят многочисленные, пусть и мелкие, повторы, уточнения, цитаты из писем, полностью опубликованные несколькими страницами далее. Автор предупреждает: сделано это «для объективности», но что с того? Читателю хочется узнать новое, а не разгадывать ребусы, ведь имена, значимые для мемуариста, не всегда известны: о ком идет речь, чем интересна та или иная личность? А документы, которыми дополнена книга, напротив того, надо было бы отобрать более жестко. Даже письма Бунина написаны «к случаю», в них бунинская судьба не отличима от судьбы любого самого заурядного профессионального литератора: неурядицы, надежды, вероломство издателей. Большинство же публикуемых писем справедливо возносят благодарность адресату, т. е. З. А. Шаховской, много сделавшей для русских писателей в эмиграции. Письма эти — не памятники литературы, а памятники человеческих отношений. И при всем обилии ярких имен — Тэффи, Б. Зайцев, Ходасевич, Дон Аминадо — «Отражения» проигрывают в сравнении с другими, уже известными мемуарами.

Иное дело — монография «Поиски Набокова». По всей вероятности, это первая большая работа о Набокове, изданная в России. Не только долгое личное знакомство и набоковский талант привлекли критика — на долгом жизненном пути З. А. Шаховской встречались многие известные писатели, принадлежащие к разным культурам — французской, русской, американской, — но книга написана именно о Набокове, «...потому, что Набоков загадочен, что он бросил вызов своим читателям и почитателям, загромаждая к себе доступ, и расставил ловушки для исследователей...».

Свободно владея материалом, критик сопоставляет разные мотивы и произведения русского англомана: «Женщина в романах Набокова», «Набоков и другие», «Тайна Набокова» — вот только три, взятые наугад названия главок.

Основа набоковского творчества — интеллектуальная игра. Утверждение верное, но тут же, словно позабыв о сказанном, критик попадает в набоковскую ловушку — видит символы, экзистенциальные зияния, галлюцинаторные признаки в созвучиях имен героев из «Приглашения на казнь»: «Адвокат Роман, сторож Родион, директор тюрьмы Родриг...» Но об игре нельзя говорить совершенно серьезно — тут заключен потенциальный проигрыш.

Холодный проказник Набоков знает правила собственной игры назубок. Знает он и источники своих произведений, «искать Набокова» — одна из разновидностей «Охоты на Снарка». Стоит перечислить участников сего славного и напряженного предприятия, чтобы все стало очевидным, — Боцман, Боксер, Булочник и т. д. Детский стишок Л. Кэрролла стал «моделью для сборки» набоковского русскоязычного романа.

Играет писатель столь искусно, что в конце концов исследователь сам включается в игру, говорит почти набоковским слогом, позвякивает неосознанными (но набоковскими любимыми) анаграммами: пошлость Набоков, словно коллекционную бабочку, пригвождал «лапидарной фразой», а главные страсти его — «литература и лепидоптерия».

З. А. Шаховская заметила в Набокове «намечающуюся бездуховность» и отсутствие «внутреннего стержня». Но ведь писатель и хотел того. Недаром даже в

фамилии своей он подчеркивал в первую очередь односторонность. В «забавном русском слоге» оставил он одну лишь «забавность». И не скрывал этого.

Герой «Приглашения на казнь» осужден за «непрозрачность», в то время как все прочие — прозрачны, и... И если уж считать, что по всем произведениям Набокова рассыпано автобиографическое, что все написанное им — головоломка, кубики, разбросанные старательным играющим не-дитятей, которые потрудись собрать — и станут единой мозаикой, то вспомним:

Но как я сяду в поезд дачный,  
В таком пальто, в таких очках,  
И, в сущности, почти прозрачный,  
С романом Сирина в руках...

Так Набоков представлял (не представлял) свое возвращение в Россию.

Что же, каждый лелеет свой способ возвращения — и не-возвращения — с другого берега на родной. С берега на берег, между которыми течет неостановимо и безвозвратно, разъединяя и соединяя их, Река времен...

**Б. ФИЛЕВСКИЙ**

**А. АРХАНГЕЛЬСКИЙ. У ПАРАДНОГО ПОДЪЕЗДА.** Литературные и культурные ситуации периода гласности (1987—1990). М., Советский писатель, 1991.

Человек, стоящий «у парадного подъезда», принадлежит сразу двум пространствам — улицы и дома. Над улицей он уже поднялся на ступени, но за дверью еще не скрылся. И сам стал мостиком между двумя пространствами, и трудно понять, кто он — жертва раздвоенности или рыцарь двойственности. Александр Архангельский встал сам и поставил читателя «перед лицом демократии» (подзаголовок первой половины книги) и «перед лицом культуры» (вторая половина). И не разорвалась ли книга надвое из-за несочетаемости политики и искусства, ибо в первой части напечатаны стремительно уходящий в прошлое журнальный обзор перестроечного «Огонька» и «Нашего современника», анализ когда-то очень давно — три или четыре года назад — гремевших сборников статей о политике, религии и культуре, «вчерашние» размышления о том, что печатают западные русские издательства и что печатают у нас; а во второй части помещены анализ поэтического контекста, прослеженной литературной традиции — «От Гаврилы Державина до Тимура Кибирова», статья, формулирующая роль пародии, почтительное и верное исследование темы детства в творчестве Пастернака...

То, как каменеет на глазах первая часть книги, чувствует и сам автор, и это видно по тому, как тщательно он проставляет даты написания и как часто снова подчеркивает «вчерашность» своих слов в сносках. Вторая же часть — это «объединение» рифмами и знаниями, определенное вневременным «щегольством» игрока в бисер, фейерверк идей, противопоставленный «фельетонной эпохе» (выражение Гессе, использованное Архангельским). И происходит непонятное: две части книги странным образом сопрягаются, и из подобного «сопряжения далековатых понятий» рождается ее цельность.

Архангельскому удалось редкое — превратить прошлое в историю, может быть, и неумышленно, потому что, когда писались эти статьи — всегда на злобу дня, — об истории еще не думалось, еще не кончилась эпоха, а без этого прошлое — еще не история. Но вот эпоха кончилась, и Архангельский сам это подчеркнул в подзаголовке к книге, злободневность ушла, и проявилась историчность: автор смог проанализировать пятилетний роман интеллигенции и власти, закончившийся... — впрочем, об этом он еще скажет. О поколении шестидесятников, первым вышедшем на сцену и постепенно терявшем романтику, веру, силы и позиции, о борьбе «правых» и «левых», о внезапном всеобщем порыве любви к религии Архангельский пишет чуть отстраненно, стоя особняком. И не то чтобы он не желал выходить из литературного мира в политический — выходил и даже статьи писал полемические, но всегда свое твердил — о Свободе, о Культуре и поступал по-своему «не ради социального противоборства, не в пику властям, а просто так, потому что это — хорошо, потому что это — свободно». И в этом

соединяются политика и искусство, первая часть книги и вторая. Так, уважение и внимание к слову, максимум своего достигающее в исследованиях поэзии, не позволяет автору говорить о политике, но о демократии и о Свободе. Так, стоя перед лицом литературы, мы понимаем позицию автора перед лицом демократии. Есть и обратная связь: как кратко и точно формулирует сам автор — «тот, кто звал к Культуре без свободы, звал к рабству», — а потому в исследованиях поэтической традиции не обойтись без политического объяснения того, когда и кем она была прервана.

Таких двуединств в книге встретится еще немало. Автор не любит окончательных ответов и единственных решений, и его нелюбовь в сочетании со странной двусмысленностью ситуации, в которой мы находимся, порождает целый ряд многозначных символов. Один из самых ярких примеров — название книги «У парадного подъезда». Во-первых, это легко расшифровываемая метафора, точно передающая понимание автором нашего положения: перед открытой дверью в демократию и культуру, но еще не внутри. Однако есть и второй, горький смысл, создаваемый — опять же — литературным контекстом. Слишком хорошо мы помним, как ни с чем побрели печальные некрасовские странники от подъезда, вытолканные в шею наглым швейцаром. Не знаю, верно ли понято мной авторское послесловие в книге, но если верно, то еще один, последний смысл — это развязка того романа интеллигенции и власти, который показал автор.

Впрочем, и здесь нет окончательности, столь нелюбезной авторскому сердцу. Его статьи — феномен подвижности: даже прочная и стабильная идея литературного контекста понимается Архангельским как нечто живое (речь идет, конечно, не о литературоведческом толковании, несомненно, «теоретически выдержанном», а о над- или подтекстовом ощущении). Контекст для него — это беседа, которую ведут между собой книги, обязательно диалог, а не оклик в спину безвозвратно ушедшему. Русская литературная традиция и анализируется им как разговор, в который он с легкостью вступает сам и вводит упирающегося читателя, в первый момент несколько смущенного непривычностью собеседников. Трагедия советской литературы во многом в отсутствии контекста, в разорванности связи с классической традицией, но вместе с тем в постоянном ощущении присутствия этой громады. Хороша идея Архангельского о том, что попытки восстановить эту связь совершала пародия, «неявно, со смешком поверяющая всю текущую словесность предшествующим опытом». Можно добавить: и критика. Но не всякая, потому что она равно способна и создавать контекст, и разрушать его. Разрушением занимается критика «охранительная», вне зависимости от политических позиций автора. Ведь предоставляя право на существование только части книг — только «левых» или только «правых», этим губят контекст как разговор. И потому понятно, что заставляет Архангельского желать опубликования — при всеобщей страсти к публикаторству — и другой стороны: «история без полноты информации и учета в с е х точек зрения превращается в миф».

Позиция автора здесь однозначна — право голоса должны иметь две стороны, потому что существование одной просто скучно. Похоже, что скука — один из самых страшных грехов для Архангельского — критика и для него же — автора. По крайней мере в богатую гамму чувств, которые могут возникнуть по прочтении его книги — от «ну дает» до «ой, как же это» — не входит одно: «ску-у-учно». Вовсе нет, весело и умно.

Н. МАЗУР

**В. Ф. ПАНОВА, Ю. Б. ВАХТИН. ЖИЗНЬ МУХАММЕДА. М., Политиздат, 1990.**

Обострившийся в последние годы интерес к ранее закрытым темам не обошел стороной и «мистическую подкладку» нашей действительности: от лубочной пропаганды НЛО и буклетов «о сглазе» до серьезных публикаций по вопросам религии и теософии. В этом контексте появление книги об основателе ислама, как и вышедших ранее работ о Христе и о Будде, по-своему закономерно как вселяющее надежду на новое понимание самих священных книг этих религий. С другой

стороны, и об этом, к сожалению, нельзя не сказать, всякая попытка рассмотрения судеб «великих мира сего» вызывает у нас еще и чисто светский эффект «жареного», где упор делается не столько на величие души, сколько на «великость» содеянного. Пример тому — россыпи «раскольниковских» сталиных-гитлеров, любовников Екатерины и жутких распутиных. Если же вспомнить еще и «застоевские» наши мучительно-журнальные дискуссии «о положительном герое» наряду с педагогико-маяковскими «делать бы жизнь с кого», то поднятая тема приобретает и чуть ли не действительно эсхатологический оттенок. Впрочем, именно благодаря этим трем условиям книга была обречена на «кассовый успех».

Действительно, перед неискушенным читателем одна за другой проходят экзотические картины древнего арабского быта. Поражает диковинность обычаев и языческих нравов, удивляет звучность и загадочность имен и географических названий. И внутри всего этого, словно в пестром персидском ковре, восточные интриги, переплетаясь и сменяя друг друга, выводят трагический и величественный рисунок судьбы «последнего из пророков».

За таинственными комбинациями видений и идей Мухаммеда, как сквозь шелковую завесу, читатель с облегчением вдруг замечает тонко подсвеченное присутствие знакомых ему реалий библейского мира. Другие же эпизоды удивляют, наоборот, своей простотой и нарочитой обыденностью. Так, по-современному, наивно и свежо, выглядит «окультурная» смекалка Хадиджи, жены пророка, додумавшей обнажением своего тела выявить намерения и природу явившегося ночью духовного существа. Поневоле вспыхивают реминисценции и с житийными искушениями святых и современные дискуссии уфологов-экстрасенсов.

Впечатляют обширность и сложность политических перспектив времени, затрагиваемых описываемыми событиями.

В целом скрупулезная биографичность, этнографическая правдивость и историческая точность (за немногими исключениями) составляют неотъемлемое достоинство книги.

Но вместе с тем удивляет манера повествования: приторно «сказительная», «всёкомментирующая», странно покровительственная — то напоминающая век Арины Родионовны, то родной «век идеологии», когда и со взрослыми занимались «воспитатели». Посему и в выходных данных книги ищешь: «для среднего школьного возраста». Однако тут и вспоминаешь о предыстории создания и появления книги.

Издание готовилось еще в 1970 году в серии ЖЗЛ издательства «Молодая гвардия». В случае выхода там и в то время, пожалуй, никаких бы несоответствий и не возникло и о жизни Мухаммеда, поданной таким образом, с удовольствием прочитало бы не одно поколение советских школьников. Но минуло двадцать лет значимостью в целую эпоху — и ни Ю. Б. Вахтин, ни Политиздат этого словно не заметили. Впрочем, им это, может быть, и простительно — творческие люди забывчивы, а издательство для того и «политсуществовало», но горько за соплеменников, когда с осевыми событиями мировой истории приходится знакомиться то через «Краткий курс...», то через популярные изложения для юношества. И, конечно, дело здесь не только в подаче материала. Книга, к великому сожалению, опоздала эстетически и духовно.

С художественной позиции сегодня нельзя уже отвернуться от яркой рельефности «романа в романе» с Иешуа М. Булгакова; есть и красочная до пестроты «Жизнь Магомета» Вашингтона Ирвинга, не издаваемая, правда, у нас с 1849 года.

Что же до духовности, то здесь, пожалуй, самый главный камень преткновения. Нетрудно заметить, что сегодня даже высокопрофессиональные книги об основателях христианства Э. Ренана, написанные с научной дотошностью, но атеистическим видением мира, удручающе холодны и парадоксально напоминают компьютерное моделирование жизни — движущейся, но не живой. Хотя в предисловии к книге и выражается уверенность, что атеизм авторов удастся совместить с «уважением и тактом по отношению к личности Магомета» и «сделать книгу так, что она не оскорбит чувств мусульман», — этого не происходит. И по отношению не только к мусульманам-верующим. Разве можно согласиться, что

молитва — разновидность самовнушения, а божественные откровения — лишь «меры гигиены и санитарии, которым для прочности и неизылемости» придается авторитет Всевышнего. И дело здесь не в том, что после прочтения подобных толкований кто-то, мол, воззовет к джихаду, а в том, что нынешний кризис духовности вызван не беспорядочной работой стихий.

И, конечно, материалистическое мировоззрение авторов накладывает отпечаток и на «момент истины» как искусства. Ведь трудно «верить» (по Станиславскому), что пророк принимает откровение свыше, когда перед этим на полстраницы обосновываются его размышления о том, что необходимо внести в Коран. Пророчество же, как известно, — самое главное в пророке, так же как вдохновение — в поэте, интеллектуальные «завихрения» — в жизни философа, — а не документальные вехи биографии. Получается то, на что когда-то сетовали восточные мудрецы: бытие, лишённое тайны, теряет смысл.

«Вынь у героя сердце — что же он будет без него? Тиран». Если под сердцем понимать таинственную, «потустороннюю» часть нашего существования (а достоверность этого уже обоснована и наукой), то подобное превращение и происходит здесь. Герой, считающий себя посланником Аллаха и лишенный — в контексте книги — своего «сердца», т. е. таинственно-одержимой веры в божественную необходимость своей миссии, эволюционирует от добропорядочного бюргера первых глав до расчетливого политика макиавелевски-ницшеанского толка последних страниц. Прославленный толстовский метод «срывания всех и всяческих масок», видимо, здесь неуместен. Да и слишком уж много было подобного «срывания» в веке нашем, что поистине стоит ли дразнить будущее?

Тем не менее сделана первая попытка сказать об еще одном белом пятне нашей культуры. И пусть сей пробный камень вызвал не те «круги» и не в тех «кругах», но, возможно, это и всколыхнет наконец те творческие силы, которые могли бы донести до читателя не только экзотичность ислама, но и его эзотеричность. Пока же создается ощущение, что мы все еще в положении пушкинского пророка, про которого поэт сказал: «Духовной жаждою томим...»

Ю. МАЙШЕВ

### ЭЖЕН ИОНЕСКО. НОСОРОГ. Пьесы и рассказы. М., «Текст», 1991.

Начиналось с того, что сорокалетний Ионеско зазывал публику на представление своих первых пьес и переругивался с очередью перед соседней киношкой, настойчиво объясняя: «Безумцы, зачем смотреть дурацкие прыгающие картинки на целлулоидной ленте — скачущих ковбоев, глупые мелодрамы, костюмные постановки, когда рядом, в нашем театре, живые актеры покажут вам нечто...» До того, что покажут, разговор обычно не доходил, ибо очередь раздражалась проклятиями, насмешками и бранью, да и захоти услышать они, усталые, затурканые обыватели, в чем суть расхваливаемых столь горячо пьес, — смог ли бы автор объяснить? Чем бы завлек он этих людей, желающих хоть чуть отдохнуть от обыденной жизни? И спектакли давались для двух зрителей — драматурга и его жены — и смахивали на бесконечную репетицию перед все откладывающейся премьерой.

Но что-то переменялось — и спектакли идут при полных залах, пьесы ставятся вместе с мольеровскими в «Комеди Франсез», а бывший авангардист пожизненно причислен к лику бессмертных, принят другими академиками, как равный. И в далекой, мифической России выпускают второй по счету сборник, снабдив красивой надписью: «Издание осуществлено при содействии Министерства иностранных дел Французской Республики и при поддержке Отдела культуры, науки и техники Посольства Французской Республики в СССР».

И прочитавши это, и восхитившись, удивляешься, как быстро авангард становится классикой (если остается в живых): рассказы и пьесы, собранные в книге, сочинены между пятидесятым и шестьдесят вторым, может быть, шестьдесят третьим годами. А Ионеско, по его собственному заявлению, давно забросил литературу и занялся на старости лет живописью. Никого не воспитали его сочинения — разочарование ли для французского литератора (а русский бы дав-

но запил, или повесился, или написал «абличительный пашквиль», критикуя мир в себе и мир вне себя). По Ионеско, мир не в себе, дела обстоят слишком плохо, и, утешаясь, маэстро стоит у мольберта и ждет апокалипсиса. А его произведения продолжают существовать.

Вероятно, позиция абсурдистского академика и рождена тем, что возможные ситуации проиграны, а выход так и не найден. Точки расставлены с избытком, вообще — всем все известно, как в рассказе «Фотография полковника»: убийца совершает преступление за преступлением, место и время его появления установлены, есть список примет, а ритуал повторяется — убийца показывает фотографию и, когда жертва заглядится, толкает ее в пруд. Но кто откажется взглянуть на фотографию «полковника в парадной форме — усатого полковника с приятным, даже несколько трогательным лицом»?

Когда-то Ионеско признался, что изображает трагедию языка, глухоту, рабощенность. В постнаучном, постиндустриальном, постинформационном обществе взаимоисключающие явления сосуществуют, будто в имажинативном, чудесно измышленном мире древнегреческих мифов, — рождение и смерть могут быть одновременны, возникло общество новых мифов. И сочиняется рассказ «Орифламма»: мертвец лежит в квартире десятилетиями, разлагается, но растет, занимает больше и больше места, уже выпирает дверь, уже сокрушает стенку, борода мертвеца седеет, а ногти приходится ему регулярно подстригать. К мертвецу притерпелись, притерпеться можно ко всему, даже если люди превращаются в носорогов. Глобальные законы скрыты, а частные пестры, потому незначимы. Сумятица жизни переходит и на литературу: пьесы снабжены пространственными ремарками, а рассказы моделируют те ситуации, которые позже перейдут в пьесы, — так всегда у Ионеско.

Но воздадим запоздалое должное французскому румыну, пишущему о всемирной смуте, — используя один и тот же прием, он умудрился не стать однообразным, вырвался из замкнутой бесконечности, прервав ее в самом начале; ведь отсутствующая концовка обесмысливает прочее (жизнь строя совпадения и различия, много-много различий, порождающих множественностью своей совпадения, и совпадения, от которых хочется и следует убежать в деструктивность).

Люди живут, умирают и все никак не могут умереть в мире, где «Дюпон одет, как Дюран, Дюран одет, как Дюпон, Мартен одет точно так же», в мире, где начинается благодатью, а кончается атомным взрывом. Как это знакомо, еще в «Старосветских помещиках» говорится: «По странному устройству вещей, всегда ничтожные причины родили великие события, и, наоборот, — великие предприятия заканчивались ничтожными следствиями».

Из временного отдаления видно, как неожиданно много позаимствовал Ионеско у Гоголя: «Контора какого-нибудь учреждения или частного предприятия» — это ведь «в одном департаменте». А персонажи «Этюда для четверых», словно Бобчинский и Добчинский, безуспешно спорят на вечную тему — о том, кто первый из них сказал «э». Книга же заканчивается будто воплем безымянного, безродного, беззащитного Поприщина, не узнавшего ничего или познавшего все, парлекующего на французской мове с ощутительным румынским акцентом: «...надежда покинула меня: что могут пули, что может моя жалкая сила против холодной ненависти, упрямство — против бесконечной энергии, этой абсолютной жестокости, не подчиняющейся разуму, не знающей пощады?»

Абсурдизм? В чем он? Только лишь в том, что западные читатели и зрители слышат нечто, прорывающееся сквозь их родную речь, рыдание чье-то (а то струна звенит в тумане), а мы угадываем нас, узнаем самих себя, в переводе с чужого языка? В чем разгадка? Может быть, абсурд — желание строить Вавилонскую башню, а абсурдизм — жить на ее развалинах?

М. КРАСНОВА



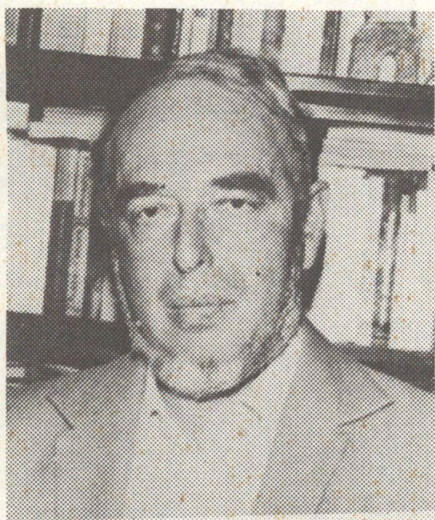
# ПРЕМИИ ЖУРНАЛА «ОКТЯБРЬ» ЗА 1991 ГОД



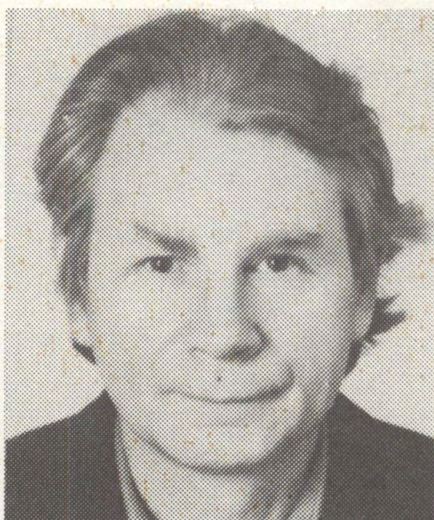
Руслан КИРЕЕВ



Юнна МОРИЦ



Леонид БАТКИН



Юрий БУРТИН

Руслан КИРЕЕВ. **Посланник**. Повесть (№ 9).

Юнна МОРИЦ. **Скульптура ока**. Стихи (№ 1).

Леонид БАТКИН. **Синявский, Пушкин и мы** (№ 1). Как не повредить  
**обустройству России** (№ 4). Статьи.

Юрий БУРТИН. **Что такое КПСС**. Статья (№ 5).





## **РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ!**

Госстрах Российской Федерации предлагает новый вид коллективного страхования —

### **СТРАХОВАНИЕ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ НА СЛУЧАЙ ПОТЕРИ РАБОТЫ (РАБОЧЕГО МЕСТА).**

Договор страхования заключается между страховыми организациями и предприятием, учреждением или организацией, имеющими статус юридического лица сроком на 1 год или на неопределенный срок.

Размер страховой суммы устанавливается по желанию страхователя, однако не может быть ниже 1000 рублей.

Страховое пособие в размере страховой суммы выплачивается застрахованному работнику в случае потери им работы в связи с ликвидацией, реорганизацией производства, осуществлением мероприятий по сокращению численности или штата, банкротством предприятия.

Получить подробную информацию и заключить договор страхования вы можете в любой государственной страховой фирме или организации системы Росгосстраха.

Телефон для справок в Москве: 200-50-45

**ПРАВЛЕНИЕ РОСГОССТРАХА**